

индексы: 70331, 84471

ЯЗНАМЯ

ISSN 0130-1616

1/2010
январь

Эргали Гер

повесть «Кома»

(№ 9)

премия, назначенная Советом по внешней и оборонной политике

Андрей Гришаев

подборка стихотворений «Порядок вещей»

(№ 9)

премия «Дебют в «Знамени», назначенная Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ

Владимир Найдин

семейная сага «П-т-т, санагория, чать!»

(№ 6)

Олег Павлов

роман «Асистолия»

(№№ 11—12)

Владимир Тучков

«Русский И Цзин»

(№ 6)

Михаил Ходорковский — Людмила Улицкая

«Диалоги»

(№ 10)

премия «Глобус», назначенная Всероссийской государственной библиотекой имени Рудомино

Орденами «Знамени»

за постоянное и плодотворное сотрудничество с журналом

к о н ф е р е н ц - з а л

- 185 XXI век: будущее или — ...?
Семен Файбисович, Екатерина Сальникова,
Максим Кронгауз, Ирина Каспэ, Ян Левченко

Р о с с и я б е з г р а н и ц

- 194 Стефано Гардзонио. Страницы из потерянной тетради
в клетку

к н и г а к а к п о в о д

- 202 Михаил Ардов. Разные люди бывают согласны

н а б л ю д а т е л ь

д в а ж д ы

- Александр Терехов. Каменный мост
213 Дмитрий Володихин
215 Владимир Березин

к н и ж н ы е с е р и и

- 217 Анастасия Ермакова. — Поколение: Проза. — Александр
Зайцев. Старое общежитие; Кирилл Рябов. Стрельба
из настоящего оружия; Моше Шанин. Я знаю, почему
ты пишешь рассказы
219 Елена Зейферт. — Библиотека журнала «Дети Ра».
Поэтическая серия. — Михаил Вяткин. После абсурда;
Евгений Степанов. Две традиции; Татьяна Щекина.
Кончился свет
223 Александр Уланов. — Политология России. — Демократия
в современном мире: сборник статей; Сообщества
как политический феномен: сборник статей

с п е к т а к л ь

- 227 Светлана Васильева. — Л.Н. Толстой. Власть тьмы,
или Коготок увяз, всей птичке пропасть. — Большой
драматический театр имени Г.А. Товстоногова. Режиссер,
художественный руководитель Т.Н. Чхеидзе

н е з н а к о м ы й ж у р н а л

- 230 Виктор Кузнецов. — Казань. Журнал

н и д н я б е з к н и г и

- 232 Анна Кузнецова

Олег Чухонцев

К небывшему

55-й (приписка к снимку),
в парке, за школой и танцплощадкой...
ты поправляешь в чулке резинку
(классика психиатрии), украдкой
я с безразличием пялюсь жадным
на что-то белое и девичье,
на... — но сбивается ракурс (рад нам
или не рад, кто блюдет приличья —
это за кадром)... — но я, занудой,
сходство ловлю в тебе с тою голой,
бабьидебелой и девогрудой
фрау трофейной, перед которой
мы так недавно ещё смущённо
рядом стояли, став разом старше,
пальцами соприкасаясь, ещё не
осознавая, что будет дальше...

Вместе и порознь — мы пролистали
в тёмных аллеях Фрейда с Назоном...
как незнакомку в «Национале»
встречу тебя я в кругу знакомом;
десятилетие окончанья
школы, и дети к концу обеда;
несостоявшееся свиданье
несостоявшегося поэта;
и лейтенантик твой с захудалым
саг'ом — (не я с худым гонораром) —
чем не Аякс! — с перспективным малым
быть тебе, фрау, за генералом,
если, конечно, из комсостава
не отзовет его раньше Бахус,
впрочем, равняться налево-право
то же примерно, что жрать антабус.

Хлопнет, взревёт — и в дыму с концами
я потеряю тебя из виду
всю, с «запорожцем» и близнецами,

благословляя в сердцах обиду —
тоже ведь стимул (из тех, что паче
гордости, как там?) — вольно же музе
петь крылышку на съёмной даче,
от ювенальных целя контузий,
к ужасу тающих, — и за тьмущей
тьмой отступающих лиц — всё ближе
(время — это состав живущих)
я в перспективе обратной вижу
тех, отрешённо стоящих рядом
перед музейною наготою,
бедно одетых, но взглядом, взглядом —
за непромыслимую чертою.

Сколько нейронов двух полушарий
даром сгорят без духовных тождеств!
автологический комментарий,
явно к небывшему — он-то что здесь,
где и само бытие — потёмки?
оба мы, в общем, не выйдем в дамки:
ты, протрубив спецом в оборонке,
я, графоманские правя гранки,
тоже не сахар... так что какие
могут быть счёты, разве что долги,
их и оставим, пускай другие
млеют теперь у грудастой тёлки,
в парке, средь шумного бала, гула,
на караоке, да где придётся...
что до Венеры, она уснула
и никогда уже не проснётся.

Герман Садулаев

Шалинский рейд

роман

Сегодня это была школа. Это был коридор перед учительской, на втором этаже. Здание школы буквой Т с короткой ножкой, как алфавитный гриб: гриб, гроб, грабь. Груб. В ножке гриба, в аппендиксе, налево — двери в спортзал, направо — две раздевалки: для мальчиков, всегда заплеванная зеленой от насвая слюной, для девочек, раньше я в ней никогда не бывал, только запах, слышал, легкий, ландыша. Прямо, в конце, в тупике аппендикса — учительская комната, с диваном, с круглым столом. И маленький кабинет, тесный, завуча.

Но я мимо. Иду мимо. Нет, я бегу мимо, к началу коридора, туда, где почти у самой лестницы, у бетонной площадки, стоит большой металлический чан с холодной водой. В чане краник, к чану железной цепью, чтобы не унесли, прикована кружка, алюминиевая, одна на всех, одна на всю школу.

Пить хочу. Пить. Губы от жажды потрескались, облизываю сухим языком, и только горечь, только привкус металла и немного крови в трещинках.

К чану бегу, с водой, к алюминиевой кружке бегу, маленький мальчик, я, очень хочу пить. Почему же так долго? Как коридор стал таким длинным? Уже целую вечность бегу, я, а он все струится, змеится, перед глазами, в тяжелом дыме и известковой пыли, осыпающейся с потолка, на волосы, мои, на губы, на. Понимаю, вдруг, что я не бегу, я ползу, пол-зу, по-л-зу, по коричневой краске, неровной, пузыристой, пузы-рящейся, от огня, жарко, туда, туда, где, знаю, должна быть, кастрюля, с водой, с, она всегда была там, и алюминиевая кружка, железной цепью прикованная, чтобы всегда была там, чтобы никто не унес.

Потому что я хочу жить, но я умру, если не доползу до конца коридора.

Ползти тяжело, как будто коридор поднимается в гору, а я стал таким большим и тяжелым, вдруг. Еще минуточку назад я был маленьким. Это волшебный гриб, слишком быстро вырос, я, стал взрослым: а теперь мне трудно тащить свое неуклюжее тело, великана, циклопа, вверх.

Но я подтягиваюсь, на руках, еще немного, и.

И срываюсь, падаю, вниз, лечу, совершенно голый, вдруг, беззащитный, в потоке воды. Снова маленький, в потоке воды, целом озере с эмалированными берегами, вода подо мной, вода льется сверху, а у меня щиплют глазки, я тру глазки руками, плачу, кричу: Мама! Мамочка!

Об авторе | Герман Садулаев родился в 1973 году в селе Шали Чечено-Ингушской АССР. По образованию юрист. Живет в Санкт-Петербурге. Автор книг «Я — чеченец», «Радио Fuck», «Пурга, или Миф о конце света», «Таблетка», «АД». Финалист премий «Русский Букер» и «Национальный бестселлер». Литературный дебют Г. Садулаева состоялся в журнале «Знамя» — повесть «Одна ласточка еще не делает весны» (№ 12 за 2005 год). Также в «Знамени» опубликованы произведения «Илли» (№ 11 за 2006 год) и «Бич Божий» (№ 7 за 2008 год).

Мы оставляли Шали без боя.

Рыть траншеи вокруг села, окапывать пулеметчиков, варить противотанковые ежи, обороняться — не имело никакого смысла. Время позиционных войн прошло. Битвы Второй мировой были последними, в которых решающее значение имело изменение линии фронта, продвижение кривой назад, пожирая тылы, или вперед, в глубь территории противника, что и определяло победителей и проигравших. Стратегии третьей мировой войны, полыхающей на планете, другие: оружие массового поражения, уравновешенное высокоточными ударами по ключевым объектам, вместо последовательно продвигающейся линии фронта — оперативное развертывание мобильных групп в любой точке мира.

Это знает каждый студент-гуманитарий, не прогуливавший занятия на военной кафедре. Благодаря наличию которой в его институте он не попал в армию и на эту войну, одну из битв третьей мировой, необъявленной, но пылающей кроваво-красными точками на политической карте.

Но прошлую войну и мы, и противник вели еще по старинке. Так, как отставных офицеров Советской армии обучили в военных училищах профессора, академики, писавшие свои научные работы на материале Великой Отечественной.

Подразделения Ичкерии занимали населенный пункт, устраивали позиции и пытались обороняться. Старались продержаться как можно дольше. Зачем? Они были обречены.

Говорят, двое парней, или даже братьев, держали оборону у моста на подходах к Шали, со стороны Чечен-Аула. Они связали себе ноги проволокой и прикрутили друг к другу, чтобы не отступить. Двое суток они сдерживали наступление целой дивизии федералов. Их убили, конечно. Трупы привезли в город. Русский офицер сказал: похороните их, как героев, это был достойный противник.

Наверняка это один из мифов. Апокриф.

Но нет дыма без огня. Бои были.

Тринадцатого марта 1995 года 324-й мотострелковый полк штурмовал позиции сепаратистов у селения Чечен-Аул. Целью атаки был захват переправы через реку Аргун. Переправа открывала дорогу на Шали с запада. Бой шел восемь часов, но федералы не смогли взять мост. Через день, 15 марта, атака повторилась. И снова безуспешно.

Двадцать четвертого марта началось общее наступление группировок федеральных войск «Север» и «Юг» на Гудермес и Шали. По плану командования 324-й мотострелковый полк должен был продолжать демонстративные наступательные действия в районе Чечен-Аула, чтобы отвлечь силы и внимание противника от главного удара 503-го мотострелкового полка с запада, а также от второго удара силами 506-го мотострелкового полка с противоположного, восточного направления.

И 324-й мотострелковый полк продолжал демонстративные атаки на укрепленные позиции, бетонированные окопы по берегу реки Аргун. А чеченцы продолжали сражаться в окопах, как при каком-нибудь Сталинграде, думая, что удерживают важную переправу и дорогу на Шали. Что от их стойкости и мужества зависит успех операции и даже победа в войне. Видимо, тогда и произошла эта апокрифическая история с Гектором и Парисом чеченской Трои. Может быть, Гектор не был уверен в стойкости нежного Париса. Может, сам Парис не был уверен в своей стойкости. И они сцепили две свои смерти в одну, прикрутили проволокой.

Это была ненужная и бессмысленная храбрость. Пока герои защищали переправу через реку Аргун, прикрывали своими телами дорогу на Шали, пока они погибали в окопах под артиллерийским и минометным обстрелом, за их спиной 503-й и 506-й полки федералов уже блокировали город.

Какие, к чертовой матери, переправы? Какие мосты, позиции и окопы? В современной войне это глупо. Танки и боевая техника пехоты форсируют водные препятствия. Мы же видели это сами. Мальчишками мы ездили на «солдатский пруд», так он назывался. На восток от Шали, как раз там, где в 1995 году развертывался 506-й полк. А раньше, в 80-е, когда мы учились в школе, советские военные проводили учения. Собственно, ради таких учений и был вырыт пруд — для отработки форсирования водных препятствий. Мы смотрели, как танк-амфибия заходит с одного берега в воду и через считанные минуты выходит на другой берег. БМП не ныряет, а плывет по воде.

И есть самолеты, вертолеты, ракеты, спутники и черт знает что еще. Только сумасшедший может вырыть окоп и оборонять его, думая, что так он выиграет войну.

Наверное, один из таких боев позже, уже в «Белом Лебеде», вспоминал Салман «Титаник». Вспоминал, что ему было страшно, по-настоящему страшно, когда мины ложились одна за другой, рвались рядом, разрывая в клочья тела бойцов. Но когда после обстрела федералы двинулись вперед, уцелевшие ополченцы снова встретили их огнем.

Это было самоубийство, а не бой. Любое позиционное сражение первой чеченской превращалось в бессмысленное самоубийство чеченских подразделений. Оно провоцировало регулярные части российских войск на применение тотального оружия: артиллерии, минометов, ракет и бомб. После соответствующей обработки любая укрепленная позиция становилась братской могилой для окопавшихся. Если же оборонительным рубежом становился населенный пункт, то он мог быть подвергнут уничтожению вместе с мирными жителями.

Еще в первую чеченскую стало ясно, что больший эффект приносят неожиданные вылазки, диверсионные операции, стремительные рейды мобильных многофункциональных боевых групп.

Это поймет и Салман. «Титаником» его станут называть позже, из-за титановых пластин, вживленных ему в голову вместо выбитых осколком фрагментов черепа.

Как же должна была болеть его голова! Операция спасла ему жизнь, но, чтобы облегчать страдания и сохранить мозг, он должен был постоянно принимать таблетки, поддерживающие в норме внутричерепное давление.

Салмана Радугева в «Белом Лебеде» никто не убивал.

Ему просто перестали давать таблетки.

Сразу после того как российское телевидение закончило съемки фильма о Салмане «Титанике», враге России номер один, дерзком диверсанте и террористе, вездесущем и бесстрашном, неуловимом и, казалось, бессмертном — раньше, а теперь: бритом, без бороды, в робе клоуна-садомазохиста, раздвигающего ноги и впечатывающего руки в тюремную стену несколько раз на дню по команде надзирателей. Испуганно и бодро повторяющего: заключенный номер! Статья номер!

Он играл свою роль в последнем реалити-шоу. Он оправдывал свое поведение: я представляю себя в военном отряде со строгой дисциплиной, это помогает мне переносить режим заключения. Он собирался писать книгу, о себе и о своей роли в истории, о своей роли в войне. Потому что он до самого конца упорно старался считать себя солдатом, военнопленным, а не уголовным преступником. Об этом он собирался написать в своей книге, когда смягчат режим заключения и позволят ему писать.

Но когда съемки закончились, когда он доиграл свою роль — ему перестали давать таблетки.

И он умер, сам.

Но, конечно, не сразу.

Много дней он заходился криком от адской, невыносимой боли, ползал по камере, умолял: лекарство! Режим смягчили, да, надзиратели перестали выводить обезумевшее от страданий существо на режимные проверки. Обезумевшее. Перед смертью он стал идиотом, от распухания мозга, он все равно не смог бы уже назвать свой номер, не помнил статьи. Он знал и чувствовал только боль, которая была больше, чем мир, больше, чем он сам, хотя умещалась в его черепной коробке, залатанной титановыми пластинами.

Пришел срок, и тюремный врач честно зафиксировал смерть от естественной причины.

Откуда я все это знаю? Я не знаю. Я вижу это. Как будто это происходит со мной. Мой доктор говорит, что это галлюцинации.

Всевышний, как может болеть голова! Снова эта резь в висках, тупая боль в затылке. Мне трудно концентрироваться, трудно сохранять последовательность в своем рассказе и рассуждениях. Придется перевернуть страницу назад, чтобы вспомнить, о чем я начинал писать.

Да, в первую войну мы еще пробовали обороняться, по старинке, по привычке, инерции, по памяти сороковых годов, ставшей архетипом советского сознания в форме кинофильмов, таких как «Батальоны просят огня». Теперь мы понимали, что это не имеет смысла. Даже решив покончить жизнь коллективным самоубийством, мы все равно не сможем принять бой в обороне, потому что никто не станет на нас наступать.

Колонна федералов не выйдет из Аргуна, пока командование не убедится в том, что Шали свободно от боевиков, свободно от нас. Российские войска тоже учли опыт первой чеченской. Во второй чеченской генеральная стратегия была такова: в прямые боестолкновения не вступать.

Всякий раз, когда мы пытались навязать русским масштабное сражение лицом к лицу, они отступали. И начинался обстрел, бомбардировки не сдавшихся селений и их окрестностей, пока все боевики не будут уничтожены или не уйдут. А часто и после того как боевики ушли — в наказание. Только когда уже не было никаких шансов наткнуться на организованный отпор, федералы заходили и устраивали зачистку мирным жителям.

Все население Чечни — заложники, все отвечали круговой порукой за наше сопротивление. Если ты держишь в руках автомат, тебя убьют за это. Если ты не держишь в руках автомат, тебя все равно могут убить, убить за того, кто держит, кто ушел в лес или в горы. Поэтому многие сказали: когда в лесу облава и куда ни прячься, все одно — суждено погибнуть от ружей охотников, то лучше быть волком, обнажающим зубы до самой смерти, чем трусливым зайцем, прячущимся в кустах.

Меня зовут Тамерлан.

Я вернулся в Шали из Санкт-Петербурга, с дипломом о высшем юридическом образовании. За семь лет до этого отец привез меня поступать в большой город, который раньше назывался Ленинград.

В каналах северных Фив отражалось свинцовое небо, дрожал амфир набережных, у плотной холодной реки застыли на отморозенных лапах сфинксы. Вдоль по самому длинному в Европе коридору здания Двенадцати коллегий — белые бюсты, колумбарий науки, пыльные древние книги в деревянных шкафах.

Мы сдавали документы в приемную комиссию, и я уже видел себя погруженным в знание, склонившимся над толстыми томами в библиотеке, окружен-

ным проникновенными юношами в очках и светловолосыми девушками с задумчивыми глазами.

Я прошел экзамены, меня приняли. Я набрал проходной балл и к тому же мог рассчитывать на национальную квоту. В центральных высших учебных заведениях СССР порой открыто, порой негласно, но существовали гарантированные квоты на прием абитуриентов с окраин страны.

После зачисления в университет мы с отцом вернулись домой триумфаторами. Только что арку не воздвигли в начале нашей улицы и не стояли вдоль домов с букетами и венками. Родственники и знакомые шли в гости потоком, поздравить и заручиться благосклонностью будущего, кто знает, может, судьи или прокурора. Кто-то был искренне рад, кто-то втайне завидовал и злился, но тоже был вынужден лицемерно льстить и поздравлять.

Для моего бедного отца это было социальное воскрешение, вожделенный реванш. «Шер да ма валла, Тамерлан! — говорил он, хлопая меня по плечу. — Выше нос! Пусть все знают, что Магомадовы еще не погибли, с Магомадовыми нужно считаться!» Отец был партийным и хозяйственным руководителем, был в номенклатуре. И в одночасье рухнул с Олимпа, попал в тюрьму за припаянное ему «хищение соцсобственности», которое потом заменили «халатностью», освободили его в зале суда, но лишили партбилета и доступа к занятию руководящих должностей.

Тогда отец не увидел вокруг себя многих, кого раньше считал своими близкими друзьями.

Теперь они снова стояли у ворот нашего дома, снова шли в гости, вспоминали о старой дружбе. Тамерлан Магомадов, единственный из Шали, кто поступил на юридический факультет самого лучшего, Ленинградского университета. По окончании университета ему, то есть, мне, было гарантировано место в следствии или прокуратуре и быстрый карьерный рост, опережающий продвижение выпускников менее значимого, «регионального», института в Ростове-на-Дону.

Приняв поздравления и подлизывания односельчан, я уехал на Черное море, отдохнуть перед первым в своей жизни годом учебы в университете. На Черном море я подхватил гепатит и остаток лета провалялся в больнице.

В сентябре, еще слегка желтоватый от болезни, я выгрузился с поезда на Московском вокзале города-героя Ленинграда. Я тащил с собой старый коричневый чемодан и хозяйственную сумку из кожзаменителя. В чемодане и сумке были мои вещи, мои книги. А еще банки домашних солений и варений, принудительно включенные в багаж матерью. И две школьные тетради со стихами собственного сочинения.

После заполнения соответствующих документов я был поселен в общежитие на проспекте Добролюбова, на Петроградской стороне. В одну комнату вместе со мной были поселены еще шесть (или семь?) студентов.

Мне было шестнадцать лет.

Сразу по поселении мы начали пить. Школьников, как я, в комнате больше не было, во всей общаге их было несколько человек. Большинство иногородних студентов уже отслужили в армии. Но, обладая внушительным ростом и хорошей переносимостью к большим дозам алкоголя, я сразу смог пить наравне с более взрослыми товарищами, чем завоевал уважение к себе и был принят в сообщество на равных.

Правда, мне не стоило пить, тем более так много и едва вылечившись от гепатита. Моя печень разбухала от ядов. Иногда случались приступы. Но другой жизни в общаге не было. Мы пили почти каждый день, все. Временные перерывы в запоях устраивались только на время сессий. И сессии мы сдавали, переходя с курса на курс, не досчитываясь только некоторых из нас каждый сентябрь.

Антон по кличке «Рэмбо», кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, не выдержал и вернулся в свою Рязань, перевелся в педагогический институт, чтобы снова заниматься в любимой спортивной секции. Костя «Пожарник» вылетел с факультета, но продолжал жить в общежитии и ничего о своем отчислении родителям не сообщал. Людка «Бакалея» захлебнулась собственной рвотой после очередной попойки в комнате Пожарника, ее тело забрали родители, чтобы похоронить в Костомукше или Кандалакше, не помню уже, откуда она была родом.

Но мы, остальные, продолжали учиться и продолжали пить. В это время мир вокруг нас рушился. Менялось все, от учебных программ и имени города до политического режима и экономического строя в стране. К тому времени, когда мы получили дипломы, они были уже никому не нужны.

Наши дипломы были никому не нужны, и мы сами были никому не нужны в этом новом, прекрасном мире.

Высшее образование упало в цене. Не было гарантированной работы, перестали выделять квартиры. Если кто-то и устраивался в государственные органы на службу, то все равно не мог жить на те деньги, которые там платили. Жить можно было, только занимаясь дикой коммерцией, покупая и перепродавая все, от колбасы и колготок до наркотиков и проституток, или бандитизмом, рэкетом диких коммерсантов.

В бандиты ушли многие, едва получив дипломы. Некоторые вернулись домой, в свои провинции, чтобы попытаться устроиться у себя на родине. Алька «Рыжий» с нашей комнаты в день торжественного вручения дипломов мертвецки пьяный валялся на клумбе у факультета. Леша «Рыкман» пристроился бандитским адвокатом. Шура «Гитлер» все же получил направление на работу в карельскую прокуратуру. В жизни больше не было прямых путей, каждый пошел своей извилистой тропинкой.

Еще два года я пытался выжить в России. Меня не взяли работать в прокуратуру из-за моей национальности, ставшей к тому времени приговором. Я занимался коммерцией. Я торговал книгами, ездил из города в город. У меня не очень-то получалось. Я хотел вернуться домой, но дома шла война. Отец запретил мне приезжать. Хотя сам оставался в Шали. Когда первая война закончилась, отец смягчился.

Я собрал вещи в тот самый уже окончательно состарившийся коричневый чемодан и сел на поезд до Грозного. После пересечения «границы», в Гудермесе, меня обыскали ичкерийские «таможенники». Они нашли у меня две тысячи долларов — все, что я смог накопить за два года. Меня вывели из купе и объявили, что я совершил преступление, ввезя на территорию независимой Чеченской республики Ичкерия валюту иностранного государства. За это валюту конфискуют, а меня посадят в тюрьму. Или вообще расстреляют. Если не договоримся.

Мне пришлось согласиться, чтобы ревнители финансово-кредитной системы новообразованного государства забрали себе половину моих денег.

Они вернули мне тысячу долларов и ушли, пожелав хорошей дороги до родного городка. На площади Минутка я сел в битком набитый автобус до Шали.

Я вернулся домой.

Мне было двадцать четыре года.

С моего отъезда до возвращения прошло всего семь лет и целая историческая эпоха. Изменилось все.

Я вернулся на родину после Хасавюртовского соглашения 1996 года, принесшего Чечне-Ичкерии фактическую независимость. Которая стала самым суровым испытанием; испытанием, которое моя маленькая нелепая страна не смогла пройти.

Но мне тогда было более интересным мое собственное будущее, моя частная жизнь. Триумфальные арки по случаю моего приезда уже не возводились. Мой диплом, потерявший ценность в России, тем более не был гарантией трудоустройства в Чечне, объявившей о переходе на законы шариата. В уголовном кодексе, который я изучал в Санкт-Петербурге, ничего не говорилось о том, сколько ударов палкой нужно назначить человеку, позволившему себе появиться пьяным на улице.

Устроиться в суд или прокуратуру я не мог. Да их и не было, если по большому счету. Сохранялись только вывески и муляжи правоохранительных органов. Наиболее эффективным правосудием стало самоуправство. Людям с оружием не нужны законники.

Месяц я сидел дома без дела: читал книги из библиотеки отца, выходил прогуляться, копался на участке. А потом мой двоюродный дядя Лечи по-родственному устроил меня на работу к себе, в Шалинский районный отдел ДГБ — Департамента государственной безопасности. Позже ДГБ был преобразован в Министерство шариатской государственной безопасности, в структуре МШГБ был образован Межрегиональный отдел, в сотрудники которого по Шалинскому району мы были зачислены после аттестации.

Принимая меня на службу, Лечи спросил только о моем отношении к воинской обязанности. Я отрапортовал:

— Освобожден от призыва по причине обучения на дневном отделении высшего учебного заведения! Проходил курс боевой подготовки на военной кафедре Санкт-Петербургского государственного университета!

— Воинская специальность?

— Артиллерист!

— Пушку в глаза видел?

— Никак нет!

— Звание?

— Младший лейтенант!

Дядя покачал головой.

— Присваиваю тебе очередное звание лейтенанта. Нет... присваиваю тебе внеочередное звание старшего лейтенанта Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия!

Лечи удовлетворенно кивнул. Старший лейтенант, без сомнения, звучало лучше, чем просто лейтенант. Он продолжил:

— Зачисляю тебя в штат Шалинского районного отдела Департамента государственной безопасности Чеченской республики Ичкерия. И вручаю тебе личное оружие!

С этими словами дядя Лечи передал в мои руки самый модный в том сезоне мужской аксессуар: пистолет системы Стечкина.

Я был очарован и потрясен. Я оценил подарок. В буквальном смысле оценил. Я видел, такие пистолеты продавались у нас на рынке за сумасшедшие деньги: полторы тысячи долларов! В то время как простой пистолет системы Макарова, ПМ, можно было купить долларов за двести—триста.

Дядя смотрел на пистолет так, что было видно: ему было жаль расставаться с этим оружием. Он вздохнул, но поборол жадность, опустил голову и педантично сообщил:

— Автоматический пистолет системы Стечкина образца 1951 года. Автоматика пистолета действует за счет отдачи свободного затвора-кожуха. Возможно ведение огня одиночными выстрелами и очередями. Кобура может присоединяться к пистолету как приклад, для ведения автоматического огня. Масса пистолета без патронов — один килограмм, в снаряженном состоянии, с патрона-

ми, — кило двести, с кобурой — кило семьсот. Прицельная дальность до двухсот метров. Емкость магазина двадцать патронов.

Поистине, дядя не щадил мою юную психику! Теперь меня охватило изумление. Откуда у дяди Лечи такие детальные познания? Насколько мне было известно, дядя так же, как и я, не проходил действительной воинской службы в Советской армии. Был освобожден от призыва в связи с отбыванием наказания в исправительно-трудовом учреждении.

Из всех своих родственников дядю Лечи я, пожалуй, знал хуже всех и видел очень редко. Не только из-за того, что никогда не был склонен поддерживать и развивать родственные контакты, хотя из-за этого тоже. Но больше потому, что дядя бывал у себя дома нечасто. Пожив несколько месяцев, может, год, на свободе, с женой и детьми, он скоро снова попадал на скамью подсудимых, а за ней — в тюрьму и колонию.

Можно сказать, дядя Лечи всегда вел свою борьбу с режимом, изымая нетрудовые доходы у лицемерных государственных воров, взяточников и спекулянтов.

Тут я обратил свое внимание на стол перед Лечи, и одной загадкой в моей жизни стало меньше. Заметив направление моего взгляда, дядя захлопнул иллюстрированный «Атлас современного стрелкового оружия» и продемонстрировал мне свои практические знания и навыки.

— Подай сюда пистолет.

Я протянул обратно только что полученное оружие.

— Видишь, это предохранитель-переводчик огня. У него три положения. Так — на предохранителе. Так — стрельба одиночными. А так — автоматическая стрельба. Для прицельных одиночных выстрелов курок лучше взводить большим пальцем, вот так. Здесь кобура присоединяется к рукояти... прислоняешь к плечу... можно стрелять, как из автомата. Знаешь, у нас «стечкин» носят только большие шишки!

Я знал. Я уже гордился и понимал, как будут завидовать мне шалинские парни. Из центра села, где в одном из кабинетов бывшего комитета статистики располагал свой штаб Лечи Магомадов, я шел к дому серьезный и несколько высокомерный. Хотя за высокомерием пряталась скорее щенячья радость.

Такой игрушки у меня никогда еще не было!

Я не могу не вспоминать эти наши детские войны всякий раз, когда пишу о войне, сделавшей нас взрослыми. Военные игры, инспирированные искусством, видятся мне зародышем грядущих боев. Может, мы мечтали о войне? Может, да. Или чувствовали ее неизбежность?

Я не думаю, что дело в особой кровожадности и воинственности чеченских мальчиков. Скорее, и русские дети во всех городах и селах играли в те же игры, что и мы. Художественные произведения, скрытая и явная пропаганда приучили нас ждать вторжения, столкновения с врагом и готовиться к защите своей родины. Что как не это имел в виду призыв: «Будь готов!» и наш автоматический, инстинктивный отклик: «Всегда готов!»?

И мы готовились. Мастерили оружие, разыгрывали сражения. Мы были готовы. Просто нам не повезло. Никто не напал на нашу страну, и нам пришлось биться насмерть друг с другом.

Нет оружия, которое не было бы опасным. Иначе оно не назовется оружием. Я запомнил, что нельзя наводить ружье на человека, даже в шутку, даже незаряженное. Запомнил после того, как поиграл с настоящим оружием, охотничьей двустволкой, которая хранилась у нас дома. И едва не убил лучшего друга своего детства.

Она висела в прихожей, рядом с дождевым плащом отца.

Мой отец до сих пор сохранил привычку вставать очень рано. И тогда, когда я был ребенком, он вставал рано, за три часа до работы, и выходил управляться с хозяйством в мглистое и колючее, зябкое утро. Выходя, он брал с собой ружье, заряженное крупной дробью.

Причиной тому были серо-коричневые разбойницы. Крысы. Крысы выпивали яйца в курятнике, грызли цыплят и гусят. На склоне ночи они еще шныряли по двору, не успев попрыгаться в свои глубокие сокровенные норы.

Отец был талантливым стрелком. Вскинув ружье к плечу, он снимал крысу в прыжке или на бегу. Вернувшись после утренней охоты, он вешал ружье на крючок. Не знаю, как стреляет он сейчас. Скорее, он просто не может видеть оружия, тем более прикасаться к нему.

Двустволка висела в прихожей. Там же на полке стояла коробка с патронами. Взрослым и в голову не приходило прятать оружие от детей. Иначе мы не были бы чеченцами. Напротив, отец сажал меня рядом с собой вечером, когда чистил дуло ружья шомполом или снаряжал патроны — вставлял медный пистон в картонную гильзу, засыпал дробь и втыкал пыж из мятой газетной бумаги.

Как-то во время летних каникул родителей не было дома, а мне строго-настрого сказали никуда не выходить. Поэтому я пригласил в гости своего друга Диньку, и мы устроили войну в доме. Я вооружился двустволкой и бегал за Динькой из комнаты в комнату, преследуя его, как красный комиссар белогвардейца. Наконец я припер мальчика к стенке.

— Именем революции! По поручению революционного трибунала! Бабах!
Я спустил один из курков.

Динька схватился за грудь, скорчился и сполз по стене на пол, изображая убитого злодея-контрреволюционера. А меня охватило смутное беспокойство. Я отошел и переломил ружье.

То, что я увидел, заставило меня побледнеть и едва не свалиться в обморок. Эта картинка до сих пор встает перед моими глазами. Вместе с разорванным, окровавленным телом ребенка, ужасом, болью и удивлением застывшими в его глазах, стеной, исколотой дробью и забрызганной красным, густой вязкой лужей, расплывающейся под моими ногами.

Во втором дуле был патрон.

Я убежал в другую комнату, чтобы Динька ничего не увидел, трясущимися руками вытащил патрон в надежде, что он холостой. Но это был снаряженный патрон, с боевым пистоном и крупной охотничьей дробью. Такая дробь при выстреле в упор превратила бы тело мальчика в кровавую мешанину.

Мой палец только случайно нажал другой спусковой крючок.

Моя жизнь могла бы быть разрушена этим ужасом уже тогда.

Правда, потом пришло время других ужасов, и моя жизнь все равно оказалась разбитой.

Но я вспоминаю эту историю всякий раз еще и тогда, когда слышу дискуссии о разрешении гражданам свободно приобретать огнестрельное оружие. Винтовка, повешенная на стену в первом акте, в последнем обязательно выстрелит, так бывает всегда. Говорят, что раз в год стреляет даже незаряженный пистолет. Один раз в году, и этого достаточно.

Все, кто производит, перевозит, хранит или продает оружие, должны помнить, что оно выстрелит. Оно обязательно кого-нибудь убьет. В этом его смысл, назначение. Клинок выпьет свой глоток крови, дуло содрогнется в оргазме выстрела. Они найдут руку, которая поможет в этом.

Оружие делает человека господином над другими людьми, и оружие делает человека своим рабом.

И вот мы сидим на горах оружия, мегатоннах боеприпасов и рассуждаем о мире. У нас есть автоматы и пистолеты, танки и авианосцы, ракеты и атомные бомбы, и мы утверждаем, что не собираемся воевать. Тогда зачем мы имеем все это?

Даже сейчас, пока я пишу эти строки, пока ты читаешь их, смертельные смеси замешиваются, снаряды начинаются, вытачиваются патроны. Что мы будем делать со всем этим?

Самый логичный способ утилизации боеприпасов — это война.

У нашей войны была и эта дьявольская причина. Новой России остались склады, набитые смертью. И вот бомбы и мины повалились на города и села так кстати восставшего региона, восставшего и превратившегося в могильник для захоронения боеприпасов, срок угрюмого хранения которых на складах вышел весь. Потому не жалели ни бомб, ни снарядов. Даже оставили часть другой стороне, чтобы они тоже утилизовывали, чтобы работа шла веселее, звучала громче, как фортепианная пьеса в четыре руки.

Теперь мой отец не может смотреть на оружие, не возьмет в руки даже охотничью двустволку. А мне оказалось мало того случая, и я шел по улицам Шали счастливым и гордый, с пистолетом Стечкина в кобуре, стучащим по моему бедру.

Прошло время, случилось многое, прежде чем и я излечился от своей любви к оружию. Оно уже не волнует меня. Оно не пугает, нет. Вид оружия и даже мысли о нем делают меня печальным.

Тогда я не рассказал своему другу Диньке о том, что поневоле сыграл с ним в русскую рулетку на его, Диньки, жизнь. С преступно маленьким для Диньки шансом выжить: одним из двух. Даже сумасшедшие русские офицеры давали себе больше шансов, вкладывая один патрон в барабан револьвера на шесть чеек...

Я бы рассказал ему сейчас, но не знаю, где он, и даже не уверен, что он еще жив. Что Динька, порой я не уверен, что сам до сих пор живу.

Мне следовало родиться старым. Старым, усталым и мудрым. Но молодость неизбежна. И я был маленьким злобным щенком, волчонком, радостным оттого, что заполучил такой острый, сверкающий новый клык. Я шел по родному селу и чувствовал себя победителем. Чувствовал себя лучшим, избранным.

Во все времена право ношения оружия было особой привилегией элиты. Рыцарь гремел доспехами, дворянин бряцал шпагой, подвешенной на боку, шествуя мимо безоружного быдла, народа. И эта привилегия во все времена означала одно: мы, и только мы имеем право убивать. Поэтому мы носим оружие, чтобы вы помнили и повиновались. Право убивать, безнаказанно, право быть судом и законом для других — вот что такое власть. Вот что такое успех. И что значит оружие.

Однако с каждым шагом, который приближал меня к родительскому дому, мои уверенность и гордость сходили на нет, а на их место приходило беспокойство. Я не знал, как я объясню отцу и матери. И знал, как они ко всему этому отнесутся.

Я еще надеялся, что прошмыгну в свою комнату незамеченным и хотя бы отсрочу неизбежные объяснения. Но мама стояла у ворот и вглядывалась в улицу своими подслеповатыми глазами, она ждала меня, чувствовала. Я подошел к воротам, стараясь держаться левым боком, и спросил:

— Мама, почему ты не дома?

Это было глупо. Мать заметила португепю, заметила кобуру. Да и как не заметить ее, деревянную, размером и очертаниями как баранья нога? Она не стала отвечать. Не стала и спрашивать. Она тихо заплакала и, не обняв меня, повернулась и вошла во двор.

Все сразу. Во дворе сидел отец и пытался починить табурет. Работать руками у него получалось не очень хорошо. Я подошел, молча, не скрывая своего нового достоинства.

— Ты!.. придурак! Что, думаешь, ты... да я тебя сейчас!..

Отец даже рванул ремень на своих брюках, но тут же съезжился и сел, горестно охватив голову руками.

— Папа, мне нужно работать. Не буду же я век копать огород и сидеть на твоей шее? Твой двоюродный брат, Лечи, взял меня к себе. А оружие — это просто так положено. У меня даже патронов к нему нет!

— Зачем, зачем, сынок? Разве нельзя найти работу, чтобы не носить эти страшные пистолеты?.. Не стоило тебе возвращаться в Чечню!

— Папа, нет сейчас другой работы. Прокуратура в подвешенном состоянии, сидят в кабинетах, никаких полномочий, зарплату им никто не платит, власти Ичкерии российские правоохранительные органы или распускают, или не признают и заменяют своими. И где сейчас чеченские парни не берут в руки оружие? Думаешь, в России не берут? Только и делают, что бегают по улицам с пистолетами...

Отец махнул рукой, застегнул ремень и пошел утешать мать.

Отцовского ремня я никогда не знал и в детстве, тем более неуместно это было теперь, когда я вымахал во взрослого здорового мужчину.

За все мое детство и отрочество отец ударил меня всего один раз. Мама шлепала часто, за мои провинности и шкоды. Хватала тапок и лупила куда придется. Это было не то чтобы больно, но обидно до слез.

Папе не приходилось применять в воспитательном процессе силу. В нашей патриархальной семье маме было достаточно произнести крайнюю угрозу: «Я расскажу об этом отцу!», чтобы у нас, детей, тряслись все поджилки и мы жалели, что не получили свою взбучку на месте, от матери, раскрывшей наше очередное преступление по горячим следам. Окрика или просто сурового взгляда отца было достаточно, чтобы повергнуть меня в трепет.

Я прошел в дом и заперся в своей комнате. Душа была не на месте. Я взял книгу, первую попавшуюся книгу с полки, и попробовал читать. Прошел час, я переворачивал страницу за страницей, но едва ли понимал, что я читаю. Вот и сейчас я даже не помню, что это была за книга. Может, Бунин. Может, Гумилев. А может, англо-русский словарь или том энциклопедии. Я мог бы с таким же успехом читать расписание поездов или справочник по агрохимии.

Мать постучала в комнату и позвала ужинать. Мы сели за стол. Мать разливала по тарелкам кроваво-красный борщ с говядиной. У нее получалось медленно и неловко, но ни отец, ни я не помогали — не хотели обидеть. Даже больная, мать старалась выполнять свои обязанности хозяйки дома и находила в этом свое утешение.

Весь ужин мы молчали. Только когда разлили по кружкам чай и мешали сахар стальными ложечками, отец сказал:

— Ты уже взрослый. Я все понимаю. Ты сделал свой выбор. Или, может, ты прав в том, что выбора у тебя не было. Но я не хочу видеть тебя каждый день в своем доме с этим пулеметом на ремне.

— Папа!..

— Слушай меня!.. Уходи отсюда. Иди в наш старый дом и живи там.

Мать не выдержала и снова заплакала.

Доктор, мне тяжело об этом вспоминать. Если бы вы знали, как тяжело! Меня никогда не оставит чувство вины. И ведь ничего нельзя сделать! Я даже не знаю,

был ли я прав и был ли у меня другой выбор. Но я чувствую, что я — все равно — виноват. Перед ними.

Это покажется странным, но другой вины за мной нет. Нет, мне не снятся убитые русские солдаты. Я вообще их не помню. Я стрелял, да. Я стрелял, в меня стреляли. Это мало похоже на преступление. Это такая игра, жестокая. И ты все равно ничего не понимаешь, когда происходит убийство. Право солдата убивать щедро оплачено тем, что он сам может быть убит в любую секунду.

Поэтому ты не чувствуешь вины. Ни вины, ни жалости. Если ты воин, конечно. Если ты пахарь или ремесленник, которому дали в руки ружье, ты обречен на кровавые кошмары до самой своей смерти. Но мы все были воинами. Даже я, тихий мальчик, чуть ли не игравший на скрипке.

На скрипке... нет, на скрипке я никогда не играл. Я учился в музыкальной школе по классу фортепиано. А оказалось, что я тоже солдат. И я был рад этому. Горд, наверное. Чувствовал себя мужчиной.

Раньше у меня были большие сомнения по этому поводу.

Нет, не в этом плане. Просто... вот мне всегда было сложно ударить человека кулаком в лицо. Я вообще не любил драться. И не очень умел, если признать. Чему-то пришлось научиться, иначе как было выжить на улице? Но я не любил. Все это: боль, кровь... даже в драке я старался не бить, старался зафиксировать соперника удушающим приемом, завернуть ему руки, обездвигить и обезвредить, но не разбивать ему в кровь лицо, не бить под дых или между ног, чтобы он согнулся от страдания.

А убивать... убивать оказалось гораздо проще.

Это как стоять за станком в цехе. Ты только нажимаешь какие-то кнопки, крутишь ручки, переключаешь тумблеры.

Поэтому... нет, у меня нет никакой психологической травмы.

Я виноват только перед ними. Перед своими отцом и матерью.

Нам, конечно, было бы легче, если бы матери благословляли нас на битвы, а отцы передавали в наши руки свое оружие. Когда-то, наверное, это было так. Да, я не какой-нибудь абстрактный гуманист. Я думаю, было время, когда войн нельзя было избежать. И каждый мужчина был обязан сражаться. Иначе родной отец отказал бы трусу в родстве и крове.

Но сейчас... мой отец прогнал меня, потому что я взял в руки оружие. Хотя тогда я еще и не думал сражаться. Я не мог представить себе, что буду стрелять из «бараньей ноги» по живым людям. Это была игрушка, украшение, знак моего нового положения, не более! Но старшие, они понимали, что значит — взять в руки оружие.

И нас никто не благословлял.

Не было ни одной матери, ни в Чечне, ни в России, которая отправила бы своего сына на эту войну.

Потому что они уже давно не нужны, войны. Да, были, справедливые, неизбежные. Последней такой войной была смертная битва с фашизмом. Выбор был: или уничтожить врага, или обречь на гибель все человечество. А сейчас — нет. Сейчас любая война — это преступление против человечности, это ошибка, это грех. Мы уже выросли, только никак не можем этого понять! Да, раньше. Еще раньше все люди были каннибалами, и это, наверное, тоже было необходимо, чтобы человечество могло выжить в том, голодном и враждебном мире. Но потом, потом научились сеять злаки, приручили коров, есть друг друга стало совершенно не обязательно! И ведь все равно ели, какое-то время. По инерции. В силу традиции ели. И кровавые жертвы приносили богам, когда других богов не было, когда только так могла существовать религия, делающая из двуногого зверя человека. Но пришли пророки, сказали: все, больше никакой крови. Ваш

Бог не хочет этого от вас. Принесите ему на алтарь цветы и воду, принесите свою любовь, свою молитву — вот ваша жертва. Ведь все меняется, и мы карабкаемся из ада на свет! А продолжаем войны, когда они уже стали простым убийством, непростительным. И призываем героических предков в свидетели. А они смотрят на нас как на сумасшедших, потому что мы сумасшедшие, они говорят из глубин веков: безумные, забудьте нашу смертельную доблесть, у нас просто не было выбора! Мы убивали и умирали, но для того, чтобы вы — были, и чтобы у вас был выбор. И он есть! Теперь вы можете не воевать, война не решает ни одной вашей проблемы, война — это только война.

Но мы подобны людоедам, которые, будучи завалены самой вкусной пищей, все же не могут отказаться от мерзкой привычки есть человечину.

Может, старшие и не понимают этого так, как я сейчас рассказал, но сердцем видят. Поэтому, во всем мире ни одна мать не благословит своего сына ни на какую войну, как это было раньше.

Тогда я тоже не понимал. Но мне было тяжело. Что-то щемило и ныло внутри, когда я собирал свои вещи, уходил из родительского дома. Я взял одежду, несколько книг. Уложил в чемодан «Стечкина», забросал его сверху нестираным бельем. В тот же вечер я ушел.

Наш старый дом был далеко, вверх по течению реки Басс. Простая мазанка из саманных кирпичей, крытая позеленевшим от времени шифером. Одна большая комната с русской печью, маленькая комната у кухни, кухня и прихожая. Дом был поставлен моим прадедом сразу после возвращения на родину из казахских степей, куда чеченцев выселили в 44-м году. Он стоял на родовой земле моих предков. В одном дворе построились сразу несколько братьев, теперь здесь жили мои дядья. Отец переехал в кирпичный коттедж на другом краю села уже после моего рождения.

Теперь невестка, жена двоюродного брата, следила за нашим старым домом и заодно, чтобы помещение не пропадало даром, держала в нем всякий хозяйственный хлам. Я притащил свои вещи уже затемно, дверь была не закрыта — зачем закрывать двери в родовом дворе? Включил тусклую, засиженную мухами лампочку, разгреб барахло и застелил деревянную лежанку, стоявшую у оконца. Попробовал сразу заснуть, но у меня ничего не получилось.

Помню, что я вышел в сад, который занимал две трети участка, нашел на самом его краю старый священный межевой камень. Он лежал на этом месте уже не один век, закрепляя границы земли моего рода. Считалось, что передвинуть межевой камень — преступление, равное убийству или грабежу. Камень оброс мшистой коркой и наполовину ушел в почву. Я забрался на камень с ногами и долго сидел, обхватив колени, глядя прямо перед собой. О чем я думал?.. Не знаю, я старался не думать ни о чем.

Гражданин следовательно, вам, наверное, это неинтересно, но я расскажу. Вы же сами просили рассказывать все, это стандартная методика допроса, я знаю: сначала выслушиваются показания в свободной форме. Это как в школе: сочинение на свободную тему. Как я провел лето.

А как я провел лето?

Это было лето, я помню. Было тепло. У нас не бывает очень жарко или душно. Прогретый воздух приятен, легкий ветерок с гор кондиционирует атмосферу. Да, там было очень хорошо!

Я говорил с солдатами из России, которые были на той войне. В командировке. Сейчас на войну отправляют в командировку. Такая стала жизнь. И вот, все они вспоминают грязь. Круглый год, в любой сезон, при любой погоде —

грязь непролазная. Как в Хазарии. Так писали о Хазарии арабские путешественники — «грязь непролазная, много овец, меда и иудеев».

Но я не помню про грязь. Откуда она у нас появилась? Может, ее занесли колесами БТР-ов? Может, грязь — как раковая опухоль или вредный сорняк, растет, размножается? Может, землю разбередили, раскурочили, и стала она грязью, а раньше была — почва, крытая дерном, зеленой травой с белыми и желтыми луговыми цветами.

Это было лето, и она была одета очень легко. В длинное платье, скрывавшее ее фигуру и грудь, но легкой тканью, как облаком. На ее голове был платок, тонкий, только полоска. И длинные темно-русые волосы, лежали на спине, завитые в толстую косу.

Она почти не изменилась. Такой я и помнил ее со школы, когда она училась в восьмом классе; в том году у меня был выпускной.

Считается, что мы не должны говорить о любви и сексе. Меня опять будут за это ругать. Но я буду говорить. Я не могу говорить только об оружии и смерти, я хочу говорить о любви, о сексе и о советской власти.

Знаете, за что я люблю советское время? В Советском Союзе была любовь. И был секс, но чистый, непорочный, первозданный. Таким сексом занимались Адам и Ева в раю до грехопадения. Я думаю, они занимались сексом. Распните меня, богословы всех толков, но первые люди в раю занимались сексом, я буду утверждать это и на костре инквизиции.

И это был самый чудесный секс. Сорвать — нет, зачем срывать, — просто наклониться вдвоем к одному цветку и вдыхать его аромат. Смотреть на звезду, утреннюю звезду, даже не прикасаясь друг к другу. Поймать на себе взгляд Евы, который она через миг стыдливо отводит в сторону. Это секс, изначальный секс, и его не заменить никакими оргиями, в которых теперь нам, павшим — просто скучно.

В раю был секс. Иначе зачем Бог дал человеку женщину?

И в Советском Союзе был.

А теперь нет. Хиппи говорили: это как испить воды. Нет, теперь это как опорожнить кишечник. Я знаю, что говорю.

Я люблю советское время. За юных девочек в белых фартуках и бантах, за стремительные пионерские речевки, за запах любви, будоражащий запах. Он стоял в каждом школьном кабинете, он витал над школьным двором. Мы были девственниками и девственницами, все, до первой брачной ночи. Но у нас был секс, и другого секса нам не было нужно.

Ее звали Лейла, и она была моей первой женщиной. Она была моей Евой. Той, которая не осквернила себя, не поддавалась искушению змия, которая навсегда осталась со мною в Эдеме.

Я как-то непонятно все объясняю. Но пусть лучше будет так. Пусть так и останется.

Нет, она не ждала меня, когда я уехал. Она хранила обиду. Считала меня предателем. У нее были основания для этого, доктор. Вот я сейчас перед вами, моя жизнь прошла, вы сами это знаете. Вы знаете это лучше меня. Это ведь не просто так — боли в голове, обмороки. Они ведь для чего-то, все эти разноцветные таблетки. Настанет день, когда таблетки уже не помогут.

Пора проводить черту. Длинную, на всю страницу. Вы же печатаете на компьютере? Вы печатаете, вот и сейчас, вы курите и стучите по клавиатуре, чтобы в конце нашей встречи вытащить из принтера несколько листов, на которых будет записано то, что я сказал — не все, конечно. Даже совсем не это. Но вы протянете их мне, и я подпишу.

Вы печатаете, стало быть, знаете: есть такая функция в текстовом редакторе. Вы проводите линию через всю страницу, потом нажимаете клавишу ввода, и линия преобразуется, линия становится жирной чертой, она подводит итог. Мы подводим итог, и в итоге вся моя жизнь, весь я, все в одном слове: предатель.

Так вот, она поняла это обо мне, еще тогда, в школе.

Я предатель, не она. Она имела право. После всего, что было. После того как я, я — мужчина, я — Адам, первый взял яблоко из пасти змея и надкусил его; без нее.

Я знал, что она вышла замуж. У нее родился ребенок. А потом ее мужа убили. Все это успело произойти за то время, пока меня не было. Пока я был в стране Севера, в стране мертвых.

Я не должен был возвращаться.

Я не вернулся?.. О чем вы говорите? Гражданин начальник, при чем тут все эти бумаги, при чем паспортный стол и справки с места работы? Сестра, не надо плакать. Почему ты плачешь?

Вы думаете, мне это все приснилось? Думаете, это бред, галлюцинации? Ложная память? Вот опять я это слышу: ложная память. Ну и что, что это освобождает меня от ответственности? Кого освобождает? Меня? Но я и есть эта память, и если она — ложная, то меня просто нет.

Вы хотите убить меня. Но еще рано. Вам придется узнать все, что я помню.

Она была в легком платье, и она стояла на перекрестке, у нее в руках была какая-то сумка, словно она хотела сбежать. Но мне это показалось. Наверняка в сумке были просто продукты с рынка. Может, пара вещей для малыша. Мы столкнулись почти нос к носу. Она узнала меня и улыбнулась. Она приветствовала меня почтительно, как полагается, она опустила голову и пошла дальше. А я стоял и смотрел ей вслед, хоть это было и неприлично.

Я знал все о ней, она наверняка слышала о моем возвращении, но до того дня мы не виделись. Мы не встречались специально, я не мог просто зайти к ней в гости, так не делается, если вы понимаете, о чем я.

Но настал день, и я нашел ее на том перекрестке. И после я уже знал, по какой дороге пойду.

Я пришел домой, к матери и отцу. В гости. С тех пор, как я взял в руки оружие, с тех пор, как я стал отверженным, проклятым, меченым, только так я мог приходить домой — в гости. За ужином мы почти не говорили. Когда мать стала убирать со стола посуду, я сказал:

— Папа, я решил жениться.

На миг светлая радость промелькнула на лице матери, которая тут же сменилась выражением заботы. Но я продолжил, я сказал самое главное:

— На Лейле.

Отец молча покачал головой и посмотрел на мать, словно передавая дело в ее руки.

— Но, сынок, зачем тебе жениться на вдове с чужим ребенком? Вокруг так много свободных девушек!

Это сказала мама. Ей даже в голову не пришло, что сама Лейла может мне отказать. Для матери любая невеста не может быть слишком хороша для ее сына. Скорее, она будет недостаточно хороша. Если бы я сказал, что хочу жениться на писаной красавице и наследнице огромного состояния, то и тогда мать заметила бы, что у нее не слишком хорошая репутация и ноги коротковаты — может, ты найдешь девушку получше?

А ведь Лейла уже отказала мне один раз. Давно, еще до того, как вся наша жизнь изменилась. Я просил ее ждать меня и выйти за меня замуж. Я написал ей письмо. Но она не ответила. И ее молчание означало отказ.

— Я люблю ее. До сих пор люблю.

Такие слова не произносят. Такие слова стыдно произносить, особенно перед отцом и матерью. Но что с меня взять? Я всегда был неправильным: несчастный полукровка, щепка в мутном потоке между двумя высокими берегами. Они сами виноваты в том, что я такой! Они — мои мать и отец — родили меня, потому что любили друг друга, и им не было нужно другого основания, ни в законе, ни в обычаях предков.

И, сами не зная, они — и я, так мы выполняем самый тайный завет нашего рода.

Во времена имама Шамиля случилась эта история. Имаму донесли, что в чеченских селениях юноши и девушки встречаются друг с другом до свадьбы, ходят на свидания у горного источника, по обычаю предков, как язычники. Шамиль был взбешен. Они нарушали его *низам*, его наставление. Они, мусульмане, должны были жить теперь, как арабы, первые и лучшие среди мусульман. Юноша и девушка могут не знать друг друга, старшие все решат за них. Приведут невесту с закрытым лицом и поставят перед женихом — прими как судьбу и волю Всевышнего. Шамиль грозил суровой карой отступникам.

Но седые старцы пришли к имаму и защитили любовь. Они сказали: если наши юноши и девушки перестанут заключать браки по собственной взаимной приязни, наш род прекратится. Не будет больше детей, свободных, сильных и гордых, потому что только любовь приносит таких детей. Если ты хочешь убить нас за это — убей, мы будем знать, что погибли, защищая будущее, жизнь наших родов. А ты подумай, кто диктовал тебе твой *низам*? Не был ли это *ибليس*, дьявол, от века желающий погибели человеку?

Имам уступил, и все осталось как есть.

Отца беспокоило другое. Он помолчал, вытер влажным полотенцем губы и усы и только потом сказал:

— Зачем ты хочешь жениться, зачем ты хочешь рожать новых детей, в такое время, здесь? Что будет завтра?.. Что вас ждет?

Я ничего не сказал. Я мог сказать, что, когда вы рожали нас, тоже было тяжелое время. Он ответил бы: нет, тогда было совсем другое. Была вера, надежда на завтра. Мы не были детьми отчаяния; мы были детьми надежды. Какая надежда есть сейчас? Завтра может просто не наступить.

Я ничего не сказал. Даже не пожал плечами. Только опустил голову, потупил взор, изучая трещины на клеенчатой скатерти, покрывавший обеденный стол.

— Зачем ты вернулся? Лучше бы ты остался там, в России. Многие остались. Все, кто мог хоть как-то зацепиться, найти жилье и работу, остались в России. Неужели ты был хуже других? Почему ты вернулся сюда?

— Но, папа! Вы с матерью тоже не хотите никуда уезжать.

Отец покачал головой.

— Мы — совсем другое дело. Мы прожили здесь всю жизнь, нам некуда уезжать, потому что у нас нигде не будет другой жизни. Все наше — здесь. Ты молод, ты можешь начать свою жизнь в другом месте. Жениться там, на чеченке или русской, казашке или еврейке — не важно. Родить детей. Жить, не боясь, что прилетят самолеты и будут сбрасывать бомбы на твой дом.

Наш разговор не мог привести ни к чему. Я уже вернулся, но не только. Я нашел здесь свое место. По крайней мере, мне так казалось тогда. Что я нашел свое место, свой участок позиции, свой окоп. И в этом — правда и смысл.

Мне до сих пор трудно жить, не видя смысла и цели в существовании. Но я уже не верю. Поэтому у меня отключен телефон.

Знаете, раньше я всегда держал телефон включенным. Я ждал звонка. Я не знал, когда мне позвонят, в какое время суток, поэтому и ночью клал телефон рядом с подушкой. Говорят, что это вредно для головного мозга, но мне было все равно. Это не имело значения по сравнению с важностью того звонка, которого я ждал.

Нет, я не знал, кто мне позвонит. Не имел ни малейшего представления. Я знал только — думал, что знаю, верил в это, — что мне скажут. Это будет просто: — Здравствуй, Тамерлан.

И никаких извинений, даже если звонок поднимет меня посреди ночи. Ведь они тоже знают, что я жду этого звонка, что я готов.

— Ты очень нужен нам. Без тебя не обойтись.

Я был готов. Моя дорожная сумка всегда стояла рядом с кроватью.

Но шли месяцы, шли годы, и никто не звонил. Может, они потеряли меня? Может, не могут меня найти? Ведь я сам постарался спрятаться, скрыться.

Так я думал сначала.

Может, время еще не пришло.

Так я думал потом.

Пока не понял: никто не позвонит. Потому что нет никого. И я никому не нужен. И каждый может обойтись без любого другого. Каждый сам за себя.

А раз так, я отключил телефон.

Но тогда я верил, что занимаю свое место. Свой участок фронта. Когда меня не станет, мое место займет другой. Сомкнуть ряды. Держать строй.

Тогда я думал об этом только так, отвлеченно и поэтически. На самом деле я не представлял себе, как это будет на самом деле, в бою, без всяких метафор, когда на место подстреленного у оконного проема бойца встает другой. Я думал, что все будет только так: образно. Слишком много читал, наверное.

В конце концов родители согласились и благословили меня. Мою троюродную сестру, которая раньше работала библиотекарем в школе, попросили стать посредницей в этом деле. Она пошла в дом родителей Лейлы и передала мое предложение.

Да, все происходит именно так. Никаких ужинов в ресторане при свечах и с шампанским, никакого кольца в алой бархатной коробочке. И на заднем плане не начинает играть громче романтическая музыка.

Но в этой тайности, сокровенности есть своя романтика, другая.

Лейла жила в доме покойного мужа.

Когда чеченская женщина становится вдовой с ребенком на руках, у нее есть выбор. Она может остаться жить в доме мужа, с его родителями и родственниками. Под их покровительством. Так она может прожить всю свою жизнь, как вдовствующая королева.

Или она может уйти к своим родителям. Это будет означать, что она готова ко второму браку. Она свободна. Тогда ребенка придется оставить на попечение родственникам мужа. Ребенок не принадлежит женщине, она не может забрать его с собой. Ребенок рожден в семью отца и останется в ней, даже если отца не стало, а мать решила устроить свою личную жизнь.

Лейла жила в доме покойного мужа, с его семьей, и это означало: нет.

Но Лейла не сказала — нет. Она сказала: я согласна. Если мне оставят моего ребенка, если новый муж примет этого ребенка, как своего.

Это была неслыханная дерзость, нарушение всех устоев.

Бедная библиотечка, с тяжелым сердцем взявшаяся за невыполнимую миссию, охала и качала головой.

Тогда спросили совета у стариков, и дело оказалось еще более запутанным, чем представлялось раньше. Старики нашли линию родства, по которой мы были одной крови с Лейлой. Это означало, что я могу взять Лейлу в свой дом, как родственницу, но без ребенка, который должен остаться с родственниками мужа, и не как жену, а как сестру. Но я не хотел, чтобы Лейла была моей сестрой, я хотел жениться на ней! А Лейла не собиралась никуда уходить без ребенка. Это был тупик, и изыскания продолжались.

По другой линии я оказался связанным кровным родством с покойным мужем Лейлы. Это означало, что я могу принять ее ребенка, не нарушая обычаев, если более близкие родственники не имеют возможности опекать ребенка сами и согласятся. Семья покойного мужа была в упадке, потеряв почти всех своих мужчин в первой войне, и это дело можно было уладить. Но так решался вопрос с ребенком, не с Лейлой.

Получалось, я мог взять в свой дом одновременно ребенка, как своего родственника по покойному мужу Лейлы, и саму Лейлу, тоже как родственницу, но не как жену. Кровосмесительные браки строго запрещены обычаями!

Нам на помощь пришла математика. Нас спасли цифры. Запрет внутриродовых браков распространяется на кровное родство до седьмого колена включительно. Знатки генеалогии вывели, что наша кровная связь с Лейлой отдалена восемью коленами предков, а родство с ее покойным мужем насчитывает всего шесть колен. Таким образом, я мог жениться на Лейле, не нарушая табу, а ее ребенка взять к себе как родственника по линии ее мужа.

Я допускаю, что эти вычисления были слегка натянуты. Но они позволяли нам всем сохранить лицо, соблюсти формально обычай.

И осенью мы сыграли свадьбу, *ловзар*.

Это была тихая свадьба, с самым минимальным обрядом, без шумных празднеств. Ведь Лейла не была уже девушкой, да и брак наш в глазах многих оставался сомнительным.

Лейла пришла в мой маленький дом с вещами и ребенком. Она постелила себе в комнате рядом с кухней, там же поставила деревянную колыбель. В первую ночь она пришла в мою комнату и, не раздеваясь, в ночной сорочке легла рядом со мной. Я взял ее руку в свою. Мы молчали и смотрели на беленый потолок.

Потом заплакал ребенок. Лейла вышла, вернулась с закутанным в легкое одеяло сыном и положила его на кровать между нами. Дите перестало плакать и счастливо засопело во сне. Мы слушали его дыхание и погрузились в сон.

Так мы стали жить. Тогда мне показалось, что мудрецы — нарочно ли, случайно ли, — но перепутали цифры. И Лейла все же больше сестра, а не жена мне. От этого мне было грустно, но и светло.

Быть рядом с ней, с ребенком, который пусть и не был моим, но все же был мне родным, и даже с двух сторон — это и есть мое место. Это тоже мое место, так думал я. Даже в молодости я понимал, что долг — гораздо более прочное основание жизни, чем чувства. Я всегда понимал это.

И поэтому еще более горько то, что в этой жизни я всегда оказывался предателем, в конце концов.

Господи, зачем вы привезли меня сюда, теперь, после стольких лет! Да, я знаю, вы хотели как лучше. Чтобы ко мне вернулась настоящая память, чтобы я излечился. Я сам хотел, знаю.

Я думал: может, тогда прекратятся сны. Моя душа попала в ловушку. Этих мест, этих стен, но в другое время. Каждую ночь, еще не погрузившись в забытие, я вижу сначала место и успеваю запомнить: сегодня это будет восьмая школа. Или дорога на Сержень-Юрт. Это обычные декорации для моих снов, даже если сюжеты и действующие лица не имеют никакого отношения к той, прошлой жизни.

Я думал: когда я приеду сюда и не узнаю этих мест, когда я увижу, что все стало совсем другим, и вдоль дороги новые дома с шафрановым — как это называется? — сайдингом, и школа отремонтирована, практически отстроена заново, и все, все совсем другое! — тогда декорации медленно рухнут, как в замедленном кино, они обрушатся, они растают, как сахар в кружке горячего чая, их больше не будет, и моя душа станет свободна.

Может быть, это и так. Может, так и случится. Сегодня я усну и посмотрю, где окажется моя душа. Я расскажу вам об этом утром.

Но пока я не могу спать. Я один в пустом родительском доме. Где каждая трещинка пола, отлепленный уголок клеенчатых обоев, этот старый желтый линолеум, истертые ковры, все то же, и мебель — та же мебель, что была тридцать лет назад!

Боже, но все стало таким маленьким! Таким жалким, жалостным.

Я не могу сдерживать слез. Рыдания вырываются из моей груди. Пусть. Никто не видит. И вы никому не расскажете.

Ведь я обещал, что больше не буду плакать.

Бедные, бедные, бедные мы!

Бедные мои родители!

Как я люблю вас! Как жалею.

Были ли вы, были ли вы хоть когда-нибудь, хотя бы один день — счастливы? Если да, то только этим может быть оправдано все.

Как вы боролись, как трудились, верили — без всякой надежды. Вера. Вера, Надежда, Любовь. Надежда — лишнее имя в этом ряду. Любовь рождает веру, вера питает любовь, даже когда нет никакой надежды, чем меньше надежды, тем сильнее любовь, крепче вера.

Во что верили — вы?

Как хорошо, что нет этого гадкого желтого синтетического ковра! Его выкинули — слава Богу!

Несколько лет мы не могли купить никакой новой мебели, даже стула, даже маленького коврика, не могли сделать ремонт в доме, поклеить обои, настелить новый пол. А старый линолеум, он уже тогда рвался и пузырился. И однажды мы с папой привезли из Грозного рулон, пахнувший горелой пластмассой — самую дешевую синтетическую дорожку, которую только смогли найти. Мы постелили ее в коридоре. Как радовалась мама! Папа, ты помнишь? Я знаю, ты помнишь. Ты никогда не сможешь забыть.

Будь проклята бедность! В нашей короткой жизни, которая начинается и заканчивается болью, из-за нищеты мы не можем купить себе даже радость мелочей, мелочь радости, пустяки. Труд и лишения — вот что знали вы, целую жизнь.

Папа, я приехал домой, у меня полные карманы денег, я могу купить новый ковер, шерстяной, настоящий, с восточным узором. Но я не могу купить радости. Я не могу купить времени, даже одной минуты. Ведь мамы больше нет. И я не

могу, я никогда уже не смогу купить для нее одной-единственной минуты счастья.

А вещи стоят, те же самые вещи, все старое, ветхое, отжившее. Я не был здесь много лет, я не купил в этот дом ни одного стула.

Я знаю, здесь появлялись новые вещи. Они появлялись и снова исчезали. Их воровали, выбрасывали, они ломались и портились. Как будто все старое, что сохранилось в этом доме со времени моего детства, не хотело уступать места. Эти старые вещи, они выживали непрошенных соседей, случайных гостей.

Если я выкину вот эту старую настольную лампу, которой уже больше, чем тридцать лет, ты больше никогда не дашь мне ключи от своего дома. Ты хочешь, как прежде, жить в окружении старых вещей. Тех вещей, которые наполняли дом, когда мы были вместе. Когда мы все были вместе.

А на вешалке висит мамин халат. Который она больше никогда не наденет.

Это твой застывший сон, папа, твой остановленный кадр, замороженный рай.

Ведь уже ничего не вернется. И дело не в двух войнах, не в царапинах от осколков на кирпичной стене нашего дома, не в сарае, взорванном прямым попаданием фугаса. Просто время. Время взрывает нас, злее и неизбежнее, чем снаряды и бомбы.

Это так, но с этим почти невозможно примириться. Зная другое: если бы не войны, если бы не бегство, если бы не гибель страны, здесь жили бы новые дети, а женщины мыли посуду и судачили на кухне, и ты не оставался бы один, нет. В этом доме тогда были бы новые вещи. И новая жизнь искрилась, журчала, выплескивалась через край.

Но все кончилось. Наш род вымрет. И этот дом уже никогда не будет живым.

Я хотел приехать сюда, да. Я хотел снова попасть в родной дом.

Но то, что я нашел здесь, называется по-другому.

Это не семейное гнездо, не теплый очаг.

Это фамильный склеп, папа.

Оттого мне кажется, что я приехал сюда умирать.

Двадцать седьмого января 1997 года в Чеченской республике Ичкерия — так называлось это квазигосударственное образование, не признанное ни одной серьезной страной в мире — прошли выборы президента. Республику не признавали, но выборы признали законными, избранного президента — правомочным. На выборах присутствовали международные наблюдатели. Все формальности были соблюдены.

Президентом стал Аслан Масхадов. Полковник Российской армии, аккуратный, педантичный, лопухий. Аслан Масхадов был начальником штаба вооруженных сил Республики Ичкерия при Джохаре Дудаеве. Он оборонял Грозный, потом выводил из Грозного вооруженные формирования. Он создал из ничего регулярную армию республики. Аслан Масхадов подписывал от имени Ичкерии мирное соглашение в Хасавюрте в 1996 году. К тому времени Дудаев был мертв. Считается, что его уничтожили точечным ударом ракеты, наведенной по сигналу спутниковой связи, которой пользовался лидер Ичкерии.

Масхадов опередил на президентских выборах своего главного соперника, альтер-эго проекта независимой Чечни, Робеспьера ичкерийской революции, полевого командира и террориста — Шамиля Басаева. За год до Хасавюрта Шамиль Басаев совершил свой знаменитый рейд на Буденновск. В Буденновске Басаев и его боевики захватили больницу и заставили российское руководство принять условия террористов. Это был первый и последний удачный опыт за-

хвата заложников боевиками. Позже, при Норд-Осте и Беслане, российские власти предпочтут убить заложников вместе с бандитами, но не идти на уступки.

Справедливости ради надо сказать, что Шамиль Басаев не первый использовал такую тактику в русско-чеченской войне. Первым по праву следует назвать российского офицера, командира подразделения специального назначения. Во время боевых действий его бойцы вошли в село Шатой и оказались в окружении боевиков. Тогда офицер передал противнику, что, если чеченцы будут стрелять, они вырежут в селе всех женщин и детей. Боевики были вынуждены пойти на уступки. Подразделение федералов вышло из окружения почти без потерь, офицер стал прославленным героем.

Потом был Буденновск. Счет сравнялся — 1:1.

Повторить этот успех российским военным тоже не удалось. Жертвы среди мирного населения позже не останавливали боевиков.

Шамиль Басаев чувствовал себя обойденным. Он считал, что у него украли победу. Он думал, что именно его террор поставил Россию на колени.

Но подпись под соглашением в Хасавюрте поставил Аслан Масхадов.

Президентские выборы должны были показать, кого народ и история считают победителем, генералиссимусом первой чеченской войны. Басаев был почти уверен в успехе. Но он проиграл.

Чеченцы выбрали Масхадова. Выбрали именно за то, что Басаев всегда считал слабым местом полковника: за его желание мира с Москвой. Мало кто хотел вечного джихада, люди хотели жить здесь и сейчас, а не умирать, в надежде воскреснуть в раю, среди малолетних гурий.

История выбрала Масхадова. Полковник тоже был уверен в своей правоте, в том, что именно он выиграл войну. Образованный офицер, он знал историю войн и революций на этой планете и в этой стране. Он помнил, что в столкновении с любым ополчением, с бандитами, с повстанцами победу в конце концов всегда одерживает регулярная армия. Это теорема, доказанная бунтами Разина и Пугачева, имевшими огромную поддержку среди населения и все же потопленными в крови. Доказанная, с другой стороны, революцией большевиков, которые победили именно потому, что отказались от идеи свободного вооружения трудящихся для самозащиты завоеваний революции и создали регулярную армию. Теорема, доказанная столько раз, что уже превратилась в аксиому.

Регулярная армия, этот бездушный механизм, этот металлический строй дисциплинированных терминаторов, свобода и индивидуальность каждого из которых сведена к математически несущественной величине, побеждает все и вся. И никакие способности, никакой героизм свободных и независимых друг от друга и от командира повстанцев не помогут пробить строй регулярных воинских частей, солдаты в которых могут быть даже трусами и слабаками, главное — чтобы они подчинялись приказам, даже если и это они делают тоже от страха и слабости.

Солдат не должен быть героем. Герои создают больше проблем, чем способствуют общей победе. Солдат должен забыть о собственной значимости, о том, что он — самоценная личность. Поэтому в регулярной армии все должны быть бриты и одеты одинаково, иметь стандартное вооружение и знать наизусть устав. Для этого до сих пор и в армиях, оснащенных самым передовым и высокотехнологичным оружием, столько внимания, времени и сил уделяется строевой подготовке — умению вышагивать в ногу и перестраиваться на плацу — умению, казалось бы, совершенно бесполезному при современных способах ведения боя.

Раньше, в Российской армии, Аслан Масхадов командовал самоходно-артиллерийским полком. Его полк был лучшим по боевой подготовке в военном

округе. Но в дивизии полк Масхадова называли «дурным» за муштру и постоянные строевые занятия, в которых должны были участвовать все офицеры. Сослуживцы полковника Масхадова многого не понимали.

Нале-во! Напра-во! Подчинение командам доводится до автоматизма.

Героизм невозможно воспитать. Но можно привить автоматизм движений. И это все, что нужно для общей победы.

Воины Александра Македонского покорили мир, потому что стояли в строгих фалангах, а их враги только сбивались в толпы. С тех пор ничего не изменилось.

Можно сказать откровенно: зомби. При столкновении с живыми всегда и везде побеждают зомби. Из солдата нужно сделать живого мертвеца. Для этого и нужна военная подготовка. В любой армии мира используются те же самые психотехники, что и в тоталитарных сектах. Недосыпание и недоедание, постоянные стрессы и усталость повышают внушаемость. Делают человека управляемым. Отсутствие нормальной сексуальной жизни погружает человека в угнетенное состояние, и он становится готовым принять доминирование над собой. И неуставные отношения служат той же цели: унижить, растоптать достоинство человека необходимо для того, чтобы он стал бездумным орудием убийства.

Знаете, они выглядят просто смешно, все эти защитники прав и гуманисты, но еще смешнее выглядят генералы, когда всерьез говорят о том, что нужно улучшить условия прохождения воинской службы, сделать их более человеческими. Сама суть армии отрицает человечность. Создайте солдатам условия для полноценного сна и питания, дайте им время на досуг, смягчите режим — и у вас не будет армии. Только сброд, сборище неповторимых индивидуальностей, которые еще подумают: а почему я, собственно, должен убивать человека, который лично мне не сделал ничего плохого? И если я все же должен стрелять, то почему именно туда и именно так? И так ли важна эта позиция, что я действительно должен стоять на ней до смерти?

Можно ли выиграть войну, имея армию, состоящую из таких солдат?

Нет. Их победят зомби, редуцированные до функции автоматических шагателей и куркоспускателей: Нале-во! Напра-во! Стой! Цельсь! Пли!

Во время войны в Испании защитники республики знали, за что воюют: свобода, демократия, социализм. У них были идеи и понимание. Они были добровольцами. Они воевали героически.

И были побеждены франкистами. Солдаты франкистов не имели высоких идей. Солдаты франкистов не прославили себя героизмом. Они просто подчинялись своим офицерам.

Успех любой революции и любого национально-освободительного движения зависит от того, насколько быстро вожди сумеют предать свои собственные принципы и сформировать эффективную регулярную армию. Уничтожить свободу, девизы которой начертаны на их знаменах, раньше, чем это сделают их враги.

И Французская республика становится империей Наполеона Бонапарта, но ставит под свою пяту всю Европу. Предав самое себя, идет с триумфом вперед, строем, пока не встречает на заснеженных просторах России строй еще более плотный.

Победить регулярную армию может только другая регулярная армия.

Банда Басаева никогда не смогла бы победить Россию. Она только дала ей повод согласиться на капитуляцию, сделав вид, что это из сострадания к мирным гражданам. Истинной причиной были почти регулярные части под руководством Масхадова.

Это не была еще настоящая армия, но все же она превосходила в слаженности и дисциплине разложившиеся и бесконтрольные российские формирования в Чечне. В начале августа 1996 года вооруженные формирования под руко-

водством Масхадова фактически захватили Грозный. Снова, как в 1995-м, они устроили федералам мясорубку на улицах города. Боевые колонны 204-го мотострелкового полка, выдвинувшиеся на подмогу из Шали, были почти полностью уничтожены на подступах.

Только Хасавюртовские соглашения спасли остатки российских войск в Чечне от полного разгрома. Это была победа полковника. Его первая и последняя победа.

У нас в Шали саркастически шутили, что одновременно с обретением суверенитета из магазинов пропали сахар и масло по низким ценам. Суверенитета становилось все больше, а еды — все меньше. Еда становилась все дороже, а денег не было. Не доходили пенсии и зарплаты бюджетникам, которые Россия продолжала перечислять в мятежную республику.

Аслан Масхадов приезжал после избрания президентом в Шали и извинялся перед врачами и учителями. Он просил: подождите еще немного! Обещал, что скоро все будет хорошо. Не знаю, верили ли ему, но продолжали лечить и учить. На какие средства все это время выживали люди — остается загадкой. Хотя для каждого найдется свое объяснение.

Кто-то был рядом со властью, а где власть — там деньги. Кому-то помогали родственники из России. Многие занимались частным бизнесом. Продавалось все что угодно. Оружие, боеприпасы, угнанные в России автомобили, самопальный бензин — заправки не работали, зато вдоль дорог стояли лавки со стеклянными банками, в которых желтело прозрачным золотом топливо для двигателей внутреннего сгорания.

В 1999 году, выступая по телевидению, Масхадов признается, что деньги на пенсии и пособия, полученные от России, он потратил на вооружение армии. Чтобы отстоять свободу.

Он купил оружие на пенсии наших стариков и пособия наших детей. Больше не на что было купить оружие.

Брат, тогда, и в Чечне, и в России много говорили о миллионах и миллиардах долларов, которые крутятся в Чечне. Сейчас говорят еще больше. Периодически публикуют и показывают по телевизору сенсационные расследования. Теперь нам рассказывают всю правду.

Всю правду, кроме настоящей правды. Настоящей правды мы никогда не узнаем.

Миллионы, миллиарды. Контрабанда алмазов и золота, вывоз оружия, нефть, деньги, деньги, деньги. Послушаешь, так все страны мира оказывали Ичкерии финансовую помощь. Мы должны были есть с золотых тарелок и срать на золотых унитазах, если бы все это было правдой.

На самом деле у Масхадова никогда не было достаточно денег. У государства не было даже самого минимального бюджета, чтобы поддерживать необходимые инфраструктуры.

Наверное, они крутились, эти миллионы и миллиарды. Только где-то в небе, не касаясь чеченской земли. Наверное, и помощь выделялась. Только ее развозывали посредники, до того, как она попадала к чеченскому правительству. То, что доходило сюда, — только слабый, почти выветрившийся запах денег, не сами деньги.

И больше всего воровали русские. Русские снимали с бюджетных перечислений, наживались на контрабанде, получали взятки. Чеченцы наверняка тоже воровали, если могли. Но не могли своровать так много, как русские: чиновники и бизнесмены, политики и генералы России — все откушали от кровавого чеченского пирога.

Что-то не слышно о миллиардерах с чеченскими фамилиями в списке журнала «Forbes», и после двух войн, со всеми потраченными на них миллионами и миллиардами. Нету секретных миллиардных счетов у вдовы Дудаева. Нет припрятанных миллионов у сына Масхадова. Нет у них ничего.

Мы были и остались нищими. Это было нищее государство, Ичкерия, вот в чем правда, брат.

Сотрудники нашего учреждения жалование получали. Не всегда вовремя, совсем немного. Но большинству было еще хуже, чем нам. У меня был оклад в триста долларов — хорошие деньги по тем временам! Я получал их валютой, от своего непосредственного начальника, дяди Лечи. Расписывался в ведомости.

Я чувствовал себя кормильцем, добытчиком — как и подобает мужчине. В моем доме было достаточно еды. Лейла целыми днями убирала, стирала, возилась с ребенком, готовила. Я приходил с работы, и она кормила меня, обслуживая за столом. Она садилась есть сама только после того, как я закончу и пойду прилечь. Она хорошо ухаживала за мной и за домом.

Но между нами так ничего и не было. И я к этому привык. Мне кажется, я даже перестал хотеть ее. Она еще кормила своего сына грудью. Иногда я случайно видел это. Когда видишь, как женщина кормит грудью ребенка, сексуальное желание к ней уходит стыдливо, уступая место почтению к ней как к матери.

Я заходил к родителям, пытался давать им деньги, но отец всегда отказывался. Он считал нас с Лечи рэкетирами. Я так не считал. Ведь мы работали, мы охраняли правопорядок!

Я все же помогал и родителям. Мне удавалось приносить продукты и передавать их маме.

Да, мы охраняли правопорядок.

Но что такое правопорядок, когда нет ни права, ни порядка? Право, вот ключевое слово. Сначала должно быть право, потом нужно сделать так, чтобы его соблюдали все — это и будет правопорядок. Я был убежденным легистом, законником. Ну, знаете, примат права над общественными отношениями и все такое. Если бы меня попросили, я бы составил для Ичкерии уголовный, уголовно-процессуальный и административный кодексы. Вот это была бы работа! Я мечтал о такой. Но меня не просили. В республике действовал Суданский уголовный кодекс. Мне, воспитанному на римском праве, это претило. Я этот Суданский кодекс в глаза не видел! И не хотел. Мы же не в Судане живем!

Самым распространенным способом охраны гражданских прав и свобод была в то время самозащита. Каждый ходил с оружием.

Но все-таки мы были властью. Мы были легитимны или думали так. И мы охраняли общий порядок в районе. Именем правительства и президента Ичкерии.

И эти шариатские суды были у нас как гвоздь в заднице.

Они формировали собственную, параллельную структуру. Им не нужна была наша силовая поддержка — они опирались на басаевских боевиков, на отряды ваххабитского толка, наставляемые эмиссарами из Саудовской Аравии. Эти парни никогда не подчинялись Масхадову так, как должны были.

И нормативная база у них уже была. Вместо всех кодексов — шариат. Система мусульманского права, основанная на цитатах из Корана, преданиях о жизни Пророка и комментариях к ним исламских ученых. В основном средневековых. Чем древнее, тем авторитетнее. Нормы, созданные для себя арабскими кочевниками, пустынными племенами, всадниками на верблюдах. Черт! Я никак не мог согласиться с тем, что все эти архаизмы могут применяться здесь, у нас, в конце двадцатого века!

Но эти фанатики, они принялись за претворение своего закона в жизнь. Они запретили употребление алкоголя. Нас с Лечи это раздражало. Мы любили посидеть в конце дня в кабинете с бутылочкой русской белой водки.

Они даже устроили публичные экзекуции. Обнаруженных пьяными на улице приговаривали к арабскому наказанию — битью палками на площади. Первой жертвой стал Хас-Магомед, мой сосед по старому дому на верхнем течении Басса.

Хас-Магомеду было сильно за шестьдесят. Его сыновья погибли в первую войну. Его род был слабым, за него некому было заступиться. Старика выволокли на площадь перед базаром, наклонили у скамьи и отвесили несколько слабых ударов. Это было больше стыдно, чем больно.

Но стыдно было не Хас-Магомеду. Он снова напился в тот же вечер и устроил акцию протеста, прохаживаясь в таком виде по главной улице. Стыдно стало всем жителям Шали, что при них избивают старика, а они не могут его защитить.

Во время экзекуции мужчины стояли и трусливо молчали. Только женщины подняли крик, ругая и проклиная шариатский суд. Процедурой руководила пара арабов, которые не понимали ни по-чеченски, ни по-русски. Ругательства прошли мимо их ушей.

Спустя годы, когда вторая война была чеченцами проиграна, и в Шали стояли российские войска, когда мучители Хас-Магомеда либо были убиты в бое-столкновениях, либо прятались в лесах, горах и подвалах, либо вернулись домой или эмигрировали в чужие страны, Хас-Магомед продолжал пить. Я думаю, в своей алкогольной эйфории, сменяющейся абстиненцией, чтобы потом снова смениться эйфорией, он плохо представлял себе последовательность событий, логику истории, развитие ситуации. Впрочем, как и все мы — все мы переходили от абстиненции к эйфории и не понимали, что происходит. Не понимаем и сейчас. Советская власть незаметно перетекла у Хас-Магомеда в дудаевщину, ЛТП ничем не отличались от шариатских судов, и восстановление конституционного порядка ничего не изменило. Секретари райкомов партии становились ярыми исламистами и сепаратистами, потом боевики становились милиционерами, наоборот и снова. А Хас-Магомед оставался верен себе. Он пил.

Федералы объявили в Шали комендантский час. После 20.00 запрещалось выходить из дома. Обнаруженных на улице забирали в комендатуру или могли просто убить. Выстрелить в силуэт на темной улице, чтобы не подвергать себя риску. Дело было плохо. У чеченцев, как правило, в доме нет уборной. И не только потому, что сельские дома исключают сортир и центральную канализацию. Есть еще и сила обычая: место, куда складывается дерьмо, не должно находиться в доме, где живут люди. Это оскверняет жилище. Поэтому сортир возводится где-нибудь в самом конце сада или огорода, подальше от дома. Если огород просматривался, российский патруль мог запросто испугаться тени, шарахающейся между деревьями, в нарушение комендантского часа, и дать очередь. Многие были убиты так, из-за того, что вышли из дома справить большую или малую нужду.

Чеченцам пришлось нарушить обычаи и осквернить свои дома. Завести горшки и ведра, оправляться прямо в доме. Страх, страх.

И только Хас-Магомед, как прежде, ничего не боялся. Он вышел из дома ночью, и даже не в туалет, нет — он вышел на улицу, чтобы поискать себе бутылку водки. Наверняка он знал пару точек, где алкоголь можно было приобрести в любое время суток — и при советской власти, и при шариатском правлении, и при оккупационном режиме. Водку и наркотики всегда кто-нибудь где-нибудь продает.

Патрульные схватили его и затолкали в машину. Стали орать, требовать, чтобы он признался в намерениях совершить террористический акт и сдал со-

общников, которые ждут его с оружием и взрывчаткой. Старик ответил военным своим ультиматумом:

— Или опохмелите меня сейчас же, или отпустите, чтобы я нашел себе сто грамм, или пристрелите прямо здесь!

Офицер придвинулся к Хас-Магомеду и приказал:

— Ну-ка, дыхни!

Хас-Магомед с удовольствием выдохнул прямо в лицо офицеру. Амбре из многолетнего перегара, смешанного с запахом чеснока, заставило русского сморщиться. И поверить, что пьяница не врет.

— Ребята, это не ваххабит. Ваххабиты не пьют. Это наш, нормальный алкоголик.

Солдаты стали смеяться.

— Старик, тебе денег дать на опохмел?

— Я пью на свои! — гордо отказался Хас-Магомед.

Офицер похлопал старика по плечу и распорядился выпустить его.

— Иди, отец. Смотри, больше не попадайся.

Я не знаю, что теперь стало с Хас-Магомедом. Если он не умер от естественных для алкоголика болезней, то наверняка продолжает пить. И не замечает, как Медведевы сменяют Путиных, и не интересуется, кто одержит верх в противостоянии Кадырова и Ямадаевых.

Он далеко, он глубоко, он в другом мире, и всем им его не достать.

Дальше было хуже. Четвертого сентября 1997 года на площади в Грозном публично расстреляли двух человек, женщину и мужчину. Шариатский суд вынес им приговор за убийство на бытовой почве. Расстрел показывали по республиканскому телевидению.

— Это варварство! — возмущался я, сидя в кабинете у Лечи, — к тому же незаконно! В России действует мораторий на смертную казнь. А мы все-таки еще не окончательно вышли из состава Российской Федерации. Единое правовое пространство и все такое.

— Ты поосторожнее про единое правовое пространство, — Лечи оглянулся с беспокойством — смотри, зачислят в пособники оккупантам.

— Да ладно. Бог не выдаст, свинья не съест. Лечи, ну сам подумай, какое может быть у нас шариатское право? Нет, я согласен, это тоже система норм, со своими процедурами. Но кто у нас их знает? Как реально применять шариат? Какая система доказательств? Клятва на Коране? Радуев поклялся на Коране, что видел Дудаева живым в Европе. Еще он всем рассказывает, что в Египте его лично встречал премьер-министр. Надо — на Коране поклянется. Он в чем угодно поклянется. Что к нему явились инопланетяне и передали власть над Солнечной системой. И сколько найдется таких свидетелей! По любому делу! Будут говорить противоположное и держать ладонь на Писании! У нас же не верят ни в Аллаха, ни в шайтана, ни в Ахурамазду! Никто ни во что не верит, все только притворяются! За супружескую неверность жену забить до смерти камнями. Средневековье! Доказательство: свидетельство четырех правоверных. Что они, правоверные эти, свечки будут держать?

— Ты прав — Лечи вздохнул, — черня полная. За первую кражу рубить левую руку, за вторую кражу рубить правую руку... это же беспредел!

Лечи, вор-рецидивист, посмотрел на свои руки.

Мы были против такого прямого толкования исламских норм. И вообще, что до меня, я всегда считал, что Чечня должна быть светским государством. Но шариат был принят республикой как официальная система права, и мы не имели права протестовать. Само учреждение, в котором мы работали, называлось

теперь Министерством Шариатской государственной безопасности. Мы просто матерились, тихо, у себя в кабинетах.

— Скоро они заставят наших женщин носить паранджу! — добавил Лечи.

— Не, женщин они не заставят. Они не такие трусливые, как мы, — отвечал я.

— Это должен прекратить Аслан! Иначе зачем мы его избрали?!

Масхадов молчал. Масхадов хотел сохранить мир внутри чеченского общества, любой ценой.

Шариатчики распоясались. Конфликт назревал на всех уровнях. Несколько наших парней подрались на улице с отрядом ваххабитов. Набили им морды. До применения оружия, слава Богу, не дошло. Так нас наказали за это! Республиканское руководство объявило нам выговор с предупреждением.

Мой дядя Лечи не унывал. Вскоре после получения выговора он заявился в мой кабинет, потрясая желтой полуистлевшей книжицей, и с торжествующим видом заявил:

— Вот ты говоришь: шариат, шариат!

— Да ничего я не говорю, Лечи, — попытался я защищаться.

Но Лечи ничего не слышал и продолжал:

— А знаешь, кто внедрил шариатские суды в Чечне?

— Ну, кто... имам Шамиль, наверное.

— Ага. Еще скажи, фараон Тутанхамон. Большевики! Вот, здесь написано! Это материалы первых северокавказских съездов эр-ка-пэ-бэ. Большевики после революции активно насаждали шариатское судопроизводство для борьбы с национальными пережитками, обычаями, адатом. Им нужно было привести народы Кавказа к единому знаменателю, унифицировать. А когда эта цель была достигнута, тогда, конечно, шариат заменили социалистическим правом.

Масхадов хотел мира, но это было утопией, это было невозможно. Слишком разные цели были у него и Басаева с самого начала. Масхадов хотел видеть Чечню независимым современным государством. Для Басаева республика была только плацдармом. В его планах был исламский халифат от моря до моря и непрекращающаяся война с неверными.

И президент доигрался. Басаев сам сделал первый ход. Оппозиционные левые командиры возбудили в Шариатском суде дело против Масхадова, чтобы добиться его импичмента. Уже тогда могла начаться гражданская война. Мы были готовы поддержать законно избранного президента. Несколько дней обстановка была очень напряженной, в воздухе особенно пахло кровопролитием.

Но гражданская война — это было кошмаром Масхадова. Он избегал этого как мог. И вроде бы президент договорился с Басаевым. Почти все обвинения сняли. Как оказалось позже, ни о чем он не договорился. Он просто уступил.

Третьего февраля 1999 года Масхадов своим Указом приостановит деятельность Парламента и введет шариатское правление. Кто бы еще знал, что это такое?

Масхадов объяснял, что главное — единство. Гражданская война — это то, о чем мечтают наши враги. Чеченцы не способны сплотиться вокруг светской власти. Единственное, чему они подчинятся, — это вера, Ислам.

Так он думал.

Это было его ошибкой. Так я считаю. Он лишил Чечню шанса. Борьбу за независимость светской, цивилизованной республики поддержало бы все мировое сообщество. Но никто не стал бы терпеть в подбрюшьи Европы анклава исламских экстремистов. Мы были обречены.

Годы спустя, сейчас, никто не винит покойного президента за то, что он сделал. Его обвиняют только в том, что он бездействовал, когда должен был проявить решимость. Ему было на кого опереться. Мы стали бы его опорой. Но он

хотел избежать крови. Он добился только еще большей крови, очень скоро. И гражданская война началась. Вторая чеченская война в считанные месяцы превратилось из войны за независимость в гражданскую войну.

Тогда все это было еще впереди.

После провозглашения суверенитета в Шали стали вспоминать, а может, придумывать, что святые шейхи говорили еще при царе: в конце века будет война, и город Грозный разрушат до основания. А Шали уцелеет, война не тронет Шали.

Если такое предсказание и было, то провидцы ошиблись. В 1995 году фугас взорвался на шалинском рынке. С этого все началось. Вторая война готовила для Шали еще больше бомб, снарядов и мин.

Лечи позвал меня в свой кабинет. Я зашел, поздоровался и встал у стола.

— Садись, разговор есть.

Я присел на деревянный стул и положил «Стечкина» в кобуре на колени.

— Как у тебя в плане идеологической подготовки?

Я вопросительно поднял брови.

— Неважно. Марксистско-ленинскую философию еле сдал в университете на тройку. А почему ты спрашиваешь?

Дядя не ответил на мой вопрос. Он покачал головой.

— Теперь у нас другие университеты. Марксизм-ленинизм не канает. У нас государственная идеология — Ислам, учение пророка Мухаммада, мир Ему.

Я все понял.

— Лечи, я не то чтобы совсем атеист. Скорее, я верю, что есть Всевышний, и все такое. Но ни к какой конфессии не принадлежу. Я считаю, что...

Лечи оборвал меня.

— Ты обрезан?

Я повертел головой отрицательно.

— Пост на Уразу держишь? Для виду хотя бы?

Я вздохнул.

— И ламаз, конечно, не делаешь. Все понятно.

— Но...

— Ты должен принять Ислам. Никаких «но». Иначе у меня будут проблемы. Эти шайтаны донесут наверх, что у меня работает *кафир*. Всем будет только хуже.

Шайтанами мы называли бородатых поборников шариата. Кафирами шайтаны называли неверующих.

Я понял, что дело практическое, и вступать в теологический диспут дядя не намерен.

— Сделаем все тихо. Я позвоню паре людей — мулле и хирургу. Тебя укоротят где надо и научат молитвам. Если шайтаны сделают предьяву, расстегнешь ширинку и покажешь им свой мусульманский агрегат. Пусть отсосут, суки басаевские.

— Когда, Лечи?

— Да прямо сейчас. Мой водитель тебя отвезет, а я пока договорюсь. Это в Герменчуке. Не доверяю нашим шалинским собакам.

— Я... я хотел бы морально подготовиться.

— В машине морально подготовишься. Можешь даже расстегнуть свои штаны и полюбоваться на свой необрезанный в последний раз. Запомни его таким.

Дядя хохотнул.

У меня не было выбора.

В машине я прокручивал в голове аргументы против решения Лечи, которые я не решился высказать ему вслух.

Мне необязательно формально принимать Ислам, так как, согласно Сунне Пророка и Хадисам, если хотя бы один родитель по рождению является мусульманином, его дети также считаются мусульманами! А мой отец по рождению мусульманин, и весь наш род входит в вирд Сесин-Хъаж тариката Накшбандия!

Даже если мне следует принять Ислам, из-за того, что я жил жизнью неверного столько лет, обрезание делать вовсе не обязательно! Обрезание для мусульманина является желательным, но не обязательным! Тем более, я уже взрослый и эта процедура может быть для меня болезненной и вредной!..

Дорога из центра Шали до ближайшего села в сторону Грозного, Герменчука, заняла не больше двадцати минут, но когда мы подъехали, меня уже ждали.

Врач провел меня в комнату своего большого кирпичного дома, превращенную в операционную, и усадил в странной формы кресло. Наверное, гинекологическое.

— Разве не наоборот? Разве я не должен сначала произнести шахаду и только потом — обрезание?

— Да ты у нас ученый, *алим*! Ничего, порядок не важен, тем более, ты уже мусульманин, по рождению. Это все только формальности.

Пока он готовил инструменты, я смотрел как замороженный на его руки. Я боялся, меня даже начало мутить. Врач заметил это и издевательски сказал:

— Что же ты, боец? Как ты собираешься воевать? Когда начнут стрелять, может не только кусок лишней кожи с члена, может голову с плеч оторвать!

Я понял тогда, что не верю всерьез в будущую войну. Мы часто говорили о ней как о решенном деле, подбадривали друг друга, но мне казалось, что это просто так. Не будут люди воевать, уже один раз попробовали, кто станет второй раз наступать на те же грабли?! Ведь все закончилось миром. И, если что, им там, наверху, хватит ума, чтобы снова договориться. Они же не идиоты...

Врач подошел ко мне со скальпелем в руке, улыбаясь.

— Ну что, может, тебе сделать анестезию?

— Не надо.

— Правильно. Мужчина должен терпеть боль. Брал в руки свежую крапиву, на спор? Это будет не больнее.

Врач сделал серьезное лицо и продолжил:

— Думай о том, что твоя плоть приносится в жертву Всевышнему.

— Зачем Всевышнему кусок моей письки? — не удержался я.

Врач посмотрел на меня неодобрительно и ничего не сказал в ответ. Он проворчал молитву, оттянул крайнюю плоть пинцетом и ловко полоснул по ней скальпелем.

Я увидел свою кровь и отключился.

Когда я очнулся, рана была обработана и забинтована. В кабинете уже сидел мулла.

— Повторяй за мной.

И он произнес *шахаду*.

Ашхаду алля иляхаилляЛлах ва ашхаду анна Мухаммадан расулюЛлах

Я повторял необычные слоги. И внезапно заметил, как комнату залил белый, всепроникающий свет. Предметы перестали отбрасывать тени. Врач говорил мне что-то еще, но его слова проходили мимо моего сознания. В моей голове заиграла музыка, но я не смог бы записать ее нотами, никогда раньше я не слышал таких созвучий.

Ашхаду алля иляхаилляЛлах ва ашхаду анна Мухаммадан расулюЛлах

«Я знаю, верю всем сердцем и подтверждаю на словах, что нет божества, кроме Единого Создателя — Аллаха, и я знаю, верю всем сердцем и подтверждаю на словах, что Мухаммад — последний Посланник Аллаха».

Папа всегда говорил, что я слишком быстро увлекаюсь. А мама повторяла русскую поговорку: заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет.

Для меня самого было неожиданностью, с какой серьезностью я отнесся к своему обращению, случайному и вынужденному. Теперь вечерами я читал перевод смыслов Корана, пытаюсь проникнуть в суть этой религии. Я стал совершать молитву пять раз в день. Этот период фанатичного следования продлился у меня недолго, но все же...

Однажды на работе дядя зашел в мой кабинет с каким то срочным делом и застал меня склоненным на коврике для молитв, обращенным лицом в сторону Мекки. Он почесал в затылке и молча вышел.

Я мог бы многое вам рассказать. Об Исламе, последней и окончательной религии, данной человечеству. О своем экстазе и озарениях. Но, пожалуй, не буду. Есть вещи, о которых не стоит рассказывать непосвященным. Нет, дело тут не в метании бисера. Просто тот человек, у которого нет определенного духовного опыта, все равно ничего не поймет. И может даже нанести оскорбления, вольно или невольно. Я не хочу подталкивать вас в ад. У каждого свой путь.

Каждый катится в ад своею собственной дорогой.

Я скажу только, что мое обращение помогло мне пережить то, что случилось дальше.

Лейла. Однажды с ней уже произошла неприятность. Она шла с рынка, и какая-то сумасшедшая баба, фанатичная поборница нравственности, сдернула с ее головы платок.

Платок, косынка, которой покрывают волосы чеченские женщины, — символ добропорядочности и целомудрия. Когда-то головной платок торжественно вручали только самым верным и преданным женщинам. В одной национальной песне поэт жалуется, что наступили времена, когда каждая шлюха может купить себе платок на базаре.

Что-то вроде этого кричала и бешеная тетка, срывая платок с Лейлы.

Если бы это был мужчина, я пристрелил бы его. Но я не мог разобраться с женщиной.

Лейла сидела дома и тихо плакала.

Родственники оскорбительницы принесли официальные извинения, дело было вроде бы улажено. Но не для Лейлы. У нее был очень трудный характер. Лейла была горда и упряма. Она стала выходить на улицу без платка, распустив свои ароматные темные волосы.

Она шла с гордо поднятой головой, бросая вызов.

Старшие заставили ту тетку лично прийти к нам домой и смиренно поднести Лейле платок. Лейла взяла его, скомкала и швырнула ей в лицо.

Она еще сказала, куда эта баба может свой платок себе засунуть.

Наверное, не стоило Лейле поступать так. Было бы безопаснее, если бы она продолжала носить косынку. Тогда, возможно, беда обошла бы ее стороной.

Но это была бы не Лейла. Лейла не могла поступить иначе.

И случилось.

Она отправилась на рынок за продуктами, оставив ребенка у своих родственников, шла по тротуару. Рядом притормозила белая «девятка» с тонированными стеклами, и двое парней, выскочивших из машины, затолкали ее в салон. Ее

похитили среди бела дня, посреди людной улицы. Многие видели, но никто не успел ничего сделать. «Девятка» рванула с места и скрылась.

Я был на работе, когда запыхавшийся и дрожащий от волнения подросток ворвался в мой кабинет и сообщил о случившемся. Я не мог в это поверить, я лишился дара речи и не мог двигаться. Лечи поднял на ноги всех, кого мог. Мы бросились в погоню, по всем направлениям. Но мы не знали, куда ехать и кого ловить. Белых «девяток» с тонированными стеклами было слишком много. Номер был заляпан грязью, очевидцы не смогли его разглядеть. Даже если бы смогли — базы автомобилей не существовало, люди ездили без документов, даже без прав. Четверть машин были угнаны в России.

Две недели продолжались безуспешные поиски.

На пятнадцатый день хмурые мужчины привезли Лейлу из Мескер-Юрта. Она была истерзана, но жива.

Лейлу положили в районную больницу. Она не захотела возвращаться домой. Она попросила, чтобы я не приходил к ней. Она не могла меня видеть. Она хотела видеть только своего ребенка.

Сын все это время так и оставался у ее родственников. Они принесли малыша, когда Лейле стало лучше. Я мог только прятаться за дверь и смотреть на нее.

Я не мог сам вести это дело. Лейлу опрашивал Лечи. Он приходил к ней в больницу и беседовал, пытаясь найти хоть одну зацепку. Это было трудно.

Лейла не помнила ни лиц, ни имен, ни мест. Ей завязывали глаза. Большую часть времени ее продержали в подвале, куда заходили мужчины, по одному и группами, и насиловали. Иногда Лейлу перевозили с места на место. В один из таких переездов похитители ослабили бдительность. Лейла выпрыгнула из машины на ходу и закричала, призывая людей на помощь. Преступники испугались и уехали.

Все, что запомнила Лейла, — в подвал вели шесть ступеней, на нижней слева была выбоина в целый кирпич. Лейла споткнулась на ней и упала.

К поиску подключился весь наш *тейп*. Всего за несколько дней обследовали подвалы едва ли не по всей Чечне. И нашли. Подвал с такими ступенями оказался в полуразрушенном доме в селении Автуры. Рядом с домом стояла белая «девятка». Ублюдков вычислили.

— Мы возьмем их без тебя, — сказал Лечи.

— Нет, я поеду.

— Держи себя в руках.

Мы приехали вечером и окружили дом. В полуразрушенной пристройке горел свет. Когда мы ворвались, трое молодых мужчин курили анашу. Нас было два десятка, мы скрутили их безо всякого труда. Они были испуганны, они даже не сопротивлялись.

— Прикончим их? — спросил меня молодой боец из МШГБ.

— Нет. Презумпция невиновности. Мы проведем следствие.

Опознание устроили в больнице той же ночью. Лейле завязали глаза и заставили похитителей говорить. Потом увели преступников и между собой говорили трое наших парней, с которыми Лейла не была знакома.

— Кто? — спросили у Лейлы.

— Первые трое, — ответила она уверенно.

Задержанных не пришлось долго колоть. Они сознались. Что за беда — поразвлеклись немного с девкой, которая даже волосы не покрывает платком! Они предлагали решить дело за деньги. Умоляли их отпустить. Ребята отбили им мошонки ногами.

Преступники содержались под охраной в нашем оборудованном под камеру предварительного заключения помещении, в полуподвале. Наутро при-

шли посланцы шайтанов и потребовали выдать задержанных им, для суда по шариату.

— Нет, — твердо сказал Лечи, — это наше дело. Мы накажем их по *адату*, по закону гор и обычаям наших предков.

Казнь была назначена на воскресенье. Преступников привезли на свалку, вывели со связанными руками и поставили на горы мусора. Вокруг собрались тысячи жителей. Родственник Лейлы подошел к осужденным и прилюдно спустил их штаны и нижнее белье. Они стояли среди воняющих отбросов, их голые ноги мелко дрожали, а маленькие члены, кажется, старались втянуться в синие отбитые мошонки.

Вперед вывели Лейлу и дали ей в руки АКМ с полным рожком патронов.

— Стреляй.

Лейла сняла с предохранителя и не дрогнув рукой нажала спусковой крючок. Длинная очередь прошла животы насильников, они свалились на мусорные кучи, вопя и корчась. Мы подождали несколько минут, наблюдая за агонией. Потом Лечи поднял свой пистолет и прикончил каждого контрольным выстрелом в голову.

— Этих животных запрещается хоронить. Три дня они должны гнить на свалке. Потом родственники могут забрать трупы и закопать их в лесу.

Ни я, ни Лечи не вспомнили, что еще совсем недавно мы возмущались по поводу публичной казни в Грозном. Это было совсем другое.

Я подошел к Лейле. Она все еще сжимала автомат. Ее руки свело.

— Пойдем домой, — сказал я, — все кончилось.

Она отдала автомат подошедшему со склоненной головой бойцу и покорно пошла со мной. Но не забрала ребенка. Она сказала, что сделает это завтра.

Я был устал и измучен. Со времени похищения Лейлы я почти не спал. В ту ночь я провалился в тяжелый сон.

Я проснулся от звука выстрела и выбежал на кухню.

У стола лежала Лейла, в ее руке был мой пистолет, дуло «стечкина» она держала во рту, голова была прострелена, изо рта сочилась кровь.

Здравствуй, Динька. Представляешь, как раз сегодня я нашел твое письмо. Нес сжигать старые газеты и журналы, сохранившиеся в отцовском доме со времен моего детства, и нашел этот конверт. Наверное, тогда я вложил его в один из журналов. «Ровесник». Или «Техника — молодежи».

Обратный адрес — Безмеин, Туркменская ССР. Есть даже улица и номер дома. Я подумал: что, если написать туда?

Иногда со мной случаются вещи и похуже. Я думаю: что, если позвонить по номеру Ильи, умершего в лондонском хосписе год назад? Что, если кто-то поднимет трубку на том конце? Мне кажется, раз в год можно услышать голос с той стороны, набрав правильный номер. У меня есть правильный номер. Я только не знаю, в какой день можно звонить.

Ты пишешь, что в армию тебя еще не берут — тебе нужно закончить техникум. Тебя возьмут, возьмут, Динька. Еще про фильмы, которые ты посмотрел на видео. И заканчиваешь: «Меня тут пытались женить. Но я вовремя простудился».

Очень трогательно. И вполне в твоём духе. Я улыбнулся.

Вот, опять громынуло. Каждые сутки, днем или вечером, они делают несколько залпов. Где-то в стороне Ведено. Выстрелы такие, что вздрагивает земля. Гаубицы там, что ли? И куда они стреляют? Зачем?

Слушай, Динька, спроси у них, в кого они стреляют? Ты же служил вместе с ними. Тебе будет легко — слетать на позиции. Обернешься за пару минут. Как ты вошел ко мне. Хотя я запирал все двери. И железные ворота на тяжелый засов.

Теперь тебе все легко.

Так почему они стреляют? И по чему? Чему-кому?

Все ведь уже кончилось. Никого не осталось. Я знаю, я сам сдал последнего.

А они все стреляют.

Может, просто чтобы не заржавели пушки?

По мне, так хоть бы они и заржавели — невелика беда. Даже лучше было бы, если бы заржавели.

Вот бы напустить на них Великую Ржавчину! На пушки, минометы, танки, бронетранспортеры, чтобы ни единого пистолета не осталось! Чтобы навечно заклинили все автоматы Калашникова в мире. Призываю тебя, о, Великая Ржа! Ржа-Джа! Джа-джа.

Тогда все оружие выкинули бы на свалку. Горы металлолома. И мы бы играли на этих свалках.

Помнишь, мы любили свалку металлолома — из подземного пункта связи выкидывали хитрые платы, отслужившие приборы и лампы. И мы сооружали из всего этого свои космические корабли. Мы отправлялись покорять просторы Вселенной.

Если бы на нашу любимую свалку выкинули пару танков и самолетов, мы бы и им нашли применение, ты знаешь! Мы тогда так хотели улететь в космос. И вот, ты уже улетел. Как оно там, в межзвездном пространстве? Интересно, если я напишу тебе письмо в Безмеин, его перешлют по адресу ближайшей к тебе кометы?

Динька, мой корабль пока не взлетает. Но он взлетит, обязательно. Рано или поздно мы все улетим в космос.

Куба, Куба! Куба либре. Что это? Коктейль. Рецепт почти не отличается от рецепта коктейля Молотова. Или я опять все путаю?

Здесь очень много Кубы по телевидению. Репортаж о встрече боксеров с острова Свободы, прилетевших ради дружеского турнира. На музыкальном канале по несколько раз в день ставят клип «Ночных Снайперов» — «Куба».

«А в моих ботинках до сих пор кубинский песок...».

И сразу за ним: песня убийственно красивой кубинской певицы, на испанском языке, посвященная команданте Че Геваре. В клипе на фоне деревень и плантаций сахарного тростника идут длинноногие девушки-латинос, в белых платьях, с детьми на руках и автоматами Калашникова за плечами.

Это очень красиво. Романтично. Но какое мы имеем к этому отношение?

Создается стойкая ассоциация: Чечня — Куба. Чечня — остров свободы.

Неправда. Чечня — это не Куба. А Че — не бригадный генерал.

Легко снова затуманить сознание молодых, глупых. В телечате на местном канале ники: «Шахидка», «Талибан».

Они думают, что это смешно.

Значит, все опять запутается.

Я предлагаю ввести новый предмет в корпус военно-теоретической подготовки: боевые действия в условиях телевизионной реальности.

То, что произошло — этому уже никогда не будет не только объяснения, но и полного, достоверного описания. Попробуйте изучить любые источники. Вы найдете все что угодно, кроме системы фактов в их последовательности и внутренней взаимосвязи. Не работает закон причины и следствия, отброшен принцип историзма. Клипы, клипы, только клипы.

Официальная версия событий: ложь, громоздящаяся на другую ложь, совершенно не заботясь не только о правдоподобности, но даже и о согласованности второго сообщения с первым. Каждый выпуск новостей начинается историю с

сотворения мира. Одно и то же событие, вчера поданное так, сегодня будет освящено совершенно иначе. И это нормально. Вчерашний день умер, и его правда умерла вместе с ним. Достаточно каждому дню своей правды.

Книги независимых журналистов, претендующие на историзм, на поверку оказываются компиляцией репортажей. Собственные впечатления, душераздирающие истории, нравственный и политический комментарий — но не складывается, общая картина не складывается. Клипы.

Художественные творения российских солдат: с большим или меньшим мастерством выписанные истории из ненормального быта антитеррористической операции. Поехали на БТРе за водкой на базар и подорвались на mine. Самый популярный сюжет.

Пожалуй, только мемуары генералов похожи на связный последовательный отчет. Но едва ли непредвзятый.

Мирные чеченские писатели, члены союзов и академики, начинают издавать — «когда динозавры были маленькими...». И получается хорошо, исторично. До самого конца двадцатого века получается исторично. Потом, в двух последних главах, посвященных собственно войне, повествование рассыпается на осколки.

Совершенно особая вещь отчеты моджахедов. Там вообще все выглядит как мистический триллер: сплошь ангелы чудесным образом уничтожают *кафи́ров* целыми дивизиями, выводя воинов джихада практически без потерь из любого столкновения. И как они умудрились при таком покровительстве проиграть войну? Остается непонятым.

Но самое удивительное — рассказы очевидцев.

Чаще всего оказывается, что никто из очевидцев ничего не видел собственными глазами. Они с серьезным видом пересказывают документальные фильмы, показанные по НТВ. Если же видели, то в ограниченном мире каждого оценка события совершенно непредсказуема и зачастую неадекватна.

У человека прямым попаданием бомбы разрушило дом. Он думает, что только он оказался таким несчастным. Ему неизвестно, что в один час сотни людей остались без крова. Или наоборот: случайная мина залетела на огород. А человек уверен, что вся республика была подвергнута массированному обстрелу, перепахана взрывами. И в живых никого не осталось. Только он.

Когда включают электричество, люди бросаются к телевизорам, чтобы узнать: что же произошло на самом деле?! В отсутствие телекартинки реальность коллапсирует, сужается, втягивается, как свет в черную дыру.

Люди не помнят, когда что происходило. Если не было электричества — не работало телевидение — они забывали, какое сегодня число, день недели и даже месяц. Но путают не только даты. Путают последовательность событий.

А раньше я думал, что это только я такой безумный.

Я долго пытался связать факты, склеить отрывки, выстроить единую непротиворечивую цепь событий. Я понял, что это невозможно. История этой войны не может быть написана. Потому что у этой войны не было истории.

У нее было телевидение.

Все, что происходило, редко попадало напрямую в сознание и память. Нет. Но — через телевизор.

Даже если взрыв произошел на соседней улице, на моих глазах — в моей собственной памяти он останется таким, каким его показали на следующий день по телевизору.

Это страшно, мы еще не понимаем, как это страшно.

Почему это страшно?

Виртуальные бои, цифровые сражения, война в телевизионной реальности. Всего лишь картинки, клипы.

Но кровь — настоящая.

Смерть — не понарошку!

Нашей мечтой было, давно, чтобы правители и генералы сами воевали друг с другом. Не нравится президенту Джорджу Бушу диктатор Саддам Хусейн — пусть вызовет его один на один и разберется как мужчина с женщиной! А русские пузатые генералы пусть метелятся с бородами чеченскими полевыми командирами.

Но я буду гуманнее. Я скажу: вам необязательно на самом деле убивать друг друга, или калечить. Вы можете разобраться, кто круче, в виртуальной реальности.

Есть такая компьютерная игра — контрастрайк.

Ваши дети все про нее знают, они проведут инструктаж.

Надевайте наушники, садитесь за мониторы и вперед! В бой!

И ни одно животное не пострадает.

Что же, дьявол вас побери, происходит сейчас? Вы играете в адский контрастрайк за своими начальственными столами, а вместо 3D-моделей на землю падают настоящие люди, истекая всамделишной кровью.

Для чего?

Неужели только для того, чтобы у вас в этой игре было «полное ощущение реальности»?..

Страна, которая якобы вела войну с Россией, существовала только в телевизоре. На собственных местных каналах. Больше нигде такой страны не было.

Чеченская республика Ичкерия — так называлось это ток-шоу. Стэнд-ап-трэджи. В Басаеве и Радуеве погибли талантливые артисты. В другое время они стали бы телеведущими. В 1998 году Салман Радуев решил устроить в телевизионной республике Ичкерия государственный переворот. Он захватил телецентр. Ему не хватало эфирного времени! Мало ему было того, что интервью с ним транслировали федеральные и зарубежные телеканалы. Он, наверное, хотел жить «за стеклом». Круглосуточное реалити-шоу о повседневной жизни Салмана Радуева — вот что было его мечтой. Пэрис Хилтон с автоматом. Шариатский суд приговорил его за попытку переворота к четырем годам лишения свободы. Но потом дело как-то закрыли. То ли из уважения к его героическим деяниям, то ли из страха перед боевиками «Армии Джохара Дудаева», генералом которой был Радуев.

Мы слишком долго думали, что жизнь — это телешоу. Мы не сразу поняли, что все слишком серьезно. И убивать нас будут по-настоящему.

Я говорю: не было никакой Ичкерии. И я едва ли преувеличиваю. Мы никуда не вышли из Российской Федерации. Из нее некуда выходить. Выйти из России невозможно. Это все равно что покинуть подводную лодку в автономном плавании. Или сойти с летящего самолета.

Государство — это не только телевидение. Это еще и эффективные органы управления, налоги, транспортная инфраструктура, образование, здравоохранение, гражданство и прочее. Никаких самостоятельных и полноценных структур в Ичкерии создано не было. Вместе с тем продолжали функционировать российские институты. Паспортные столы выдавали паспорта советского образца, с вкладышем о российском гражданстве. Зеленый ичкерийский паспорт с волком на обложке получали немногие и то только в дополнение к российскому. Военкоматы вели учет призывников по российским методикам, только что

не отправляли юношей на службу в Россию. Врачи и учителя продолжали получать — если вообще получали — зарплату из федерального бюджета.

Только в 1999 году, после фактического переворота, федеральные органы стали полностью демонтировать. Но заменить их ичкерийскими не успели. Да и не смогли бы.

Президент Ельцин подписывал с президентом Масхадовым документы, по виду похожие на межгосударственные соглашения. Но все это было только шоу, шоу для идиотов. Никто не верил в эти документы. Только Масхадов пытался делать вид, что они имеют какое-то значение.

Во время, которое я описываю, между 1996 годом, когда в Хасавюрте был заключен мир, и 1999 годом, когда снова начались боевые действия, войны как бы не было. Такова официальная версия.

Но война никогда не прекращалась.

В 1998 году, когда Масхадов летал в Москву на переговоры, российские самолеты летали в Чечню и сбрасывали бомбы. На Шали сбрасывали бомбы. Россия не признавалась, что это ее самолеты. Это были самолеты без опознавательных знаков. Но какие еще самолеты стали бы бомбить Чечню? Грузинские ВВС? Американцы? Может, с Коста-Рики? Может, военная авиация Папуа Новой Гвинеи развлекалась бомбежками? Или инопланетяне сели на самолеты российского производства?

Лицемерие и ложь, лицемерный мир, лицемерная война.

А артобстрелы? Артобстрелы тоже продолжались. С территории России. Кто стрелял по Чечне с территории России?

Надо думать, тоже провокаторы. Грузины захватывали целые батареи дальнобойной артиллерии на российской территории, производили несколько залпов и исчезали без следа.

Это было бы анекдотом, если бы снаряды не были настоящими.

Мирные переговоры, мирные бомбардировки и мирные артобстрелы.

В ту ночь я даже не проснулся от звуков разрыва фугасов. Это не было таким уж необычным делом, чтобы подскакивать с постели каждый раз, когда слышишь взрывы. Но утром, добравшись до работы, я увидел, что здание, где располагалась наша контора, наполовину разрушено. Погибли двое дежурных сотрудников, ночной сторож и уборщица. Били конкретно по МШГБ.

Тогда мы переселились в бывший районный Дворец пионеров. Дворец был почти пуст. В большинстве помещений стекла в окнах были выбиты. Во дворце была только одна женщина — бывший директор Дворца пионеров. Ее дом разбомбили в первую войну, и она устроила жилище в рабочем кабинете. Мы не стали ее выселять. Места хватало всем.

Помню, как я бродил по второму этажу, выбирая себе кабинет. Заглядывал в распахнутые двери, заходил в проемы без дверей, секции танца, кружки рисования. Я выбрал кружок моделирования. Сюда должны были приходиться дети, собирать модели самолетов. Может быть, танков. Теперь эти дети стали взрослыми. И настоящие самолеты бомбили их, настоящие танки расстреливали и давили гусеницами. Словно игрушки из наборов «Конструктор» ожили, выросли в размерах и пошли войной на детей.

В этом сне мы были детьми. Мы были в доме Эфендиевых, в доме моего одноклассника.

Нам было лет по двенадцать, или четырнадцать — не больше.

Мы держали круговую оборону.

И это была не игра — оружие было настоящим. У нас были настоящие автоматы Калашникова, ручные гранаты, дисковый пулемет, что-то еще. Целый арсенал. И все было настоящим, все стреляло боевыми зарядами. Какая уж тут игра!

Мы держали оборону от животных.

По правде говоря, эти животные были игрушечными. Они были плюшевыми, были матерчатыми и пластмассовыми, они были набиты ватой и поролоном или были совершенно пустые внутри.

Но от этого было ничуть не менее страшно.

Они были очень злыми, эти взбесившиеся игрушки.

Сон закончился на том, что все мы дружно ругали моего одноклассника, в чьем доме мы засели. Вероятно, мы отбили очередную атаку и пользовались временной передышкой. И ругали моего одноклассника.

Мы ругали его за то, что, пока все мы с трудом сдерживали натиск полчищ искусственных зверей, он расстреливал рожок за рожком своего автомата в одного-единственного мишку. В одного-единственного. У которого уже изо всех дыр в желтом плюше лезли его поролоновые внутренности. И кто уже замер, здесь, в углу комнаты, бесстрастно взирая на нас своими стеклянными глазами. А он, мой одноклассник, все стрелял и стрелял. И все время только в одного медведя.

И мы ругали его за это.

А он стоял, потерянный, словно не понимающий, что происходит, и с удивлением смотрел на нас, на автомат в своих руках и горку пустых рожков рядом.

И это был ужас. Снова ужас.

Поднявшись ночью с кровати, я боялся нечаянно заглянуть в зеркало в ванной комнате или в прихожей.

На этот раз я боялся увидеть в зеркале изрешеченного пулями желтого поролонового медведя.

В нашей войне у каждого был свой частный интерес. Свой бизнес. Малый бизнес — у солдат-контрактников, у мародеров с обеих сторон, у похитителей и вымогателей. Большой бизнес — у политиков и генералов.

Среди чеченцев было и есть совсем немного фанатиков, умиравших за чистую идею. Еще меньше идейных борцов было на российской стороне. Я сомневаюсь даже в том, что они вообще были.

Я расскажу о самом известном бизнесе времен чеченской войны. О похищении людей. Вам, гражданин следовательно, наверняка это будет интересно. Хотя пользы от моих показаний как всегда никакой. Все фигуранты, которых я мог бы назвать, уже недосягаемы для земного правосудия. Их не привлечет к ответственности ни российский военный суд, ни даже международный трибунал в Гааге. Они там, за облаками, ждут последнего и страшного суда перед престолом Всевышнего.

Российские войска, согласно условиям мирных соглашений, были выведены из Чечни. Кажется, выведены. Но то тут, то там появлялись группы вооруженных людей в российской военной форме. Или в камуфляже без знаков отличия. Они говорили по-русски. Или по-чеченски. Или молчали.

Они убивали людей. Или похищали и возвращали за выкуп. Или похищали и убивали.

Кто это был?

Это мог быть кто угодно.

Думаю, часто это были сами чеченцы. Вооруженные банды, которые вели свою собственную войну: таких называли «индейцами». Наемники, эмиссары с Востока и местные, обращенные в ваххабизм. Группы из отрядов полевых командиров. Просто уголовники и мародеры.

Иногда это были действительно российские диверсионные группы, выполнявшие спецзадания по поимке или ликвидации ключевых фигур сопротивления или просто зарабатывавшие деньги для себя и своих боссов.

Методы работы у всех были одинаковые. И результаты — одни и те же.

Предполагалось, что именно мы, сотрудники Министерства Шариатской государственной безопасности, должны пресекать такие преступления. Но мы были бессильны. Чаще всего. Хотя попытки прекратить это зло или хотя бы преломить ситуацию были.

В 1998 году нашим министром был назначен Асланбек Арсаев. В первой войне он потерял глаз и повредил руку. Он был героем и другом Масхадова.

Помимо этого Асланбек был профессиональным юристом и сторонником правопорядка, цивилизованного правопорядка. Не беспредела, скрывавшегося под флагом «шариатской законности». Арсаев сменил на посту министра убежденного шариатчика. Это была аппаратная победа Масхадова.

Для нас с Лечи это была радостная новость. Дядя встретил меня в кабинете с сияющими глазами.

— Садись, Тамерлан! Выпьем за нашего нового начальника!

И Лечи достал из ящика стола непочатую бутылку водки.

— Лечи! Ты же сам меня заставил принять Ислам! А теперь спаиваешь?

— Не надо быть фанатиком, Тамерлан! Такой повод!..

Мы разлили по стаканам, чокнулись и выпили, не закусывая.

— Ну, теперь, может, дела пойдут как надо! И мы займемся тем, чем должны заниматься! Наведем порядок в республике, прижучим всех бандитов и бородачей.

— А что шайтаны, Лечи?

— Шайтаны в трауре. Злятся, но ничего поделаться не могут. Пришел-таки конец их юридическим экспериментам. А то удумали в Чечне — руки рубить! Они бы еще верблюдов своих сюда притащили!

— И ишаков!

— Да, точно! Погонщики верблюдов, наездники ишаков!

— Сучьи дети!

Мы выпили по второй. А потом — по третьей. Весь мой *иман* полетел к чертям собачьим. На следующий день я ни разу не сделал намаза, так болела голова. Но не расстраивался. Мы действительно ждали перемен к лучшему.

Похищения людей были самой большой темой нарушения прав человека в Чечне. Они создавали крайне неблагоприятный образ республики за рубежом и служили постоянным оправданием агрессивных намерений Москвы.

Арсаев сразу по вступлении в должность заявил, что с этим будет покончено. Казалось, что мы на правильном пути.

В России и сейчас многие думают, что похищение заложников и требование выкупа за них — национальный спорт чеченцев. Что в каждом дворе есть зиндан, где держали русских заложников и рабов. Как будто времена «Кавказского пленника» так и не прошли в Чечне.

На самом деле захватом заложников, похищением и продажей людей во время войны занимались обе стороны — и чеченские боевики, и федеральные подразделения. У федеральных войск возможностей было больше и масштаб похищений тоже был крупнее. Такие зинданы, которые держали российские военные, чеченцам и не снились.

Но нашей задачей в то время стало противодействие преступному бизнесу на людях внутри республики, кто бы им ни занимался и кто бы за ним ни стоял.

Скоро нам повезло. Нам удалось напасть на горячий след.

Был уже вечер, мы собирались со службы домой, когда в Дворец пионеров, ставший нашей резиденцией, вбежал растрепанный юноша. Он ворвался в кабинет Лечи и закричал:

— Брата! Брата забрали!

Лечи вскочил из-за стола.

— Постой, кто забрал, какого брата?

— Моего брата, Юсупа. Люди в форме, с оружием. Схватили дома, брат ужинал, связали и увезли. Я в гости шел, успел спрятаться. Все видел! Помогите, спасите брата!

— Куда его повезли?

— По дороге на Автуры, в ту сторону!

Лечи объявил тревогу и общий сбор. Мы кинулись в погоню на двух уазиках. Бандиты не очень торопились, и мы нагнали их в дороге. Брат похищенного, сидевший на переднем сиденье головного автомобиля, узнал похитителей:

— Вот они! Это их машины!

Банда передвигалась на трех «Жигулях» и одной «Волге», намертво затонированной. Юсупа, видимо, везли именно в ней.

Водитель головного уазика дал по газам и обогнал кавалькаду, потом притормозил, развернувшись, и загородил дорогу. Вторая машина прижала сзади. Выскочили наши бойцы с автоматами и заорали во все глотки:

— Стоять! Выйти из автомобилей! Руки на капот!

«Жигули» и «Волга» остановились. Дверь «Волги» открылась, и из нее неспешно вышел мужчина с небольшой бородкой и в берете. Мужчина сказал по-русски с сильным акцентом:

— Что за проблемы?

Лечи вышел вперед.

— Вопросы здесь будем задавать мы. Министерство Шариатской безопасности Республики Ичкерия, Шалинский район. По нашим сведениям, вы похитили человека. Отпустить заложника и сдать оружие!

Мужчина дерзко улыбнулся и перешел на чеченский.

— А ты, товарищ, не хочешь узнать, кто я?

Он достал из нагрудного кармана удостоверение и развернул его перед лицом Лечи. Я стоял рядом с Лечи и прочел, что предьявитель является бойцом отряда специального назначения «Борз».

На Лечи документ не произвел никакого впечатления.

— У нас на толкучке такую бумажку каждый фраер может купить за сто долларов, — сказал он и повторил, — сдать оружие! Ты и все твои индейцы. Пока мы не сняли с вас скальпы.

Боец спецназа дернулся к кобуре. Дуло моего автомата было нацелено ему прямо в лоб. Я приготовился к стрельбе. Все ребята тоже держали на прицеле его и машины его группы. Двое наших навели гранатометы на автомобили.

Мужчина оценил ситуацию, и его рука замерла на полпути.

— Подожди, дорогой. Мы выполняем задание нашего командира. Человек, которого мы забрали, русский шпион. У нас проверенные агентурные данные.

— Он все врет, — закричал свидетель похищения. Юсуп землю продал, хотел мать на лечение отправить. Эти собаки перерыли весь дом, денег не нашли и сказали его жене, что если завтра она не соберет пятьдесят тысяч долларов, они пришлют ей отрезанные яйца ее мужа и голову на шампуре! А откуда она возьмет столько денег? Тот наш старый огород в десять раз меньше стоил!

Лечи сказал спокойно и твердо:

— Любые операции по захвату шпионов должны быть согласованы с Министерством Шариатской государственной безопасности. В Шалинском районе — лично со мной. Я никаких указаний не получал. Из чего следует, что вы бандиты. Сейчас твои ублюдки выйдут из машин, и вы все сдадите оружие. Если мне покажется, что все идет не так, как я хочу, если мне не понравится хоть одно движение или взгляд — мы подорвем и перещелкаем вас в одну минуту.

Мужчина медленно поднял руки. Я подскочил к нему и выхватил пистолет из кобуры.

— Теперь остальные!

Главарь дал знак, и его подручные стали вылезать из машин. Их было всего семь человек. Нас натолкалось в два уазика десять, считая свидетеля. Гранатометчики оставались на позициях, остальные парни в считанные секунды разоружили и обыскали банду. Головорезов собрали в кучу на обочине, под прицелами автоматов.

— Вы пожалеете, — прошипел главарь, — вы не знаете, с кем связались!

— Везем их к нам? — обратился я к Лечи.

Лечи смотрел на меня и молчал.

— Мы повезем их к нам и проведем расследование? — снова спросил я.

Лечи молча покачал головой.

— Но, Лечи, мы ведь не...

— Ты сам знаешь, что будет. Завтра мы будем вынуждены выпустить этих сволочей на свободу. А сами получим выговор. Это в лучшем случае. Что в худшем — я даже думать не хочу.

— А Асланбек? Асланбек же...

— Арсаев хороший парень. Но он не Аллах. Ему надо помочь.

Похитители растеряно переминались с ноги на ногу. Наши бойцы сверлили их взглядами и держали автоматы наготове.

— Командуй, — сказал мне Лечи и, повернувшись, пошел к уазу.

Я подошел к сотрудникам и отдал приказ:

— В линию!

Пятеро бойцов, державших бандитов на мушке, вместе со мной встали в ряд на дороге.

— Огонь!

Раздался громкий треск автоматных очередей. Тела, пробитые пулями, свалились на обочину, друг на друга, сотрясаемые конвульсиями. Это было похоже на грязный групповой оргазм или на насекомых в банке.

Не сговариваясь, мы не стали добивать расстрелянных контрольными выстрелами. Просто подождали, пока их предсмертные судороги прекратились.

Потом все трупы затолкали в одну машину, в «Волгу». «Волга» — очень просторная машина. Хорошая. Как будто предназначена для того, чтобы в нее закладывать много трупов. Мы отвели свои уазики и трофейные «Жигули» на безопасное расстояние и подорвали «Волгу» из гранатометов. Машину подбросило на дороге, во все стороны полетели куски железа и мяса. Разлился бензин, и запыхало пламя.

Не чувствуя своего онемевшего тела, я сел на заднее сиденье уазика рядом с дядей. Лечи похлопал меня по коленке:

— Ничего, Тамерлан. У нас не было выбора.

Это была моя первая кровь.

Даже когда казнили насильников Лейлы, я не нажимал на курок.

После того как Лейла покончила с собой, я продал свой модный «стечкин». Купил АКМ, а оставшиеся деньги передал родственникам ее первого мужа, которые забрали сына — которого я уже считал своим.

Тот «стечкин» уже нашел свою жертву. Теперь свою кровь нашел и мой автомат. Я нажимал на курок вместе с парнями, расстреливая арестованных. Мы убили их всех. Они все были мертвы.

Мы подорвали и сожгли их трупы. Их не смогут ни опознать, ни похоронить.

Мы сообщили в Грозный, что машина с неизвестными подорвалась на mine. Никто не стал ничего расследовать.

Может, так и было нужно. Только так мы могли пытаться остановить похищения людей.

Возможно, Лечи был прав, и у нас не было выбора. Вот опять — не было выбора! Когда ты берешь в руки оружие, слишком часто у тебя не остается другого выбора, только стрелять и убивать.

Ты уже сделал свой выбор: когда взял оружие в руки.

Весь следующий день я просидел дома. Я читал книгу; кажется, это был какой-то советский писатель. Роман про домны, стройки и комсомольцев. Я даже не приготовил себе еды. Грыз черствую буханку хлеба и запивал сладким чаем.

Ближе к концу дня меня навестил Лечи. Он открыл дверь сам и прошел в комнату, не поздоровавшись.

— Почему тебя не было на службе?

Я приподнялся с лежанки. Когда заходят старшие, у нас принято вставать.

— Садись. Ты заболел? — дядя подсказывал мне ответ.

— Нет. Просто не хотел никуда выходить.

— Так не пойдет. У нас дисциплина. Это тебе не институт: хочу хожу, не хочу — дома сижу.

Я молчал.

— Давай выпьем?

Лечи достал бутылку водки.

— Не... я не хочу пить. Коран запрещает пить.

— Брось! Ты же не фанатик.

Это правда. Фанатиком я не был. Принятие Ислама произвело переворот в моей душе. Я искренне пытался следовать хотя бы чему-то. Но в вопросах правил и ограничений не был к себе строг.

Я снова сдался и махнул рукой. Мы прошли на кухню. Я достал стаканы и поставил на стол. Лечи открыл бутылку.

— Закуски нет?

— Есть хлеб.

Лечи посмотрел на изгрызенную мной корку и неодобрительно покачал головой.

— Как ты живешь? Кто тебе готовит?

— Я сам себе готовлю. Просто сегодня не было настроения.

— Тебе надо жениться.

— Лечи, я женился. На ее могиле еще трава не выросла.

— Извини... я не хотел...

— Ничего.

Мы выпили и долго сидели молча, впериw взгляды в покрытую трещинами столешницу. Мы не хотели говорить о вчерашнем дне. Во всяком случае, напрямую. Я прервал молчание:

— Лечи, почему наши такие? Вот, добились независимости. Стройте теперь свое государство, экономику, жизнь! Зачем грабить, похищать людей, стрелять

налево и направо? Мы же только всех напугаем! Никто в мире не поверит, что мы хотим и можем создать нормальную цивилизованную страну. Что мы творим?

Лечи пожал плечами:

— Это тебе нужна нормальная страна. Тебе и еще нескольким умникам, таким, как ты. Ты бы сидел да читал свои книжки. И работал в ведомстве, бумажки сочинял. Тебе больше ничего и не нужно.

— А другим что нужно?

— Другим нужно все время воевать. Они не хотят работать. И книжки им читать неинтересно.

Мы снова выпили и помолчали еще несколько минут. Потом я признался.

— Лечи, я никогда не любил чеченцев. Мне они не нравятся. Все детство меня обзывали *мечигом* и русским. Они дикие люди. И, хотя я сам по крови отца чеченец, хотя это мой народ — я не люблю чеченцев.

Дядя нисколько не удивился моему признанию.

— А кто их любит? Никто не любит чеченцев. Даже сами чеченцы не любят чеченцев. Знаешь, что сказал генерал Дудаев? Он сказал: в этой войне на поле боя сойдутся два самых грязных народа во Вселенной — чеченцы и русские. *Бехуми*, вот как он сказал. Это от корня «грязь», и еще это значит «змеи». Змей считают самыми скверными существами. Ты можешь сколько угодно кормить и ласкать змею, все равно она тебя ужалит, просто так. Такие люди чеченцы: злые, жестокие. И русские такие же. Только еще и трусливые. Поэтому они собираются большими толпами, целыми дивизиями, и убивают просто так, потому что боятся.

— И что же, все люди плохие?

— Все люди плохие. Все народы. Есть только один хороший народ — это евреи. У меня на зоне был один товарищ, еврей. Честный человек. Настоящий, правильный вор. Остальные были подонки, все. Суки. И русские, и земляки-чеченцы, и татары, и молдаване — все сволочи.

В своих суждениях Лечи был большим оригиналом. Особенно на фоне антисемитизма, ставшего в Чечне более распространенным, чем среди русских черносотенцев. Евреев винили во всех бедах. Везде видели следы их заговора. А Лечи, так тот наоборот. Только евреев считал хорошими людьми. Я даже улыбнулся.

— Что же делать?

— Ну, ты же сам мне говорил. Для того и закон, государство. Чтобы держать людей в рамках. Если бы люди все были хорошие, зачем нужно было бы государство? Не нужно было бы. Но люди — плохие. Потому никак нельзя без закона и тюрем. Мне, что ли, уголовнику, тебя учить?

— Ты не уголовник, Лечи. Ты теперь сотрудник правоохранительной системы.

Лечи покачал головой.

— Да, я все свои сроки отмотал, от звонка до звонка. Теперь я чист перед людьми и перед Аллахом. Но я еще мало во всем этом понимаю: процессуальное право, законность. Я знаю, что должна быть справедливость. И есть отморозки, которых надо валить. Без следствия и адвокатов. Поэтому я вчера...

— Не надо. Не говори.

На окно с другой стороны сел воробей. Я поднялся, и, открыв форточку, накрошил ему хлеба. Воробей меня совершенно не боялся и принялся клевать крошки. Лечи смотрел на воробья.

Прилетели большие злые голуби и прогнали мелкого птаха. Лечи встал.

— Я пойду. Завтра жду тебя на службе.

— Ладно. Завтра я приду.

— Все будет хорошо, Тамерлан.

Я поднял на него вопросительный, непонимающий взгляд.

— Это я так. Счастливо оставаться.

Я проводил дядю и остался стоять во дворе, вдыхая свежий воздух, пахнувший кострами — селяне жгли мусор. Начинало темнеть.

Я снова вышел на службу. Все изменилось с того дня. Мы больше не отсиживались в кабинетах. Мы не успевали почистить свою обувь от пыли и грязи. Все время были на ногах. Мы искали и находили похитителей, вымогателей, грабителей. Накрывали точки, где торговали наркотиками. Мы даже заставляли сдавать оружие некоторые, чересчур независимые и неподконтрольные группировки. Мы, казалось, чувствовали, что нам осталось совсем немного, и хотели успеть. Сделать хоть что-то.

Нам угрожали расправой. Иногда в нас стреляли при захвате. Пару раз устраивали нападение на Лечи. Даже на меня напали один раз, когда я шел домой после службы. Их было четверо, сопляки, им бы в школу ходить. Могли застрелить из-за угла, но почему-то не стали. Я шел по тротуару, они отделились от забора и преградили мне путь:

— Ты, отдавай автомат! Или гранату взорвем!

Отмороженные подростки были вооружены ножами, у одного был пистолет за поясом и граната, которую он держал перед собой. Странно, что он не наставил на меня пистолет. Глупый какой-то. Потом оказалось, что в пистолете не было патронов, но я-то этого не знал! Вполне мог бы испугаться.

Я сразу вспомнил малолетних бандитов: они терлись во дворе, когда мы брали с поличным наркоторговца.

Медленно снял АКМ с плеча, как будто действительно собирался его отдать, и резко, неожиданно для отморозков, ударил главного прикладом в подбородок. Он упал, граната покатила по земле. Я заметил, что кольцо не было выдернуто. Кляцнув предохранителем, я дал очередь по тротуару перед нападавшими. Одного пуля, отрикошетив, слегка задела по голени, и он свалился, крича от боли. Двое побросали ножи и убежали. Обоих подростков, оставшихся на земле, я оглушил ударами приклада по голове. Забрал пистолет и гранату, выкинул ножи за забор и ушел. Не стал их даже арестовывать.

Назавтра я рассказал о случившемся Лечи, и он настоял, чтобы я больше не ходил один. Теперь со мной всегда были двое молодых сотрудников. У самого Лечи тоже была охрана — четверо пожилых мужчин. Мне сначала было не очень понятно, как они смогут защитить шефа в случае реальной заварушки.

— Им надо работать, кормить свои семьи — объяснял Лечи свое кадровое решение.

Он ничего не боялся. В последнем покушении ему прострелили плечо. Охранники уложили двоих нападавших на месте. Оказалось, старые кони действительно не портят борозды. Еще одного убил сам Лечи.

Наша жизнь была как вестерн. Кровь, стрельба, погони и водка по вечерам.

Раньше я ходил на службу в штатском. В джинсах и куртке, иногда надевал костюм с галстуком. Но после случая на автуринской дороге я купил себе на рынке черные брюки и рубашку милитаристского покроя. Сам нашел на рукав шеврон МШПГБ: на красно-бело-зеленом поле флага Ичкерии меч в каком-то голубом кусте и аббревиатура на латинице — M SH G B.; сверху, тоже латиницей — NIYSONAN TUR. На голове я носил черный берет без значков и нашивок. На ногах — тяжелые ботинки на шнуровке.

Я отпустил маленькую бородку. В общем, стал совсем похож на боевика или латиноамериканского партизана. Эдакий брутальный мачо.

Заявиться в таком виде в отцовский дом я не решался, и, когда отправлялся к родителям, переодевался в цивильную одежду и тщательно прятал пистолет под курткой.

После того, что случилось с Лейлой, родители осунулись и как-то очень быстро состарились. Матери становилось все хуже. Она болела. Все реже и с трудом поднималась с постели. Отец сам хлопотал по дому, стирал и готовил. Я уговаривал их уехать в Россию.

— Маме нужно нормальное лечение, папа. Ты сам это знаешь.

Отец хмурился и молчал. Только осенью он наконец решился. Я нанял машину и отправил родителей через Ингушетию в Краснодар, где маму положили в больницу. У нас бы ничего не получилось, но помогли родственники матери, жившие в Краснодарском крае. Они приютили отца и устроили мать на лечение, обойдя все препоны, которые ставились перед выходцами из мятежной республики.

Отец отдал мне ключи от дома, но я продолжал жить в верхней части Шали. Раз в неделю я приходил проверить, все ли в порядке. За домом присматривали соседи. Я садился во дворе, курил, кормил наполовину одичавшего пса. Приданные охранять меня ребята сидели под навесом. Немного побыв в отчем доме, возвращался к себе, в пустую бедную мазанку.

Я остался совсем один.

Я помню еще одну ночь, которую я провел в родительском доме. Это была новогодняя ночь.

Гражданин офицер, вы празднуете Новый год? Наверное, празднуете. Даже наверняка. Вместе со своей семьей зажигаете свечи, смотрите новогоднее обращение президента, под звук курантов открываете шампанское. И потом всю ночь смотрите развлекательные программы, вполглаза, пьете и закусываете. И дети сидят за столом, в эту ночь их не гонят спать. А может, вы встречаетесь с друзьями? С сослуживцами, пьете водку и рассказываете друг другу истории. Это тоже хорошо. Все празднуют Новый год.

А я не праздную. Я ложусь спать пораньше. И затыкаю уши, чтобы не слышать канонаду фейерверков. Все равно слышно. И мне всегда снится какой-нибудь бой.

Последний раз я отмечал Новый год в ту ночь. Это было наступление года 1999-го. Последнего перед миллениумом. Последнего года Республики Ичкерия.

Официально празднование не поощрялось. В Исламе нет такого праздника. Шариатом он не предусмотрен. Этот праздник слишком мирской, слишком русский. Но многие в Шали все равно отмечали его, по привычке, оставшейся с советских времен.

В наступившем 1999 году Новый год будет в Ичкерии признан официально. Кабинет министров утвердит постановление «О праздничных и выходных датах», согласно которому в числе официальных государственных праздников окажутся *Толаман денош* (Новый год) — 1 января, *Ураза* — по лунному календарю, День весны и матери — 8 марта, *Гурба до денош* (какой-то лунный Новый год? — я до сих пор не понял, что это) — по лунному календарю, Пасха — по православному календарю.

Тридцать первого декабря я провел на службе. Мое дежурство закончилось только к десяти часам вечера. Я не стал возвращаться к себе наверх, я отпустил охранников по домам и пошел к отцовской усадьбе. Политически неграмотные и нетвердые в шариате селяне пускали в небо сигнальные ракеты, стреляли из автоматов. Я шел, пряча голову в плечи и вздрагивая от звуков выстрелов. Я не люблю все эти салюты и фейерверки. Ворчал себе под нос: этим придуркам лишь бы пострелять!

В доме было холодно и темно. В последнее время перебои с электричеством и газом случались все чаще. Самые крепкие хозяева обзавелись своими дизель-

генераторами, которые гудели у них во дворах, обеспечивая постоянную иллюминацию. Ни у меня, ни у отца ничего такого, конечно, не было.

В мою голову пришла нелепая мысль, чудачество. Я захотел нарядить елку. У нас была искусственная елка; когда я был ребенком, мы ставили ее на Новый год в центральной комнате дома, там, где диван, кресла и телевизор, где мы собирались все вместе.

Весь год между праздниками елка хранилась на чердаке.

Я взял в сарае фонарь на батарейках, приставил к стене дома деревянную лестницу и забрался на чердак. Осторожно пошел, стараясь не наступать между балок, светя себе фонарем, в глубь пугающей темноты. Раньше никто не смог бы заставить меня бродить по чердаку ночью, даже под страхом смертной казни.

Бывало, я лежал на своей кровати, стараясь заснуть, и прислушивался к шорохам на чердаке. Мне казалось, что по потолку кто-то ходит. Я был почти уверен, что на нашем чердаке обитают странные, опасные существа. Они скрываются днем, может, превращаются в летучих мышей, висящих вниз головой на стропилах. А ночью, ночью наступает их время. Они принимают свой истинный облик. Я не хотел думать о том, как они выглядят. Мне было страшно. Ночью они собираются вместе, они ходят и разговаривают. И если человек, особенно ребенок, решит залезть на чердак, он увидит их и, скорее всего, сразу умрет от разрыва сердца.

Говорят, что от разрыва сердца умирать очень легко. Миг — и тебя уже нет. Да кто говорит? Разве они пробовали?

Я не верю. Я вообще не верю в то, что есть легкая смерть. Я видел, как умирают люди: люди умирают долго и тяжело. Даже когда прострелены жизненно важные органы, когда повреждения тела несовместимы с жизнью, люди все равно продолжают жить и страдать. Агония длится часами, я видел это.

Может быть, от разрыва сердца люди умирают быстро. Но быстро — все равно не значит легко. Что наше время для умирающего? Он умирает не по нашим часам. Он чувствует ужас и боль, нам кажется, что это длится меньше минуты, но он погружается в муку, как в вечность. Он уходит, его глаза открыты, и мы читаем в них ужас и боль, навсегда.

У меня снова болит сердце. Мне стыдно, но что поделать, я такая развалина! Больное сердце, позвоночник, голова, желудок не переваривает пищу, половины зубов нет. А мне не стукнуло еще и сорока лет. Да, мы хилое племя. Не то что наши старики, которые жили до ста лет и дольше, сохраняя ясность ума и бодрость тела. Мы умрем, не дожив до пятидесяти, даже если нас больше не трогать. Нас добьют наши болезни и раны.

Мы сами придумали и распустили о себе все эти сказки: о том, что мы нестигаемые, практически железные, нам все нипочем, мы не знаем стрессов. Целый народ сверхчеловеков.

Но это неправда. Мы очень больные и слабые. У нас не осталось сил жить.

Знаете, сейчас в Шали самый прибыльный бизнес — это продажа лекарств. Только на одной улице, напротив районной больницы, стоят в ряд восемь аптек. И ни в одной нет недостатка в покупателях.

Но лекарства не очень-то помогают. Люди умирают. Люди болеют всеми возможными болезнями и умирают, от слабости и усталости. Умирают молодые мужчины и женщины, умирают дети.

Это началось после войны. Во время войны стресс поддерживал людей, напрягал все защитные силы организма. Казалось, чтобы убить кого-то из нас, нужно отрезать ему голову, иначе не получится. Казалось, мы живучи, как кошки.

У кошки семь жизней, так говорят.

Но у нас всего одна.

Когда закончилась война и спало это неестественное напряжение, оказалось, что все мы изранены и больны. Люди стали тихо умирать. Эти снаряды и бомбы, у них большой радиус поражения, он охватывает не только пространство, но и время. Осколки фугасов долетают к нам из прошлого, вонзаются в сердца. И сердца останавливаются.

Мое сердце болит после того случая, когда мы с Арсеном попались федералам. С нами не было оружия или шифрограмм, никаких улик. Мы даже не носили бород, наши лица были гладко выбриты. Но они почувствовали в нас врагов, как собака чует волка, по запаху. А может, мы просто попались под руку. Это были омовцы, они были очень злы: накануне моджахеды обстреляли колонну. У русских были убитые и раненые, а боевики ушли без потерь.

Это даже странно, но чаще всего моджахеды устраивали засады на ОМОН. Хотя роль милиционеров в этой войне была скромной: стоять на блокпостах. Гораздо больше потерь приносили отряды спецназа и подразделения внутренних войск.

Мы пробирались в Аргун, нам нужно было установить связь с агентом. В Герменчуке, среди бела дня, на автобусной остановке нас скрутили и забросили в машину. И увезли в неизвестном направлении. Как сотни и тысячи других чеченских парней, которые участвовали в сопротивлении или не имели никакого к нему отношения. Из неизвестного направления почти никто не возвращался. В неизвестном направлении много братских могил и одиноких разложившихся трупов, со следами фантастического насилия. Если кто-то попадет из обычного мира в эту, параллельную реальность неизвестного направления, он увидит там такое, что, скорее всего, сразу умрет от разрыва сердца.

Нашим неизвестным направлением стал лесок на берегу реки Басс. Мы местные, для нас это вовсе не неизвестное направление. Но оно стало таким и для нас. словно мы перешагнули тонкую зеркальную грань между мирами.

Это были те самые места, где мы играли в детстве. Но, стоя привязанным к дереву, я почти не узнавал окрестностей. Это было здесь и не здесь. Я понял, что попал в то измерение, из которого не возвращаются.

Арсена привязали к соседнему дереву. Сержант ОМОНа, знаток боевых искусств, делился с товарищами секретами и хвастался своим мастерством.

— Так, пацаны, одним правильным ударом можно не только вырубить, но и убить человека, не оставив практически никаких следов. Самое простое — прямой удар в область сердца. Бить надо вот так, сюда.

Сержант показал движение на Арсене, медленно, четко обозначив место удара и вектор силы. Рослый омовец, раза в полтора крупнее сержанта, презрительно сплюнул сквозь зубы:

— Ладно, смотрите.

Сержант взглянул в испуганные глаза связанного Арсена и сделал короткий резкий удар, с силой выдохнув воздух.

Арсен дернулся и, не вскрикнув, обмяк. Его голова свалилась на грудь. В остеклевенных глазах застыли ужас и боль. Боль и ужас, навсегда.

— Проверьте!

Верткий омовец подошел и пощупал пульс, после чего заявил восхищенно:

— Сдох, чурка!

Бойцы обступили бездыханное тело, кто-то поднял рубаху:

— Гематома практически не видна! Без специальной экспертизы хрен докопашься!

— Это называется «рефлекторная остановка сердца» — гордо объяснил сержант.

Я видел и слышал все. Я оцепенел от страха. Мои органы расслабились, в штанах текли тонкие струйки мочи и кала. Я еще успел зацепиться за безумную мысль, что убийцы забыли про меня.

Но они повернулись ко мне. Сержант, дерзко скалясь, сказал крупному:

— Повторишь?

— Как два пальца обоссать, — лениво откликнулся тот.

Он встал передо мной, примерился, стараясь точно подражать мастеру.

И ударил.

Меня сшиб грузовик, летящий по трассе со скоростью сто километров в час. Это была боль, резкая и яркая, как прожектор, включенный прямо в лицо. Боль заполнила все, стала всем. И все кончилось.

Когда я пришел в себя и открыл глаза, я ничего не увидел. Только тьму. Я испугался, мне показалось, что я потерял зрение. Но это была просто ночь. Прошло несколько часов, и наступила ночь.

С глухим стоном я повернулся и приподнялся на руках. Глаза пригляделись. Я лежал на земле, у того самого дерева, к которому меня привязали. Тело Арсена лежало рядом. С нас просто сняли ремни, связывавшие нас, и оставили валяться тут же. Не добивали, не стреляли в голову. Никаких ран или даже следов побоев.

Просто два человека, умершие от остановки сердца, одновременно. Может, увидев то, что не должен был видеть человек.

Вы видите, я остался жив. Может, они плохо проверяли мой пульс. Может, сердце действительно остановилось на какое-то время, а потом снова медленно пошло. Но я выжил.

А Арсен был по-настоящему мертв.

Я не мог забрать его тела. Я едва мог волочить свое собственное. Сначала я полз, потом встал и пошел вдоль русла реки. Не помню, сколько я шел, но добрался к дому врача в Герменчуке, того самого, который делал мне обрезание, и упал без сознания перед его дверью. Он спрятал меня и выходил. Через неделю я ушел.

Мое сердце с тех пор болит почти постоянно. Я не смеюсь над омоновцем, он ударил меня хорошо, мастерски. Я жив потому, что действие его удара отложено во времени. Когда-нибудь мое сердце остановится.

Если только раньше у меня не взорвется мозг или не откажет отравленная и отбитая печень.

Все это было еще впереди, когда я пробирался по чердаку в мечущемся свете фонаря, печально улыбаясь своим детским страхам. Не было там никого. Чердак был пуст.

Я нашел елку, разобрannую и аккуратно сложенную в картонном ящике. В другом ящике, рядом, были новогодние игрушки и мишура. Я по очереди вынес оба ящика, осторожно спускаясь по лестнице спиной. В нашей комнате, в комнате наших семейных праздников, я зажег керосинку и две свечи. Собрал елку и развесил на ее пластмассовых ветвях украшения: блестящие шары, сосульки и шишки, игрушечных зайцев и слонов. Хотя электричества не было, я все равно набросил на елку гирлянду из разноцветных лампочек и увенчал верх красной звездой.

Звезда тускло светила отраженным светом, огоньки свечей прыгали в зеркальных шарах.

Потом я сидел и смотрел на елку. Я представлял, что рядом со мной сидит Лейла. Я взял ее за руку — рука Лейлы была прохладна. На коленях Лейлы сидел наш сын. Он уснул, уткнув лицо в грудь матери. Лейла говорила со мной. Она вспоминала, как мы прятались в пустых классах от учителей, и я улыбался. Она

говорила: хорошо, что этот год прошел! В нем было столько горя. Не надо об этом, Лейла — отвечал я. Она соглашалась: не буду. В следующем году нас ждет только хорошее. Все только хорошее ждет нас в следующем году. Это будет хороший год, счастливый для всех и для нашей семьи. Мы все будем счастливы.

Так наступил этот год, год 1999. Последний год. Я чувствовал, что это будет последний год. Для меня, для моей жизни, для непризнанной, но де-факто существовавшей республики. Может, магия цифр. 1999 — последний год второго тысячелетия.

Хотя в газетах писали, объясняли, что это не так, что последним годом тысячелетия, если быть точным, является год 2000. Ведь именно он — двухтысячный, с его окончанием только заканчивается второе тысячелетие нашей эры, эры, начатой с приходом пророка Исы. Но не только мы, вся планета год 1999 считала последним. И готовилась к встрече 2000-го, как к встрече нового тысячелетия — мы узнали это новое слово — «миллениум».

Да, мы узнали. У нас показывали федеральные каналы, хоть некоторые программы и глушили, у нас была российская пресса — ее привозили на продажу частным образом. Так что и мы, как весь мир, попали под влияние этой магии чисел.

Но не только в числах было дело. И не только в мистическом предвидении. Трезвым умом анализируя окружающую нас действительность, мы не могли не понимать: скоро все будет кончено.

В футбольном матче между сборной шариатчиков и командой депутатов, где на поле вместо мяча скоро должны были выкатиться отрезанные головы, мы, как и большинство шалинцев, болели за парламент. Потому что поддерживали идею светской власти и недолюбливали арабов и их чеченских подпевал. А еще потому, что председателем парламента был шалинец — Руслан Алихаджиев. В феврале 1997 года Алихаджиев был избран депутатом парламента от города Шали, а в марте он стал спикером.

Шалинцы издавна отличались умеренностью во взглядах и тягой к цивилизации, в отличие от веденцев и других горцев, склонных к экстравагантности и фанатизму, вследствие, как мы полагали, их невежества. Это была еще одна трещина, расколовшая чеченское общество: равнинные чеченцы и горцы, *ламарой*. Шалинцы были типичными жителями равнины. Само название — Шали, говорят, от слов *шел меттиг*, «плоское место», равнина. Мы считали себя не только более образованными и современными, чем обитатели удаленных, диких горных аулов. Мы считали себя и только себя «настоящими чеченцами». Им казалось, что, напротив, истинные *нохчи* — это как раз они, а мы, равнинные — отступники, обрусевшие. Ссучившиеся, как сказал бы Лечи.

Это еще один стереотип, скажете вы. И будете правы, наверное. Но именно из горных сел рекрутировалось наибольшее количество непримиримых боевиков, именно в этих местностях нашел наибольшую поддержку ваххабизм. А равнинные чеченцы сетовали на то, что власть прибирают к рукам дикие горцы. Нам, выпестованным советской властью в интеллигентов, было обидно и страшно, когда толпы необразованных людей, спустившихся при Дудаеве с гор, заимели силу и авторитет, отодвинули нас на второй план.

Пятнадцатого января в конторе меня ждали плохие новости.

— Вчера в Грозном стреляли в Асланбека, — мрачно сообщил Лечи.

— Как он?

— Отделался легкими ранениями. Но это только начало. Шайтаны не оставят шефа в покое. Скоро наша шарашка накроется медным тазом.

— Брось, Лечи! В тебя тоже стреляли. А мы продолжаем работать.

Лечи махнул рукой:

— А, кто в меня стрелял? Урки какие-то, волчары позорные. Мстят за то, что я прищемил им хвост. С этими мы разберемся. Арсаева другие силы хотят завалить. Сам знаешь, кто. С ними нам не справиться. И Масхадов с ними ничего поделывать не может. А они не простили того, что Арсаев с Ямадаевым в июле разоружили ваххабитов в Гудермесе. Сулим с 6 января в госпитале, теперь Арсаев. Они не оставят его в покое. Или убьют, или сместят.

Слова Лечи оказались пророческими. Арсаеву недолго оставалось быть министром.

Шла Ураза — мусульманский пост. Я, как истинный мусульманин, держал аскезу три дня подряд. Как полагается, я не ел ни крошки и не пил ни глотка до самой ночи. Тогда я напивался водой и ложился спать. Есть почти не хотелось. Жажда мучила сильнее, чем голод. Я постился без отрыва от службы, но в активных мероприятиях эти три дня не участвовал. Часами я торчал в тире здания РОВД, стреляя по мишеням из своего ПМ — того самого, что отнял у «гаврошей» и оставил себе. Стрельба отвлекала от жажды и голода, время до вечера проходило быстрее. Лечи, кажется, строгого поста не держал. Хватило с него того, что на протяжении почти целого месяца он совсем не пил водки.

Девятнадцатого января пост закончился. Настал праздник разговления, который в Средней Азии называют Курбан-Байрам. У нас его так никто не называл. С детства я помню его по традиционной формуле, которой поздравляли друг друга сельчане, обходя дома соседей с угощениями: *марх къобул дойл шун!* — да зачтется вам ваша аскеза!

Так было всегда, и во времена социалистического атеизма и интернационализма было так. После Уразы наши соседи приносили нам угощения, а на Пасху моя мать, православная, пекла куличи, красила яйца и одаривала ими соседей. Так что все наедались на оба праздника.

Папа был тогда убежденным коммунистом. В религиозных обрядах участия не принимал. Но с удовольствием ел и деликатесы из бараньей требухи в конце Уразы, и куличи на Пасху.

Нам не казалось, что эти невинные народные обычаи могут стать причиной вражды и разделения.

Мы устроили праздник у себя в конторе. Зарезали двух баранов, нажарили шашлык прямо в парке рядом с Дворцом пионеров. Лечи выставил ящик водки. И сам напился, наверстывая упущенное за месяц. Его увезли домой в блаженном и бессознательном состоянии.

А двадцать первого января в соседнем райцентре Урус-Мартане по нашему ведомству случилось ЧП. Масхадов назначил нового начальника Урус-Мартановского районного отделения ШГБ. Прежний начальник, сторонник шариатчиков, с местом расставаться не захотел. В село вошел отряд президентской Национальной гвардии. В перестрелке было ранено несколько человек.

Я рвался в Урус-Мартан принять участие в разборке, выступить на стороне президента.

— Сиди тут, без тебя большевики обойдутся, — строго одернул меня Лечи, начальник Шалинского РОШГБ.

Моя должность теперь называлась «заместитель начальника». В Шалинском РОШГБ я был вторым человеком после дяди. Я послушался. Чтобы поддержать его авторитет и не смущать умы подчиненных, которые тоже рвались в передрагу, искали приключений на свою задницу.

Приключений нам и без того хватало.

Двадцать третьего января в Грозном президент провел пресс-конференцию. Он заявил, что в республике нет сил, способных осуществить государственный переворот.

Это было мало похоже на правду.

Уже на следующий день сам Масхадов, на специальном совещании глав местных администраций и имамов мечетей, распорядился сформировать в каждом населенном пункте вооруженные отряды резервистов. Для отражения возможных попыток захвата власти незаконными вооруженными формированиями. Масхадов искал силу, на которую он мог бы опереться. Он надеялся, что ветераны первой войны станут залогом стабильности в каждом селе и районе.

Но не хватало не только стабильности. Не хватало всего. Прежде всего денег. В 1998 году с деньгами в Ичкерии было плохо. В 1999 году с деньгами в Ичкерии стало еще хуже.

В Шали не работало большинство предприятий. Птицефабрика «Кавказ» была разрушена. Щебневый завод был разрушен. Пивзавод был разрушен. По ним отбомбилась российская авиация в первую войну. Бывший совхоз — теперь госхоз — «Джалка» дышал на ладан. А когда-то в нем собирались рекордные урожаи злаков, производились тонны мяса и молока! Земли госхоза по-тихому «прихватизировались» шалинцами, но, кроме кукурузы, на них ничего толком не выращивалось.

Хорошо, если выращивалась хотя бы кукуруза. Она шла на корм скоту, из нее же делали муку для лепешек — *сискал*. Кукурузные лепешки — национальное чеченское блюдо. Хлеб для бедных. Многие чеченцы, не слишком начитанные и образованные, наверняка удивятся, если им сказать, что кукуруза не возделывалась нашими предками на этой земле испокон веков. Что она появилась сравнительно недавно и была завезена — страшно подумать! — из далекой Америки, где маис выращивали совсем другие народы — индейцы. Но то же самое можно сказать о картошке и русских.

Задолго до Хрущева с его «кукурузацией» всей страны кукуруза стала царицей полей в Чечне. Это неприхотливый злак, очень простой в культивации — кукурузу можно сажать «под штык», просто забрасывая зерно под лопату. Чудесное растение — из одного зернышка вырастает несколько початков и стебель, которым можно кормить коров. Ничего не пропадает!

Чеченцы давно полюбили кукурузу. Вы помните, в той нашумевшей повести Анатолия Приставкина, злые чеченцы набили разорванный живот убитого маленького мальчика початками кукурузы — на, жри, сучий выродок, русское семя! Кошмарная сцена. Она всегда вызывала у нас отчаянные возражения. Папа говорит: нет, не могли чеченцы так поступить с ребенком...

Но я про кукурузу.

Кукуруза десятилетиями спасала чеченцев от голодной смерти. Мой отец вспоминает, что в самое трудное время, после войны, когда еды никакой не было, когда мяса и молока не видели месяцами, а кусок пшеничного хлеба был непозволительной роскошью, кукурузная лепешка, *сискал*, была в доме всегда. Только так и выжили.

Когда-нибудь чеченцы снесут со своей земли все памятники русским генералам и туземным спасителям отечества, политикам и ученым, вождям и ставникам народа. И в каждом городе, в каждом селе, на главной площади поставят памятник Кукурузе. Только она — единственная и настоящая спасительница нации.

Я отвлекся. Извините мне это агрономическое отступление. Мой отец — агроном. О, если бы и я не отклонился от мирной дороги, если бы мне — всем нам — было суждено возделывать землю, сеять в нее золотые кукурузные зерна,

а не осколки и пули — стальные зубы дракона, прорастающие новой смертью, новой войной!

В Шали худо-бедно работали только кирпичный завод и пищекомбинат. Пищекомбинат стоит в самом центре города, неподалеку от средней школы № 8, в которой я учился. В последние каникулы перед окончанием школы я устроился туда разнорабочим. Мы таскали картонные коробки, в которые было уложено по четыре трехлитровых банки с соком. Это было время борьбы с пьянством и алкоголизмом. Употребление натуральных соков вместо алкоголя тогда активно продвигалось по всей стране. И Шалинский пищекомбинат делал соки из яблок, груш, айвы и винограда. Удивительно вкусные соки! Мы обпивались ими до головокружения. Как и на всяком советском предприятии, на пищекомбинате действовал принцип: на работе съешь и выпей сколько сможешь, но за проходную ничего не выноси! Так мы и делали.

А иногда на целые сутки отправлялись к железнодорожной ветке, грузить соком вагоны. Это была тяжелая, но веселая работа. И за нее полагалось два отгула. Вагоны уходили на север, в Россию.

Я вспоминал эти счастливые дни. Это были счастливые, мирные годы. Только, чтобы понять это, нам пришлось пережить развал страны и войну. Терзаемый ностальгией, я часто выбирал свой путь домой так, чтобы он шел мимо пищекомбината, хоть и приходилось для этого делать по городу значительный крюк.

Ворота были открыты. На проходной дежурил человек в камуфляже и с оружием. Что-то гудело в горячем цеху, но по всему было видно, что лучшие времена для комбината уже прошли.

Даже не потерявшие работу люди все равно были без денег. Зарплату не выдавали месяцами. Работникам нефтяной отрасли задолженность по зарплате за 1998 год погасили только наполовину. В остальных отраслях было еще хуже.

Выживали частным «бизнесом». На подпольных заводах гнали из нефти самодельный бензин разных степеней очистки. Каждый третий торговал этим бензином. Вдоль дорог стояли стеклянные банки. На картонках фломастерами реклама: «российский АИ-72, Аллахом клянусь!».

Мы должны были бороться и с этим, но особого энтузиазма не проявляли. Иногда накрывали заводы или нелегальные скважины, а мелких частников не трогали: всем надо как-то жить!

В ночь на 16 января разношерстная банда вооруженных чем ни попадя грабителей совершила дерзкий налет на склад Грозненской ТЭЦ. Сторожей заперли, вывезли все, что можно продать, подчистую. Оставили записку: «В связи с невыплатой жалования заявляем, что будем грабить. Граждане Ичкерии. Аллаху акбар!».

Наши коллеги из МШГБ в Грозном на место преступления не спешили и подошли как раз к шапошному разбору. И по горячим следам никого не искали и не нашли. Скорее всего, склад взяли сами энергетики, отчаявшиеся от нищеты.

В январе и нам задержали зарплату. Раньше хотя бы «силовикам» платили регулярно. Теперь даже армия переходила к натуральному хозяйству: засеяла семьдесят гектаров озимыми.

Было бы совсем плохо, но в конце января Лечи вызвал меня в свой кабинет и отсчитал пять купюр по сто долларов.

— Это откуда, Лечи? — спросил я.

— От благодарных граждан, за автомобили.

Недавно мы раскрыли деятельность преступной группировки, промышленявшей угоном машин. В одном дворе на краю села они держали целый автопарк и мастерскую для подготовки угнанных автомобилей к продаже. Нет, там не перекрашивали номера двигателей и не перекрашивали корпуса, зачем? Делали гораздо проще, маскировка была минимальной. Например, меняли номера: с уг-

нанной «Волги» табличка с номерами переставлялась на угнанные «Жигули», а номера «Жигулей», наоборот, на «Волгу». Вот и все. О документах вообще никто не заботился.

Преступников мы посадили в следственный изолятор (их выпустили уже через неделю), а найденные автомобили вернули счастливым владельцам. Как оказалось, не то чтобы совсем даром.

Я возмутился:

— Лечи, это незаконно! Так мы сами превратимся в бандитов!

— Все так делают, — рассудительно ответил начальник, — в той же России, думаешь, милиционеры живут на одну зарплату? Сколько им там платят? Пятьдесят долларов в месяц?

— Ну и что, что у них там в России воруют и берут взятки! У нас должно быть по-другому!

— А у нас и есть по-другому! У меня все справедливо. Мы сделали хорошее дело, развели ситуацию, и по всем понятиям нам полагается доля малая. И не все по карманам рассовываем. Половину денег — в общак. Если кого ранят, или заболит, или похоронить — на какие деньги? Нет, все по закону!

— По какому закону, Лечи? По воровскому закону!

— А хоть бы и по воровскому. Все лучше, чем беспредел.

Лечи закурил.

— Да ты не кипятись. Тебе легче, ты сейчас один живешь. А у ребят семьи: жена, дети, родители. Им как быть?

Я покачал головой молча, показывая, что остаюсь при своем мнении. Но деньги в конце концов взял. Вспомнил, что и у меня есть семья.

Двести долларов я отправил родителям в Краснодар, со знакомым шалинцем, который ехал туда по своим делам. Сотню занес в дом, где остался сын Лейлы — наш сын. На остальные купил себе еды и патронов к ПМ и АКМ на рынке.

В чем не было недостатка, так это в идеях и проектах, как нам обустроить Чечню. Наш мыслитель Нухаев выступил в печати с предложением, альтернативным и светской власти на западный манер, и шариатскому правлению по арабской матрице. Он призвал вернуться к истокам, опереться на национальные традиции. Его проект можно охарактеризовать как родоплеменную демократию. Высшим органом власти, по замыслу Нухаева, должен был стать *мехк кхел*, совет страны, избираемый из самых уважаемых представителей *тейпов*, племен. *Мехк кхел* избирает *эли да*, отца нации. Представители девяти *тухжумов*, союзов племен, формируют законодательный совет *лор ис*, девятку мудрых, и судебный орган, *юст ис*, девятку справедливых.

Это было архаично и мило. Но казалось сюрреализмом.

Как знать, может, это утопическое национально-государственное устройство и было бы самым лучшим для нашей земли. Оно было проверено в веках и освящено временем. Родоплеменная демократия когда-то помогала народу сохранять мир, выдерживать баланс в окружении агрессивных и могущественных держав с севера, запада, востока и юга.

Но история не хотела повторяться. История шла только вперед, к новой войне, к новой крови.

В начале февраля президент Масхадов принял указ о шариатском правлении. Развернутая на тексте указа правительственная газета «Ичкерия» лежала на столе у Лечи.

— Вот, послушай, Тамерлан!

— Не надо, Лечи! Я читал уже.

— Нет, ты послушай:

«Указ Президента ЧРИ № 39 от 3 февраля 1999 года. О введении полного шариатского правления на территории Чеченской Республики Ичкерия».

- Полного, ты понял? Теперь у нас будет полный шариат. Полный п...ц!
- Лечи!..
- Дальше слушай:

«А те, которые не судят или правят не по тому, что ниспослал Аллах — те неверные». Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. Для реализации мира и единства чеченского народа, в целях реализации законов Аллаха, руководствуясь Священным Кораном и Сунной (С.А.С.)»

Лечи пригладил несуществующую бороду и карикатурно воздел руки к небу.

— Ты послушай, какой слог! Какие обороты! В целях реализации законов Аллаха! Он у нас что, папа римский? Наместник Аллаха на земле? Я не наместником его выбирал, а президентом республики! Если мне нужно связаться с Аллахом, я пойду к мулле, к святому шейху пойду, хадж сделаю в Мекку! А не в президентский дворец и не в кабинет министров!

- Ага, я что, я же...
- Слушай:

«Постановляю:

1. Ввести на территории Чеченской Республики Ичкерия полное шариатское правление.

2. Привести в соответствие с нормами Шариата все сферы государственного устройства ЧРИ.

3. Реализацию всеобщей Шариатской реформы государственного устройства ЧРИ начать с момента вступления Указа в силу по специально разработанной программе.

4. Указ вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением Указа оставляю за собой.

Президент Чеченской Республики Ичкерия А. Масхадов».

- Ну?
- Что ну, Лечи?
- Вот что ты как юрист на это скажешь? Как это называется?
- Это называется: конституционный переворот. Вернее, антиконституционный...

Снова этот кошмар Масхадова, кровавые чеченские мальчики, убивающие друг друга в междоусобице. Масхадов ввел шариатское правление, чтобы упредить оппозицию. Масхадов ввел шариатское правление, чтобы угодить всем сразу и предотвратить раскол в обществе.

Масхадов не угодил никому. И лишился всякой опоры и поддержки.

Национал-демократические силы, парламент, лишенный по указу № 39 законодательных функций, указа Масхадова не признал. Парламент продолжил свою работу, став еще одной оппозицией президенту.

Вместо парламента Масхадов сформировал Шуру. «Шуру-муру» — как говорили у нас в конторе. В свою Шуру Масхадов пригласил влиятельных полевых командиров, включая Басаева. Но Басаев, хотя и распустил по случаю полной победы шариата свою партию «Движение Свободы», в масхадовскую Шуру не

вошел. Вместо этого он объявил о создании своей Шуры, в которой натурально стал амиром — председателем.

И ваххабитов умиротворить не получилось. Джамаат, организация ваххабитов, высказался однозначно: введение шариата Масхадовым — только попытка обмануть настоящих верующих, запудрить им мозги. Нет, верующие не должны удовлетворяться этими подачками. Они обязаны вести джихад до полного шариата во всем мире, без всяких президентов.

А шариат шагал по Ичкерии! В середине февраля президент распорядился прекратить трансляцию российских телеканалов ОРТ и РТР как противоречащих шариату. Вещание разрешалось возобновлять только во время выхода в эфир информационных программ и...

И сериала «Дикий Ангел».

Мелодраму смотрели чеченские женщины. Усталые, измученные, тянущие на себе экономику семей и республики. «Дикий Ангел» был для них единственным доступным наркотиком, отдушиной, окном в мир мечты и сказки.

Запретить «Дикий Ангел» — значило, спровоцировать женщин на бунт, бессмысленный и беспощадный. На это никто не решился. Женщин боялись все: и правительство, и боевики, и шариатчики.

Женщины стали главной помехой в победном шествии шариата. Они отказались носить арабский хиджаб. Они сказали: вы в наши тряпки бабские не суйтесь, вы у себя разберитесь — с коррупцией, пьянством, грабежами, распутством. Наши тряпки — последнее дело.

Активизировалось исполнение закона о люстрации. Чиновников и сотрудников правоохранительных органов проверяли на участие в органах оккупационного режима 1995—1996 годов и вообще лояльность российской власти.

Лечи был вне подозрений. Он в 1996 году только откинулся с зоны и сразу — в сопротивление. И даже на зоне был в полном отрицалове, с активом не являлся, с кумом не дружил. Я тоже особых подозрений не вызывал, я вернулся в Чечню уже после окончания войны.

Но несколько наших коллег из Шалинского РОШГБ были уволены по приказу министерства. Это были лучшие сотрудники, опытные милиционеры, со стажем, знающие, обстрелянные во всех передрыгах. Да, они работали в РОВД и при русских. Они милиционеры, другой работы у них и не было и быть не могло!

Люстрация обескровила и без того дырявый штат нашего ведомства.

Потом парламент заблокировал закон о люстрации, и дядя вернул большинство уволенных на свои места.

Восемнадцатого февраля был мой день рождения, который я никак не отмечал. Двадцать третьего февраля был официальный праздник Ичкерии — День возрождения нации, ранее — День скорби. Годовщина депортации чеченцев в 1944 году. В Грозном шли парады. А я и этот праздник не отмечал.

Праздники ушли из моей жизни вместе с детством.

Вечерами я выходил во двор и смотрел на огни. Горели нефтяные скважины. Я вспоминал пионерские походы: «Взвейтесь кострами, синие ночи!..».

И думал: вот, взвились... допелись мы, домолились, допризывали на свою голову заклинаниями этот древний огонь, рвущийся из-под земли.

Нефть горела, а экономика замораживалась. По новому указу президента были приостановлены выплаты задолженности по заработной плате всем бюджетникам, если эта задолженность образовалась до 1 января 1999 года. Так что и наши декабрьские жалования пропали. Но другим было хуже: работникам культуры вообще за все время дали только одну зарплату — за октябрь 1998 года.

Денег в бюджете не было, и взять их было неоткуда. Вот такая смешная страна! Текущую зарплату, кстати, лучше выдавать не стали и после списания долгов за прошлый год.

Многим людям действительно было трудно найти что поесть.

И, неслыханное дело, в Чечне появились беспризорные дети. Не русские беспризорники, уже свои, чеченские дети, которые никому не нужны. Потерявшие родителей в войну. Брошенные родителями — алкоголиками и наркоманами. И не взятые на воспитание ближайшими родственниками, односельчанами, просто — другими взрослыми!

Потому что не было и родственников? Или потому что родственникам самим нечего есть?..

Многие из них снова пойдут сыновьями полка и будут подрывать танки и бронетранспортеры на улицах Грозного, во вторую войну, как в первую.

Гавроши.

Я далек от романтизации этих мальчиков, сражающихся в войны и революции. Аркадий Гайдар и его сверстники в Гражданскую войну. Гитлерюгенд с фаустпатронами на улицах Берлина. Чеченские мальчики с гранатометами в подвалах.

Я знаю только одно: восемнадцать лет — неправильный возраст для призыва в армию.

Уже поздно.

Самое лучшее время для призыва — тринадцать лет. Вот когда мы все мечтаем о боях, жаждем крови! И мы не знаем жизни, поэтому не ценим жизнь — ни свою, ни чужую. Мы еще жестоки, как дети, но уже сильны и коварны, как взрослые. Мы очень хотим убивать.

Сделайте призывной возраст с тринадцати лет, и у вас больше не будет уклонистов. В восемнадцать мальчик уже открывает для себя любовь и томление плоти, рождающей из себя другую плоть. Его ум затуманен. Он хочет обнимать девушку, а ему дают в руки автомат! Фрустрация! Вы не получаете солдат, вы получаете психических инвалидов, озабоченных незрелых самчиков.

В тринадцать лет мы чисты и невинны, мы прямы и естественны, мы настоящие солдаты, мы никого не любим, мы очень хотим убивать.

Это время инициации в первобытных культурах.

Но что может быть лучшей инициацией для маленького мужчины, чем настоящая война?

И Масхадов объявит призыв с тринадцати лет. Позже, когда начнется война.

А пока? Пока беспризорные дети собираются в шайки. У них есть оружие. Они грабят ларьки и магазины, убивают взрослых и друг друга, продают и употребляют наркотики.

Зима 1999 года была необычно теплой. И весна наступила рано, еще в феврале. С приходом календарной весны, в марте, было уже солнечно и сухо. Зеленели свежей листвой сады, цвела сирень.

И гнили помойки. В условиях бездействия коммунальных служб стихийные свалки возникали везде. Трупы животных, остатки пищи, строительный и бытовой мусор — все отходы громоздились горами на пустырях и в тупиках улиц, бродили, источали вонь, испускали газы, как больной кишечник поверженного наземь дракона, а с мерзостью — и болезни.

В Грозном жители выходили бороться с помойками на субботники, вспоминая опыт советской жизни. У нас в Шали в очередной раз запретили выбрасывать на улицу мусор. А куда его выбрасывать? Люди жгут мусор в своих огородах. От того село постоянно покрыто сизым дымом, как поле Бородинской битвы.

Друг мой, прошло уже почти десять лет, нет Ичкерии, нет шариата, полный конституционный порядок, а в Шали как не было куда вывозить мусор, так и нет до сих пор. И жгут в огородах, и сизый дым стелется в любое время года, каждый день. Делают из отходов огонь и дым, выбрасывают мусор в воздух, в ветер, в облака. В небо. Не оскверняют ли небо? Так ведь еще и не каждый мусор горит. А что делать со стеклом, железом и камнем?

Пятого марта в аэропорту «Северный» города Грозного неизвестные похитили представителя МВД РФ генерал-майора Геннадия Шпигуна. Неизвестные похитили и увезли в неизвестном направлении. В том самом, да.

Во время войны 1994—1996 годов генерал Шпигун был руководителем ГУОШ — Главного управления оперативных штабов. Это слово стало для тысяч чеченцев другим именем ворот в ад, аббревиатурой неизвестного направления. В ГУОШ пытали, из ГУОШ отправляли в концентрационные... простите, в фильтрационные лагеря. Иногда в ГУОШ просто расстреливали.

Назначение полномочным представителем МВД в Грозном именно Шпигуна было не очень умным решением российских властей. Или нарочитым плевок в лицо независимой Ичкерии. Говорят, за несколько недель до похищения Масхадов просил российское руководство отозвать Шпигуна, заменить его на другого представителя. Но не был удостоен ответа.

Генерала выкинули из самолета прямо на взлетной полосе. Забросили в уазик и скрылись. Теперь ему предстояло самому совершить экскурсию в то, запретное измерение — неизвестное направление.

Министр внутренних дел России Степашин поклялся, что найдет и освободит своего подопечного. Он пригрозил Чечне точечными ударами по базам боевиков и высадкой десанта спецподразделений, фактически — новой войной. Маленький генерал тоже стал картой в чужой игре, как когда-то мальчишки, исчезнувшие в его ГУОШ. Российская операция в Чечне началась позже, но до самого марта 2000 года она сохраняла этот сюжет — спасение рядового Райана. Только не рядового, а генерала. И спасти его никто не собирался, на самом деле.

На самом деле он был уже три месяца как мертв, когда через год его труп обнаружат в захоронении близ Итум-Кале. Он умер от сердечной недостаточности. У него остановилось сердце. Он увидел там, в неизвестном направлении, то, чего не должен видеть живой человек. Или был убит похитителями. Или сбежал от похитителей, но замерз в горах.

За три месяца труп сильно разложился, и правду установить было трудно. Да она и не нужна никому, как всегда.

А республика качалась на масхадовских качелях: туда — сюда, к шариату — от шариата, к Басаеву — и обратно. Почувствовав, что с этим шариатским правлением он подпилил сук своей собственной легитимности, Масхадов вернулся к жесткой критике оппозиции. Десятого марта президент заявил, что амир альтернативной Шуры, Шамиль Басаев, действует во вред чеченскому государству, и поставил вопрос о высылке из Чечни самого Хаттаба.

Да, Хаттаб. Снежный человек. Я видел его один раз, мельком, в центре Шали. Высокий, красивый, чернобородый. Девушки, глядя на него, ахали. Хаттаб на девушек не глядел, был верен своей жене. Или всем четырем? Это был сильный мужчина. На правой руке у него не хватало пальцев — оторвало при взрыве гранаты где-то под Кабулом или Джелалабадом.

Странно, правда? В 1987 году Хаттаб воевал в Афганистане против советских войск, в рядах которых были и чеченцы, даже те самые, что сейчас оказались с ним по одну сторону фронта — против России. В одном из интервью Хаттаб гово-

рил: «Газават показал свою силу, и сила не в оружии». В чем сила, брат? — спрашивал герой Сергея Бодрова. И сам отвечал: в правде. Так и Хаттаб, но у каждого здесь была своя правда.

Хотя это неправда, что у каждого своя.

Правда — всегда одна.

«Здесь не Афганистан, здесь у России нет веры, нет идеи, нет цели для войны». Он знал, что в Афганистане у СССР вера была, и идея, и цель. «А у нас есть цель, и если Россия хочет войну, то теперь война будет вечной».

Война, может, и будет вечной. Люди всегда воюют. Но сам Хаттаб не вечен, ему уже тогда оставалось совсем немного.

Его называли «черным арабом». Говорили, что он родился в Саудовской Аравии. Другие говорили, что он этнический чеченец, из Иордании — там живет много чеченцев, выехавших еще до революции.

Он узнал о войне в Чечне из репортажа CNN. Увидел картинку по телевизору. И отправился на джихад. Тоже жертва информационных технологий и реалии-шоу.

В Чеченской республике Ичкерия ему присвоят звание майора. Не очень круто, учитывая, сколько у нас было полковников и генералов. Наградят медалью «Доблестный воин». И двумя орденами «Къоман Сий». Масхадов хотел его выслать. Но позже будет вынужден сотрудничать с ним — через Хаттаба международные исламские центры финансировали Соппротивление.

Через год, в марте 2000 года, Хаттаб выведет остатки чеченских вооруженных сил из окружения в Аргунском ущелье, полностью уничтожив у высоты 776 близ Улус-Керта 6-ю роту десантников псковской дивизии ВДВ.

Федералы грозились, что поймают Хаттаба во что бы то ни стало. Хаттаб смеялся: пусть сначала поймают снежного человека!

Его не поймали. Но убили — тоже в марте. Еще через два года. Март, март, март. Март — морт — смерть... В марте 2002 года Амир ибн аль-Хаттаб, Самир бин Салех ас-Сувейлим, «Черный араб» и «Снежный человек», амир Высшего военного Маджлисуль Шура Ичкерии, получил письмо, весточку от старушки-матери. Что он думал прочитать в этом письме?

Здравствуй, сынок! Да ниспошлет тебе Аллах долгих дней жизни! Как проживают мои невестки? Скоро ли я увижу своих внуков и тебя, ненаглядный мой? Приезжай домой, а то дядя Абдурахман совсем стал плох, хотел увидеть тебя перед тем, как его глаза навсегда закроются...

Говорят, бумага была пропитана ядом, и Хаттаб скоро умер от отравления. Как имам Али ар-Рида, как халиф Умар II, как Балдуин III Иерусалимский, как папа римский Климент VII и Эрик XIV, король Швеции; как император Лев IV Хазар, умерший от короны предшественника, пропитанной трупным ядом; как император Роман II Младший, отравленный собственной женой; как Владислав, король Неаполя; как Антипатр Идумеянин, как Степан Бандера, как Александр Литвиненко — через четыре года.

Говорят, это была хитроумная операция российской ФСБ. Еще говорят, это были разборки по поводу нецелевого использования денег, выделяемых на джихад, между самими моджахедами. Или говорят, что это были разборки, но ФСБ тоже приложила свои чистые руки и задействовала свой сумрачный гений.

Говорят, он был ранен в бою с российским спецназом и умер от последствий ранения и заражения крови, а история с письмецом от мамы — очередная утка.

Никто не знает наверняка. Никто никогда ничего не узнает наверняка.

Дудаев, Масхадов, Басаев, Радуев, Гелаев, Хаттаб...

Все, что мы знаем, — только то, что эти люди мертвы.

Иногда мы сомневаемся даже в этом.

Но тогда, в марте 1999 года, Хаттаб жив. Он возглавляет военно-учебный центр «Кавказ». Лагерь подготовки террористов находится под Сержень-Юртом, в бывшем пионерском лагере. Ходят слухи о том, что на базе Хаттаба под Сержень-Юртом скрывается сам Усама бен Ладен, главный террорист и враг человечества № 1. Или № 2, после сатаны. Слухи муссируют в основном российские СМИ. Таким хитрым путем к взрыву бомбы на рынке во Владикавказе 19 марта, когда погибли десятки невинных людей, был привязан «чеченский след»: террористический акт организовал Усама бен Ладен, больше просто некому, а скрывается террорист в Чечне. Больше просто негде.

А лучшее место в Чечне, где журналисты могли бы спрятать Усаму бен Ладена, Саддама Хусейна, Адольфа Гитлера, снежного человека, лохнесское чудовище, марсиан и троллей, — это лагерь Хаттаба. Никто не видел его изнутри, не знал, что там происходит.

Я был в том самом лагере, по-настоящему, пионером. Если быть точным, это не один пионерский лагерь, а целая гирлянда лагерей по берегу горной реки, мелкой, с холодной и хрустально-чистой водой. В лесах из бука, среди черных гор. Лагеря назывались так, как обычно в СССР: «Родничок», «Заря», «Рассвет», «Радуга», «Дружба»... Я проводил каникулы в «Дружке». Помню эти места. Да, идеальное место для военной базы.

Во время Хаттаба я туда тоже не смог бы попасть. Мы не очень-то контактировали с Хаттабом и его курсантами. Они спускались в Шали, чтобы купить продуктов на рынке. Мылись в общественной бане, стоящей на источнике целебной сероводородной воды. А еще мы постоянно слышали выстрелы и подрывы в стороне пионерских лагерей — обучение не прекращалось ни на день.

Дорогой мой, мне надоели все эти ваши «воспоминания о войне». Меня тошнит от них. Какая война, о чем вы? Не было войны, как не было и мира, как не было и такого врага, такой страны — Ичкерия. Мне говорят, что у меня конфабуляции, что я грежу наяву, но я-то все помню и все знаю. Это вы галлюцинируете, вместе со всей Россией, вместе со всем миром.

«Я был на войне», «А ты был на войне?», «Он воевал во вторую чеченскую...»

Тошнит.

Послушаешь, так по России миллионы мужчин прошли через «войну» с «Чечней». Если не миллионы, то сотни тысяч. Где же и с кем они все воевали, родимые? Только в своих снах, со своими кошмарами. Некоторые теперь писатели, или журналисты, или вообще просто — мачо. И смотрят так, несколько свысока, мол, что они понимают — гражданские! Вот когда я был на войне...

Или во дворе — вышел недавно, навстречу пьяный, в стельку, — дай прикурить, брат! Дал. Мы, говорит, выпили, с товарищами фронтовыми, сам понимаешь... кто с этой войны нормальный пришел? Вот и пьем.

Да, пьют, и эти беседы: «когда мы были на войне...».

У меня в детстве был сосед, маленький мальчик, его потом убило бомбой, так вот, он говорил: когда я был большой, я ходил охотиться на волков!

Так и они.

Что такое эта война, на которой они были?

Чаще всего два—три месяца командировки в Чечню, в составе отряда ОМОН. Сидели на блокпосту, носа не высывали. Может, провели пару зачисток мирных жителей. Однажды ночью блокпост обстреляли, бывает. На мину кто-то нарвался, тоже не редкость. Если совсем повезло — попали в засаду. Сами ничего не успели понять, но боестолкновение было. Зачет.

Могли еще участвовать в масштабной операции. Например, группа из трех боевиков, мальчиков лет семнадцати, блокирована в селе силами дивизии ВДВ

при поддержке артиллерии, авиации, совместно с полком ВВ и парой-тройкой армейских батальонов; это не считая милиции. И вот все они долго и героически уничтожают трех несчастных мальчишек. И получают за это ордена, медали и звания.

Очень мило. Но это не война.

Когда вы говорите «война», «я был на войне» — создается впечатление, что речь идет об опыте, равнозначном опыту ветеранов Великой Отечественной, прошедших от Бреста до Москвы и от Москвы до Берлина, обороняясь в траншеях, отражая танковые атаки, переправляясь под огнем через широкие реки, бросаясь в рукопашные схватки и выдерживая долгие позиционные бои.

Но ведь это не так, дорогие мои, вы все врете.

Было бы честно, было бы правильно, если бы вы рассказывали о себе: я служил в карательном отряде.

Но это не красиво, не романтично — девушки не будут ахать.

И поэтому вы все врете — про войну.

Хватит врать. Пора уже иметь совесть.

Настоящих боев было не так много. Настоящая война — это штурм Грозного. Когда на улицах горели танки, когда дома переходили из рук в руки несколько раз на дню, как в Сталинграде. Те, кто сражался там, они могут сказать — я был на войне. И русские, и чеченцы.

Но их было мало. В сравнении с тысячами и тысячами новоиспеченных «ветеранов боевых действий». А осталось в живых еще меньше.

И чеченцы не хвалятся своим участием в войне. По понятным причинам. Да и вообще — чем тут хвалиться? Была война — мы воевали. Это как всегда, как повелось, уже сотни и тысячи лет. О чем тут говорить?

Меня тошнит это всего этого.

Когда мир встанет с головы на ноги, мы перестанем гордиться, нам станет стыдно. Стыдно за то, что мы были на войне. Или даже просто — где-то неподалеку.

Наше ведомство и весь силовой блок лихорадило постоянными реформами, преобразованиями, объединениями, реорганизациями, переименованиями и прочими бюрократическими инфекциями, что еще более усложняло повседневную работу. Мы не успевали привыкнуть к тому, как нас зовут, заменить шевроны и удостоверения, как подоспевала новая реформа.

Четырнадцатого марта вышел указ Масхадова о создании Министерства государственной безопасности ЧРИ. В новое министерство вошли: Служба национальной безопасности (СНБ), Управление по борьбе с похищениями людей (УБОПЛ), Управление безопасности на транспорте и другие спецконторы. Главой МГБ стал бригадный генерал Турпал-Али Атгериев, вице-премьер Кабинета министров, куратор силовых структур, правая рука Масхадова.

То есть теперь у нас было Министерство государственной безопасности, возглавляемое Атгериевым, и Министерство шариатской государственной безопасности, руководимое Арсаевым. Чтобы не повторять слово «государственной» наше министерство стали называть просто Министерством шариатской безопасности. Как будут разграничены полномочия, оставалось не вполне ясным. Вроде бы МГБ — аналог советского МГБ-КГБ, российской ФСБ, то есть — собственно спецслужба. Но раньше эту роль выполняла НСБ, руководимая Ибрагимом Хултыговым, а теперь она включена в МГБ на правах структурного подразделения. И если МГБ — это расширенная НСБ, то зачем ей Управление транспортной безопасности: попросту говоря, линейные отделения милиции на транспорте? И вообще, в чем будет отличие МГБ от МШБ? И зачем два ведомства, дублирующих друг друга? Все это выглядело как бред.

Или аппаратная игра. Игра, в которой если хотят отодвинуть чиновника, не объявляют об увольнении, а создают параллельное ведомство и назначают его руководителем нового фаворита.

Иногда старый, поняв, что утратил первую роль, уходит сам.

Асланбек Арсаев уже через две недели после создания МГБ подал в отставку. Ушел по собственному желанию. Это формально. Мы же понимали и поговаривали в кабинетах, что Асланбека «ушли» — вынудили оставить свой пост.

Точно так же в начале мая с поста министра иностранных дел ушел Ахьяд Идигов. Он констатировал, что его министерство существует только на бумаге, нет даже офиса. А в правительстве действует структура с параллельными полномочиями — Департамент по связям с зарубежными странами.

Арсаев не растворился, не ушел от дел. Он вернулся в армейские подразделения, откуда пришел во власть.

А нашим новым министром стал бригадный генерал Айдамир Абалаев. Я имел возможность познакомиться с ним лично 11 апреля. В тот день бойцы Шалинского РОШГБ (кажется, мы назывались еще так) под моим личным руководством (Лечи остался в конторе) отбивали у бандитов нефтяную скважину неподалеку от города Аргун. Вялое переругивание милиционеров с преступниками, не желавшими отдавать скважину, вдруг превратилось в ожесточенную перестрелку. Шальная пуля сбила берет с моей головы. Я свалился на землю и палил из АК в сторону бандитов. Не прицельно, скорее от страха и злости. «Нефтяники» ранили двух наших и ушли на вызванных ими по рации машинах, прикрывая свой отход огнем. Мы, кажется, тоже успели кого-то задеть — на земле у обочины, где бандиты грузились в транспорт, расплылись пятна крови. Через час на месте перестрелки был Абалаев со свитой. Заслушал мой рапорт, покивал головой. Сердечно обнял на прощание, как родственника. И уехал обратно в Грозный.

Айдамир Абалаев был потомком имама Алибека-хаджи, чеченского национального героя, жившего в XIX веке. В первую чеченскую войну он командовал горнострелковым полком, воевал в Ножай-Юртовском районе. В 1996 году вместе с Салманом Радуевым он захватывал Кизляр. Абалаев был противником Басаева, Хаттаба и всех прочих ваххабитов.

Во второй войне он снова будет сражаться в Ножай-Юртовском районе. Он почти что примет позицию Ахмата Кадырова, будет близок к тому, чтобы сложить оружие. Но после смерти Хаттаба вновь будет воевать с русскими. В 2002 году он погибнет, возвращаясь с совещания с президентом. Его «Нива» попадет в засаду. Российские СМИ сначала заявят, что ликвидация осуществлена федеральными властями. Потом спишут убийство на Масхадова.

Вскоре, 24 апреля, по указу президента, МШГБ-МШБ было переименовано. Как? Правильно. Обратно, в МВД, Министерство внутренних дел. Завершило полный круг. МВД-ДГБ-МГБ-МШГБ-МВД. Может, я что-то пропустил или перепутал, немудрено при такой изменчивости вывесок нашего ведомства.

Лечи, конечно, не мог не съязвить:

— Если курицу назвать орлом, она все равно не сможет летать.

Эту сомнительного свойства шутку он только при мне повторил несколько раз. И слышал ее не только я.

Как назло примерно в это время Масхадова стали в официальной прессе все чаще называть не президентом, а «имамом», духовным вождем народа. Так что шутка дяди звучала двусмысленно.

А тут еще 1 мая вышел новый указ президента. Масхадов лепил указы как пирожки, подменяя своим нормотворчеством законодательную деятельность парламента. Но первомайский указ был вообще что-то особенное. Указ за № 128 подписывал провести аттестацию — новую «чистку» — в судебных и правоох-

ранительных органах. На этот раз, на предмет наличия сотрудников с «криминальным прошлым». Отныне граждане, имеющие судимость, не могли быть приняты на работу в судебные и правоохранительные органы, а работающие подлежали увольнению.

Было очевидно, что указ подsunул президенту Атгериев, который уже выступал с заявлениями о недопустимости вхождения во власть уголовников, а также просто непрофессионалов. По его мнению, в судебных и правоохранительных органах должны работать квалифицированные юристы, а не доблестные участники Сопrotивления, с образованием в три класса церковно-приходской школы или медресе.

Вроде бы все правильно. Благие намерения, как всегда.

Только вычистили под эту сурдинку моего дядю Лечи. Формально — на основании его судимостей. Которые, конечно, никогда не были ни для кого секретом. И дядя, пересидевший столько «чисток», был уволен по формальному и несуразному поводу — понятно же, что он давно не уголовник. И столько сил отдал, кровь пролил, борясь с преступностью! Это было несправедливо!

На самом деле, я был в этом уверен, дяде припомнили все его демонстрации нелояльности и свободы, его собственное мнение по всем вопросам. И критику шариата с «африканскими законами». И особую позицию по еврейскому вопросу. И анекдот про курицу и орла. Анекдот, может, стал последней каплей.

Унаследовав светлые стороны социализма, Чеченская республика получила и генетические болезни СССР, такие как обидный герпес преследования за анекдоты.

Что касается квалификации, то, совершенно объективно говоря, Лечи был очень квалифицирован в юриспруденции, хоть и не заканчивал юрфака. Он изучал право в местах лишения свободы — была у эзков такая мода. И если учесть, сколько лет он сидел, то закончил он не только университет, но и аспирантуру. И вполне мог защищать кандидатскую диссертацию.

Лечи знал практически наизусть УК и УПК РСФСР, воспроизводил близко к тексту многие постатейные материалы. Был хорошо осведомлен в криминалистике, а криминологию мог бы даже преподавать. Психология преступного поведения, принципы организации и функционирования преступных сообществ были ему известны лучше, чем кабинетным профессорам.

Все это я искренне выпалил дяде вечером того дня, как стало известно о его отставке. Лечи выставил несколько бутылок водки, собрались самые близкие друзья-коллеги; всю ночь мы провожали босса, сидя в его кабинете, во Дворце пионеров. Пили и буянили, не страшась доносов в шариатские суды. Мы все хвалили и превозносили Лечи, особенно я. Под утро я называл дядю уже не иначе как «Профессор». Так же его стали звать и все остальные.

И это дядю особенно растрогало. Он признался:

— Товарищи мои! Вот я сколько чалился, а приличного имени мне не нашли, ни в крытке, ни на зоне. Звали по имени, по фамилии, или просто — чечен. А вы — Профессор! Это очень хорошее имя, достойное! Прямо под коронацию!

С тех пор это второе имя закрепилось за Лечи. И во время боевых действий его знали уже так: полевой командир Профессор, позывной — «Сокол».

На следующий день меня ждала предсказуемая новость. Я должен был занять место Профессора. Как заместитель, с приставкой и.о. — исполняющий обязанности. Начальника. Но начальника чего?

Республиканское ведомство переименовали. Не было больше МШГБ, не могло быть и РОШГБ — районного отделения шариатской государственной безопасности. Районное подразделение в структуре МВД должно было называться

как-нибудь вроде РОВД или РУВД. Но это было бы совсем как в России. А нашим ичкерийцам хотелось выпендриться. Вот и назвали мою контору — Шалинское управление полиции.

Мне это сразу не понравилось. Что же я теперь, полицейай?

Я сидел в кабинете Лечи — теперь уже в своем кабинете, хоть и ненадолго, как окажется, — и делился своими переживаниями с Мусой Идиговым. Он хоть и шариатчик, и дурень смешной, но вроде в стукачестве не был замечен.

— Полиция, милиция — какая разница? Полиция — даже красивее. Как в американских фильмах, — говорил Муса.

— Эх ты, Муса! А еще мусульманин! Ты же знаешь, Америка — главный враг Ислама!

— Да, — вздохнул Идигов, — но фильмы хорошие! И в чем все-таки разница?

— Понимаешь, милиция — это как бы народное ополчение, это когда народ сам вооружается, чтобы охранять порядок. А полицейских вооружает государство, чтобы охранять государственный порядок и саму власть, в том числе от народа. Такая историческая разница. Понятно, что и в СССР милиции давно не было, была полиция. И в России, и у нас тоже. Но все равно, слова — они имеют свою силу, за ними традиция.

В моей речи была пара не очень понятных Мусе слов, но суть он понял и со мной согласился:

— Да, милиция лучше. При настоящем шариате будет не полиция, а милиция! Только настоящая милиция, а не как ОМОН у русских, который свой народ убивает.

(окончание следует)

Сергей Гандлевский
Два стихотворения

Голливуд

Федеральный агент не у дел и с похмелья
узнаёт о киднепинге по CNN.
Кольт — на задницу, по боку зелье —
это почерк NN!

Дальше — больше опасных вопросов.
Городской сумасшедший сболтнул, где зарыт
неучтённый вагон ядовитых отбросов.
«Dad!» — взывает девчушка навзрыд.

В свой черёд с белозубою шуткой
негр-напарник приходит на помощь вдвоём
с пострадавшей за правду одной проституткой —
и спасён водоём.

А к экрану спиной пожилой господин
весь упрёк и уныние моет посуду
(есть горазды мы все, а как мыть — я один) —
и следы одичания видит повсюду.

Прикрываясь ребёнком, чиновная мразь
к вертолёту спешит. Пробил час мордобоя.
Хрясь наотмашь раскатисто, хрясь!
И под занавес краля целует героя.

И клеёнчатый фартук снимает эстет.
С перекурами к титрам домыта посуда.
Сказка — ложь, но душа, уповая на чудо,
лабиринтом бредёт, как в бреду Голливуда,
окликающая потёмки растерянно: «Dad?!»

* * *

А самое-самое: дом за углом,
смерть в Вязме, кривую луну под веслом,
вокзальные бредни прощанья —
присвоит минута молчанья.

Так русский мужчина несёт до конца,
срамя или слава всесветно,
фамилию рода и имя отца —
а мать исчезает бесследно...

Людмила Агеева

По воде далеко слышно

повесть

— слышишь, идет время?

— погоди, подпустим его поближе...

В.Д.

Бывает так, что вы сталкиваетесь в жизни с чем-то непонятным. Помучившись некоторое время в безуспешных поисках хоть каких-то объяснений, вы с явным усилием выбрасываете из головы и свои раздумья, и вызвавшие их события, вернее, уговариваете себя это сделать. Не всегда получается. И мысли и воспоминания возвращаются. Речь не идет о том вечном абсурде, так сказать, глобальном и всеобъемлющем, к непониманию которого мы давно привыкли и живем себе, не замечая, во всяком случае, стараемся не задумываться над ним слишком часто, иначе жить было бы совсем невозможно. Нет, случаются просто непонятные мелочи, необъяснимые мелкие происшествия. Причем в такой высокой концентрации, что их можно считать неразгаданными намеками. На что? Вот и я думаю, на что...

Давним летом я жила с девятилетней дочерью в нашем домике на Вуоксе, в поселке Горы. Ну... даже уменьшительное «домик» — громко сказано. Комната — восемь квадратных метров, веранда — двенадцать и пристроенный к северной стене сарай. Наши друзья называли его Дом Тыквы — у Джанни Родари в сказке про Чипполино есть такой персонаж, дядюшка Тыква, и у него крошечная конура. Неприхотливая датчанка Лиз назвала наш домик Хенхаусом, куриным домиком, однако с удовольствием провела в нем несколько дней и прислала мне из Дании благодарственное письмо. Какое-то время мы мечтали, конечно: вот соберемся с силами и построим настоящий дом, вот тут, рядышком, даже заложили фундамент, а этот сделаем летней кухней, нарисовали чертежи-картинки, планировали даже второй этаж — чердак под скошенной крышей — с двумя комнатками для гостей, а как же, друзья — это святое, друзьям должно быть хорошо в нашем доме.

Надо сказать, что друзья и так навещали нас часто. Потому что места волшебные — озерные, рыбные, ягодные и грибные. И как-то все приезжающие

Об авторе | Людмила Евгеньевна Агеева — прозаик, по образованию физик, окончила физический факультет Ленинградского университета, кандидат физико-математических наук. Рассказы, повести, эссе печатались в журналах «Знамя», «Звезда», «Нева», «Вопросы литературы» и др. Автор книги прозы «В том краю», СПб., «Алетейя», 2006, романа «Тонкий слой» — «Зарубежные записки» № 18, 19, 2009. Рассказы переведены на немецкий, итальянский, голландский языки. Живет в Мюнхене.

размещались, уезжать не хотели, в свободное от рыбной ловли время бегали по поселку, спрашивали, не продает ли кто дом, как бы здесь зацепиться и жить всем вместе в этом райском уголке неземной красоты, ну хотя бы летом.

Но никто еще не продавал, а если бы кто и решился — оформить покупку было пока затруднительно. Чиновничья управляющая сеть к тому времени сильно обветшала, заметно, так сказать, прохудилась; в прорехи уже прошмыгнули отдельные рискованные субъекты, кое-что застолбили и правильно сделали. Однако мелкая сельская коррупция расцветала чрезвычайно робко и боязливо. Все на личных связях. Взятки были смешные (не у всех их брали) и какие-то даже человеческие, типа заграничных напитков повышенной крепости и блоков сигарет «Мальборо». Правда, взяткодательство требовалось многократное — какое-то время в процессе запутанного оформления документов надо было кормить эту разгорающуюся печурку, то есть при каждом проезде мимо административного здания в поселке Мельниково подбрасывать дровишки и взбадривать ласковой осторожной кочергой тлеющие угольки.

Подкатывали на какой-нибудь «девяточке» (иномарок еще не знала наша суровая колея). Машина фамильярно бибикала, нагло разворачивалась под самыми окнами Главы администрации. Секретарша радостно выглядывала в окошко, делала ладошкой приветствие, быстро мазала губы, взбивала челку, потому как и ей перепали настоящие французские духи польского разлива. И начался небольшой праздник в рабочее время. Городские и закуски отличную с собой привозили.

Про бездушные условные единицы никто и не помышлял — чистые были люди.

Но в нашей глубинке, за семнадцать непроезжих верст от начальства, пугливый, осторожный поселянин жался и выжидал: «Зачем это, чиво там продавать, я прям и не знаю, как это? Не положено вроде... Бери вона... баньку... Давай две тышши и живи так...». Не будем лукавить, очень часто слезами и тяжелыми разочарованиями в человеческой природе заканчивались эти добрые договоренности. Старики умирали, оставляли наследников, у которых возникали относительно баньки, давно уже перестроенной и облагороженной, разные намерения. Городские хотели закрепить за собой жалкое летнее пристанище, такое привычное и уютное, у самой воды, и чтобы ничего, ничего не менялось — ни эти мостки со старой дедушкиной лодкой, ни дощатый стол под разлапистой ивой, ни крахмальная скатерть на столе, без которой Анна Теофиловна не мыслила себе обеда и жизни, даже если жизнь случалась — так себе. Белая крахмальная скатерть взвивалась над столом, как флаг над маленькой крепостью, обреченной, но не сдающейся, взвивалась, покрывала кривоватую столешницу, топорщилась жесткими складками. Настоящий белый цвет, без малейшей примеси желтизны, здесь означал именно несдачу. Сельские молодые наследники нарочно проходили на купальню по ближней тропинке, рядом с обедающими, хрипло гоготали, толкали друг друга, делали странные жесты, надо было понимать — гнали городских в шею. «Это все наше, рулите отсюда». Анна Теофиловна вздыхала: «Боже, что происходит с людьми... я же их детьми помню... такие милые были детки...».

Домик Тыквы мы выстроили чуть выше спорной баньки, у самой границы леса, на плоском валуне, еще при жизни Михал Степаньча, с его разрешения. Не без бутылки (кетоны и альдегиды — само собой), хоть и на ничейной земле. Это мы знали, что она ничейная, расчетливо держали в уме, он-то полагал себя природным владельцем всех лугов вокруг, и ближнего леса, и протоки, и скалы

над ней, и озера, ну... той его части, что охватывал глаз из маленького окна его финского дома. Мы не перечили, соглашались почтительно, трудно, что ли, уважить человека. Зато он повел нас через канавы и валуны, ткнул пальцем — стройся тут! (Чисто Петр.) Сам и камень плоский под фундамент указал: «Для себя берег, но хорошим людям ничего не жалко».

Такое удачное было время — земля была ничья. Это уж потом я его оформила, этот домик, задружившись с Главой администрации, и мы подписали с ним загадочный договор, со множеством пунктов, в частности, был там один, обязывающий меня сдавать (неизвестно — куда) сельскохозяйственную продукцию (непонятно — какую). «Не бери в голову, — сказал Глава, — такая форма... дурацкая». И дело обошлось, представьте, без взяток, то есть вообще — одни только улыбки, знаки уважения, практически и не выпивали вместе. У Главы начались к тому времени приступы печени. Но одну рюмашечку он все-таки пропустил. «За удачу! Живите у нас, наслаждайтесь...»

И домик стал наш. По закону. Такой подарок судьбы. Мы теперь никому не мешали, ни родственникам, которые грустно остались сидеть в бывшей баньке (на птичьих правах), ни соседям, пока что уважающим закон и Главу («задери его коза»), — домик стоял в отдалении. Шум и музыка никого не тревожили. Количество посетителей естественно возросло, и нельзя сказать, что сплошная шантрапа. Затесался даже известный математик, потенциальный академик (сбылось — на следующий год и выбрали), но пробыл недолго, мы покатали его на лодке, научили забрасывать «дорожку» — ничего не поймал, попил чайку, посидел на берегу и, очарованный, уехал. А как-то раз подлетела к нашим мосткам ловкая синяя моторка, и вышел из нее, покачиваясь, высокий человек в белых джинсах — культовая фигура — поэт, певец и композитор. К тому времени я уже была недостаточно молода, чтобы упасть от восторга в обморок, но к столу пригласила.

Наталья Михайловна Лозинская, погостив у меня недельку, вернулась в город с ведром черники и тут же позвонила: «Я много где побывала, Милочка, и во Франции и в Швейцарии, но лучше ваших мест не видела...». Так что иногда у нас возникали праздные мысли, не завести ли какую гостевую книгу.

* * *

Однажды, в середине лета, приехал к нам не очень знакомый мне молодой человек по имени Евгений. Все называли его почему-то Фома. Прозвище так приклеилось к нему, что каждый раз настоящее имя вспоминалось с определенным трудом. Вроде бы, я встречала его в Москве, в доме у Бруняши, в веселой божественной компании, среди художественных остроумцев, но особого внимания не обратила. Не обращала я внимания тогда на таких молоденьких. Где-то он снимался. Я имею в виду, снимался в кино. По этому поводу над ним подшучивали, называли звездой, просили автограф, дружески глумились. А вообще-то он был художник-реставратор. Привез его Конашенок и оставил, мне сказал: «Пусть Фома у тебя поживет недельку. Хорошо? — и зачем-то добавил: — Руки у него золотые...». Фоме пожал руку, прошептал: «Сиди тихо, через неделю забери... если все успокоится». А сам уехал в Питер, помахал нам с катера, мы помахали в ответ — исполнили провожательную традицию. Катер отрывисто гуднул на прощание и скрылся за Бараньим островом.

Что там у них произошло в городе, Конашенок не рассказал. По коротким репликам я догадалась, что все-таки что-то произошло.

Неожиданный гость. На лице его плавало такое неуверенное выражение, как будто приехал он не по своей воле, а лишь повинувшись давлению обстоятельств.

Однако оказался очень милым, дружественным, совершенно каким-то своим. Легкое, ненавязчивое усердие и золотые руки тоже пришлось как нельзя кстати.

С первого дня очень старался угодить, изо всех сил хотел быть полезным.

Соорудил удобную скамеечку у купальни, со спинкой и даже подлокотниками — соседи приходили любоваться.

Разобрал многолетние завалы в сарае, сколотил там из огрызков досок прочные полки, разложил на них в разумном порядке хозяйственные предметы.

Наточил все ножи и лопаты и даже выправил косу. Тут же выкосил лужок перед купальней. «Надо же, а так и не подумаешь...» — снисходительно, но с похвальной интонацией заметила Анастасия Степановна, наблюдая его уверенные движения.

Построил детям просторный шалаш такой красоты и вместимости, что они проводили там все время, то есть исчезали с родительских глаз ко взаимной радости противоборствующих сторон. Нужен отцам и детям краткий отдых друг от друга.

Научил за один день плавать буйного внука почтальонши, шестилетнего Леньку; почтальонша принесла нам в качестве гонорара лукошко малины.

Тяжелые сумки носил из магазина за Анастасией Степановной. «Какой милый», — твердила Настя и поглядывала на меня со значением. Подозревала нас в романтических отношениях. А то как же... Собирала улики, выходила на крыльцо, наблюдала, как мы сидим на грядах, хохочем, что смешного-то, конечно, шашни, тем более прополка — бабье дело. «Не волнуйся, не выдерну я твою петрушку, тут, смотрю, и киндза посажена; ух, а откуда у тебя такой мак? Можно я сорву?» — «Рви на здоровье, его никто не сажает, семена прилетают откуда-то». (Когда вернулись в дом, Фома бритвой надрезал коробочку; показался сок, закапал в чашку; мне было интересно. Фома подмигнул: «Опиаты, ценное сырье», на моих глазах все честно выбросил, стебель сломал, листья смял и тоже туда, в помойное ведро.)

С Настиним мужем Иван Никанорычем, который вообще непонятно на каком языке говорил — я, во всяком случае, его плохо понимала — Фома каким-то образом ухитрялся подолгу беседовать и покуривать на той самой новенькой скамейке у купальни, уверял, что много интересных вещей узнал, например, как заселялись эти места после финской войны. Как узнал-то? Загадка. Никанорыч разговаривал не предложениями, а хмыканьями, жестами, короткими словами забытого тверского (предполагаю) наречия, отдельными восклицаниями, натурально, матерными.

И куда бы мы ни отправлялись на лодке, а в тех дивных краях всюду передвигались на лодках — в магазин, на пристань, за ягодами-грибами, — Фома всегда был рядом, всегда так и рвался чем-нибудь помочь: вытащить лодку на берег или спустить на воду, спрятать весла, постоять на солнцепеке (а мы сидели с Машей в тенечке) в очереди за хлебом, в окружении бабок, в споры с ними не вступая, только ласково и спокойно всем улыбаясь. «Уж не верующий ли он у тебя?» — приставала Настя, заглядывала мне в глаза. «Все мы верующие», — «Не, я сурьезно, по-настоящему, что ли, верующий?»

Из очереди его никогда не выгоняли, а нас могли и турнуть — такое было стихийное правило: хлеб поначалу продавали только своим, а дачникам — что останется. Бывало, что ничего и не оставалось — свои набирали подводами (поросят надо было кормить однако). Безумные крики и даже драки случались, когда набивались в магазин мимоплывущие байдарочники, не желавшие подчиняться сельским порядкам. Но Фому никто не трогал, наиболее бдительные спрашивали: «Ты чей, сынок, будешь?» (как бы заведомо предполагая, что он

чей-то внук, хоть и городской, но свой), и он очень убедительно подтверждал и лицом, и жестом, указывая куда-то за мост. Там были еще малоизученные хутора. Называл даже имя бабушки: Александра Вениаминовна. «Нюся, что ли?» — изумленно переспрашивали. «Александра Вениаминовна», — твердо повторял. «А?!.» Деревенские по именам-отчествам друг друга и не знали. Иногда по отчествам — Петровна, Никанорыч. Но Вениаминовна... как-то не звучало, плохо выговаривалось. «А-а-а? Она где, далеконочко забрались...»

Себе в магазине Фома ничего не покупал. Денег у него не было совсем. Еще в лодке я протягивала ему сколько-то, сдачу он тщательно возвращал. Да там особенно и не нужны были деньги. Запасы тушенки и всяческих круп сохранились у нас с прошлого года, подспела уже молодая картошка, на огороде — укроп, петрушка и салат; молоко, сметану и творог мы брали в долг. Давно уже шли грибы — лесное мясо. (Ах, если бы вы знали, какие там случались грибы: белые, благородные, крепкие, они росли повсюду — рядом с домом, под умывальником, на купальне. Михал Степаныч, поутру проходя мимо нас, кричал бывало: «Я там, на купальне, пяток белых, малявочек, листиками прикрыл, не трожьте, это мои, я их пометил, пусть растут...»). И всякий раз Конашенюк обязательно замечал, затягиваясь первой послекофейной сигаретой, что грибы все равно не растут, если кто на них взглянет и не сорвет, так что лучше немедленно срезать да в суп или в маринад...) А также летнее варенье у нас не переводилось. Так что можно, можно было прокормиться. Вот за хлебом надо было плыть в магазин, ну и если кончалось подсолнечное масло. А больше ничего в магазине и не было. Про водку я не говорю. Водка была тогда постоянно. Но мы совершенно... Да, мы с Фомой не употребляли. Такие уж мы были странные. Ни на кого не похожие. (На всякий случай лежали в морозилке кетоны и альдегиды, в качестве валюты, сильно девальвированной к тому времени — любители экзотического напитка постепенно вымирали.) Так что Фоме не пришлось бы тратить деньги. Опять же — законы гостеприимства. Билет на электричку и катер, видимо, купил ему Конашенюк. Что там произошло, в городе, я не спрашивала.

Лето выдалось вполне сносное для наших карельских широт, теплое, временами даже жаркое. Фома явился налегке, без какого-либо багажа. То есть вообще без вещей. Можно было и без вещей в то лето прожить. Вернее, все они были на нем — старые прочные джинсы от американских благотворителей, вполне приличная темная ти-шотка (до сих пор называется — футболка), фирменная рубашка бывшего голубого цвета (у левого плеча крошечный ковбой раскручивал лассо). Под мышкой топорщилась чужая куртка — кто-то из добрых людей подарил — не очень теплая, но со множеством карманов, где удобно помещалось нужное мелкое имущество вроде записной книжицы, растрепанного блокнотика для рисования, карандашика, плавок, пустого кошелька и старинной скомканной авоськи; возможно, где-то в потайном кармашке был паспорт.

Последние месяцы он так и жил — налегке, передвигаясь от одних случайных знакомых к почти незнакомым другим. В Москве у него произошли семейные неприятности — сам рассказал, сдержанно, без особых деталей — жесткая, громкая ссора, отчего он выскочил из дому в чем был, оставив маленького сына и непреклонную жену, не успев (или не захотев) собрать рюкзак, почти без денег отправился в Питер, где нашел и стол, и дом, а еще говорят, что питерцы холодноваты. Он и сам отличался северной деликатностью — нигде долго не задерживался. Думаю, из правильного расчета не обременять гостеприимные семьи и не доводить до пагубного раздражения терпеливых жен.

Поначалу он показался мне неразговорчивым, застенчивым, двигался как-то бочком, как будто старался занимать как можно меньше места в пространстве,

да, он подолгу молчал, но молчание его было естественным, легким, необременительным, вдруг взрывалось неожиданным и точным остроумием. И молчать, и смеяться с ним было одно удовольствие. Не припомню, чтобы он сказал какую-нибудь глупость, плоскость, вообще — что-нибудь лишнее. Приходило в голову сожаление: как грустно-то, что нет у меня младшего брата. У меня, собственно, не было никакого, но захотелось именно младшего — воспитанного, умного мальчика, благодарного за простую еду: «у-у-у, как вкусно...», за всякую заботу и внимание. Очень редко он занимался своими делами, вернее сказать, своими мыслями. Иногда, правда, отдалялся от нас, ну не так чтобы очень далеко, метров на двадцать от дома, садился на удобный круглый валун на берегу, подстелив найденный в сарае аккуратный ватник времен финской кампании, закидывал удочку, вынимал карандашик и свою записную книжку или блокнотик, изредка что-то рисовал, чиркал, но большей частью смотрел вдаль. Наш кот устраивался рядом и наблюдал за поплавком.

* * *

Эти забытые времена были довольно странными. Одна власть уже потихоньку испускала дух. Другая еще только собиралась с силами. Народ растерянно крутил головой, соображая, что уже можно, а что еще нельзя. Воровство пока что не накрыло темной волной страну и окрестные дачи. После долгой зимы в первый раз за многие годы была обнаружена в нашем взломанном домике легкая погрыва — исчезли несколько банок китайской тушенки и частичка в томате, из тайника были вытащены подушки и одеяла, разбросана одежда и украден дедушкин брезентовый плащ. Видимо, грелись рыбаки или охотники. Тарелки и рюмки они за собой, конечно, не вымыли, но оставили в нашем шкафу под грудой чужого тряпья непочатую бутылку дешевой водки. Хотели вернуться, что ли? Чужое тряпье мы сожгли, подушки и одеяла прожарили в бане и высушили на солнце, водку отдали сыну бригадира Серому за навоз, кетоны и альдегиды он употреблял неохотно (новое поколение). «Может, они и утопи, — предположил обрадованный Серый. В голове у него не укладывалось, как можно не вернуться за спрятанной записочкой. — По весне у нас такое бывает, напьются на льду, ничего не соображают, лед-то хлипкий, ну и провалятся. Да, в газете писали... Во, однако, воры пошли, да? в дом несут...»

Потом уже грабежи начались серьезные. Из богатых домов увозили мебель, диваны, телевизоры, не брезговали собирать большие узлы с дефицитным постельным бельем, открыто подгоняли совхозную технику, курочили и снимали шифер, двери и рамы и, конечно, искали съестное. У одного старого дачника, профессора-биолога, всю его любимую оранжерею разобрали и увезли. Он ради этой оранжереи, собственно, на даче и сидел — все что-то там скрещивал, опылял, выводил морозостойкие сорта. Приехал весной — лил настоящие слезы, как ребенок, дрожал, под руки увели в холодный дом, на следующий день увезли в город. Не знаю, выжил ли.

Полторы зимние старухи (почему полторы? так говорили в деревне — старая Николавна была парализованная) свет во время налетов не зажигали, из окон не выглядывали — вот так, приблизительно, отгораживаются от мира зла теперешние молодые люди наушниками плееров и экранчиками мобильных. Давно идет игра: «Нету нас тут, никого нету...». Знали старухи, что к ним без особой надобности и провокации с их стороны не полезут, странные приличия соблюдались — своих, деревенских, не трогали, ненависть накопилась к городским. Одна вмешалась по глупости — их тогда было две с половиной, — утопили

в озере. Оставшиеся полторы старухи сидели как мышки. Так... только шевелились занавески.

Но это потом. Народ озверевал все-таки постепенно.

А в то лето эпидемия только-только начиналась.

Если идти от нас через лесок, через поросшую соснами ледниковую грядку, через скользкие под бархатным мохом валуны или вдоль озера по узенькой тропке, рискуя свалиться в протоку, дойдешь до Воробьевского хутора. Хозяин по фамилии Воробьев исчез в незапамятные времена, но название сохранилось. Местные говорили... например, описывая дорогу на Горелое болото: «За Воробьями свернешь налево...» или «Колодезь у Воробьев какие-то гады загадили опять». Нет, про колодезь это тоже — потом. Когда наступили огорчительные дни, когда добрались до наших благословенных мест пришлые равнодушные люди и начали полоскать в подземной родниковой воде свои омерзительные технические ведра. Долго держался в колодце запах машинного масла и плыли по воде радужные разводы. Медленно очищался колодезь. Во времена его нетронутой чистоты старые люди называли колодезь источником. Николай Васильич говорил задумчиво: «Вечерком надо бы к источнику сходить...», намекал. И мы отправлялись туда, вняв намекам деда, весело позвякивая ведерками, с детьми и собаками. Дети несли свои маленькие бидончики. Собаки резвились и прыгали вокруг. Тоже вот такая была у нас традиция — эта прогулка в закатном свете, в притихшем вечернем лесу, чтобы побаловать стариков хорошим чаем на родниковой воде, а утром заварить настоящий кофе и пить его медленно на стеклянной веранде с друзьями, испытывая тихий молчаливый восторг при виде небесной красоты, которая плескалась, мерцала и переливалась на солнце — от самых наших глаз до темных скал на том берегу.

Для обычных нужд и для супа воду зачерпывали прямо из озера. Говорили, что вода исключительно чистая, прошла очистку в Финляндии, там, в верховьях Вуоксы, и до нас доходит еще не испорченная противным мебельным комбинатом — он там, внизу, в Приозерске, а чтобы избавиться от легких воздушных пылинок, надо пропустить ее через примитивный фильтр из шести слоев марли и все...

Совсем близко к Воробьевскому хутору, к его домам и многочисленным пристройкам, мы никогда не подходили. Летом там шла тихая, не особенно нам интересная жизнь наследников Воробьева (они и фамилии носили другие) и постоянных каких-то дачников. Они только постоянным сдавали. Это были чужие владения, неприлично было вторгаться. Понятие прайвеси, видимо, входит в состав первоначального нравственного закона, пока печальные мутации не начнут изменять этот нормальный состав. Даже когда шли за черникой, удлиняли себе путь, сворачивали с тропы, ведущей к главному входу, обозначенному каменными финскими столбами, обходили территорию хутора стороной. Стихийное уважение к чужому существовало в деревне. Но колодезь с волшебной водой принадлежал всем, воду лечебную, божественную, брать никому не возбранялось. Старый хозяин хутора следил за колодцем, сметал сосновые иглы с деревянного серого сруба, выложил камешками окантовку, чтобы не топтали, не месили грязь вокруг сруба, привесил на цепочке алюминиевый ковшник. Тропка к источнику огибала чудный воробьевский сад, ухоженный и щедрый, — известно было, что яблони там особого редкого сорта — яблоки огромные, желтые и прозрачные, ягоды черной смородины виноградной величины, малина черная, красная и белая, а кусты ее непривычной колочести. Кто-то, значит, берег этот сад, холил его и любил. Незлые, должно

быть, люди там жили, в мальчишек, приносивших в деревню золотые прозрачные яблоки, никто не стрелял, даже и солью. В охотничий сезон проносился по озеру хозяин на своей мощной, скачущей моторке. При желании можно было в бинокль рассмотреть военную шапочку с козырьком, ружье, устремленный вперед сосредоточенный профиль. На носу моторки стоял неподвижно на пружинистых, крепких лапах его охотничий пес, за кормой ревел яростный бурн, обращаясь у берегов в длинные плоские волны — долго на них качались и бились бортами наши лодки.

Никогда вблизи я не видела этого человека, слышала только деревенские сплетни про семейные скандалы и таинственные смерти. Кто-то там умер, не дождавшись врача. То ли жена, то ли мать жены. Сначала, кажется, жена. Теща успела передать на волю, что жену-то он тихо задушил и спустил под лед, сам заявил, что пропала — уехала в Ленинград, мол, и не вернулась; в милиции сказали, что, может, еще вернется, и не приехали, но она по весне на Конский полуостров выплывает, как раз напротив хутора, и оттуда поет, многие слышали. «Ее случаем не Лорелеей звали?» — «Не, Лорка это была продавщица, хромая, не путай меня, так вот...» А потом и теща померла, своей ли смертью али нет, не очень интересовались, но труп точно был, хоронили, в Мельниково везли, а врачей не звали. Какие врачи в нашей глуши, какая «скорая», какая милиция? Дорог нет совсем (зато и советской власти нету, — замечали местные философы и подмигивали)... «Живем, пока живется... вот и весь сказ», — заканчивала Анастасия Степановна свой рассказ, иногда добавляла: «А женка евовная гулена была, люди не врут, одна вдарил ее при всех, она отряхнулась, обозвала его, пошла себе, юбкой завилась, такая стыдоба, а ей все божья роса, дак и сам он... ходок был, на покосах баб хватал... но работающий, работающий...».

* * *

Ну, а когда жизнь перевернулась, Воробьевский хутор стал переходить из рук в руки. После появления «валютчиков» огромную территорию хутора окружила металлическая ограда, над финскими каменными столбами воздвиглась арка, а между столбами навесили тяжелые ворота, перед воротами и вдоль ограды установили грубые и предупреждающие объявления, что будут стрелять. Если кто приблизится. Так мы и раньше не приближались. Но кто-то, по-видимому, приближался. Рабочих иногда они из местных нанимали. Все, что там делалось, все строительные обновления становились в деревне известны — и новый дом, и две новые веранды у старого дома, и винтовая деревянная лестница на «мансадру», и купальня, обширная, как вокзал, а главное — сауна, облицованная духовитыми панелями медового цвета, у самой воды. Подробности гулянок в этой сауне с голыми крепкими девками и последующими визгами в озере регулярно до нас доносились. По воде далеко слышно.

Эх, не дотерпели бедные «валютчики», недотянули до вольготной перестройки, когда бабки в магазине поселка Мельникова запросто стали расплачиваться долларами. И продавщица брала не моргнув глазом. Пересчитывала по фантастическому курсу с таким презрительным выражением на гладком бесстыжем своем лице, будто делала этим темным дурам великое одолжение. Считать она умела.

Уму непостижимо, как быстро изменилась жизнь, но удивительнее всего, что и мы быстро привыкли, и сами изменились, и перестали этим изменениям удивляться. И без сожаления стали прошедшую жизнь забывать. («Смена парадигм», — сказал в магазине один деревенский мыслитель.)

Короче, новые обитатели Воробьевского хутора буквально за несколько месяцев до объявленной вольницы получили приличный срок за валютные операции, «подрывающие финансовую мощь страны». Хутор опустел, рассеялись над водой запахи шашлыков, стихли озерные визги легкомысленных девок, и потянулись туда, к выморочным, брошенным домам, сначала робко, но со временем все более и более нагло практичные жители нашего села. С осторожным любопытством бродили среди новых построек, заглядывали в еще не разбитые окна старого мрачного дома, высматривали там что-то, дергали запертые двери, пинали сапогом штабеля новых досок и дорогого гладкого бруса, присматривались, примеривались. Вскорости и двери взломали, и стекла выбили, и доски с брусом увезли, причем открыто, на трех лодках с прицепами, на глазах у задумчивых мужиков, что стояли у своих домов, приложив к этим самым глазам ладони козырьком, вздыхали: э-э-эх!.. Кто смел — тот и съел.

Вот что значит человеческое заразное безумие. Эпидемия дунула на нас чумным своим дыханием. И мы поддались, довольно поздно, конечно, после длительного инкубационного периода, устав сопротивляться импульсам примитивного любопытства. Вот так. Не будем оправдываться. Вовлеклись и мы. Как спала жара, отправились к хутору по верхней дороге, мимо источника (глянули — там плавала невообразимая мерзость, воду оттуда давно не брали), мимо заросшего воробьевского огорода и сада, где чернели ямы от вырытых кустов смородины и топорщились заросли изломанной, потоптанной малины. Поднялись к страшному центральному дому — прочная финская постройка на фундаменте из аккуратно пригнанных валунов. Окна уже зияли зловещей пустотой, ставни были сорваны, замки сбиты, но двери еще не сняты с петель. Мертвая, сырая тишина стояла в комнатах. Фома посветил фонариком. Высветилась какая-то утварь, остатки посуды, раздавленные осколки, пустые дубовые шкафы, верх огромного буфета с деревянным избытком садовых плодов, тяжелые финские полки, сорванные портьеры. Вещи долговечнее людей. Протяжно, высоким голосом пропела свою жалобу дверца шкафа. Звук этот был ужасен. Хотелось бежать, не оглядываясь, из пустого разоренного жилья. Выскочили не сговариваясь.

Побродили по двору, зашли в пристройки. Стены заманчивой сауны были уже безжалостно изувечены, деревянная обшивка медового цвета отодрана, чернели застывшие ошметки мебельного клея. В летней кухне нашли какие-то пустилки: маленькую коптильню для рыбы, сверла в коробочке, ручную дрель, тугой рулон рубероида («берем, берем, ты что? сарай покроем, там дыра...»), коричневую канистру, пустую (понюхали — остатки керосина, «пригодится»), что-то еще. Споткнулись о печные старинные заслонки из чугуна с извилистым растительным узором, кто-то уже снял, прислонил к стене, видимо, хотел унести, не смог — тяжелые.

Фома исчез, скрылся в гараже, и оттуда донесся его радостный вопль: «Ух, какая вещь! вот это вещь! как это никто не заметил». Вышел, толкая перед собой прекрасную тачку, почти новую, в зеленой свеженькой краске, с удобными ручками.

Погрузили, повезли добычу, кружными узкими тропами, через чашу, прислушиваясь и оглядываясь — не идет ли кто. Останавливались, перетаскивали тачку через канавы и валуны, что-то оставляли в лесу, самое тяжелое. «Как стемнеет, я заберу». Где-то под кустами можжевельника оставили печные заслонки — не нашли потом. (Зачем могли бы понадобиться они со своим модернистским узором — непонятно, разве что подарить кому-нибудь понимающему.) Уже совсем на подходе к дому выбрали углубление между двумя валунами, устроили там тачку, загородили ветками, задекорировали вереском и травой.

Вот уже видна стена нашего домика, угол сарая, наша поленница, болтаются на веревке наши купальники. Слышу детские голоса — по вечерам они набиваются в новый просторный шалаш, пугают друг друга страшными рассказами, слушают музыку (девчоночий «ласковый май» или что-то вроде, у Юльки уже магнитофончик, кассетник, слышу Машины уверенные интонации, шалаш-то на ее территории, и вообще, этот прекрасный шалаш принадлежит ей; чувство власти и собственности; когда оно появляется, надо подумать). С озера доносится женский смех. Рассыпчатый... как картошка, замечает Фома. Проплывают вдаль байдарки, стайкой, лодочный поход, в байдарке кто-то поет: «...отражен волной огнистой блеск прозрачных облаков, и восходит пар душистый от зеленых берегов...». Высокий женский голос чисто и верно повторяет: «аат зелеоонных беерегов, аат зелеоонных...». Быстро плывут, скользят вдаль, дружно работают легкими веслами, ритмично, под венецианскую ночь. Едва доносится уже: «...искры брызжут под веслом...».

И вдруг у нас за спиной, там, где мы вот только что прошли, где прятали и укрывали наши трофеи, раздается страшное рычанье, треск сучьев, остервенелые звуки звериной борьбы. Необъяснимо и внезапно. Я издаю крик, забыв обо всем, несусь к дому, к укрытию, ничего не соображая, гонимая безумным страхом. Через мгновение беру себя в руки и возвращаюсь. Фома никуда не убежал, застыл на месте, выхватил нож — у него всегда на поясе в кожаных ножнах висел самодельный нож, не такой уж серьезный нож — так, палочку построгать, ветку срезать. Шепчет: «Это кабаны...». С перочинным ножиком на диких кабанов! (Мой ужас сменяется восхищением: какой смелый, настоящий мужчина, защитник; довольно разнообразные эмоции, однако, вместились в краткий миг.)

И так же неожиданно все стихает. Замирает вдаль шум погони.

Выжидаем. Медленно крадемся в чашу. Фома с открытым лезвием впереди, я за его спиной. Выходим на маленький пятачок заветной полянки, окруженной валунами. Рассматриваем следы борьбы неведомых существ, не такие уж заметные — сломанные кусты, взрытая земля, содранный с валунов мох. Никто бы не обратил внимания. Но мы-то видим. Наш тайник не тронут. Как будто кто-то его защищал.

Возвращаемся в дом. Без сил. Почти без сил. Их едва хватает, чтобы вытащить из шалаша Машу и накормить ужином. Медленно и лениво ковыряет вилкой котлету, смотрит подозрительно: «А где это вы были, куда это вы ходили? Все время от меня что-то скрываете». — «Быстро ешь и в постель».

Потом сидим с Фомой на веранде. Пьем чай. Молчим. Приходим в себя. Постепенно стихает возбуждение. Опускаются светлые северные сумерки. Наш кот выходит на охоту, устраивается на лугу, перед верандой, к нам спиной, смотрит на озеро, иногда лениво взмахивает лапой, подпрыгивает на месте — ловит ночных бабочек, но вдруг замирает, начинает вибрировать всем телом, медленно стелется по земле, стремительный полет его поглощает темнота — утром снова будет тропинка к озеру выложена мертвыми полевыми мышками.

Свет не зажигаем. Сидим, окутанные сумерками. Боковым зрением видим, как проплывает по нашей тропинке медленный силуэт. Анастасия Степановна идет через нашу территорию, по колено в волокнистом вечернем тумане, бесцветная, как призрак, посматривает по сторонам, оборачивает лицо в нашу сторону, но нас не видит. Обходит дом. С какой стати? Сидим — не шевелимся. «Она раньше когда-нибудь сюда заходила?» — шепотом спрашивает Фома. «Никогда», — отвечаю таким же шепотом и чувствую, что начинаю дрожать.

Руки точно трясутся. Бред какой-то. Наши участки никогда не были огорожены. Невидимые границы никто не переступал. Без приглашения сделать это было совершенно неприлично, невозможно. Если Настя приближалась, всегда кричала издали: «Есть кто али нет...». Другое дело, если мы уезжали в город, могла и зайти, придирчиво осмотреть наши запасы дров или постоять в огороде, покачать головой над моими сорняками, даже вырвать разгулявшуюся лебеду или закрыть от излишнего света белых ночей всходы редиски. Такие это были тонкие вещи, эти правила поведения — довольно трудно постороннему человеку объяснить. Каждая деревня — чужой монастырь. Но вот чтобы тайно зайти и что-то высматривать... Хотя мы еще здесь и никуда не уехали. А что, собственно, высматривать? Мысль о постепенных изменениях монастырского устава еще не приходила в голову.

Фома выскальзывает за дверь с полотенцем.

В окно мне видно, как Анастасия Степановна обходит наш дом, исчезает из поля зрения. Я вытягиваю шею. Куда это она двинулась? Не в сарай ли наш?

Стук в дверь. Все-таки выполнила Настя деревенские приличия.

«Чай пьете? А мне вот не спится».

Ждет приглашения, усаживается, быстро, исподтишка, обводит глазами наше бедное жилище.

«А Фома где?»

«Ну... по нужде, должно быть».

У деревенских не принято так открыто. Анастасия Степановна опускает глаза, стесняется. Я достаю большую чашку, наливаю ей чай, добавляю печенья в вазочку: угощайтесь. Чувствую, что плохо подготовлена к светской беседе, отворачиваюсь к окну, не хочу показывать свои тревожные глаза, именно что — прячу глаза, ну не знаю, почему, инстинкт, черная совесть; сказано вам — не укради, не бери чужого, а мы взяли. Нарушили заповедь. Это неважно, что взяли мелочь и то, что и так будет погублено, разворовано, раздавлено. Неважно.

Роюсь в посудном шкафу, ищу банку с вареньем, «...тут варенье у меня летнее...».

«А я вот думаю, Фома — это какое имя?»

(Бедная. Думала, думала, места себе не находила, ночью явилась узнать.)

«Фемистокл!» — отвечает входящий Фома.

«Ой, правда, что ль? Шуткуешь?»

Вот за что деревенские не любят городских: никогда не поймешь, где у них правда, где ложь, а когда просто шутят. Неприятно. Чужой язык.

Я смотрю на Фому со значением, делаю осуждающее лицо. Насте улыбаюсь: «Ну прозвище это такое, а имя у него нормальное — Евгений».

Деликатно похрустев печеньем и сделав из вежливости несколько глотков, Настя поднимается, накидывает платок, у двери останавливается: «Фима... сто... кил? Это кто ж такой? Фима — еврейское имя, кажись?» — «Фемистокл — древний грек, жил в городе Афины до новой эры...». Я останавливаю взглядом эту абсурдную лекцию: «Не слушайте его, Анастасия Степановна, был такой апостол Фома...» — настойчиво провожаю Настю, тесню ее к двери. Она изумленно: «Апостол? Это же который неверующий?». Фома не может не ответить на такой вопрос: «Скорее сомневающийся, как раз верующий своим глазам и своему сердцу, это неточное слово — «неверующий», многое утрачено при переводе...». Сумасшедший дом. «Аааа, вона что...», Настя запахивает свою кацавейку, облизывает губы, вытирает уголки рта таким крестьянским движением, смотрит на вазочку с городским бисквитным печеньем (я хватаю бумажный пакетик, высыпаю туда печенье: «Никанорычу, на утро, к чаю»), чинно желает нам

спокойной ночи и, успокоенная, уходит. Мы стоим на веранде, наблюдаем, видим, как идет она к себе все так же медленно, подозрительно оглядывая окрестности. Или все это лишь наше воображение?

Когда Никанорыч выключает над крыльцом яркий фонарь — значит, соседи легли окончательно, — Фома говорит: так я пошел. Помочь тебе? — спрашиваю. Нет, нет, сам все сделаю. Какая от тебя помощь, ты же на ногах не стоишь. Заметил. Заботливый. Как младший добрый брат.

Я устраиваюсь рядом со спящей дочерью. За стеной, в сарае, слышу некоторое время осторожную возню, тихие звоны и дребезги, интеллигентный московский мат — Фома размещает нашу добычу. Проваливаюсь в беспмятство.

Не получилось у нас спокойной ночи, не от чистого сердца желала Настя. Просыпаюсь от громкого яростного лая над самым ухом. Такое впечатление, что собака лает прямо на веранде. Выскакиваю и вижу в призрачном ночном свете огромного черного пса, он стоит на нашем столе перед верандой, почти уткнувшись мордой в окно, и воет. Нас разделяет только тонкая стеклянная стенка. Я кричу на него, машу руками, дверь отворить все-таки не решаюсь. Пес молчит, сидит на столе, смотрит... Фома в полусне что-то спрашивает. Я забираюсь к себе на лежанку с колотящимся сердцем, засыпаю. Ненадолго, потому что все повторяется.

Лай, вой и злобный рык. Собака бьет лапой в стекло. Это что-то невиданное, необъяснимое, Фома натянул джинсы, с закрытыми еще глазами вышел на веранду, пытается разговаривать с собакой. «Флинт, иди домой, иди домой, собачка...» Ему представилось, что это собака наших соседей, Смирновых, прекрасный, умный, воспитанный пес, всеми любимый, овчарка по имени Флинт. Совершенно домашний пес, хоть и овчарка, он ночует в доме, у ног хозяина, на чистом коврике, ночью никогда из дома не выходит, может залаять, если пройдут мимо забулдыги, формальным, предупреждающим лаем, абсолютно беззлобным. Лай у него другой. Да и шерсть... Шерсть у ночного монстра черная с проседью и такая... вьющаяся, что ли, матовая, совсем без живого блеска, а порода... Как ни мало я разбираюсь в породах собак — это никакая не овчарка.

«Фома, это не Флинт!»

В какой-то момент пес соскакивает со стола и кидается на нашу дверь. В нашем Домике Тыквы дверь была чрезвычайно тонкая, фанерная, практически картонная, между собственно дверью и стеной — громадная щель. И вот в эту щель просовывается лохматая лапа и тянет дверь на себя, пытается открыть. Ясно вижу огромную лапу, с когтями, черную с рыжиной. Когти противно царапают дерево. Дверь, закрытая всего лишь на обыкновенный проволочный крючок, жалобно скрипит. Я тяну дверь к себе, прижимаю черную лапу. Пес взывает, отдергивает лапу, отбегает, снова вскакивает на стол и бьется мордой в стекло. Внезапно отбегает в темноту. Мы падаем в сон. Изнурительная попытка продолжается всю ночь. Пес делает небольшие перерывы, неизменно возвращается и воет, воет... довольно виртуозный вой, леденящий душу, лающие разнообразные звуки, какая-то речь, словно что-то говорит. Что тебе надо-то? Что ты хочешь сказать?

Фома, не раздеваясь, закутался в плед, сидит на своем диванчике, раскачивается: «Что-то меня знобит». Почему-то стало очень холодно перед рассветом. «Чья это собака? Как ты думаешь, чья это собака?»

Я в полубреду: «Фома, это не собака...»

Он закрывает лицо руками: «Нет, нет не говори так... Я тоже подумал... Это не собака». Открывает лицо, и я вижу, как по лицу его катятся большие крупные слезы. Никогда, никогда не видела, чтобы взрослый мужчина так плакал. За-

стывшее лицо, без всякой мимики, остановившиеся глаза, нескончаемый поток слез, раскачивается и стонет: «Не собака, не собака... оборотень...». — «Окстись, Фома, успокойся, я пошутила». — «Нет, ты не пошутила, ты догадалась, я думал, ты не поймешь, ты ведь не могла знать...» Что знать? что я могла или не могла знать, спрашивать бессмысленно, пространство логики мы незаметно покинули. Провожу ладонью по его мокрой щеке: «Тихо, тихо, ты разбудишь Машу...».

Над лесом, на той стороне, появляется серебристая светлая полоса. Млечный путь повернулся и пропал, утренняя звезда взошла над скалистым дальним берегом. Стелется над озером рассветный холодный ветер, плывут по воде клочья тумана, но вершины сосен недвижны. Еще не рассвет. Только ожидание. Все, все это был сон.

Пронзительный вопль, плач, лай, скрежет, стеклянный звон... Чудовище все-таки разбило окно. Пронзительный вопль... мой... это я кричу, перелетаю по воздуху на веранду, над осколками стекла, над перевернутыми ведрами, хватаю на лету топор, срываю крючок, распахиваю дверь и несусь за этой черной тварью. Вот оно, безумство храбрых, когда отключены малейшие поползновения убогого анализа. Пролетаю над холодной и мокрой травой, над колючими шарами чертополоха, сквозь молочные космы тумана, с топором в руке и первобытным криком в горле, с нечеловеческими дикими словами. И монстр убегает, оглядываясь окровавленной мордой, поджав хвост (о! знак моей победы), гулками огромными прыжками мчится в сторону леса, скрывается навсегда.

Уже совсем светло. Первые моторки промчались выбрать сети.

Возвращаюсь. Роняю топор у печи. Падаю Фоме на грудь. И засыпаю мгновенно.

Маша ни разу за ночь не проснулась. Только уже под утро что-то быстро проговорила во сне, натянула на голову одеяло и откатилась в дальний угол лежанки.

* * *

Пробуждение. Чья-то рука зачерпнула меня из темноты и перенесла на воздух. Капли темноты медленно стекают, гулко ударяются о поверхность воды, идут круги, пересекаются, на деревянной стене дрожат тени листьев и мечутся солнечные пятна.

Маша осторожно скрипит дверью, стоит надо мной, наклоняется, проверяет, открыты ли у меня глаза: «У нас кто-то окно разбил, а ты все спишь и спишь...». — «Ты завтракала? В холодильнике сметана, творог, варенье возьми в шкафу». — «Завтракала я, завтракала, тетя Галя кашей кормила меня и Леньку... с медом». Шмыгает носом, хныкающим голосом: «Скажи Фоме... Он забрался в наш шалаш и говорит, что спит... А это наш шалаш... скажи ему». — «Ну... в некотором смысле это его шалаш, ты забыла, кто его построил». — «Но мы там всегда играли, и вообще, это наше место, и вообще, он так непонятно и странно разговаривает, нарочно нас дразнит... да... скажи ему». — «Ну хорошо, хорошо, сейчас встану, иди себе...»

Встаю с ощутимым трудом, в голове опилки, железные и острые, все мышцы болят почему-то, как будто били меня палками через толстое ватное одеяло, когда-то был такой повторяющийся сон, как мы били ябеду в школе, и, кажется,

он повторился, этот сон, перед самым пробуждением, перед выбросом меня в светлый и теплый день. Большую часть дня я уже проспала, без меня прошел утренний катер. На нем почти никогда никто не приезжает — слишком рано, по нему просто проверяют время, но появление белого корабля среди зеленых берегов и желтых скал — красивое маленькое событие, мы всегда останавливаемся и смотрим, все бросают свои дела, застывают на миг и смотрят, смотрят, как дети, провожают глазами...

Вспомнила сон, а ведь давно не повторялся, кусочек сна из детства — били не меня, мы устраивали «темную» ябеду и предательнице, помню даже ее фамилию — Цурикова, не такая уж редкая, накинули ей на голову пальто, чтобы не видела, кто бьет, или чтобы обезумевшие девочки из хорошей школы «с преподаванием ряда предметов на английском языке» не понимали, что бьют другую, девочку противную, лживую, доносчицу, презренную ябеду, толстую, с крохотными глазками, но живую; маленькое существо шевелится и плачет под темной тканью, не видно ни лица, ни глаз, ни тела, как будто и не человек вовсе, нечто неодушевленное, что должно быть наказано, нечего разглядывать, задумываться, мы собрались все вместе, чтобы наказать, а трепетным здесь делать нечего, идите домой и представляйте, что бы вы чувствовали... ну да, если бы били вас, пусть вам снятся сны.

Натягиваю купальник, беру ведро, зубную щетку и полотенце, пересекаю наш лужок. На купальне — никого. Какое счастье. Вода еще прозрачная, не взбаламученная ловцами шитиков и раков. Осторожно зачерпываю. Устанавливаю ведро на плоском камне, медленно вхожу в воду, развожу руками верхний теплый слой с нападавшей за ночь растительной шелухой — иглы, веточки, лепестки и листья. Разбегаются косиножки, отлетает чуть в сторону стрекоза и снова зависает над водой, трепещет синими крыльями. Нырять в темную холодную глубину, сосуды ахают (с ума сошла!), сжимаются, потом облегченно вздыхают, расслабляются, весело бежит по ним оживленная кровь, несет свои полезные частицы — белые, красные, всякие. Возрождается свежесть жизни. Волшебная вода, волшебная. Выныриваю, в два броска переплываю протоку — самое узкое место, взбираюсь на Детский камень, сижу, не двигаюсь, подставив лицо солнцу, слушаю дивную поющую тишину леса.

При свете дня все выглядит по-другому. И человек выспавшийся — уже другой человек. Холодная голова смеется над своими ночными страхами, старается рационально объяснить эти мелкие странности. Конечно, рационально, а как же иначе, мы так приучены. Неужто действительно считать ночную собаку монстром, оборотнем, призраком, вампиром, дьяволом, страдающей, непонятой человеческой душой, обратившейся в животное, ну, в общем, считать — не собакой. Какие глупости. И поздний приход Насти с непонятной целью, и битва в лесу неведомых зверей, ну ничего такого уж удивительного. Заповедь мы нарушили, но эти вещи все были уже ничьи. Не о чем тут думать. Разве что о чужой душе? Но она — потемки.

«Эй!» — кричит Настя. Она стоит рядом с моим ведром, делает призывные жесты, слова ее неразборчивы. Вздыхаю и плыву обратно. Хорошие отношения с соседями — важная вещь. Сейчас будет выяснять, что за шум, что за звериные рыдания происходили у нас ночью.

«Никанорыч спрашивает, придет к тебе кто? Каку моторку спускать (надо понимать — маленькую или большую, на шесть человек). Мы все равно Николаем поедем встречать, можем и твоих встретить».

Про ночной лай ни слова. Странная деликатность, совсем не в образе Насти. Или не было никакого лая и ночного безумия. Был только сон.

А ведь приедут, очень может быть, что приедут, если пятницу промотают, сегодня же пятница. Как быстро пролетела неделя. «О! Степановна, ты человек!»

Дети, помаявшись у шалаша, отчаявшись выманить оккупанта, ушли к подножью нашей придворной скалы, в самый дальний угол луга, обо всем уже забыли, смеются и пищат, связали и несут куда-то маленького извивающегося Ленку. Компания у них разновозрастная, от шести до тринадцати лет. Не нравятся мне их глупые игры, совсем ничего интеллектуального, надо пресечь.

Я заглядываю в шалаш, в узкий вход, отвожу рукой старую штору — Маша выпросила для украшения жилья. У них там даже есть окошко, затянутое прозрачным полиэтиленом, с занавесочкой из обрывка кружевной бабушкиной гардины; рядом с окошком на ниточках болтается фотография певца («Перемен жажнут наши сердца-а-а-а-а»). В полумраке можно разглядеть вытянувшееся на подстилке тело. Фома лежит ничком, голову обмотал полотенцем, не шевелится.

«Фома, ну хватит, выходи, не пугай детей, пошли завтракать, я сварю тебе настоящий кофе... Пошли...»

В ответ бормочет сквозь свою тряпку: «Го-ло-ва бооолит, нннемоогу...». Слова неизмеримо растягивает, произносит медленно-медленно, с трудом, словно язык у него распух и не помещается во рту. Я на коленях проползаю внутрь, трясу его за плечо. Он хрипит и начинает быстро дышать, как астматик. Выползаю. Бегу в дом, кидаюсь к помойному ведру, открываю крышку и вижу обломанные стебли мака, солому, изрезанные коробочки. Когда успел, когда? на рассвете, что ли, когда я спала обморочным сном?

Недаром я ныряла в холодную воду — голова ясная. Да что толку. Голова ясная, а ситуация пугающая, что делать, не очень представляю. Обмираю от страха. Почему он так дышит? Что это за дыхание? Мелькают в голове какие-то беспорядочные мысли: как называется-то это дыхание? не Чейн ли это Стокс? где телефон? (мобильники — пока что неосознанная научная мечта, у нас в поселке где-то есть телефон, кажется, у бригадира, но это только кажется, да и бригадир по описанию — зверь, никого к телефону не подпускает, даже сына московского инфарктника не пустил: пить надо меньше, сказал, везите в Приозерск, а телефон вам ни к чему...), и кому звонить? в Мельниково? в Приозерск, в Ленинград? Всякие мысли: и про то, что нет врачей ни в поселке, ни в Мельникове, и за трупом здесь приезжают на третьи сутки (прочь, прочь эти мысли), и я ничего про него не знаю, ровным счетом ничего, даже фамилии его не знаю, надо бы найти его паспорт, а где куртка, а куртки нет, видимо, он лежит на ней, точно, она у него под головой. Паника — это такое состояние, когда ни одна мысль не додумывается до конца, до того места, откуда может начаться *решение*.

Скоро катер. Одна надежда на катер. Хоть бы кто-нибудь приехал.

* * *

«Ну что, едешь с нами али здесь ждать будешь?»

«Я уж и не знаю, Анастасия Степановна, а вдруг никто и не приедет, им на дневной трудно успеть...»

«Ну, дак хлеб же сегодня, хлеба возьмешь, пока дачники не набежали».

«Нет, не поеду, у нас хлеб еще есть...»

«Ну, смотри... А вот седня ночью кто-то весь мак у меня на огороде оборвал. Зачем это? В букеты, штоль? Вона у тебя какие цветы... никто не тронул».

«А?...»

Бросаю взгляд на Настин огород. Действительно, исчезли стихийные бело-розовые маки, и на моем огороде тоже, у нас огороды рядом. На клумбе огромные махровые маки ярко пылают как ни в чем не бывало.

«А... это уж не впервой, ты просто не обращала внимания. На пироги берут, точно, на пироги, на маковые рулеты, мне рассказывали, в кооператив сдают...»

«О! Из воздуха деньги делают?»

«Из всего, Анастасия Степановна, из всего — из воздуха, из воды, из земли, даже из ничего...»

«А мы че сидим с тобой как дуры?»

«А нам не надо, Степановна, у нас уже все есть...»

Но никто не приехал.

Никанорыч снарядил на всякий случай большую моторку, хотя видно было, что с верхней палубы машут только Николай с Валентиной. Мы стояли с Анастасией Степановной на берегу. Напрягали глаза.

«Ну, может, в салоне заболтались...» — пытается утешить меня Настя. Нет, так не бывает. Все, кого ждут, поднимаются на верхнюю палубу, высматривают своих на берегу, делают знаки: встречайте, мы едем к вам...

На дневном катере никто не приехал.

Паника не может длиться слишком долго, в какой-то момент она переходит в состояние бездумного автоматизма, глаза боятся, а руки делают, как-то так, то есть голова боится и сотрясается внутри от нелепых видений, вплоть до вариантов транспортировки трупа — то ли в Приозерск, то ли куда поближе (и детей, детей надо будет как-то изолировать), а руки чистят картошку, режут морковь, лук, свеклу, огородную травку, взбалтывают сметану вместе с майонезом, готовят соус, открывают холодильник, закрывают холодильник, снимают коричневую пену с закипевшего борща. Последние запасы грудинки пошли на борщ, может быть, все-таки кто-нибудь приедет. Когда в доме есть борщ, — говорила бабушка, — предстоящие три дня можно жить спокойно. Руки отставляют гигантскую кастрюлю, вытирают стол, плиту, заляпанную жиром клеенку, достают огромную сковороду, тянутся за подсолнечным маслом, готовят сцену ко второму акту, глаза меж тем следят за передвижениями детей и соседей, уши, напрягаясь, вылавливают со страхом непривычные звуки из шалаша — то ли стоны, то ли плач, ноги периодически выбегают из дому — топчутся у шалаша, удостоверившись, что жизнь там продолжается, возвращаются.

После обеда время застыло на месте и никуда не движется. Фома дышит вполне ритмично, относительно, конечно; уговариваю себя, что особых изменений — нет. Позволяю себе иногда отходить от дома. Мелкая хозяйственная жизнь — сняла белье, еще слегка влажное, но скоро падет роса, лучше снять. Поймала Машу, проявила насилие — натянула на нее куртку. Принесла молоко, по дороге поговорила с матерью бригадира — чудная, удивительная маленькая старушка, объяснила мне, что в старости каждый год важен, как во младенчестве, и семьдесят восемь — это еще не то что семьдесят девять; она была учительницей в Тверской области, речь удивительно правильная, городская; они из ссыльных, отсиделись здесь тихо, на финских землях. Анастасия Степановна выключена, к счастью, из общения, занята гостями, оттуда уже несутся громкие голоса и забытые песни. Почти вечер. Солнцем освещены только вершины сосен. Резко похолодало. Приношу из домика плед, укрываю Фому. Время потихонечку тронулось и идет себе. Он уже дышит нормально. Состояние стабильное. И я почти, почти спокойна.

И вот наконец Фома выползает из шалаша, плетется к берегу, скрывается за деревьями купальни, возвращается, повесив мокрую голову на грудь, не смотрит мне в глаза и говорит отвратительным, хриплым голосом: «Дай ключ» (немыслимая интонация). И лицо у него не свое. Я успела заглянуть ему в лицо, не смогла бы описать словами. Только поняла, что страшное. Не дожидаясь моего ответа, сам снимает с гвоздика над плитой ключ от лодки, из сарая выносит весла, через минуту я уже вижу его на середине озера, он пересекает фарватер и растворяется в сумерках.

* * *

По пятницам, только раз в неделю, из Приозерска в Горы шел вечерний катер. Он проплывал мимо нас в ночи, праздничный, нарядный, сияющий, как новогодний ковчег, дымясь и мерцающая разноцветными огнями, грохоча любимыми маршами капитана, надрываясь гудками еще с Большого плеса. Каким образом катер проходил невредимым между скалами при поголовном вакхическом безумии команды и пассажиров, оставалось долгое время загадкой, пока не отправили капитана на пенсию — в ту же неделю катер впилился в две сторожевые скалы у Среднего плеса. Мокрые и перепуганные, разъяренные пассажиры вылезли на голые камни, загаженные птицами, продрожали всю ночь в ожидании аварийной посуды и не убили почему-то нового катерного водилу — то ли камни были скользкие, то ли сил на удар ни у кого уже не осталось. Но в то лето плавал еще старый капитан, любитель старинных военных маршей. По пятницам, уже в ночи, лишь только катер аккуратно застывал у причала, его под руки сводили на берег, усаживали (или укладывали) на пристани на лавку, он уж и лыка не вязал, сам идти не мог. Отдыхал полчаса — и в обратный путь.

Они приехали вечерним катером.

Незнакомые люди высадили у наших мостков Конашенка с двумя темными фигурами, развернулись и унеслись в сторону Песчаной бухты и Кривой березы. Одна фигура оказалась известным в институте стукачом в отставке, которого из христианских соображений Володя не мог лишить своей благодати (так он изъяснялся), а второй был совершенно мне не знакомый мужик в пиджаке на голое тело.

Предчувствие последней капли толкнулось в сердце.

Обстоятельства предоставляли выбор. Стукач как последняя капля — звучало почему-то обидно. Уж лучше Фома, уплывший в ночь на нашей лодке и до сих пор не вернувшийся. Мужик в пиджаке дерзнул изобразить учтивость: «Позвольте ручку...». Я спрятала руку за спину, брезгливо отступила, он покачнулся и поехал вниз по стене, оборвал полочку с тазиками, корзинками, плоскими, был подхвачен Конашенком у самого пола. Так что и этот учтивец вполне тянул на роль последней капли.

Но законы гостеприимства непреложны. Я поставила на плиту огромную кастрюлю с борщом. Расставила тарелки. Конашенок кинулся к холодильнику, открыл морозилку и взвыл рыдающим шепотом: «Ограбление века... ааааа! Где мои кетоны и альдегиды?». Засуетился, выскочил из дому, загрохотал чем-то в сарае, вернулся, присел на корточки, зашуршал в шкафу. Оказалось, что не такое уж ограбление, просто недостача, основные запасы сохранились в черном пакете в дальнем углу и в других местах. Проверив все тайники, Конашенок, успокоенный, присел к столу, приговаривая: «Невозможно... никому нельзя верить, особенно клятвам и обетам молодого поколения, о! неблагоприятное племя». Глянул на меня подозрительно, запел: «Не верь, не верь поэту, дева...». Ни-

чего про Фому не спросил, не поинтересовался. На мои попытки махнул рукой: «После, после...».

Начали разливать.

Злое и спасительное равнодушие опустилось на меня откуда-то сверху, в буквальном смысле снизошло. Внезапно. То самое запредельное торможение, о котором я прочитала много лет спустя в учебнике по психиатрии. Мысль о страшном сочетании опиатов с кетонами-альдегидами скользнула где-то по краю сознания и угасла. Поиски трупа по окрестным островам уже можно было переложить... переложить... да, на других, пусть они сами, сами ищут... Но стало вдруг ужасно жалко нашу прекрасную лодку. Мою лодку. Ведь пропадет, утонет, украдут. Конашенок подарил мне ее на день рождения и вывел на борту мое имя. Правда, после какой-то ссоры я собственноручно лодку перекрасила, и она стала снова безымянной.

За окнами застыла непроглядная тьма, прорываемая дальними зарницами. Где-то в Синеве уже грохотало. Выключили электричество. Зажгли свечи. Помнили прошлогоднюю шаровую молнию. Считалось, что так безопаснее. Непривычная тяжелая духота заливала пространство. Мужик сбросил пиджак, остался в майке тусклого цвета, навис над столом голыми плечами, зашептал доверительно: «А я вам так скажу — живые системы наделены способностью ощущать направление времени... эргодические траектории... е-мое... я же рассчитал, вы же на семинаре-то были, а переход к полугруппам исключает орбитальную стохастичность... но (поднял палец и погрозил стукачу) стохастичность стохастичности — рознь...» — «Разве я спорю, — примирительно вступал стукач (сейчас мне стыдно, что я называю его стукачом, не судите этих несчастных, вы не знаете, что им пришлось перенести, тем более этот был в отставке) практически трезвым голосом, — ну считаешь ты метаболе с кинезисом, и прекрасно, а мы понаблюдаем, чем дело кончится...» Откуда-то за столом оказался Никанорыч, последний поклонник кетонов и альдегидов, сидел, изумленно таращил глаза, тряс головой и кивал, соглашался с каждым словом.

Никто не вспомнил про Фому, никто.

Я встала из-за стола, зашла в комнату. Отобрала кота у спящей Маши. Прижала к себе теплое, пушистое тельце, кот пискнул, посопротивлялся, положил мне мордочку на шею, затих. Вышла из дому, осторожно прикрыла за собой дверь, впрочем, никто моего ухода и не собирался замечать. Глаза быстро привыкли к темноте. Не такой уж она оказалась непроглядной. Непривычно теплая северная ночь. Странная, душная и тревожная. Уже светлело небо. Гроза ушла на север. Усталые зарницы вспыхивали все реже. Вдали, на острове, горел костер, тренькали струны. Вечерний туман истаял.

Осторожно по мокрой тропинке я спустилась к купальне. На спинке скамейки висело наше полотенце. Сполохи серебристого света метались на поверхности воды. Источник света был скрыт. Озеро вздыхало и шло кругами. Короткие всплески выдавали подводную жизнь. Кот встрепенулся, оттолкнулся от меня железными лапами, вырвался, умчался к дому.

* * *

Туристы привезли Фому почти к воскресному катеру. В нашей лодке. Одно весло было потеряно. Взяли лодку на буксир и привезли. Всю субботу мы искали его на маленькой моторке Никанорыча, заглядывая в каждую бухточку, внимательно объезжая каждый остров, расспрашивали туристов — все пожимали плечами.

Он вышел из лодки и остался стоять на берегу, расставив ноги, с курткой под мышкой, стройный, молодой, немного бледный, улыбался виноватой улыбкой. Не смел идти дальше. Чего-то ждал. Конашенок обнял его за плечи: «Вот неделя пролетела, и товарищ мой упал...», похлопал по спине, повел к дому, усадил за стол.

Ужасная, ужасная была у них манера — ничего не объяснять, не рассказывать, не пользоваться словом, только взглядами, усмешками, гримасами.

Я зачерпнула остатки борща, нарезала хлеб. Фома поймал мою руку. Поцеловал.

В два приема доставил нас Никанорыч на пристань.

На десять минут мы остались с Конашенком без свидетелей.

«Прости, досталось тебе, — сказал Володя, — но... надо было его спасать, увезти из города. У него ведь ни паспорта, ничего, никаких документов. Там всех трясут, Чуконю замели, обвинили в хранении... да...» — «А в Москве?» — «Что в Москве?» — «Почему он из Москвы-то бежал?» — «На счетчик поставили, кажется...» — «А он сказал: с женой поругался». — «Одно другому не мешает». Пока Никанорыч возвращался, Конашенок быстро-быстро досказал, что Фома приехал не один, привел к Чуконе друга: «Ну, и случился передоз, дружок был уже мертв, когда его вынесли на балкон, не хотели народу кайф ломать, усадили на балконе, мертвого, продолжали блаженствовать. Фома ничего не понял, но теперь, видишь, у него истерика. Трепетный. Первый раз в жизни видел вблизи мертвого человека. Неприятная история. Кстати, Фома чистый, только любопытствовал, интересовался, теоретик хренов... Художественный интерес у него, представляешь. Что дальше будет — не знаю. Надеюсь, это был срыв».

Катер нас ждал, капитан погрозил Никанорычу кулаком. Никанорыч развел руками.

Заработали моторы, матросики спешно разматывали и убирали канаты, покрикивали на пассажиров, утащили внутрь трап, закрыли створки, катер загудел, задрожал, заурчал утробно, начал медленно разворачиваться. Отъезжающие столпились по левому борту, что-то последнее докрикивали остающимся, отталкивали друг друга, договаривали жестами, посылали последние воздушные поцелуи.

Фома стоял неподвижно, бросил куртку на ограждение, облокотился, стоял отдельно ото всех, отделенный от веселых, смеющихся попутчиков невидимой завесой, смотрел на меня, улыбался своей неопишуемой улыбкой.

Почему-то было понятно, что мы никогда больше не увидимся.

Юрий Арабов
Нобель зовёт...

* * *

Мы держали во рту провода, чтобы был электрический ток.
 У авиаторов было по два крыла, у крокодилов во рту — пила,
 Я подумал и лёг под каток.
 Он меня переехал, я видел тень от рамы, в моторе был небольшой пожар.
 Я видел, как люди размножаются в темноте,
 А потом, как плёнка, засвечиваются без пинам.
 Я стал невесомым, как карантин, прямой руки, что меня сгибала.
 Я прочел всего Гоголя один на один, на языке оригинала.
 Перевёл Толстого со словарём на язык современного быта,
 Но получился Сорокин, и эта страница закрыта.
 Ну а дальше что? Отвалить на Юг и на песке просушить рукав?
 Зиму увозят и волокут на снегоуборочных грузовиках.
 Из Юга и Врангель не выкинет без глобальной войны...
 И Север уменьшен, как вытряхнут из подозрной трубы.
 А вам я оставлю всё, все фантики и фаянсы в тине,
 Потому что птица, далёкая от финансов, держит все яйца в одной корзине.
 У меня почти ничего нет, только в стенах
 Прозрачный ток, добываемый, как руда;
 Только компас на Севере, показывающий на Север,
 Угольки деревень и горящие города.
 И у вас ничего нет. Лишь ключи зажигания и каток.
 И висит на кресте отутюженный человек, говорят, что это и есть Бог.

* * *

Деревянный конь был сначала при Трое, но потом перешёл в спортзал.
 Одноклассники бегали на квадратном просторе, а я стоял.
 Канат накачивал мускулы, на нём можно было стать маятником,
 И переваливаться, дрожа...

Об авторе | Юрий Николаевич Арабов — прозаик, поэт, сценарист. Родился в Москве. Окончил ВГИК. Дебютировал в кинематографе фильмом «Одинокий голос человека» (1978, вышел на экраны в 1987-м). Постоянный соавтор Александра Сокурова, сценарист десяти его лент. Не раз обращался к сюжетам Серебряного века и эпохи модерн: например — мистический триллер «Господин оформитель» (1988). Один из организаторов неформального клуба «Поэзия» в Москве (1986). Сотрудничает как поэт по преимуществу с журналом «Знамя» (начиная с 1992 года; публикации предыдущих лет: № 3 за 2000; № 1 за 2001; № 5 за 2001; № 7 и 8 за 2003; № 5 за 2004; № 6 за 2005; № 3 за 2007, № 11 за 2008). С 1992 года заведует кафедрой кинодраматургии во ВГИКе. Лауреат премий им. Аполлона Григорьева, «Ника», «Золотой Овен», «Медный всадник», фонда «Знамя» (1999). Приз Международного кинофестиваля в Каннах за лучший сценарий фильма «Молох» (1999). Сценарист фильма «Чудо» (2009).

Физрук был надгробьем с выраженьем памятника, и он лежал,
 Показывая пионеркам все сущности Кама-Сутры: ветер,
 Огонь и как вылезти из сансары, уйдя в астрал.
 Глаза его не мигали, как пуговицы внутри петель, а я стоял.
 Я умел добывать электричество из кирпичной стены,
 Хотя в Америке его добывают из стула.
 Я был прибит к крестовине гвоздём коллективной вины
 За то, что я был сутулым.
 В моей башке исчезали блицы
 Неточных знаний: закон буравчика, яблоко Ньютона, рычаг Архимеда...
 Так исчезают на солнце спицы при быстром движении велосипеда.
 Но я не двигался, я стоял. А двигались все другие.
 Потом началась война, поднялся Афганистан, и рухнули все стихии.
 Потом началась война народа с Мавроди
 И Мавроди против народа; в Москве спилили деревья.
 Мне дали ваучер. Я спрятал его в комод и подумал уехать в деревню.
 А потом я проснулся один в кровати с мыслью, терзающей мозг,
 Жил ли в Тольятти коммунист Тольятти или просто был женский бокс?
 Наступала эпоха грузинских агентов, заговора Тбилиси на короткой волне.
 Я понял, что становлюсь старым и нетранспарентным
 И что жизнь удалась не вполне.
 Школу снесли. В деревянном коне обнаружили греков.
 Тот, кто бежал, отошёл к Харону в одном строю.
 Я подбираю книги, выброшенные из библиотеки, и стою.
 Подобно дереву или Лютеру. Не меняя кровь, избежав узды,
 Терзаю детей, подключённых к компьютеру, как пропел поэт, через USB.
 Где-нибудь на Аляске найдут мой бивень, по нему сконструируют монстра в два этажа.
 Будущего всё меньше, прошлое прибывает, как ливень,
 И скоро они сойдутся, как два ножа.

* * *

Я слышал вчера по радио, что есть православные концлагеря.
 Я понял, что наши мозги украдены, а слова вылетают зря.
 Что все перемены временны, я их, как дурак, читал,
 И все зеркала беременны в царстве кривых зеркал.
 Что если жить в точке большого взрыва, где зародится галактика,
 То лучше в обличии блудного сына уйти за чужой грамматикой.
 Улететь в Ришикеш, обмочиться в Ганге, зажечься свечкой на парафине...
 Враг постоянен, ешь его или не ешь.
 А друзья мимолётны, как косточки в апельсине.
 А друзья мимолётны, почти всегда неизвестны,
 Они не дружат с тобой, а только со смертью дружат.
 И это будет, во всяком случае, честно,
 Если из всех вариантов ты выберешь тот, что хуже.

* * *

Всё плохо. В России — кризис.
 В ней слишком много поэтов и лохов и мало машин, у которых дизель.
 Всё плохо. У моей зубной щётки кариес, а мой сосед — на гражданской войне,
 Его ремонт расширяет радиус, и я среди тех, у кого взрывается в голове.
 Всё плохо. Я хотел бы стать атеистом, потому что это — самая сильная вера.
 Но мне приходится быть альпинистом, говорить с камнями, в которых время.
 Но всё ещё хуже. Скоро с помощью нануфологии воскреснет Зевс и Гелиогобал.
 А вот Христос не пройдёт предварительного отбора, скажут, что он и так воскресал.
 Всё плохо. Волна на воде горбата.
 Тело, обрубленное на гильотине, находит голову, но не свою,

А неизвестного доселе солдата, кому положено быть а Раю.
Святому Фоме в семинарии показывают на дверь,
И Воланд на северном бале пробует концентрата, ему сказали, что здесь портвейн.

Но всё значительно хуже, об этом и говорю.
Ты надеваешь галстук, на самом деле, завязываешь петлю!
Не надеваешь галстук,— не приблизишься к алтарю.
Хорошо ему было на острове Патмос.
Там мягкий климат, и даже Зверь становится детским.
Но нынче в атлас есть привычная дверь через турагентство.
Если имеешь евро — познакомись с Апокалипсисом,
Снимешь четвёртую печать и пятую,
А не имеешь — не отличишь надстройки от базиса. И тебе покажут козла рогатого.
Всё плохо. Дело в том, что мы все в Эдеме,
Где кантовский императив мыслит себя в тандеме.
Из Владимирской области на Эдем есть одна электричка,
В неё набиваются, как в бордель, и это вполне логично.
Я сам умирал, но воскреснул с помощью крупных денег,
И теперь я хочу отвалить на другой берег.
Ведь я сомневаюсь в Эдеме. Есть сомнения в терминаторе,
Есть сомнения в клавишах, по которым прыгает чижик-пыжик.
Есть сомнения в самом воздухе. И душа становится авиатором,
Когда распрощается с тем, что ей ближе.
Огненный ангел на рубеже тиснет тебе печать,
Цезарь, а ты где? Перейди Рубикон...
Мойры ткут свою нить, призывая тебя молчать.
Со своей устаревшей яхтой возится механик Харон,
Кто нашёл свою кочку, когда всех трясло в самолёте?
А тот, кто вышел на повороте. Точка.

* * *

Я помню, как Жданов вышел из самолёта.
Мы летели в республику Коми, а может быть, на Алтай.
Я был не в теме, его распирала блевота,
В воздухе было шалтай-болтай.
Он ударил бортпроводницу, открыл запасной люк,
Я увидел его пятки, сверкнувшие в темноте,
И он улетел от меня, как настоящий друг,
И с тех пор я не знаю, откуда он или где.
А потом состоялся народный суд,
Его, приземлившегося, ругали за хулиганство,
Но всему виной гениальность и пьянство,
И он до сих пор болтается то там, то тут.
Я задираю голову, надо мной парит Жданов,
Гляжу на воду, он мне в глубине мигает.
Человеческих слов он не понимает,
И его слова, как стальной редут.
И нас развели на разные канители.
Он болтается в воздухе, я прыгаю просто так.
На его Украине оранжевые параллели,
А на нашей с краю просто здоровый мрак.
Я б к нему проделал подземный лаз,
Я б к нему завёл сетевой портал.
Может, он Дон Кихот, а может, надел на себя таз,
Но я помню, как он летал.

* * *

В детстве нельзя быть самим собой.
 Кто смотрел в зеркало, тот боялся.
 Я помню, как бегал голубь с оторванной головой.
 Я сидел у костра и делал вид, что смеялся.
 У природы, по слову Мичурина, брали милость,
 А у Бога не брали, потому что сажали нищих,
 И кто тебя пользовал больше, твой завуч или
 Просто стечение обстоятельств, одно из тыщи?..
 Ребёнок — создание копииста, а подросток — хуже фашиста...
 В этом смысле любой, кто выжил, член антифа.
 У меня был цыганский «пугач», но в нём застревал выстрел,
 Хоть «не жертвы прошу, а милости» — это мои слова.
 Мы стояли в кустах и писали против ветра,
 Не оттого, что приятно, а просто иначе нельзя.
 Я сам не могу дать милость, но могу принести в жертву.
 Тех, кто сейчас рядом, а нет — самого себя.

* * *

Моисей был в зоне неуверенного приёма,
 А все остальные — в зоне рискованного земледелия.
 Иаков боролся с Богом, но ему не хватило приёма,
 А потом началось фатальное оупение.
 Пришлось наводить звезду, прочищать уши.
 Чтоб дать работу иконописцам, троих распяли.
 Пилат вымыл руки, потому что хотел покусать,
 А после, проворовавшись, оказался в опале.
 Романтик ему придумал пламенное раскаяние,
 Но он не помнил себя, не говоря уже о других.
 Он лишь помнил, что на монете, присланной из Италии,
 В слове «кесарь» есть опечатка, и мир — в рутине.
 Тогда в пустыне зарыли несколько артефактов,
 Лестницу у Пилата выкупила Елена...
 А после родились мы посреди антракта.
 В котором молчал Бог, но завывла сирена...
 Я и сейчас бываю в зоне неуверенного приёма.
 Земледелие кончилось, никто уже не рискует.
 Но на Щёлковском автовокзале несёт палёным,
 То ли жгут Жанну Д'Арк, то ли уголь в печи коксуют.
 В снеге больше соли, чем в анекдоте.
 Мы говорим за Бога над мутной чаркой.
 Нам приходится это делать, потому что мы на работе.
 Что на душе — не знаю, тем более в чакре.
 И что там в ашраме у Сай-Бабы или где там?..
 Знающий не говорит, но это нам не подходит.
 Я не уверен в том, что родился поэтом,
 Но вполне уверен в присвоенном кислороде.

* * *

Чтобы распять сегодня, нужно много строительных средств.
 Нужно нанять таджиков, чтобы сбить деревянный крест.
 Обеспечить конвой, это будет дороже вдвойне,
 И помехи, как чайки, сидят на короткой и средней волне.
 Каждый гвоздь дорожает, китайские гнутся с нуля
 Стынут длинные деньги, они не влезают в тебя.
 А затраты на склеп, предположим, каких величин?

Он построен под ключ в головах только сильных мужчин.
Выбирали Голгофу, с арендой случился прокол.
Старший менеджер — лыжник, а думали, он — ледакол.
Миро хоть заказали, но импорт сегодня не тот,
К Мир Ликийскому Николаю записываются вперёд.
Пусть Тиберий был скуп и немного страдал головой,
Но расходы на дыбу там были отдельной строкой.
А теперь не надейся, что кто-то тебя вознесёт.
Ни креста и ни склепа, а просто стреляют в висок.

* * *

Граф Толстой собирался в народ, и ему сказал один человек:
«Если падает маслом вниз бутерброд,
Намажьте с обеих сторон, и он упадёт вверх».
Граф Толстой получал верховую почту.
Времена свихнулись, и он подвязывал звенья.
Он в лесу искал не грибы, а почву, а находил только землю.
Он не спал со своею женой, был нелюдим, проявлял интерес к намазу.
И уже не увидел, как землю вывозят в Пекин и Ханой,
А почва при этом молчит, как воскресший Лазарь.
(Лазарь был воскрешён, но умер на третий день, и эта вторая смерть была уже навсегда.
Я помню, как в нём вращалась электродрель, а голова была сильно отключена.)
Граф Толстой брал лопату и ковырял дёрн. «Это почва?» — спросил он у инвалида.
Инвалид не ответил, затрубил боевой горн, началась Мировая, Толстой её не увидел.
До него умер Чехов, а после него — Блок.
Шахматово сгорело, столбы стояли непрочно,
Люди ходили на тросах, присваивали кислород,
Земли было много, но куда-то девалась почва.
Зато после смерти трава стала внятною, как букварь.
С насекомыми — буквой и с запятыми — улиткой.
Те, кто в церкви, на небо входят через алтарь,
Но некоторые, как граф, идут туда через калитку.
Пётр не дёргал небо за нитку, он закрыл колокольню, ушел на ужин.
Рай, похоже, был сшит на живую нитку. Граф решил почему-то, что он здесь нужен.
Он перестал бороться против балета,
Располнел до размеров галактики, стал терпимым.
Он в моём самолёте даже выправил турбулентность,
Когда всех трясло над большой пустыней.
Он наладил дисперсию света, убрал с облаков прошву.
Я видел его с биноклем, мудрого, как спаниель.
Граф Толстой изучал землю, но вдруг отыскал почву,
И я не знаю, что с ним случится теперь.

* * *

Есть плакат под названием «Нобель зовёт».
Он всегда актуален, как Новый Завет.
Если бьёт барабан или взвыла блатная труба, —
Он зовёт св. Иосифа, а может позвать и тебя.
Я всегда был уверен, что Нобель у нас под рукой,
Что он вездесущ, будто старый Опель,
Только с ним расплачиваются башкой,
А она всегда издаёт лишь вопль.
Пусть Иосиф был продан в рабство,
Но рядом был Томас Манн,
А ты всегда, когда искал сигарету,

Находил лишь пустой карман.
 Ты не знал, почему на иконе Бога не пишут в профиль,
 Но допускал, что Второе Пришествие оплатит Альфред Нобель.
 Бог не имеет профиля, я всегда это знал,
 Святой не становится боком, но он посещаем, как кинозал.
 Я не хотел быть профи, а с Богом и так говорил.
 Я искал по Америке свежей крови, но донор куда-то свалил.
 Я говорил Бунимовичу: «Вот-вот за тобой придёт Нобель».
 Он отрицал из приличия, но внутренне допускал.
 У него была редкая группа крови, —
 Он успевал к электричке, а кто-то не успевал...
 А кто-то мыкался, как праведный Иов,
 А кто-то вообще без плацкарты, сидя на нужнике.
 Пригов сказал: вся проблема — в количестве слов.
 Но Венера забыла руки, если помню, на турнике.
 Она не могла писать. А Нина имела все десять рук.
 Иногда они жили отдельно, иногда — сообща.
 Дом, работа, дети и литературный общак.
 Умер св. Иосиф, Нобель был ни гу-гу.
 Но прочухался после в эпоху кривых зеркал.
 Дерматолог зашил имплантат свободы у нас под кожей.
 Нобель пришёл сначала за Ниной, потом за Алёшей.
 Дважды ходил за мною, но я ему отказал.
 Собака приносит палку, но её никто не кидал.
 Я видел тень Нобеля, он посещал Винзавод.
 Меня туда звали с книжкой, я понял — никто не придёт,
 И что это за завод, если даже никто не поддал.
 Никто не надрался, никто не начистил фасад.
 Здесь разбавляли вина, готовясь к большой войне...
 Тех, кто идёт по морю, вначале бросает в Ад,
 А потом поднимает на самой большой волне.

* * *

Хорошо, когда нету писем в почтовом ящике,
 И слюна, словно клей, не заклеивает конверт.
 Вся Вселенная дремлет на рыбьем случайном хрящике.
 И петит существует отдельно от пачки газет.
 В саундтреке прошедшего поезда слышится босанова,
 И пожарник в вечернем небе тушит большой красняк...
 Мы в холодной войне побеждаем тем, что по новой
 Залепляем оконные рамы, придушивая сквозняк.
 У Венеры зашили промежность в осеннем парке.
 У Аполлона отбили пестик, и это секвестр.
 Кто его только не трахал, менты, доярки...
 Я помню, что при Хрущёве здесь горевал оркестр.
 Я помню, что нету писем. Нет телеграммы-молнии,
 Значит, никто не умер, никто к тебе не придёт,
 Никто не зачат внезапно, чтоб деву сравнили с волнами.
 А от почтовой молнии есть в доме громоотвод.
 Если упал вертолёт, то в нём сидит губернатор.
 И если тебя затолкают в какой-нибудь нефтепровод,
 Ты явишься на Украине, как сжиженный газ-аниматор,
 Тебе это будет лучше, чем всё просчитать наперёд.
 Ты обнулишь духовность, забудешь свою фамилию,
 Согреешь собой Крещатик, чтоб не сгореть вотще.
 Ты — рядовой запаса. Тебе надо ехать в Боливию,

Там, где сидит полковник, кому не пишут вообще.
 Скоро — Последний день. К нему не придут глухие,
 Они и себя не слышат, не то что Господних труб...
 Ты не подсуден им, не подчинён стихии...
 А суть квадратуры круга, что это не круг, а куб.

* * *

Я живу в Золотой Орде. И работаю там в Ворде.
 Меня не видно нигде, даже в «Ашане».
 Иногда отражаюсь в воде и в радиоактивной руде,
 меня добывают везде, где есть каторжане.
 Вдруг ястреб сорвётся с петель, вдруг спустится князь в ракете.
 Но он на военном совете первый от края.
 Он проповедь в Новом Завете читал при потушенном свете.
 И нынче в его сигарете коротит и стреляет.
 Я верю в Батья-хана, потому что в нём вижу пахана,
 у него продаётся нирвана, но стоит недёшево.
 Я ему предлагаю вяну в обмен на его нирвану.
 А он меня метит арканом и тащит на лошади.
 Хоть это забава — детская. Но в этом — его селекция.
 При нём есть духовная секция, дальнобойная батарея.
 Я с ними пошёл на дерзкое, — взял антивирус Касперского,
 XP поменял на веское, — «Висту» или новее.
 Но всё же я исчезаю из речи деда Мазая,
 из сводок Хамида Карзая, из сосен на Ладого.
 Орда, она Золотая, а яма всегда выгребная.
 И птица бьёт, не взлетая, из раны роняет ягоды.
 Под нею — омут без края, над нею — небо без Рая.
 И нимб без святого — радуга.

* * *

Мимо истории. Мимо Стефана Батория.
 Мимо восстания масс у железнодорожных касс.
 Мимо теории Мальтуса, Веннингера, Генона.
 Мимо апории про черепаху и Ахиллеса Зенона.
 Мимо себя, любимого, мимо других, не лучше.
 Мы надеваем нимб, как наушники, но из него вылезают уши.
 Тиран перебрал калории, в нём бродят свободные радикалы,
 мимо его истории с гробом в Колонном зале.
 Хочешь расширить ауру, встань под высоковольтной дугой
 мимо рабыни Изауры и князя с долгой рукой.
 Мимо старого мира, мимо нового с героином.
 Нету пули, что летит мимо, просто она попадает в другое.
 Мимо горького горя, мимо Форума в яме.
 Мимо конца истории по Фукуяме.
 Я уложил восьмёрку, она оказалась Мёбиусом.
 Я уходил в осоку, она оказалась мыслящим тростником.
 Мимо коитуса, мимо сессии с косяком.
 Мимо минного поля, куда ты ходил до ветру.
 Мимо ангела алкоголя, нацеленного на жертву,
 Мимо легального сыска, где матерее зверь.
 Ты делаешь самый неточный выстрел и, найдя пулю, находишь цель.
 Тебе показывают на дверь. По своей траектории
 мимо чужой истории, с трудом проталкиваясь к своей.

* * *

Я сижу в Москве на своём стуле.
Одновременно он находится в Туле,
Я встаю, потягиваясь, в Орле и делаю шаг по свободной Луне.
На Луне живут одни параноики, в любой из точек Вселенной я их встретил.
Держа в руке небольшой хронометр,
я бег лучей по нему считал.
Нос Гоголя находился в Сицилии,
но он сморкался, где невский лёд.
В нём жили особенные бактерии,
и нос гудел, как испорченный самолёт...
Это — волновая теория мироздания,
ты меня не видишь, а я везде.
В колонизированной москвичами Испании,
и овец пасу в деколонизированной Кабарде.
Ты скопец и стяжатель св. Духа,
раз в столетие причастишься, тебе всё глухо.
Но в твоём приёмнике есть длина, доказывающая, что я — волна.
Я стрелял в своё время из корпоративной «Авроры»,
Я с Троицким гнал непроваренный кипяток,
Присел с ним на стуле и вышел не скоро,
но к тому времени у них заржавел курок.
Я — патриот умышленного мироздания,
Где орбиты авторитарны, но скоро придёт детант.
Я размножаюсь, как в школе пишут задания,
На любой из осей пространственных координат.
Хочу, плыву по временному потоку.
Одновременно, как катер, на нём захожу вспять...
Из стихов пророка я делаю караоке,
Экклезиаст меня усыпляет, а Ирод мешает спать.
У тебя на теле — горячие точки
и я в них воюю как неизвестный солдат.
Мы родим кого-нибудь этой ночью,
Лучше не человека, чтоб не думал во сне кричать.
Внутри моих лёгких — летучий газ.
В расширяющейся Вселенной
я на дне работаю, как водолаз. Она сжимается постепенно.
Это её дыхание: вдох-выдох.
Реанимация здесь ни при чём, и наркологи спят.
Вместе с всемирной историей я иду на выход.
И мячик откатывается в детский сад.
Все матери рожают обратно, отцы своё семя втягивают назад.
Автограф Молотова исчезает под пактом, Иуда решает не лобызать.
В предгорье Синая — счастливые каторжане.
Моисей огляделся и бросил на гору канат.
Он втащил на верхушку свои скрижали, его зовут снизу, но он не идёт назад.
А я в это время сижу на стуле в отстроенном внутри себя Барнауле...
Вселенная скручивает в меня одну пустыню и все моря...
Я не хочу мыслить или лечиться, не хочу быть мудрым, как люминал.
Я быть хочу элементарной частицей, чтоб Бог из меня что-нибудь сваял.
И в новом мире, где нету неба, и в новой речи, где нет синекдохи,
Я буду просто страничкой Веба, простым числом в электронной метрике.
В моей расчёске сидит штрихкод, если в неё глядеть на просвет...
Я встаю со стула и смотрю под, но там, как назло, никого нет.
Один лишь вакуум, как броня. Просунешь руку, её сожмёт.
И затихает моя волна, её не принял никто в расчёт.

Александр Снегирев
Два рассказа

Я НАМЕРЕН ХОРОШО ПРОВЕСТИ ЭТОТ ВЕЧЕР

Накинув на голову розовый капюшон, я вышел на улицу. Небо синее, из окон бьет отраженное солнце. В клумбе тают корки снега, стекая на тротуар черными ручейками. Снег цвета слежавшегося пепла, усеянный накопившимися за зиму бычками. Гигантская пепельница потекла. Едкий запах нитрокраски — рабочие в оранжевых спецовках красят лавку в ярко-желтый цвет. Почки разбухают. Вроде как Господь набрал полный рот зеленой краски и сбрызнул мир, как хозяйка сбрызгивает белье перед глажкой. Снова апрель.

Если бы мне нравились лошади, я бы ходил на ипподром. Мне нравятся женщины, и я хожу на Тверскую. На ипподроме надо платить за вход, на Тверской смотришь бесплатно. Тут женщины на любой вкус: молоденькие, зрелые, фигуристые и унисекс. Они цокают каблуками и шпильками, шуршат балетками и кедами, переступают ногами, держат осанку. Я люблю разные ноги: смуглые и с накачанными икрами, полненькие и чувственные, со щиколотками тонкими и с крестьянскими широкими, с острыми коленками и с округлыми, длинные, короткие, стройные и кривоватые, любые. Лучшего зрелища, чем пара ножек, на свете нет.

В кафе огромные окна от пола до потолка. Зал заполнен солнцем. Напротив меня сидит парочка: она — рыжая немка-голландка, он — шатен, москвич. Обоим по девятнадцать, не больше. Держатся за руки. Он сидит ко мне спиной, она — боком. Прекрасно виден ее бюст, едва не выплескивающийся через края декольте. Она мягкая. Я ее не щупал, но мягкость бросается в глаза. Чрезмерная женская мягкость не в моем вкусе. Предпочитаю определенную степень упругости. Чтобы не как старая подушка, а как накачанный пляжный матрас. Но не перекачанный. Несмотря на весь мой критический анализ рыжей иностранки, глаза от ее буферов оторвать невозможно. Хочется туда нырнуть. И оставаться там некоторое время. Пока воздуха хватит. Больше ничего и не требуется, только нырнуть. И вынырнуть.

Шатен длинноволос, интеллигентен, кругловат и мешковат. Я был на него похож лет десять назад. То есть в его возрасте. Кругловатым не был, а вот мешковатым был. И остался. Только у меня бедра поуже и плечи пошире. И волосы

Об авторе | Александр Снегирев родился в 1980 году в Москве. Окончил факультет гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов и аспирантуру там же. С рассказами впервые выступил в журнале «Знамя» (2006, № 7). Опубликован цикл рассказов «Русский размер» в «Антологии прозы двадцатилетних» (2007, № 3). Затем вышли романы «Как мы бомбили Америку» (2007), «Нефтяная Венера» (2008) и сборник рассказов «Моя малышка» (2009). Лауреат премий «Дебют» (2005), «Венец» (2007) и «Эврика» (2008).

покороче. И интеллигентности поменьше. Шатен от перекатывающихся в декольте буферов в отпаде. Они его заворожили. Они бы всех тут заворожили, если бы рыжая сидела ими внутрь кафе. Но рыжая сидит ими в сторону окна, так что весь кайф достается шатену, мне и нескольким рабочим, которые очень уж медленно тянут трос из канализационного люка. Встали друг за дружкой, согнулись и тянут, точно бурлаки на Волге. А плятятся все в окошко кафе на ее буфера. Так они долго трос тянуть будут. Пока буфера не уйдут.

Шатен от буферов не отрывается, то пылинку с них сдует, то голову свою обросшую к ним приклонит, прислонит трепетно. Прикладывается, будто к святым мощам. Парочка то и дело целуется. В лобик. То она его, то он ее. Прямо мама и сынуля.

Не каждый решится иметь постоянно перед глазами такое декольте, но мальчику явно требуется сильная зависимость. Некоторые выбирают героин, другие — белые, колышющиеся, в едва заметных веснушках сиськи.

Время от времени официантки вопят «добрый день» или «всего доброго». Каждый раз вздрагиваю. Кажется, что официантки специально выкрикивают эти слова неожиданно, над самым моим ухом. Я и нежничаящая парочка сидим за выступом стены, мы не видим входящих и уходящих, да и звука двери не слышать. И никто официанткам не отвечает. По крайней мере так же ретиво. Может, они просто так орут? Чтобы шатен с рыжей не расслаблялись, да и я чтоб контроль над собой не терял.

Рыжая заказала трясулку с сиропом. Принесли. Трясулка дрожит в унисон буферам. Она что, специально? Со стороны и не скажешь, что чувство юмора ее конек. Впрочем, с чего я так решил? Рыжая поглощает трясулку, срезая ее ложечкой. В трясулке остаются выемки с идеально гладкими краями...

Тут она поворачивается ко мне и смотрит прямо в глаза. Я даже опешил от такой ее решительности. Вроде я только что был за наглого, а она этим взглядом расстановку сил переменила. Чувствую, краснею. А она смотрит, усмехается и вдруг говорит мне на чистом русском языке с интонацией приволжской буфетчицы:

— Ну... припади. — И очередную ложечку с трясулкой в свой ротик отправляет...

Уф! Ну и примерещится же! Рыжая по-прежнему смотрит на шатена, шатен смотрит на рыжую. С обожанием. Мне видна часть его профиля. Даже если бы не было видно, нетрудно угадать, как он на нее смотрит. Животик рыжей немного нависает над ремешком джинсов. Если будет и дальше увлекаться трясулкой, дело примет необратимый характер. С мягкими людьми всегда так.

А еще она наверняка вся покрыта пухом.

Отправляю эсэмэску милашке — продавщице каталогов. «Привет, хочешь выпить кофе вместе?» Эсэмэска не доходит, ее телефон отключен.

Наступил вечер. Сижу в «Солянке» на подоконнике. С давней подружкой сижу. Место модное уже не первый год. Мы оба здесь впервые. Нам по двадцать девять. Чувствую себя старшим братом, которого родители попросили присмотреть за вечеринкой младших членов семьи. Я привык думать, что я и есть молодежь. Теперь вижу, что больше не я. Мальчики в джинсах, скроенных, как клоунские галифе с отвисшими задницами, словно хозяева обделались. Некоторые и вовсе в рейтузах. Всклоченные девочки с ярко подведенными ресницами. Все моложе меня лет на десять. Они никогда не жили в Советском Союзе. Не коллекционировали стаканчики от заграничных йогуртов. Для них норма, что везде продают колбасу и яркие шмотки. Американские муви принято презирать,

а не гоняться за новинками. Повсеместное наличие жвачки их тоже, кажется, не колышет. Десять лет разницы в нашем случае — пропасть.

Я, вроде всегда считавшийся модным парнем, теперь ощущаю себя простаком, любером, Брюсом, блядь, Уиллисом, который приперся на пати к сопликам-мажорам. Вместо пушистой челки у меня бритая башка, вместо бледности — загар, вместо рубашки с кружевными манжетами и бабочкой под горлом — розовая олимпийка с капюшоном. Стоит ли говорить, что джинсы на мне прямые, как у работяги, а очков в черной прямоугольной оправе вообще нет. Чувствую себя даже не голливудским мачо, а лоховатым чиновником-взяточником, которого молоденькая телочка вытащила в свет и он приоделся модненько. В итоге выглядит как безнадежная вчерашка, жалкий от собственных попыток понравиться. Тянет крикнуть: «Мне еще тридцати нет, только двадцать девять! Я могу рейтузы натянуть, если надо! И бабочку...». Тридцати нет, а я уже ископаемое. Хоть в рейтузах, хоть без рейтуз. Время летит, мать его! И пускай какая-нибудь семнадцатилетняя телочка с всклокоченной гривой, обнимая своего изящного мальчика, глянет на меня через плечо, пускай вспорхнут ее ресницы, все равно я старпер. Дядя. Чужой.

Впрочем, я малолетним прелестницам не навязываюсь. Я со своей бабой пришел. То есть с подругой. Мы просто давние друзья. Моя детка сейчас далеко. Мы поцапались слегка, и она улетела. Ничего, через недельку-другую вернется. В окне, из-за крыши дома напротив, луна показала свой краешек. Так, задирая на мгновение юбочку, кубинские кокетки показывают попку. Увлечшись наблюдением за игривой луной и размышлениями о наступившей старости, я стал слушать невнимательно. А давняя подруга между тем заявила, что выходит замуж. Через месяц. Хотели для празднования виллу арендовать в Турции, или пароходик в Греции, или какую-то ферму в Болгарии, но с доставкой гостей затык выйдет. Гости-то в основном голодранцы, никто не сможет оплатить билеты, а те, кто смогут, — поленятся. Приглашать же за свой счет молодожены никого не собираются. Решили, короче, дом отдыха снять. На Десне. Автобус закажут и гостей туда от метро отвезут.

— Тебе как? — То есть как мне их идея про дом отдыха. Честно? Мне все равно.

— Ты что, охренел?! Это же моя свадьба! — завелась подруга. Голос у нее визгливый. Когда она говорит, это еще можно стерпеть, но когда орет — хоть вешайся. А слова-то какие! Раньше я такие только в кино слышал. «Это же моя свадьба!» Женщины склонны преувеличивать. Возможно, из-за этой склонности и визгливого голоса я сам никогда даже не думал сделать ей предложение. Да она бы и не согласилась.

— Я тоже женат, между прочим, — остудил я ее пыл.

— Что???

Разве я не говорил? Забыл. Пять лет живу с моей деткой, которая сейчас далеко. Год назад расписались. Без всяких вилл и пароходиков греческих. Думал, что рассказывал. Значит, не рассказывал. Память не самая сильная моя черта.

— И ты мне не сказал?! МНЕ!!! Когда?! Где?!

Какая ей, на хрен, разница! Она ревнивая, моя давняя подружка. Все должна знать. Почему я должен был ей сказать? Наверное, потому, что мы друзья. Я эгоист, Ей не сказал. Надо было сказать. Просто я не придаю такого значения бракосочетанию, как она. Я придаю значение отношениям. Призываю ее не сгущать, треплю ее тяжелые сливовые волосы. Потихоньку она остывает и с новой силой принимается терзать меня вопросом, как мне идея отпраздновать заключение брака на Десне.

— Нормальная идея. Главное, чтобы с погодой повезло, — мне по-прежнему все равно, но я всячески себя раззадориваю. Она вроде не особо-то любит своего будущего мужа. Просто пора определяться. Детей пора заводить. Возраст. Я не

ревную, не радуюсь за нее. Я искренне ничего не чувствую. Мы с подготовительных институтских курсов дружим. Она поступила, я нет. Хотя с ней-то я могу не притворяться после стольких лет?! Могу быть настоящим? Быть собой. Радоваться, только когда мне хочется. Быть безразличным, когда все равно. Не говорить: «Вау! Какая крутая идея! Дом отдыха, пляж, шашлычок и бухло!». Мы здесь сидим вместе только потому, что нам не надо притворяться. Очень не хочется разрушать эту гармонию. Но ей приспичило. Моей давней подруге. Чтобы не расстраивать ее окончательно, я беру себя в руки и старательно выговариваю: «Вау! Какая крутая идея! Дом отдыха, пляж, шашлычок и бухло!». Фальшиво, но она удовлетворена. Тараторит что-то о программе мероприятия, а мне становится страшно за свои атрофированные чувства. Как же непоправимо мне все равно, где пройдет празднование ее свадьбы! В какой-нибудь пропахшей баклажанной икрой и лечо болгарской дыре, на подмосковном замусоренном пляже или на Марсе. Я точно знаю, что от места никак не будет зависеть качество гостей и самого праздника. Гости окажутся мелкотравчатыми и чванливыми. Парни будут говорить про автомобили в кредит, про ночные уличные гонки, про литые диски, про КАСКО и ОСАГО и кто сколько отдал гаишнику за встречу. Будут говорить «мы покупаем» и «мы продаем», описывая сделки компаний, где они занимают ничтожные должности. Бабы похвалятся детьми и отдыхом в отеле «все включено» в Турции, где они с утра до ночи бесплатно объедались, хамили обслуге и жарились на пляже. Мы как-то незаметно вступили в тот возраст, когда все разговоры только об этом да еще о прикольных роликах из youtube. Я страдаю в таких компаниях. Ни одна из тем меня не интересует. А если учесть, что все будут отчаянно преувеличивать собственный успех, подкручивать счетчики благополучия, то праздник превратится в сборище хвастливых неудачников, которые весь день будут понтоваться и наносить друг другу раны. Человеческая свадьба...

...Перед кабинками туалета скучает охранник. Его задача — контролировать количество заходящих в каждую кабинку. Больше одного нельзя, а то очередь образуется. Давняя подруга осталась сторожить подоконник. Не успеешь отойти, как кто-нибудь из борзых молокососов обязательно пристроит туда свою тощую задницу. Ищи потом правды.

Перед зеркалом мальчуган с тонким длинным галстучком тщательно смачивает пепельную челку водой. Придает волосам нужную форму. Брызгает, укладывает. Ближайшая ко мне дверка распахнулась, выпустив изящную девчушку в платье и низких сапожках. Я зашел в освободившуюся кабинку, заперся. Пришлось слить воду. Не люблю пользоваться унитазом после того, как кто-то до меня не спустил. Испытываю едва уловимое разочарование; всегда думал, что изящные девчушки в платьях обязательно за собой спускают. Почему я так думал? Типа, изящные девчушки не люди и поэтому не ведут себя по-людски. Мужской шовинизм. Все одинаковы, изящные девчушки не исключение. Они тоже не спускают за собой в сортирах. Искренне радуюсь, что еще не утратил способности удивляться. Значит, старость еще не целиком меня сожрала. Лет пять назад я громче всех орал, что не боюсь ее. Старости. Теперь боюсь. Не очень-то морщины пугают, пугает отчужденность. Не берут стариков в компанию, хоть ты тресни. Разговаривают со стариками только из вежливости. Уверены, что старики ничего не поймут, чего с ними болтать лишний раз.

Мою руки. Мальчуган с галстучком продолжает совершенствовать форму челки. У меня сильно выделяются носогубные складки. Как у Брюса, блядь, Уиллиса. Старею. Точняк. Пора уколы омолаживающие делать. А может, просто верхний свет слишком яркий?..

...Проталкиваюсь через толпу. Целуются. Одинокая девочка яростно танцует с закрытыми глазами. По лицам, затылкам, плечам бегут растительные узоры светомузыки и «снег» от зеркальных шаров под потолком.

На стойке бара ведра с нарциссами. Каждый цветок — белая звезда-блюдец, а посередине гофрированный желтый стаканчик с оранжевой каемочкой. Острый запах прелести, наглости, ранимости и весны. Я так пах десять лет назад.

Я тоже был хрупким. Также вертелся перед зеркалом подолгу. Грудь гладкая, безволосая. Редкие волоски я тщательно выщипывал, если они появлялись. Тогда в моде были хрупкие мальчики. Я изо всех сил старался быть хрупким. Хрупкие мальчики нравились девчонкам, а мне было важно нравиться девчонкам.

За спиной барменов огромное зеркало. Вижу себя. Передо мной спины снующих барменов, за мной волнующееся море танцующих. Теперь я смотрю на это море, а в другой раз я танцую в этом море и кто-то смотрит на меня. По моему лицу бегут растительные узоры и буквы видеопроекции. Господь что-то пишет на мне. Не разберу что.

Привлечь бармена целое дело. Надо работать локтями, орать, опережать конкурентов. Все как на тонущем корабле. Лучший способ обратить на себя внимание и не быть неудачником — показать бармену сложенную крупную купюру. Бармены, как женщины, если увидят деньги, то сразу понимают, что у тебя серьезные намерения.

Заказал два лонг-айленда. Это наша с подругой традиция — убираться лонг-айлендом. Я ни с кем больше не пью лонг-айленд, только с ней. Не потому, что «святое», просто больше никто не предлагает пить лонг-айленд. Может, у меня круг общения узковат, а может, просто любителей лонг-айленда в Москве мало. А сам я не заказываю. Предпочитаю чистые напитки. В прошлое наше подобное свидание, несколько лет назад, выхлебав штук по восемь лонг-айлендов, мы долго целовались, и я облапал ее всю. Она тоже дала волю рукам. Все шло к пьяному траху в подъезде, у пыльной решетки лестничной шахты, но у меня в какой-то момент сработал тормоз. Подруга до сих пор уверяет, что тормоз сработал у нее. В любом случае хорошо, что он сработал у кого-то из нас и ничего не случилось. Те, с кем у меня тормоз не срабатывал, не составляют мне компанию по питью лонг-айленда. А ведь с кем-то его нужно пить.

Теперешний лонг-айленд — четвертый по счету за вечер. «Вот, сучка, — думаю. — Замуж она выходит. Жених в командировке, а она шляется. Перед свадьбой проводит ревизию друзей мужского пола. Сегодняшний вечер выделила мне». Забираю лонг-айленды. Посмотрим, чем дело закончится.

Вокруг много молодых девчонок. Взгляды ласкают, тела касаются. Может, влюбиться? Любовь — настоящее чувство, не светское. Мне так не хватает настоящего. Весна, свежесть вокруг, прелесть. Да ну... Леня и, кроме того, я уже люблю мою детку. Мне интересно с ней, и я хочу ее. Это ведь называют любовью? Только апреля в сердце нет... Ни в ее сердце, ни в моем. Хочется просто хорошо провести вечер...

...Разговор переключился на кризис. На политику. На уроки истории. Говорим о волках и баранах. Русские, как накатят, сразу о политике начинают. Или о войне. Как будто других тем нет. Травмированные мы. Даже женщины. Подруга говорит, что нам царь нужен, сталин какой-нибудь. Мы без пастуха не можем, быдло мы. Наши спины по кнуту скучают. Я даже не спорю. Такая банальщина, новенькое бы что-нибудь придумала.

Подруга, хоть и накирялась уже, хоть и притормаживает, хоть глаза у нее и остекленели малек, но тормозит меня активно. Типа, давай, выскажи мнение, нельзя быть общественно пассивным, аполитичным. А я не люблю всякую дребедень по сто раз обсасывать. Лично мне сталин не нужен, я из тех баранов, которые сами, без конвоя, могут выходить утром на пастбище, а вечером возвращаться в хлев. А подружке сталин нужен. Маленький какой-нибудь. Малюсень-

кий, но сталин. Она из тех, кто может утром выйти пастись, а вечером не вернуться. И вообще никогда не вернуться. Увидела барана из другого стада и про своего прежнего барана забыла...

...Громкая музыка. Каждое слово приходится в ухо орать. Это сближает. То губами непроизвольно мочки коснешься, то щекой щеки, то ее прядь за мою щетину зацепится. Приходится отцеплять. Детка моя в отъезде, вот я и не бреюсь.

После четвертого лонг-айленда глаза подруги перестали быть стеклянными, а стали чувственными. Губы приоткрываются чаще, чем надо бы. Я тоже пьян и только догадываюсь, как выгляжу. Наверное, один глаз у меня открыт широко, а другой, наоборот, прикрыт. У меня с лицом всегда такое творится, когда нервничаю, устану или выпью. Что-то с мускулами. От рождения. Перекашивается морда. Вид довольно дикий. Одних пугает, других заводит.

Интересно, скоро ли мы поцелуемся?

Апрель, как совершеннолетие, ждал, ждал, а когда дождался, не сразу понял, что вот оно, наступило. А когда понял, не знаешь, что делать. То надо успеть, это. Пока метался, бах, уже пятнадцатое число, а потом дни сыплются камнепадом, закручиваются воронкой. Пасха, нарциссы, тюльпаны, первые ливни, молнии, пухлые кисти сирени клонятся, набухшие от влаги, шмели, похожие мехом на почки вербы, цветущие яблони — помазки, обмакнутые в пену для бритья. Белыми лепестками с синими заломами усеян асфальт. Старая липа за окном скрипит, как кровать... Только вошел во вкус, и тут трах-тарарах, здрастье-приехали. Майские праздники закончились, и тополиный пух уже лежит на черной глади прудов, как пыль на крышке рояля.

На Тверской женщины лучшие, отборные. Как в императорском манеже. Все идут по солнечной стороне. И я среди них. Женщины текут вокруг меня, как струи райского источника. Проехала поливальная машина, погудела, но я не расслышал, замечтался. Облачко влаги село на лицо.

Похрустев пылью на зубах, сворачиваю в кособокие переулки. За кованой решеткой детского сада стоит девочка и пускает мыльные пузыри. Пузыри разлетаются в стороны, как перья из разодранной подушки. Кто куда. Летят к верхним окнам домов, парят над тротуаром, чиркают об асфальт и исчезают, струятся над головами прохожих, впархивают в открытые окна автомобилей, вылетают через противоположные окна и летят дальше, между ветвей с набухающими почками. Один, лазурный, величиной с яблоко, завис перед моей физиономией. И не дает пройти. Я влево, пузырь влево, я вправо, пузырь туда же. Нарывается. Переливается. Оплывает мыльной пленочкой. Сверкает. В пузыре преломляются вся улица, небо и я. Один взмах моей руки, и нет его. Я взмахнул. Он увернулся.

Позвонил отец, просит помочь поменять зимние колеса на летние. Обещаю сделать все в выходные. Воспользовавшись тем, что я отвлекся, пузырь совсем обнаглел и стал на меня наплывать. Накатывает, как омовенец на митинге. Неохота связываться. Слева распахнуты пышные двери старинного особняка. Отступаю в эти двери...

...Внутри выставка фотографий, иллюстрирующих один великий русский роман. Главную женскую роль исполнила очаровательная в былые годы, но в настоящее время разжиревшая французская актриса. Главная мужская досталась мужчине с русой бородкой. Такие мужчины обычно сводят с ума засидевшихся дома домохозяйек с книжно-журнальными требованиями к интиму.

Фотографии мне не понравились. В романе есть мощь и сила, красота и роскошь. А фотографии выглядят так, как если бы плохо развитые, малопривлекательные люди решили поиграть в королевский двор. Нарядились в арендован-

ные костюмы и давай куролесить. Мужчины напоминают курортных развондил, женщины — подвыпивших секретарш.

Зато сам особняк не подкачал. Пышная белая лепнина, мраморная лестница, старинные мутные зеркала. Кое-где потолки начали расписывать: лесок, крестьяне, облачка. Вовремя я зашел, роскоши того и гляди придет конец, будут здесь цветастые залы.

Поднимаясь по лестнице, я встретился глазами с продавщицей буклетов. Она со своим лотком стоит на площадке второго этажа. Ленивая такая крошка. Исподлобья посмотрела. Темно-шоколадные волосы, такие же глаза. Стояла и смотрела. Хорошенькая. Я ей кивнул. Ответила. Все дело в моем розовом капюшоне. Мне идет розовый цвет. Капюшон, торчащий из-под куртки, привлекает женщин. Да и мужчин тоже. Но меня интересуют только женщины. Мужчины меня не интересуют.

Стало ясно, что, когда лестница закончится, я окажусь рядом с хорошенькой продавщицей. Надо будет что-то предпринять. Я замедлил шаг. Надо успеть придумать, что предпринять. Мне ничего от нее не нужно. Но моя детка ведь в отъезде. Надо соответствовать. На последней ступеньке я замешкался, но все-таки решился:

— Когда вы обедаете?

— Я не обедаю. — Довольная. Отшила меня, сама не знает зачем. Я ведь ей понравился.

— Тогда я куплю у вас буклет. — Выбрал самый дешевый. Все равно выброшу в первую урну.

— Возьмите чек.

— Мне чек не нужен... Разве что вы напишете на нем что-нибудь полезное. Милашка поразмыслила секунду и написала телефон...

...Сидя спустя час в кафе и изредка отрываясь от буферов рыжей немки-голландки, я решил набрать номер с чека. Может, эсэмэска не дошла по какой-то своей причине. Набираю. Такого номера не существует...

Некоторые, когда просят у девушки телефон, сразу его прозванивают. Удовериться, что номер правильный. Я так никогда не делаю. Не хочется мне никого за руку ловить, захочет — даст телефон, не захочет — все равно не заставишь. Рассмотрел чек повнимательней. Цена, дата, номер чека. 399. Интересно, многие из этих трехсот девяносто девяти покупателей просили у милашки номерок? И многих ли она киданула? Преувеличил я магическую притягательность своего розового капюшона. Или она почувствовала мою неуверенность? Или мое глубоко спрятанное безразличие?

Рыжая доела трясучку. Облизала ложечку. Чувствую холод этой ложечки, будто не рыжая, а я ее облизываю. Шатен нежно утер ей губки. Пока утирал, она преданно смотрела на него зелеными глазами. Я с трудом сдерживался, чтобы не гоготнуть. Чтобы не фыркнуть громко. Щенячьи нежности! Нечего там утирать, она аккуратно ела! Яркий солнечный луч упал на ее лицо, и стало заметно, оно заметно напудрено. Протестантская Европа не научила рыжую пудриться так, чтобы в глаза не бросалось. А она ведь наверняка презирает московских телок за чрезмерный загар, показную роскошь и продажность. Зато эти курочки умеют пудриться. Поучилась бы у них. Заодно диету правильную подскажут. Ха! Накачав себя иронией, я усмехнулся. Рыжая все смотрела своими зелеными глазами в карие глаза шатена. Смотрела и смотрела. Чего вы тут передо мной разыгрываете?!

Я осекся. Вспомнил. Когда-то и мне так смотрела в глаза одна девочка. Только ее глаза были другого цвета. А сиськи тоже видные. Только поплотнее, как я люблю. Я так же трепетно касался ее. Хоть этот и поинтеллигентнее... И не знал, что делать. Страдал, мучился, ее мучил. Потом была другая, тоже смотрела, по-

том... Потом еще несколько разных, не знакомых друг с другом женщин смотрели, но особого значения я уже этому не придавал. А может, и не смотрела так больше ни одна. Если бы смотрела, я бы запомнил. Первая любовь... Не считая Машеньки в детском саду, которой показал пипку в обмен на то, что она покажет свою...

Господи, как же я стар! Старый-старый. Обидно до ужаса. От любви сердце уже не замирает, смотрю на подростков и брюзжу, как долбаный пенсионер. Все я видел, все знаю. Не ждет меня судьба за поворотом. Не мечтаю я о дальних странах. Все помыслы о том, как бы хорошо провести вечер... А что у меня запланировано? Не могу же я так бездарно провести время, пока моя детка в отъезде. Мне того и гляди стукнет тридцать, в мои годы уже нельзя упускать шансы. Я обязан гульнуть.

Позвонил одной парикмахерше. Мы раза два переспали к обоюдному удовлетворению и потеряли друг друга из вида. Как дела? Давно не виделись. Согласна пригласить меня в гости. Вечерком, после закрытия салона.

Я воодушевился. Ощущения, что мне необходима эта встреча, у меня нет. Но надо. Положение обязывает. Точнее, возраст.

Накупил всякой жратвы. И себе, и на вечер. Даже клубнику купил, бабы любят романтику, а клубника, пожалуй, самая бронебойная из всех существующих романтик. Я никогда не придавал этому значения, а теперь решил придать. Первый раз в жизни на свидание с клубникой пойду. В двадцать девять лет. Авокадо купил. От авокадо стоит хорошо. Сожрал этот авокадо вместе с банкой печени трески. Не знаю, влияет ли печень трески на стояк, но мне очень захотелось печени трески. Давно не ел. Сразу целую банку навернул. Начал ждать вечера. Перевозбудился даже немного от ожидания. А может, от авокадо с печенью. Даже подрочить пришлось, чтобы пар выпустить. И тут позвонила давняя подруга, предложила повидаться. Парень ее в командировку уехал. Пришлось отказать, вечер-то уже занят.

Только трубку положил, как от парикмахерши эсэмэска пришла. «Сорри, не могу, затрахалась на работе». Слила меня. Я впервые в жизни клубнику заранее заготовил, а она меня слила. Ну, я сразу давней подруге перезвонил, типа, планы изменились. А она уже со своим одноклассником забилась. Пришлось постараться, чтобы этого одноклассника долбаного отжать. Уж я постарался. Не жрать же мне клубнику дома перед телевизором. Раз уж я решил хорошо провести вечер, я его проведу хорошо...

Наступил вечер. Сидим мы на подоконнике в «Солянке» и напиваемся. Вот-вот случится поцелуй. Зачем он мне? Зачем ей? Незачем, но все к тому идет. Да и лонг-айленд опять же. Я спорю сам с собой. Делаю ставки. Вот сейчас. Нет, на новый круг. Теперь. Опять нет. Если бы нас комментировал футбольный диктор, было бы так: «Он опять склонился к ней... что-то говорит... бурно жестикулирует... отвлекающий маневр... притворяется, что увлечен беседой, а сам бросает хищные взгляды на ее плечи, грудь, губы... Она поправляет лямку футболки, крутит прядь пальчиком... Он отклонился, прицелился... Смотрят друг на друга... Хороший момент! Передача! Ну!.. Она положила ему голову на плечо».

После нескольких опасных передач я целую ее. Комментатор орет «Гол!», но тут же отказывается от своих слов, сославшись на бокового арбитра, зафиксировавшего офсайд. Она на поцелуй не ответила.

Моя попытка придает подруге огонька. Она становится бодрее и веселее. Трезвеет. Принимается болтать о грядущей свадьбе с новым задором. В ее голосе появляются знакомые интонации, теперь она хочет понравиться мне как жен-

щина. Включился ее охотничий инстинкт. Появились интонации, журнальные улыбки. Как только я улавливаю это, становится скучно. Ее желание мне понравиться отталкивает. Не люблю, когда женщина пытается мне понравиться. Две вещи не люблю: когда женщина долго вертит хвостом и когда пытается понравиться. Целоваться расхотелось, но дело надо довести до конца. Пацан сказал, пацан сделал. Я сегодня никому ничем не обязан, ни моей детке, ни будущему мужу давней подруги. Я намерен хорошо провести этот вечер.

Слушаю ее вполуха. Хочется, чтобы она поскорее заткнулась со своей светской болтовней. Мы же старые друзья, зачем этот тон салонной вертихвостки. Глажу ее затылок, почесываю за ухом, как у кошки. Наматываю ее волосы на руку. Немного выются, местами выгорели. В Египте недавно была, дайвинг. Длина волос, до лопаток, идеально годится для наматывания на руку. Прекрасно наматываются. Притягиваю ее к себе. Теперь уж ты никуда не денешься, моя курочка. Игрок один на один с вратарем. Удар.

На этот раз комментатор орет «Го-о-о-о-л!», подсакивая со стула. Мы долго-долго целуемся. Мы оба научились это делать к нашим тридцати годам. К двадцати девяти. Лично мне, если и будет за что не стыдно на том свете, так это за качество поцелуев. Она закрыла глаза. Я тоже. Я первым глаза открыл. Из нас двоих неврастеник я. Не могу расслабиться. А может, дурное предчувствие. Открыл я глаза и вижу, шагах в десяти, приятельницу моей детки. Не приятельницу даже, так, знакомую. Болтливая бывшая модель со шведским лицом. Она смотрит на меня...

— Ты почему целуешься без языка?! — спросила давняя подруга.

Я не знаю, что ответить. Почему без языка? Я всегда с языком целуюсь...

Пятый стакан, последний. Давняя подруга решила всерьез изменить свою жизнь. Молчим. С кем я отныне буду пить этот лонг-айленд?.. Придется ждать, когда подруга начнет погуливать или разведется. Луна катится по небу вверх, и кажется, что земля наклоняется, как корабельная палуба. Еще немного, и стаканы поедут со стойки, бутылки посыплются на пол, танцующих прибьет к нашей стене, а мы с подругой выпадем в окно. А следом машины, дома и прочие украшения, придуманные людьми, попадают за край Земли, как хлебные крошки с доски...

...В такси давняя подруга достает из пачки последнюю сигарету, закуривает, сминая пачку и бросает в окно.

— Подняться? — спросил я, когда «Волга» остановилась возле ее дома. Сам не знаю, зачем спросил. Спросил и прикусил язык.

— Не надо.

Еду домой, покачиваясь на заднем сиденье огромной старой колымаги. В приоткрытое окошко влетает свежий ночной ветерок. Так и стоит жить, чтобы свежий ветерок всегда обдувал лицо.

Следующим утром я поднимался на эскалаторе со станции метро. Там, где ступени катятся под стальные зубчики порога, бился крупный розовый пион. Дрожал в прибое бесконечно набегающих ступеней. Так на море к берегу намывает всякий сор: окурки, пластиковые бутылки, кокосы, трупы. Торопливые ноги переступали через пион. И я переступил. Переступил, оглянулся, замешкался. Жалко пион, но соваться навстречу людям глупо и смешно как-то. А, черт с ним! Юркнул, нагнулся быстро, выхватил цветок из-под непрерывных ног.

Пальцы первыми почувствовали подставу. Не трепетный материал спасли они, а сухую бездушную синтетику. Пион оказался искусственным. Но вполне красивым. На губку для душа похож.

Покручивая фальшивый цветок в руках, я вошел во вчерашнее кафе. Как будто еще разок хотел подглядеть счастье рыжей и шатена. Их, конечно, не было. Зато перед входом дымила и пахла сладковатыми помоями урна.

На месте влюбленных сидели три девицы, похожие на рослых беспородных кобыл. Я занял тот же столик, что и накануне. Девицы похохатывали, поглядывая на меня, и наворачивали салаты, как овес из яслей. Официантки по-прежнему гаркали «добрый день» и «всего доброго».

Девицы доели и ушли. Вместо них остался солнечный луч.

За окном прошла парочка. Свидание. Оба одеты парадно. Он в костюме из серой переливающейся ткани и в длинных туфлях под зебру, только полоски раскрашены леопардовыми цветами. Сама кожа туфель чешуйчатая, вроде как змеиная или крокодилия. Под рептилию, короче. Скулы хозяина туфель побиты прыщами. В руке он держит малюсенькую сумочку своей спутницы. Спутница же коряво ковыляет чуть позади на шпильках. В одной руке у нее откупоренная банка слабоалкогольного сладкого газированного коктейля, в другой — бордовая роза в целлофане.

Влюбляться расхотелось окончательно.

Рассматриваю искусственный пион. Может, второе пришествие скоро случится? Иран наконец начнет ядерную войну? Или хотя бы голодающие безработные устроят бунт, и привычный мир погрузится в хаос. Нам всем нужен хороший удар током, как человеку с остановившимся сердцем. Чтоб трянуло как следует. Чтоб реальность перестала двоиться, а цели стали просты и ясны. Жизнь и смерть. Все станет настоящим, искусственные пионы исчезнут.

Правда, от ядерной войны и помереть можно, но при этом никто не гарантирует, что на том свете будет иначе, не так, как на этом...

А пока ни один псих не нажал на кнопку, я наслаждаюсь утром и тем, что накануне мне целых три леди дали от ворот поворот. Я не больно-то их хотел. А они почувствовали. Им тоже небошь надоело прикидываться. Эти девчонки и без ядерной войны могут быть настоящими. Если бы давняя подруга не сказала «не надо», этим утром я бы чувствовал себя гадко. Я обязательно чувствую себя гадко, если просыпаюсь рядом с девушкой, которая имеет привычку выкидывать сигаретные пачки в окно такси. Все равно что на ночь наесться жареных сосисок с кетчупом, запить вином с водкой и не почистить зубы. Когда я просыпаюсь рядом с моей деткой, я никогда не чувствую себя гадко. Я люблюсь ею спящей, нюхаю ее волосы, осторожно, чтобы не разбудить. Слушаю ее посапывание, и хочется, чтобы утро никогда не заканчивалось. Может, все это я чувствую потому, что она сигаретные пачки в урны бросает. Может, это и есть любовь...

Небо синее, из всех стекол бьет отраженное солнце. Некоторые почки распустились. Типа Господь набрал в рот зеленой краски и наплевал на мир.

Вечер я провел прекрасно, только одно беспокоит: почему я все-таки целовался без языка?.. Наверное, просто забыл про язык на четвертом лонг-айленде.

ВОПРОСЫ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

Был на съемках программы о литературе. В студии кабельного телеканала. Название канала больше бы подошло приюту для бездомных животных или центру реабилитации наркоманов. Студия располагается в одноэтажном бараке из белого силикатного кирпича. Барак стоит во дворе заглохшего заводика. Двое охранников на входе, видимо, самые сообразительные рабочие бывшего заводика, никак не могли найти мое имя в списке гостей. От охранников меня отделило зажиренное, замурзанное стекло. Охранники склонялись над списком, как солдат и матрос, читающие по слогам «Правду» с ленинским декретом. Список

лежал на столе, ко мне вверх ногами, но я и то увидел свою фамилию и указал на нее. Всего в списке пятеро, я последний.

Тесно, душно. Старушка-уборщица добросовестно заполняет пухлую тетрадку социологического опросника. Вчитываясь в вопросы и ставя галочки, старушка проклинает час, когда она дала согласие соседской девочке-студентке заполнить этот опросник. «Чтобы я еще раз!..»

Ждем, когда закончится съемка предыдущей программы. Координаторша заговорила о литературе. На выходных была на даче у подруги, читала Донцову. Загибает мизинец, безымянный палец, средний и указательный. Большой палец не загибает. Всего четыре романа Донцовой успела прочесть за выходные. Я уважительно кивнул. Я только познакомился с координаторшей и не хочу казаться умником и снобом. Я Донцову не читал. Однажды попробовал и отложил. Не покатило. Может, потому, что не на даче. Был бы на даче, может, и покатило бы.

Костюмерша перебирает цветные тряпки и жалуется на цены. Кризис.

Гримерша спит на диванчике. Ее растолкали и познакомили со мной. «Она всю ночь кого-то гримировала», — пояснила координаторша. Я тут же пошутил про то, что мы все по ночам кого-то гримируем. Дамы не рассмеялись. Промолчали. Даже каким-то космическим молчанием меня наградили. Выходит, что она всю ночь именно что кого-то гримировала. В прямом смысле. А я, как всегда, со своим пошлым юморком. Озабоченный.

Мой лоб, нос и щеки закатывают ровным слоем тонального крема. Под кремом похоронены дефекты кожи и синяки под глазами. Я становлюсь еще красивее. Копошимся мы все в маленькой проходной комнатке перед съемочным павильоном. Съемка очередной программы заканчивается, и к нам выбегает ведущая. Следом выходит гость. Ведущая — стареющая от времени и невысокой зарплатой высокая блондинка. Одного взгляда на нее достаточно, чтобы понять, почему она ведет программу на кабельном канале с названием приюта бездомных животных или клиники для героинщиков, а не на федеральном монстре с цифрой один и миллионами зрителей. Она похожа на положительную провинциальную учительницу из советских фильмов. Будь в ней порок или цинизм, карьера взлетела бы. Но ни того, ни другого нет, только усталость красивой небогатой женщины. Выше головы не прыгнешь. Гость — старичок-писатель. Мне знакома его внешность. Я этого старичка видел несколько раз среди других литературных старичков. Маленький, седенький, ладненький такой, аккуратненький старичок. С востренькими глазками и топорщащимися бровками. Губки у старичка бантиком и выделяются особо, видать, гримерша их подчеркнула одной из своих кисточек. Глазки у старичка стреляют. Шнурочки на ботиночках аккуратненько завязаны, брючки выглажены, узелок на галстучке маленький-маленький. Клянусь, что старичок не повязывает галстук каждый раз заново, а просто узелок ослабляет и снимает через головку. И в шкафчик кладет. А когда надо парадный вид приобрести, обратно петлю себе на шейку накидывает и потуже затягивает. Там, в складках, наверное, можно найти давнишние крошки и пыль десятилетней давности. А может, и сухую мушку. Если через века археологам достанется этот галстучек, то они смогут сделать химический анализ пыли начала двадцать первого века. А если повезет, и конец двадцатого захватят. Весь целиком старичок похож на делового ежика, который в сомнительных предприятиях не участвует и всегда не прочь кому-нибудь присунуть. Если случай представится.

Старичок подарил координаторше свою плохо изданную книжку. Он никому не известен. Он вряд ли обретет славу после кончины. Я пока еще молод, хорошо одет и, разумеется, уверен, что в его годы буду живым богом литературы, лауреатом всех возможных наград, и матери будут выстраиваться в очередь,

чтобы я благословил их детей. Пока я никому не известен, так же, как и старичок, и мне неловко за свою яркую, изданную крупным издательством книжку, которую я только что подарил координаторше. Моя книжка рядом с его выглядят, как распушенная шмара и очкастая работница химической лаборатории. Стараюсь незаметно сдвинуть свою куда-нибудь в сторону.

Координаторша, хихикая, просит старичка подписать томик. Старичок кокетливо сообщает, что уже подписал. Он очень рад, что его покажут по телику. Он ласков, как старый песик, которого держат в конуре, в дом не пускают, но он всякий раз с благодарностью лижет руки, когда ему кидают объедки.

Поприседав перед старичком в реверансах, координаторша собирается переключиться на меня, но старичок культурно справляется, как бы ему отсюда выбраться. Окраина все-таки. Заподозрив старичка в рвачестве, в желании выбить денежку на такси, координаторша перестает хихикать, будто ее из сети вырубил, и меняется лицом. Начинает что-то бубнить про помощницу, мол, она проводит. Мне неловко до щекотки. Начинаю ерзать на диване и делать изо всех сил вид, что меня здесь нет. Если принять во внимание микроскопические размеры помещения, то стать незаметным дело непростое. Хочется разъяснить координаторше, что старичок не намекает на денежку, а просто спрашивает номер автобуса, но я, естественно, ничего не разъясняю. Тут почему-то рождается мысль, что весь этот телеканал, весь район, город и, может, даже вся страна — длинный поезд, давно идущий в концлагерь. С разрешения начальника поезда самые инициативные обустроили в своем вагоне — старом заводике — телестудию, чтобы вещать на другие вагоны. Это, наверное, от тесноты такие мысли. Уж больно комнатка, где мы толчемся, на купе похожа.

Отвлечься удастся простым способом. Напротив, через пару шагов, закуток, там передевается ведущая. В зазоре между занавеской и стеной хорошо видна ее голая спина. Спина красивой сорокалетней учительницы. Красивой ровно настолько, чтобы вести программу на кабельном канале с названием собачьего или наркоманского приюта. Красивой настолько, чтобы выступать перед парой десятков тысяч скучающих старушек с окраины. Ведущая смотрится в зеркало, видит в нем свою грудь и мои глаза. Я глаз не прячу. Она не просит задержать занавеску, но в ее лице нет кокетства. Ей плевать. Мне, впрочем, тоже. Наш обмен безразличными взглядами похож на секс между уставшим клерком и невыспавшейся проституткой. Оба смирились с жизнью, обоим все равно.

Старичка тем временем потихоньку выпроводили.

— Какой я туалетной бумагой пользуюсь?! — неожиданно громко задала сама себе вопрос старушка-уборщица.

Она так тихо заполняла свой опросник в последние минуты, что про нее забыли. Координаторша и гримерша вздрогнули. Уборщица пустилась в воспоминания:

— Вот раньше газеткой подтирались. Буковки-то в газетах свинцом напечатаны, а свинец, говорят, полезен, — последние слова уборщица почему-то адресовала мне. Я даже подумал, не отражается ли на моем лице недостаток свинца. Чего она мне про свинец этот сказала?

Пока мозг анализировал неожиданный выпад уборщицы, задница сжалась при воспоминании о гладких, угловатых на сгибах газетных листках. Были в жизни ситуации, как говорится. Руки от газетных страниц серые.

Координаторша вспомнила времена дефицита, когда туалетную бумагу покупали сразу помногу, нанизывали на бечевку и надевали на шею. Не в руках же нести. Женщина с набитыми сумками и ожерельем из рулонов туалетной бумаги вполне может стать символом Москвы восьмидесятых.

Ведущая нарядилась, но тут обнаружилась пропажа «уха». Маленького наушника телесного цвета. Без «уха» ведущая не услышит подсказки режиссера. Без «уха» никуда. Ведущая заметалась. Координаторша и костюмерша принялись ахать и охать, передвигать стаканчики с недопитым чаем, пакетики с печеньем. Приподняли ноги гримерши, которая снова засопела на диванчике.

— Какими тампонами я пользуюсь?! — со вкусом прочла вопрос старушка-уборщица. И тут же на него ответила: — Не пользуюсь я вашими тампонами уже лет тридцать!

Координаторша с гримершей перешептываются, судачат о ведущей: «Она сегодня не в духе, уйти хотела». — «Сдурела, что ли?! Куда уйти!». Ведущая вбежала с криками «Нашла, нашла!». Координаторша и костюмерша похвалили ее и назвали «моей хорошей» и «умницей». Меня пригласили в павильон.

В павильоне, небольшом ангаре с высоким потолком, один угол ярко высвечен и украшен разноцветным пластиком. Из других, темных, углов на этот светлый угол таращатся три камеры с мертвыми глазами-объективами. Ведущая уселась за оранжевый стол, изгибающийся волной, я расположился в красном крутящемся кресле напротив. Пока ведущая изучала бумажки со сценарием предстоящей программы, я таращился по сторонам, крутясь в кресле. Углы декоративных пластиковых панелей махрились от пыли. Легкий сквознячок заставлял короткие серые ключья дрожать, на манер водорослей в речке. Потолок, прямо над головой ведущей, покрывали желтые пятна, свидетельствующие о текущей крыше.

— А что, если на вас во время съемок вода будет капать? — спросил я.

Ведущая посмотрела на потолок и искренне оживилась. Впервые с момента нашего знакомства в ее глазах мелькнул интерес.

— Вы знаете, у нас тут однажды муха летала. Вот такая! — Ведущая показала руками форму, напоминающую средний арбуз. — То на гостя сядет, то на меня, то на стол. Представляете?! Мы ее никак поймать не могли!

Я в ответ рассказал про знакомого, который тоже работает на телевидении, так у них там по павильону крыса бегала, съемки сорвала. Услышав про крысу, ведущая посмотрела на меня уже не просто с интересом, а даже с каким-то уважением. Но тут голос в громкоговорителе сказал «работаем», и нам пришлось вспомнить о поводе нашей встречи.

Ведущая зачитала приветствие и перешла к вопросам. Они оказались довольно формальными, но одна деталь придавала всему происходящему привкус авантюры. Речь шла о любовных романах. Пиар-служба издательства, недолго думая, отправила меня на съемки программы о любовных романах. Я когда узнал, засомневался поначалу, но меня убедили. Главное — реклама, остальное неважно. Вот я и пришел. Теперь, сидя перед родившейся не в свое время советской учительницей, я строил из себя специалиста по любовным романам.

— Как вы, такой молодой мужчина, уже успели стать автором трех любовных романов? — спросила ведущая.

— Любовь — мое призвание, — беспардонно заявил я, не уточняя, какие именно три любовных романа имела в виду ведущая. Книжек у меня всего две, одна из которых — сборник рассказов.

— Расскажите, где вы черпаете вдохновение?

— В любви, — не задумываясь, ответил я, твердо решив вести себя как мастер этого дела.

Спросив еще что-то дежурное про любовные романы, ведущая проникновенно посмотрела в одну из камер и сообщила выпуклой линзой номер телефона, по которому телезрители могут задать мне вопросы. Номер тут же высветился призывными красными цифрами на электронном табло на стене. На таких таб-

ло в Амстердаме бегут рекламки секс-шоу, где можно посмотреть на совокупающиеся парочки и целые группы. Не моргнув своим честным учительским глазом, ведущая перешла к вопросам от телезрителей. Тут я, впервые за день, удивился. Ведь программа будет показана минимум через месяц, и нет никакого прямого эфира, никакой комнаты с коммутаторами, принимающими звонки взволнованных зрителей, а телефон, номер которого сообщила ведущая, стоит где-нибудь в вахтерской со снятой трубкой. Да и нет никакого телефона вовсе. Это бессовестное надувательство меня искренне развеселило. Я подумал про аудиторию канала, про одиноких старушек с окраин, которые через месяц-полтора увидят меня по телику и начнут крутить диски своих устаревших телефонов, чтобы спросить про любовные романы.

Итак, человек, притворяющийся автором любовных романов, начал отвечать на вопросы, присланные несуществующими телезрителями. К счастью, меня не увидит никто из знакомых. Мое поколение такие передачи на таких телеканалах не смотрит...

Сочиненные сценаристом марьяванны и верконстантинны негодовали: одна требовала к ответу современных безграмотных писателей, ляпающих в своих сочинениях многочисленные ошибки, другая вопила: «Где великий русский роман девятнадцатого века?», третья спрашивала, отчего так беден язык и фантазия молодых авторов. Судя по всему, сценарист, мужчина он или женщина, был человеком немолодым. Я добросовестно отвечал на вопросы, стараясь быть серьезным, но меня так и подмывало заявить марьяваннам и верконстантиннам, что писатели безграмотны, язык беден, а великий русский роман вообще неизвестно где, в том числе и потому, что телефон, заявленный на табло, не работает. Но моей книжке нужна реклама, и я сделал вид, что все так и должно быть. Притворился, что ничего не замечаю...

Вечером, проверяя почту, я наткнулся на письмо-рассылку от организации помощи детям-инвалидам. Ищут добровольца для посещения маленького мальчика, от которого отказались родители. Я удалил письмо, так и не разобравшись в графике посещения. Я пошел смотреть телик, притворившись сам перед собой, что не получал письма вовсе.

Интересно, долго ли я еще смогу жить и делать вид, что ничего не замечаю? Не замечаю окружающей мерзости? Однажды я сделаю выбор. Это случится, когда я начну захлебываться. Тогда я или смирюсь, пойду на дно старичком с губками бантиком, острыми глазками и намертво завязанным галстучком, или начну барахтаться и еще некоторое время продержусь на плаву...

...через месяц позвонила координаторша и сообщила, что эфир будет в четверг. Канал с названием приюта у меня не ловится, и своего появления на экране я не видел. В пятницу, когда я стоял, облокотившись на стойку, рядом нарисовались две поддатые девицы. «Ваше здоровье», — сказал я, кивнув девицам стаканом. «Мы знакомы?» — прищурились девицы. «Нет, но это легко исправить», — лихо заявил я, произнося слова низким сексуальным голосом. «Вспомнила! Ты бабские романы пишешь!» — воскликнула одна, и они обе принялась хохотать, скаля ровные зубы и растягивая красивые, обведенные помадой рты.

Бахыт Кенжеев

Верхний свет

* * *

Есть в Боливии город Лима, или в Чили? Да нет, в Перу.
 Моё время, неумолимо истекающее на ветру
 вязкой кровью, знай смотрит в дырочку в небесах, и грибов не ест,
 и всё реже зовёт на выручку географию отчих мест, —
 где в предутренней дрёме сладкой выбегает, смеясь, под дождь
 стихотворною лихорадкой одержимая молодёжь,

путешественники по дугам радуги. Где вы? Вышли? Ушли?
 Как любил я вас, нищие духом, бестолковая соль земли.
 Где ты, утлая и заветная, после «а» говорящая «б»,
 подарившая мне столько светлой неуверенности в себе?
 Нет, не вижу тебя, моя странница, как ни всматриваюсь, пока
 к звёздным иглам дыхание тянется — сирой ниткою без узелка.

* * *

Памяти Ляли Максимовой

Я был подросток хилый, скучный, влюблённый в Иру Воробей,
 но огонь естественнонаучный уже пылал в душе моей,
 и множество кислотных дырок на школьной форме я прожёл,
 ходил поскольку не в задирах, а на химический кружок.
 Подрос, в сентябрьской электричке пел Окуджаву, жизни рад,
 умел разжечь с единой спички костёр, печатал самиздат,
 изрядно в химии кумекал, знал, как разводят спирт в воде,
 и стал товарищем молекул, структурных формул и т.д.,
 ещё не зная, что бок-о-бок с лисою, колобок-студент,
 живу... Ах, мир притёртых пробок и змеевидных перфолент!

О, сладость ностальгии! Все мы горазды юность вспоминать.
 Как славно б настроичить поэму страниц на восемьдесят пять
 про доморощенных пророков, про комсомол, гб, собес —
 пускай Бугаев и Набоков мне улыбаются с небес,
 любуясь на миры иные (неповторимый аромат
 лабораторий, вытяжные шкафы, и рыжий бихромат
 аммония, от первой искры сердито вспыхивающий!). Нет-нет,
 не память правит миром быстрым и ненасытным — только свет

надежды, а она, голуба, когда прощается с тобой,
склоняясь над Стиксом, красит губы помадой чёрно-голубой.

Вагонная песня (подражание)

Жизнь провёл я в своё удовольствие,
прожил век без особых невзгод,
поглощал сто пудов продовольствия,
сто пудов продовольствия в год.

Был всегда избалован девицами
и, бывало, от счастья пыхтел,
окружённый их свежими лицами
и другими частями их тел.

Я им класс натуральный показывал,
приносил я им пиво в бадье,
в ресторанах шикарных заказывал
коньячок и салат оливье.

Поделюсь с вами участью горькою,
постарел я и сердцем обмяк,
много лет миновало с тех пор как я
жировал, как домашний хомяк.

Полюбил зато творчество устное,
и душой отдыхаю, когда
эту песенку, песенку грустную
исполняю для вас, господа.

В вашей жизни так много прекрасного,
пусть сверкает она, как брильянт —
наградите же барда несчастного
за его неподъёмный талант.

* * *

Ну что человеке — родись, не родись,
один тебе выпал эдем-парадиз,
одна тебе вышла тропинка, пацан,
к отцовским слезам, материнским сосцам.

Кто ждёт тебя, бедный мой? что тебя ждёт?
И это прошло, и другое пройдёт,
и будет минувшее спать, трепеща,
окурком в кармане плаща.

Роится архангел, ворота встают
нагая бредёт в криворотый приют
душа, и бормочет молитву, любя
всё то, что ушло от тебя —

сиреневым дымом? грачиным двором?
Сначала — разряд, а раскаты — потом.
И эта молитва настолько проста,
что даже слепцу отверяет уста.

* * *

Гражданин в летах с потёртым членским билетом СП,
отхлебнув из фляжки, передает её молодым коллегам,
одобрительно крикнув. Дело, допустим, в душноватом купе
питерского экспресса. Взволнованным дымным снегом

занесена полоса отчуждения. Поезд, однако, так
тороплив, так огни за окном скудны, что новых
поводов для вдохновения нет. Плоские истины на устах.
Анекдоты, вирши, счастье мчатся без остановок —

сладостно разливается в жилах привычный хмель
сожаления об утраченном, жалкого страха перед
неизбежным. Глухие гроба вагонов. Всепрощающая метель
смерти, в которую только Господь не верит,

и пока мы спирт мировой в голубую воронку льём,
подступает время уплаты долгов бессловесной прозе
привокзального детства, что пахнет свежим бельём,
сохнущим на морозе.

* * *

Сколь чудно в граде каменном за чаркою вина
сидеть перед экзаменом в глухие времена,
когда с подружкой светлую, робея и ворча,
мы изучали ветхие заветы Ильича!
Икота шла на Якова. Как ясно помню я
абзацы с кучей всякого сердитого вранья!
И жаль, что по обычаям опричницы-Москвы
диплома мне с отличием не выдали, увы —
за тройку по истории ВКП(б), за ночь,
за строчки — те, которые не смог я превозмочь...

Прощай же, время логики и рукотворной мглы.
Фарфоровые слоники, подвальные углы.
Ах, как мы были молоды, как пели налегке,
то олово, то золото таская в кошельке!
Мы стали долгожители, а были — чур меня! —
живые похитители небесного огня.
А от того учебника остался хриплый прах —
как записи кочевника в воздушных дневниках...

* * *

Как многого, должно быть, не успею
дождаться. В детстве думал, что советской
науке всё подвластно. Спутник, Лайка,
потом Гагарин, а за ним Титов,
жужжание могучих ЭВМ,
мигающих зелёными огнями,
Ту-104 в реактивном небе,
капрон, транзистор, слайды, кукуруза.

Вот, повзрослел и ныне предаюсь
постыдной меланхолии, поскольку

ошибся. Да, ошибся! Полагал
 что дружные, весёлые колонны
 биологов и химиков, ликуя,
 по Красной площади Седьмого ноября
 пройдут однажды, хвастаясь рецептом
 не вечной жизни, так хотя бы счастья.

А с улицы то рок, то рэп. Подросткам
 плевать на смерть и вечность. Ну и слава
 создателю. Довлеет дневи
 злоба его. Мы в юности не ведали
 ни экстази, ни изоамилнитрита,
 и девам нашим, на манер Джульетты,
 не приходило в голову уступать
 ребячьей похоти до свадьбы.

Завидую ли? Мой отец не дожил
 до скайпа, дед — до радио, а прадед —
 до самолётов. До чего же я
 не доживу? Мне пишут: расшифрован
 геном неандертальца. То-то будет
 веселье! Новорождённый наш кузен
 зальётся плачем, улыбнётся — жаль,
 что я уже об этом не узнаю...

* * *

Ты, юная смерть, воровской поворот, многократно целованный в рот!
 Ты, добрый некстати — любовью взахлёб на счастье целованный в лоб!

Не я ли кого-то единственной звал, а сам говорил, голосил, воровал?
 Не я ли весь век под кого-то косил, пока не остался без сил?

Пей, знахарь-астролог, юродствуй, монах. Мне всякое *ах* — вопросительный
 знак,
 Мне всякое *ох* — восклицательный знак, как синее зелье на похоронах.

Не остров, не остов, не бюстик Толстого. Открыть эту музыку проще простого.
 Садни, безобразница, скалься, двоись — казнь, утекая в наскальную высь...

* * *

Может быть, стоит дожждаться осени, когда верхний свет
 постепенно кривеет, и ветра практически нет —
 чтобы смерть обернулась хлыстом — сыромятным, длинным —
 чтобы гуси худые снимались на юг довоенным клином?
 Слушай, серьёзно, дождёмся благословенной. Так
 вознаграждает Сущий тех, кто ещё первородства не пропил.
 Будем гулять, советские песни петь. Известняк
 городской будет приветствовать нас, порист и тёпел,
 да и вправду сентябрь, родная. Чего мудрить.
 Будем юродствовать, воду сырую пить
 из нержавеющей фляжки. А всё-таки боязно, Боже,
 Как же ты страшен! Как жизнь на тебя похожа!

Григорий Грибоносков-Гребнев

Скверный ужас

рассказ

Она опять сидела сегодня на Новокузнецкой, на этом куцем островке зелени, и водила вокруг себя растерянным взглядом, перескакивая с одной несуразности на другую, словно хотела найти в этом душном, плотном шуме улицы какую-то потерянную милую мелодию, радостную музыку школьных лет, за которой она возвращалась сюда уже не первый раз.

— Идиллия с душком, — тихо проговорила она, привычно напуская на лицо оборонительное выражение кислотоватого разочарования.

Конечно, этот крохотный садик, как и многое в большом, набитом людьми городе, был слишком назойливо пестрым своим лихорадочным смешением звуков, движений, случайно перетасованных людей, разномастных построек. Детишки с игрушками под присмотром судачащих, плотно усевшихся бабушек тесно соседствовали с горластой пьяной компанией и двумя обнимающимися парами. Рядом с напряженной толпой, сливающейся с тротуара на проезжую часть, и красными, неповоротливыми в этой человеческой мешанине бронтозаврами трамваев, зажатая двумя девятиэтажками, в бензиновой гари, чудом уцелевшая церквушка наивного допожарного ампирчика, добрая и беззащитная, демонстративной своей слабостью как бы выпрашивала пощады у окружающих кирпичных монстров.

Можно было выбрать место и без трамвайного скрежета в этом государстве ее детства на Пятницкой, где в каждом родном, милом переулке, в любом обшарпанном дворе висели в воздухе звуки, слова тех лет, шорохи тревог, запахи загадок, всплывали лица, наивные восторги, обиды, слезы... Но именно этот тесный скверик больше всего притягивал Нину Меньшикову, манил успокоить, погладить по головке, как школьницу.

Вон там, подворотня направо, в темном углу облупленная желтая штукатурка, постоянный запах тины из подвала, лавочка, Тоня Кузьмина, Борька Гибер.

— Тонь, у тебя губы, как у Софи Лорен.

— Чтобы рот был чувственным, надо по часу в день губами карандаш вот так: вверх-вниз, туда-сюда, туда-сюда.

— Туда-сюда, туда-сюда. Тонька Соси Лорен. Тонька Соси Лорен.

— А у тебя, Борька, морда, как берлога. Пончик. Буду теперь звать тебя Пончик. И все будут звать Понс, — вот кто ты у нас.

Об авторе | Григорий Грибоносков-Гребнев родился в Москве в 1950 году. Служил на Северном флоте, учился во ВГИКе, работал бойлерщиком, помощником режиссера, сторожем, редактором, бурильщиком, грузчиком, экспедитором, риелтором и т.д. Публиковать прозу в периодике начал в 1993 году. В 1994 году вышла книга повестей и рассказов «Спрятать свое лицо». Лауреат премии Союза литераторов России имени Юрия Мамлеева (2005). Живет в Москве.

В «Знамени» публикуется впервые.

— Тонька Соси Лорен. Тонька Соси Лорен.

И Тонька шлеп Борьке по пухлой щеке так, что он вытаращил глаза и чуть не заплакал.

В десятом его посадили за угоны, и куда-то он пропал.

А в том доме, двадцать дробь семь, какой-то Бадон жил на чердаке, голубей ел.

— Вот бы взглянуть на него, какой он, этот Бадон.

— Иди, взгляни, он тебя отделаает. Сделает из тебя старую проститутушу.

— А Любка Лазоренкова считает, что грузины иностранцы. Вот дура-то!

«У меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса», — вспомнила она и тут же встрепенулась: — да им же всем, как мне, по тридцать пять».

Сейчас ей пришло в голову, что это удовольствие — сидеть здесь, в этой уличной какофонии, сродни тупому счастью токсикоманов — оглушать себя без какой-либо радости, чтобы только не чувствовать постоянную ноющую боль, боль переломов своей жизни.

Но именно сюда она старалась садиться, на эту лавочку, на это место, потому что как раз здесь, двадцать лет назад, тот загадочный человек вдруг вырос перед их шумной девичьей стайкой, как-то проникновенно посмотрел на нее и произнес грустно и прочувственно:

— Девочка, вы же прекрасны!..

Она едва успела запечатлеть в памяти лицо этого странного, очевидно, жестоко одинокого, погруженного в себя человека. Он быстро исчез, вероятно, испугавшись своего внезапного порыва чистосердечности.

— Это называется фурор, — определила Таня Скворцова, прервав онемение подруг, целую минуту не чирикавших после того, как мужчина юркнул между кустами.

— Да, Нинке Меньшиковой везет, — заскулила страшенькая Лена Звенягина.

— Ты, Кармен (это была ее школьная кличка), на четверть грузинка, а грузинки самые красивые женщины в мире.

— Это на твоем фоне, — отозвалась с края лавки Света Таранина, вторая красавица класса. — Тебя надо специально с собой водить, чтобы рядом с тобой лучше смотреться.

— А у тебя фигура, как балалайка. У всех, как гитары и как скрипки, а у тебя, как балалайка...

Тогда девчонки чуть не передрались из-за того, что ее назначили принцессой, а на них — ноль внимания.

И сейчас, и раньше она замечала, что, когда в этом сквере листаешь в памяти свою жизнь, из прошлого выступают прежде всего не самые крупные, судьбоносные события, а какие-то случайные фразы, вспышки лиц, мелкие ситуации, крохотные, казалось бы, обиды...

Почему-то она не помнила даже, признавался ли Шонин, ее первый муж, ей в любви, не очень-то запомнилась и свадьба, — так, какие-то пятна, какие-то застывшие, как на фотографиях, сцены. Но несколько, казалось бы, совсем незначительных эпизодов, фраз, отдельных слов часто выскакивали неожиданно, непрощеными, как монетки из неловко распахнутого кошелька.

— Я человек от сохи, можно сказать, — по-крестьянски неспешно, каким-то непрожеванным, утробным голосом выговаривал Шонин, когда пришел во второй раз к ее матери.

— Да, вполне можно сказать, — повторила Елена Константиновна, отводя глаза и кривя рот, как бы от выдыхаемого дыма своей вечной сигареты.

— Все напахал своим горбом, — он нарочито небрежно бросил на стол красное удостоверение «Комитет по телевидению и радиовещанию при Совете Министров СССР».

Мама отводила глаза.

Отводила глаза она и потом, когда будущий зять нудно разглагольствовал о будущем бюджете семьи, своим кряжистым крестьянским телом навалившись на стол, и долго, задумчиво что-то скреб, ковырял в волосах и томно рассматривал выскребанное.

После его ухода мама, стараясь делать незаметно для дочери и снова кривя рот, тщательно протерла клеенку ваткой с одеколоном на том месте, где сидел будущий зять.

— Конечно, плебей и неумен, слава богу, как эти личности из твоего круга общения, — опережая мать, с отвращением развеивавшую ладонью дым своей же сигареты, пошла в атаку Нина. — Меня тошнит от этих слюнявых говорунов, от этого грациозного Марка Станиславовича, которого ты мне подсунула. До сих пор не пойму, мужик он или баба. «Нам нужно систематизировать поступательное движение наших отношений». Фу, мерзость! Мне даже очень приятно, когда этот валенок плюет на ступеньки консерватории.

— Да, Нина, это гены. Это от отца, — говорила мать, философски закатывая глаза. — Его тоже всю жизнь бросало из крайности в крайность. Хотя, может, ты и права, может быть, это инстинкт самосохранения рода, — говорила она, задумчиво куря и глядя на отставшие от стены под потолком обои. — Мы с Евгением Георгиевичем, кажется, перегнули палку с твоей интеллигентностью. Такова нелепость нашей судьбы в это время в этой стране. Чтобы выжить, мы, воленс-неволенс, должны приспособиться, раствориться в этой орде быдлюков. Чуткие и ранимые здесь погибают, — она музыкальными пальчиками сделала детский жест, как бы изображая лопающийся воздушный шарик.

Мама называла себя оптимисткой, которая, как французы, видит во всем плохом немного хорошего. Так и запомнилась она четче всего у пыльного окна, с отсутствующим взглядом, как бы говорящей про себя: «...с одной стороны... а с другой стороны...», с глазами, задумчиво устремленными в серую даль, поверх крыш Пятницкой, поверх хаотической каменоломни — нагромождения домов старой Москвы, пожилой девочкой, погруженной в моменты счастья прежних лет, давно истлевшие...

И еще подруги почему-то хором, с непонятным единодушием стали убеждать Нину не отрываться, так сказать, от действительности. Им-то было не до жира, быть бы живу с их «фактурами». Поклонники толпами за ними не бегали, а на нее мужики в метро шеи выворачивали всем эскалатором. Вот и уговаривали ее «доброжелательницы», очевидно, чтобы не так сильно завидовать. Чтобы не высывалась, говоря по-русски.

— Ты, Кармен, опоздала родиться лет на сто пятьдесят. Мы живем в век толстокожих плебеев. Тебе придется прощать ему массу безвкусицы. Зато за этим носорогом можно идти через любые джунгли.

— Думается, он не настолько глуп, чтобы не понимать в будущем, что ты до него сейчас снисходишь.

— Прости за грубость, но сейчас кто громче рыгает за столом, тот крепче спит. С ним ты, во всяком случае, не станешь психопаткой, как большинство окружающих.

— Девочка, вы же прекрасны, — прошептала она заклинание, незаметно перекрестясь, когда входили в зал бракосочетаний. На экзамене по химии, которая никогда не лезла ей в голову, это волшебным образом ей помогло (плюс, конечно, завуч Арам Вахтангович, который с трудом отрывал от нее свои знойные глаза).

— Опять сожрала мои снотворные, — орал пьяный Шонин, когда через девять лет все стало хуже некуда. — Купи на свои и жри хоть тоннами.

Как незаметно за эти годы она превратилась в терпеливую, все сносящую бабу. Как-то медленно, но неумолимо и, казалось, целенаправленно, планомерно он по кусочку уничтожил ее самолюбие, давил и давил, как бульдозер, все, чем она отличалась от его серости, вульгарности, от баб его уровня.

— Это классовая ненависть, — незадолго до смерти определила мать. — Он завидует тебе, тому, что ты не плебейка. Но откуда такой океан коварства и постоянной, настойчивой, фантазмагорической злобы к тебе? Не понимаю. Нет, категорически не могу осознать.

Все получалось без маминых патетических красотей. Годы исчезали неумолимо, не гибли, не пропадали даже, а тонули и растворялись в какой-то мерзкой вонючей жиже.

— Никогда ты не будешь, как все люди, — без всякого повода повторял Шонин, изображая тяжелую обреченность.

— Конечно, дрын по хребту бабе нужен, — советовался он по телефону с «брательником» в Архангельске. — Чтоб не воображала из себя... Да только в этой Москве сам скорее обабишься.

Первый раз он ее ударил не сильно, скорее толкнул кулаком в грудь, еле сдержав часть злобы и силищи яростно размахнувшейся пьяной руки. Потом он сдерживаться перестал совсем. И она начала тайком пить, отливая его водку в бутылки из-под минералки, маскируя их между столом и подоконником на кухне и до поздней ночи пряча взгляд в даль окна.

— Да, наша сестра, русская баба, любое дерьмо проглотит. Раз начала терпеть, так уж понесло-покатило, — заключила по телефону институтская подруга.

И вдруг однажды, как бы и без особого толчка, пружина разжалась. Шла, как в бреду, замотанная, ссутулившаяся, подняла голову, посмотрела на чудесное яркое солнце посреди морозного, ясного, радостного зимнего дня и вспомнила это волшебное заклинание: «Девочка, вы же прекрасны!». Остановилась прямо на переходе улицы, сбросила на асфальт вязаные рукавицы — одна синяя, другая коричневая — это Шонин заставил носить так, потому что потеряла одну в том году, а другую в этом.

— Девочка, вы же прекрасны! — сказала она громко и зашагала, как в прежние годы, гордо распрямив плечи.

— И кому ты нужна будешь в тридцать два года с больным ребенком? Посмотри на себя в зеркало. Ты уже не порхающая студенточка, — насмешливо скрипел Шонин перед загсом.

И как он ошалел, когда попытался через полгода вломиться на ее день рождения. Он через порог смотрел на великолепную, искрящуюся радостью от своей красоты и успеха молодую женщину и что-то вяло жевал про то, что за девять лет люди становятся, как две половинки яблока, и про то, что дети без отцов сами плодят безотцовщину... и совсем сник, когда за ней из шумной гостиной вышел Николай Тихомиров из Театра Маяковского.

— Мадам, мы все без тебя увяли, — таким интересным, знакомым всей стране голосом продекламировал Коля.

— Девочка, вы же прекрасны, — сказала она, делая реверанс перед зеркалом после того, как, небрежно попрощавшись, захлопнула дверь перед Шониным.

Тихомиров кончился весьма фиглярски. На третьей неделе знакомства, в самый разгар романа, Нина зашла к нему с мороза с вертящимися в голове строчками Блока:

«Она пришла с мороза,
Раскрасневшаяся,
Наполнила комнату
Ароматом...»

Он немного наигранно-увлеченно сюсюкал по телефону с какой-то Аленой, изредка называя ее «девочка моя».

— Да это прежняя моя любовница заскочила, — объяснил он в трубку, коротко, неприязненно оглядев Нину своим волооким проникновенным взором. — Конечно, выгоню. Сейчас? В шею? Хорошо, раз приказываешь. Дворник, гони в шею, — гаркнул он с артистически тренированными, повелительно-барскими интонациями. Приблизил трубку ко рту и, твердо и зло глядя Нине в глаза, сказал коротко, презрительным жестом махнув кистью руки от себя: — Пшла вон!

Нина сначала заулыбалась слишком неожиданно грубой шутке, но, взглядевшись, открыла рот, захлебнувшись воздухом.

— Что-нибудь непонятно? — цедил он на этот раз голосом со стальными нотками, гипнотически охватывающими ее. — Финита ля комедия. Пшла вон! — С мутными, зло выпученными глазами он указал пальцем на дверь...

На лестничной площадке она затягивалась сигаретой, не останавливаясь, как наркоманка. Тихомиров и раньше заметно безвкусно перебарщивал, выдавая иногда этакие загадочно-демонические позы, но чтоб так вульгарно, так цинично... так оплевать?!

«Хотя, кажется, он довольно пьян, — засомневалась Нина. — Э, нет, стоп! Я же вроде начинаю крутиться, как уж на сковородке. Сейчас еще нажать на кнопку звонка и всю жизнь потом вспоминать, как виляла хвостом побитой собакой. Не пойдет!.. Девочка, вы же прекрасны», — вспоминала она, твердо затушила окурок на кафельном полу и решительно пошла прочь.

— Ну, суки, погодите, — зло сжимая губы, хрипела она на улице, не замечая прохожих. — Суки, суки, — громко ругала она всех, кто ей гадит, гадит, гадит и гадить будет...

А сегодня нарвалась-таки она в этом скверике на то, к чему больше всего опасалась прикоснуться в этих местах.

Света шла тяжелой, какой-то угрюмой походкой, походкой женщины, которая не раз, очевидно, пыталась уцепиться за свою молодость, за свое прежнее изящество, следить за собой, не опускаться в преждевременное растворение в так называемой повседневности, но в конце концов махнула рукой на остатки привлекательности и пустилась во все тяжкие: в слоновью поступь, обреченную сутулость обрюзгшей многодетной мамы с тяжелым, неподвижным выражением лица. Нина больше всего этого и боялась, боялась встреч со своими забуревшими или хотя бы набравшимися неповоротливой солидности, многозначительности одноклассниками.

Она знала, что это будет самым неотразимым ударом, несомненным доказательством того, от чего она пыталась, придумывая уловки, оправдания, спрятаться, когда ежедневно смотрела на себя в зеркало. Это пометит ее неоспоримо жестоким клеймом: лучшие годы молодости ушли, погибли.

В последний момент Нина вспомнила, что у Светы Тараниной уже четверо.

И вдруг вся болезненная тяжесть слетела со Светкиной подвисшей физиономии, вмиг осветившейся удивительно ясной, молодой улыбкой. Таранка увидела Нину и почти что метнулась, насколько это возможно было при ее теперешней комплекции, к школьной приятельнице.

Но тут же какая-то чрезмерная стеснительность свела жалкой, судорожной улыбкой Светкино лицо и сделала совсем неуклюжими движения. Нина поняла, что Света, увидев ее, застеснялась вдруг своей простоты, проглядывающего в ней примитивного, ничем не интересного жизненного уклада, той блеклой обывательской серости жизни, которая почти всегда просвечивает в многодетных мамашах. Таранка увидела себя на фоне недосыгаемой Кармен, которая порхает (иначе уж, конечно, не могло быть по ее представлениям) по жизни в соответствии со своим, Богом данным, врожденным, безусловным великолепием. «Знала бы она, — подумала Нина, — что все мои подарочки судьбы — путешествия по больницам с инвалидом-сыном да телевизор через наушники в однокомнатной квартире до поздней ночи после работы».

Через десять минут они сидели за жасминовым чаем, вишневым вареньем и тремя семейными фотоальбомами на четвертом этаже Светкиной пятиэтажки.

Болтали, как и должно, с пятого на десятое. Нина с болезненным любопытством слушала, сравнивая свою жизнь с тем, что рассказывала Света про подруг.

Изображая заинтересованность, разглядывала банальные лица многочисленной родни, и вдруг ее, как толчком свежего воздуха в лицо, обдало давно утерянной, немного болезненной радостью, мелькнула искра добрых, теплых, милых чудес из детства.

— Подожди, подожди, Свет, это вот что такое? Вот этот, кто это? — она постучала длинным ногтем по лицу того самого человека, который много лет назад в сквере своими милыми словами подарил ей такую маленькую, сияющую всю жизнь драгоценность: «Девочка, вы же прекрасны!».

На фотографии он сидел среди гостей за праздничным столом, немного выделяясь среди других довольных лиц какой-то грустной, прочувствованной улыбкой.

И только тут она поняла, что много раз приходила на ту лавочку с неосознанной, тайной несбыточной надеждой: а вдруг он случайно окажется там же и опять повторит это чудесное заклинание...

— А-а, это там один случайный... — с неожиданно резким раздражением Света перелистнула страницу. — Подонок, — не сдержавшись, пробурчала она себе под нос.

— Да нет, нет, все-таки кто? Кто это? — уже с твердыми нотками, едва не сломав картон, Нина перекинула страницу назад.

— Да этот тип... Ну, в общем, приятель нашего соседа. — Света удивленно смотрела на подругу. — Напросился на день рождения Танечки. Большой мразью потом оказался. Сейчас сидит за растление малолеток. Или, может, уже удавили.

Широко раскрыв глаза, она смотрела, как деревенеет лицо Нины.

— Он что... то есть... он, что, и с тобой что-то?.. Ой, да брось ты, Кармен... Ты все время наматывала всякую фантастику. — Она вглядывалась в одноклассницу. — Ой, правда, что ли? Да где же это?

— А в этом сквере на Новокузнецкой, — монотонно ответила Нина.

— Да ты что? В самом сквере? — с оттенком недоверия во взгляде Света рассматривала подругу. — Ни-и-нка! Какой ужас!

— Да, ужас. Можно сказать, скверный ужас, — через силу сострила Нина.

Сергей Трафедлюк
Сугубая проза

Прощание с Ильинским

Ильинский канул в чёрствый снег.
И был таков,
 каким казался и вверху, когда был вписан

в трапецию окна. Ни синяков,
 ни буковки предсмертной не оставил.

Отделался молчанием и тут

(всегда тихоней в классе, «на камчатке»,
 рукопожатие с солёною росой
 от скромности;
худой).

Не стоит думать,
 что после жизни изменить себе
 гораздо проще, чем обычно.

Необычно
 здесь только то, что умирание человека
 его перемещает из отряда

приматов и родных в разряд событий,
 а может, в их отсутствие. И всё же,

как показалось людям в тот момент,
 когда Ильинский, растопырив руки

(вратарь, два раза в сборной, первый номер),
 бежал к земле по оловянным стёклам
 так быстро, что едва в них отражался

вороний вскрик, — так быстро, что, пока
 перо спускалось вслед за ним, вдогонку,
 как уголёк, царапающий ватман,

Об авторе | Сергей Михайлович Трафедлюк (родился 17 января 1986, Севастополь), окончил филологический факультет Черноморского филиала МГУ им. Ломоносова. Работал журналистом в газетах, на телевидении. Художественный редактор издания «Литературная газета + Курьер культуры: Крым — Севастополь». Гран-при Ялтинского фестиваля «Синани» (2009). В 2004 году опубликовал сборник рассказов «Жизнь между строк». Живёт в Севастополе.

уже внизу его глухое горло
перечеркнув по кадыку, — он опустел.

И вот пространство неумело начинает
стирать его привычный, тёплый контур

с бумаги (но она не истончилась,
а стала лишь плотнее — вот в чём смысл
исчезновения реального предмета).

И инеем покрылся лоб, как будто
испаринной, которую не в силах
впитать в себя платок.

Он был таким,
каким и был. Но на него смотрели
впервые, может, в жизни как на чудо
последнего преображенья,
когда тело,
по сути, остаётся не у дел.

Но что-то мне подсказывает: может,
стремглав преодолев по вертикали
дистанцию до смерти, он поставил
рекорд для никого — сумел на долю
секунды обогнать свою же гибель?

Точнее, он пропал в ничто так быстро,
в одно мгновенье, и его душа-беглянка
не поспевает осознать, что разрушенье
уже настало?

Так бывает на шоссейных
растянутых до горизонта лентах,
когда водитель выжимает до предела,
и двигатель свистит, как щёголь,
и щёлкает, как пуля: раз — и нету,
оставив след невидимый — слипстрим

(шлейф воздуха с пониженным давлением,
воронку).

Как эффект обратной тяги,
слипстрим засасывает мелкий мусор:
обёртки, улетевшие бейсболки,
бутылки ПЭТ, огрызки яблок и окурки
дешёвых сигарет, газеты, ручки
без пасты или тюбики помады,
презервативы, —

всё, чем человек
беспечно замещает на дороге
своё движенье, превращая эти
отходы в путевые знаки или,
вернее, в символы:

засечки на деревьях
в неведомой чащобе. Поглощая
воспоминания, видения и мысли —
обочины, поверь, всегда кишат

такого сорта выбросами, — вихрь
слипстрима перемешивает в гущу
метафоры души, на миг как будто
воссоздавая оболочку человека,
которому они принадлежали.

Ни сокрушения, ни жалости к себе
и ни к тебе, ни пожелания, ни жёлчи,
как, в общем, ни разлуки, ни утрат,
ни расставания — расстаться невозможно
с Ильинским — ведь никто с ним не сближался
за тридцать с небольшим.

И всё же облик,
составленный мозаикой из многих
фрагментов
(прихоть скорости и силы
падения), меня тревожит:

как
Ильинский представляет, что он умер,
и что его заботит больше: мысли
о казусе слипстрима?

или поле
на школьном стадионе, где под вечер
не отличить бегущего от тени?

А может, притаившись на снегу,
он втихомолку за предательство прощает
или прощается?

Но голос с хрипотцой
сейчас мне так напоминает сотни
других, что я стою, зажмурив сильно
глаза.

У неба цвет сенильный,
миндалевый. Когда бы знать...

Но из улик (записки нет —
но сам, видать)
на шее — лишь перо, подобно чёрной

царапине, зарубке. Это что-то

оставило свой тонкий след, когда
Ильинский с ним столкнулся между третьим
и предпоследним этажом.

И этим
барьером — перепонкой льда,
разбитым стёклышком — была, наверно, просто
его фамилия, оставившая росчерк
на память. Вот и все дела.

Прощай, Ильинский.

Слитком немоты
становишься. Твой голос скоро смолкнет
на холоде. И не заклеить рты,
как окна.

Рыба

Плешивый рыбак, будь честным и будь пречистым,
частным будь — мира часть — и будь плечистым
заступником и радетелем, и в тенёта — глыбу —
укутывай и пеленай продрогшую рыбу.

Ведь рыбам — звук винтов милей колыбельной.
Сон рыбам — стеклянный воздух внутри корабельной
храмины. Плешивый рыбак, так будь святошей:
вымой их тело и солью присыпь. Хороший

ужин сготовь и вина не жалея и вдоволь
козьего сыру отрежь. И не забудь про вдовый
свой балахон, что пылится на дальней полке
и прячет в рыхлых недрах, как грех, иголку.

Сам плешивый рыбак — и плешивого моря плоскость:
без затей, без людей, только лодка — что капля воска
в мелкой посудине. Портрет, потерявший своё имя,
незаметный с суши, наблюдаемый лишь одними

рыбьими лицами с шрамами от крючка.
Лезвие горизонта. Весло. И на весле — рука.
Или всё же кто-то держит весло в руке?
Тот, кто ходит по морю с сачком, налегке,

кто ловит летучих рыб и, по договору — раб,
сдаёт их на потрошение бойких портовых баб?
Жизнь старика априори не больше, чем снасть или плошка.
Зацепки в памяти: срубленный тис, платок, безгубая кошка.

Ещё — удачный улов и коробка сластей из Польши.
Вот, пожалуй, и всё. Старики не могут иметь больше.

Не выходя за рамки, не нарушая ряда,
рыбак держится, будто следит за стрелкой часов, заведённого уклада.

Так и держись — так держать! — за окоём лимана:
в тарелке не больше, чем в раме окна, обмана.
Ставни открой. Зачистишь потом доски
лодки своей. И жареной рыбы вдосталь

с луком поешь. Ущипни, как щипал женский локоть,
рыбьего мяса смуглый, нежный ломоть.
И похвали — вспоминая, что ел на ужин, —
добрый рецепт ухи, что больше не нужен, —

ведь её нет. А когда полдень, настоявшись, остынет,
губы свои приложи к ребухе, как старец — к святыне.

Севастополь

Владимир Найдин

Давнишние секреты

Время неумолимо проходит вперед. Его калибровка идет не только по отрезкам — часам, минутам, годам, но и по событиям. Иногда личным, а иногда государственным. Этот временной поток, в котором мы существуем, влечет нас и влечет. Ясно, куда. К светлому будущему (что маловероятно, но обнадеживает).

Эйнштейновская теория относительности приложима к огромным скоростям и пространствам. Это важная теория, Эйнштейну большое спасибо. Но мыто здесь ни при чем. Можем только порассуждать на эту тему. И то, если хорошо образованны, достаточно умны и не заняты разными глупостями. Таких людей немного. Я вряд ли к ним принадлежу. По указанным причинам.

Я ощущаю ушедшее время по тем людям, которые мне когда-то встретились и запомнились своими поступками. Они наплывают на меня из далекого и не очень далекого прошлого. Иногда радуют, чаще огорчают, но всегда рождают тоскливо-сладостное чувство ностальгии. И просятся на бумагу.

Вот и получают рассказы о прошлом. Маленькие песчинки, которые опять же несет время. Куда? Все туда же.

ВСЕ ВРУТ!

Дедушка Берл (по-русски — Боря) был аккуратистом. У него все располагалось ровненько, по линейке. Ботинки на микропоре рядышком в прихожей, носки в шкафу стопочкой, подтяжки, скатанные трубочкой и перевязанные тесемкой бантиком. Так же трепетно он соблюдал и утренний ритуал чаепития. Вернее, кофепития.

Каждое утро, ровно в девять, мелкими шагами он входил в кухню. При полном параде: рубашка застегнута на все пуговицы, подтяжки ровно и симметрично на плечах, брюки неброского цвета отглажены в стрелочку.

Мужчина пришел пить утренний кофе. Невестка немедленно подавала все необходимые ингредиенты: чашечку кофе, два кусочка тростникового сахара (он полезнее рафинада), молочник со сливками и, конечно, свежую газету. Ка-

Об авторе | Владимир Львович Найдин — доктор медицинских наук, профессор, зав. отделением Института нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Автор многочисленных научных работ, а также научно-популярных очерков о медицине.

Много лет печатает в толстых журналах «рассказы врача», составившие книги «Один день и вся жизнь» (2005), «Вечный двигатель» (2007), «Реанимация» (2008), «Интенсивная терапия» (2009), «Реабилитация» (2009). Постоянный автор нашего журнала. Последняя публикация в «Знамени» — «“П-т-т, санагория, чать!” Семейная сага» (2009, № 6).

В цикле, публикуемом в этом номере, рассказы о родных и близких соседствуют с историями из житейского опыта автора — врача и пациента.

кую именно — неважно. Дедушка Берл все равно не знал русского языка. Так, несколько фраз для общения. Родным для него был идиш.

Он пил кофе мелкими глотками и, надев очки в простой металлической оправе, просматривал газету. Вертел ее в руках, шуршал, как заядлый читатель, по картинкам определял — где верх, а где низ. Допив кофе, он небрежно складывал газету, снимал очки и говорил по-еврейски всегда одну и ту же фразу: «Ол лыгн!» — «Все врут!». И был недалек от истины. Мудрый человек.

ВОСПИТАТЕЛЬ

Мама поручила отцу провести со мной воспитательную беседу. Мол, сын вошел в подростковый возраст, опасно влияние улицы, приятели наговорят черт-те что. Лучше, если основные жизненные знания ребенок почерпнет из беседы с собственным отцом.

Мы жили в коммуналке, у нас была одна большая комната, перегороженная шкафами, комодами, буфетом-хельгой. Нас было четверо. Мама пыталась выгородить автономную площадь каждому члену семьи. Я сидел в своем закутке и случайно подслушал ее пламенную речь. Удивился.

Отец всячески отнекивался и фырчал. Не любил разводить турусы на колесах, да еще и дипломатничать. Но женщину не переубедишь, а маму особенно. Она была человеком упорным и строгим. Могла бы и сама со мной поговорить, но предполагались некоторые нюансы беседы.

Чтобы не смущать покой младшего, восьмилетнего брата, отец вызвал меня на кухню. В тот час там почему-то никого не было. Под весьма закопченным общественным потолком низко провисали веревки для сушки белья. За одну такую веревку отец и уцепился своей мускулистой рукой. Он любил демонстрировать свои бицепсы. Но тут ему было не до бицепсов. Он смущался.

— Видишь ли, Вовик, какое дело. Наверное, во дворе мальчишки произносят разные непотребные слова. Э... мэээ... Ну, например...

Тут он задумался чуть ли не на целую минуту. Мне передалось его смущение, и я без улыбки ждал, нарочито и преданно глядя ему в глаза.

— Ну, например, говорят такое слово как «п...а».

Он отчаянно выкрикнул это популярное слово. При этом так напрягся и дернулся, что веревка не выдержала и оборвалась. Он чуть не упал. Я не выдержал и прыснул. Отец побагровел, скороговоркой матюгнулся и выскочил из кухни. Беседа окончилась. Из комнаты доносились мамины возмущенные вопли.

Я для разрядки напряженности ходил в туалет и вернулся в комнату. Отец папал радиосхему и что-то бурчал себе под нос. Мама сидела в отдалении и вышивала болгарским крестом подушку. Щеки ее пламенели. Со мной больше не разговаривали. Берегли свои нервы. Идиллия. Брат делал вид, что готовит уроки. По-моему, он тоже все слышал. Во всяком случае, эти и подобные слова он частенько во дворе сам выкрикивал. И до этой беседы. И после. Я тоже... Папа вообще никогда не ругался.

ПОЛЯ

У меня была дальняя родственница Поля. По моим детским воспоминаниям, еще до войны она была старушкой. Хотя теперь я понимаю, что ей было тогда чуть больше пятидесяти. Родная сестра моего любимого дядьки Мориса. О нем я рассказывал в своей «Семейной саге». Морис был мужем Неси — маминой сестры. Она меня растила вместе с мамой и любила как своего сыночка. Так и говорила: «СЫ — ночка». От нее пахло уютom, теплом и сельдереем. Я тогда был к

нему равнодушен, а теперь обожаю. Натираю, шинкую, добавляю в любой суп или бульон. Аромат из счастливого детства.

А от Поли пахло корицей. Она была невысокого роста, подслеповатой и все время теряла большие тапки без задников. Они слетали с ее маленькой ножки и скользили по натертому паркету. Чаще всего под диван. Она жалобно вскрикивала, как ночная птичка, а я хватал свою детскую удочку, плюхался на живот и шуровал под диваном, стараясь подцепить беглянку. Поля осторожно вставляла в тапочек ногу, что-то бормотала на непонятном мне языке (оказывается, это был идиш), а я внимательно рассматривал ее отечные лодыжки с красными точечками. Они были абсолютно не похожими на стройные мамины ноги. Я удивлялся — почему они такие?

Поля, как и Морис, происходила из маленького местечка в Бессарабии. В начале века всей многодетной семьей они бежали от еврейских погромов в Аргентину. Отец был портным и выучил детей портняжному ремеслу. Поля могла выкроить и сшить любое изделие — от панталончиков и сарафанов до модного платья и мужских брюк. Но, конечно, в основном она ремонтировала одежду — перелицовывала, укорачивала, ставила изящные заплатки на протертых местах — на попе, коленках, локтях. Все пространство вокруг нее на вытянутую руку было завалено обрывками ниток, лоскутами, какими-то шнурочками и резинками от трусов. У нее всегда имелось два сантиметра — один прятался в тряпичном хламе, а второй висел не шее. Они постоянно терялись, но быстро находились и тут же снова загадочно исчезали. Она тихонько шептала еврейские проклятия, негрубые, наверно, что-то вроде «чтоб вам пусто было», и продолжала работу.

Когда Мориса, ее младшего брата, в 1908 году выслали из Аргентины за анархические, как испугались власти, бредни, Поля собрала немудреные вещички и отправилась с ним в Италию. Морис устроился обойщиком в театр «Ла Скала», увлекся оперной музыкой и Верди чуть ли не больше, чем анархизмом и Бакуниным. А Поля в эти высокие сферы не вступала, обшивала задешево темпераментных итальянцев. Говорила с ними кое-как на румынском, а по-итальянски с подачи Мориса выучила: «Не размахивайте руками» и «Стойте смирно». Потом беспокойного брата отправили во Францию на завод «Рено», и Поля выучилась по-французски: «Да, месье. Нет, мадам. Обязательно исправлю, мадемуазель». А на идиш говорила: «Крохоборы и зануды».

Когда после революции Морис с головой погрузился в море бурных событий Гражданской войны, сначала на Дальнем Востоке, а потом на польском фронте, Поля осела в Киеве. Вышла за киевского портного, человека доброго, неторопливого и надежного. Как и сама Поля. У мужа был один недостаток — имя Адольф. Но в те годы никто, слава Богу, не знал другого Адольфа, а Поля звала мужа Адиком. Вскоре родилась дочка. По желанию отца-романтика ее назвали Авророй. Она росла крепкой, веселой девчонкой.

Адольф набирал много портняжных заказов. В семье появился кое-какой достаток. Поля тоже немного шила, но потом устроилась воспитателем в детский садик. В те времена он назывался «очаг». В очаге работала и Неся, устроив туда же свою старшую сестру Басю и младшую, Женю, мою маму.

Анархистка Бася, суровая и решительная, благодаря революции вернулась из сибирской ссылки, но через короткое время снова была отправлена в те же края. Уже советской властью. Чтоб народ не баламутила зря.

Моей маме тогда было пятнадцать или шестнадцать лет, она родилась в 1906 году. Часто и тяжело болела — горло, сердце, туберкулез. Неся ее поддерживала, приводила врачей, мама не сдавалась, росла неунывающей и весьма язвительной особой. Когда подружилась с Полей, стала ее мужа Адика звать «адиотиком», озорничала. Поля не сердилась, добродушно посмеивалась. Мама вступи-

ла в комсомол, охотно ходила на собрания, обсуждала «текущий момент». Любила книги и обожала коллективное пение. Время было такое. Заодно познакомилась с моим будущим отцом Львом.

После неудачной попытки завоевать Польшу (под руководством Тухачевского) раненый и контуженный Морис приехал в Киев. Поля немедленно познакомила своего любимого брата с Несей. Неся в те годы была чудо как хороша. У Мориса получилась семья. В любви и согласии родилась дочка, моя сестра Мурка. Поля была счастлива.

В конце двадцатых Мориса, работавшего во внешней разведке, направили работать под «крышу» торгпредства в Аргентину. Вскоре к нему приплыли жена с дочкой. Морис искал своих оставшихся когда-то в Аргентине родителей. Поля волновалась и говорила: «Зачем дразнить гусей?». Но Морис такие вопросы решал самостоятельно. Потом Неля с Мурой, а затем и Морис вернулись в СССР. Сначала в Киев, затем в Ленинград, а оттуда в Москву. Поля оставалась в Киеве. Но очень часто приезжала к ним погостить. Вот с этого времени я ее и помню.

Она любила печь еврейские пироги — с маком, с корицей. Назывались они «штрудель». К сожалению, ей никак не удавалось приспособиться к незнакомой газовой плите, и пироги постоянно пригорали. Она отковыривала пригоревшие места, съедала их и смущенно говорила: «Я люблю гогхрелое». Очень сильно картавила. Черные крошки-угольки оставались на ее губах. Поля удрученно качала головой и шаркала своими безразмерными тапками на кухню, чистить противень. Она была очень опрятной старушкой. Простой домашний халатик в голубую крапинку как-то особо уютно облегал ее покатые плечи и пухлую спинку.

А потом случилась трагедия — 22 июня 1941 года. Киев жестоко бомбили, люди прятались в подвалах. Уже в первую неделю войны Адольфа вызвали в районное отделение киевской милиции. Допрос был каким-то странным. Не милиционеры, а сотрудники НКВД, с красными от бессонницы глазами, раздраженно выясняли, почему он носит такое паршивое немецкое имя, есть ли у него родичи в Германии и где он прячет мощный карманный фонарик, которым можно подавать сигналы фашистским самолетам.

Задыхаясь от волнения и папиросного дыма, который столбом поднимался от непрерывно куривших энкавэдэшников, Адольф отвечал, что имя ему родители дали еще в прошлом веке, когда имена Адольф, Альфред, Эрик считались романтическими и брались из опер, поэм и романов. Никаких родственников в Германии у него нет, вся семья происходила из Бессарабии (как и у Поли). А из всех инструментов он имеет лишь ножницы, мелкие иголки и булавки, так как всю жизнь был портным. Еще есть сантиметр и лекала для модных брюк.

Сотрудники не поленились и съездили на квартиру, обыскали с усердием, но ничего подозрительного не нашли. Выяснили, что дочку зовут Авророй. «В честь легендарного крейсера?» — смекнул главный «обыскант». «Нет, — отвечала правдивая Поля, — муж назвал так в честь римской богини утренней зари». «Богини, да еще и римской? — удивился атеистически настроенный человек, — он что у вас, с придурью?» Поля промолчала. В доме еще обнаружился трехлетний внук, со светлыми кудряшками и в сандалиях. Его звали Валериком. «В честь Валерия Павловича Чкалова», — с гордостью сказала «богиня утренней зари», а малыш расставил ручки и зажужжал, как самолет. Поисковая группа плюнула и отбыла восвояси.

Семья спасла Адольфа. Его не кокнули как немецкого диверсанта, но домой он не вернулся. Отправили в город Канск. Это за Енисеем, в Красноярском крае, который, как известно, равняется четырем Франциям. «Пусть оттуда подает сигналы немцам, если будет охота», — пошутил безусловно гуманный начальник отдела. Не расстрелял же. А мог.

А вот Адольф спасти семью не сумел. Хотя Поле свидания не дали, но твердо пообещали, что муж скоро вернется. Соврали по привычке — Адольф уже трясся в теплушке, удаляясь в глухие восточные края необъятного СССР. Канск был заполнен такими же подозрительными личностями. Вместо того чтобы вывозить станки и оборудование, а еще благороднее — просто евреев (уже были известны фашистские кошмарные «художества» с евреями), удаляли с глаз долой подальше всякую сомнительную шелупонь.

Поля, человек простодушный, принялась терпеливо ждать мужа. Добрые соседи ей говорили: «Мадам Швейцер, вам бы лучше удалиться в провинцию. Попадете под оккупацию — немцы ни вас не пощадят, ни Аврорку с ребенком. Вон какие ужасы рассказывают беженцы из Львова. Будете смерти ждать». — «Дождусь Адольфа, и вместе уедем», — кротко отвечала Поля.

Дождалась. Совсем другого Адольфа. В Киев вошли немцы. Сразу же откуда-то появились украинские полицаи, стали грабить и бесчинствовать. Поля их очень боялась. «Немцы все же цивилизованная нация. Они мне попадались во Франции, когда я обшивала французов. Они не такие капризные, как французы. Любят порядок. Орднунг. Это для них самое главное. Чтоб все было чисто, гладко, аккуратно. Чтоб не морщило и соблюдался выбранный фасон. Правда, чаевых не дадут ни пфеннига, если не оговорено. Так и французы своими сантиматами не разбрасываются. Скупые. Но чтоб так легко убивать людей?! Только за то, что они евреи?! Не верится». Так Поля рассуждала, но тревога в душе нарастала. Соседи вспоминали, что утром она выходила с припухшими красными глазами. Ночью плакала. Старалась не показать Авроре и Валерику своей тревоги.

Наступил и проклятый день... 29 сентября 1941 года. Всех заранее переписанных евреев (знаменитый немецкий орднунг) заставили покинуть квартиры. Разъезжали машины с громкоговорителями. Металлическими суровыми голосами предлагали выйти, без всякой паники. С собой взять только ценности и документы, потому что скоро все вернутся по домам. Пройдут специальную регистрацию и вернутся.

Там, где не было радиомашин, расхаживали недавно назначенные старосты участков и через обычные спортивные рупоры, какие бывают на конных скачках, вежливо «уговаривали» не мешкать и быстрее двигаться. Тем более что погода была хорошей, теплой, настоящее киевское бабье лето. Желто-золотой листопад. А полицаев нигде не было видно. Убрали с поверхности. Чтоб не волновали «контингент» — десятки тысяч медленно идущих людей, направляемых внезапно появившимися регулировщиками к Бабьему Яру. Это ближний пригород Киева, знакомое каждому киевлянину место.

Трудно даже представить себе чувства людей, идущих на заклание, на верную смерть. Старики шептали молитвы, молодые беспокойно осматривались, тщетно пытаясь найти какую-нибудь лазейку. По обочине дороги плотно стояли горожане. Провожали колонну разными взглядами и комментариями, ох разными, разные люди — от сочувствующих и страдающих до злорадных и просто любопытных.

Только дети были беспечны. Валерка, у него домашнее имя было Атейка, это он сам себя так называл, держал за руку маму Аврору и прыгал на одной ножке, а когда ему удавалось поймать руку бабушки Поли, поджимал ноги и раскачивался, как на качелях. Как все дети, любил полет. Недаром его назвали в честь Чкалова.

А дальше... Все и так знают. По краям оврага находились пулеметы, за ними как раз и лежали полицаи — кто поопытнее. Немецкая «айнзатц-команда» использовала похвальную инициативу местного населения и получила одобрение сверху, из самого Берлина. Палачи были удовлетворены «окончательным реше-

нием еврейского вопроса». В небе кружил самолет. Громко играл немецкий духовой оркестр. Чтобы заглушить треск пулеметов и крики казнимых людей. Предварительно раздетых догола. Все продуманно.

Так как овраг был не доверху наполнен телами евреев, через два дня рациональные изуверы уложили туда и пленных советских солдат, и не оказавшихся достаточно лояльными поляков. Выявленные коммунисты-украинцы, оставленные для подпольной борьбы, тоже нашли там свой последний приют. Уделили место и больным психиатрических клиник. С них как раз и началось заполнение братской могилы. Лишние люди.

Вот так погибла Поля, добрый, мягкий человек, не причинивший зла ни одному живому существу. А с ней и ее семья — «богиня утренней зари» Аврора и херувим Атейка-Валерка. Один Адольф, отсидев пятнадцать лет в Канске, остался жив, но эта жизнь была ему совершенно не нужна.

Несколько лет назад моя сестра Мура, ей уже было за семьдесят, поехала в Киев и прошла весь скорбный путь обреченных людей. Была годовщина казни, так же стояла теплая осень, листопад, сотни людей медленно шли с зажженными свечками и отдаленно, только очень отдаленно, представляли себе чувства родных и близких, которых вели на неминуемую смерть.

Мура вернулась, опухшая от слез, и ни с кем не могла разговаривать. Молчала несколько дней. Потом пошла на работу (она профессор-физиолог в детской клинике) и постепенно оклемалась. Но если ее спрашивали об этом траурном марше, она снова замыкалась и смотрела на собеседника тоскливо и отрешенно. Очень было сильно потрясение.

Над Бабьим Яром шелест диких трав...
Все молча здесь кричит,
и, шапку сняв,
Я чувствую,
как медленно седею.

Хорошо написал Евгений Евтушенко.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Нежность и ревность, хамство и отчаянные попытки примирения, обман и откровенное признание, хитроумные уловки и глупые проколы на пустом месте. Эти полярные знаки «плюс и минус» постоянно меняются местами, вспыхивают и гаснут, терзают души и деформируют характеры людей и их детей. Но держат семейную систему в необходимом напряжении. Многие же не разводятся. Как говорит одна моя родственница: «Значит, они так договорились».

В мой кабинет заходит семейная пара. Он — крепкий, уверенный хозяйственник. Лет шестидесяти. Бритая голова, волевой подбородок, брыластые щеки и неожиданно розовый носик пуговкой. Она — моложавая пухлая блондинка, настоящая «пышка». Даже родинка слева над губой. По документам — шестьдесят один год, но не дашь и пятидесяти.

Он сдувает с нее пылинки. В сто первый раз слушает ее рассказ о болезни, поправляет, уточняет. Комментирует. Она ласково к нему оборачивается. Он следит, чтобы ни одна деталь не ускользнула от моего докторского внимания.

Я прошу ее снять блузку, чтобы осмотреть спину. Она охотно раздевается. Крепкая и белая, как молодая репа. Или белокочанная капуста. Он командует: — Стой ровно, не вертись, выполняй все команды врача.

Она послушно выполняет. Я чуть улыбаюсь.

— Поднимите руки вверх. Повернитесь, наклонитесь вправо, влево, теперь вперед — как будто что-то поднимаете с пола, но без боли.

— Колени сгибать?

— Ни в коем случае! — вместо меня руководит ее муж, озабоченно вскочивший с дивана.

Я его осаживаю:

— Василь Васильевич, здесь я командую, успокойтесь, сядьте, мне важно узнать, насколько она может наклониться без боли. Все. Спасибо. Одевайтесь, пожалуйста.

— Рентгеновские снимки смотреть будете? — мрачно спрашивает Василий Васильевич.

Он недоволен слишком коротким осмотром его бесценной жены. Она ловко одевается, чему-то загадочно улыбаясь, разглаживает на себе шелковую комбинешку. Вдруг я замечаю на белом пухлом плече багровое пятно. С начальной желтизной по краям. Синяк.

— Это откуда? — спрашиваю.

— В метро о поручень стукнулась, — немного смутившись, ответила она, — вагон качнуло, я не удержалась.

Василий Васильевич промолчал. Ладно. Изучаю снимки, вернее, компьютерную томограмму.

— Великолепное качество. Где это делалось?

— Я обзвонил все центры, где есть томографы. Выяснил, у кого новейшие модели, и туда обратился сам, — ответил супруг.

Он явно гордится своей активностью и технической сноровкой: нашел, мол, для жены все самое лучшее. Осталось немного — вылечить подругу:

— Мы уже тридцать лет женаты, много чего пережито, но сейчас я волнуюсь как-то особенно.

Я его успокаиваю, намечаю план лечения. Он внимательно слушает и даже делает пометки в маленьком блокнотике. Блокнотик прямо утопает в его мощной ладони. Не ладонь, а ковш экскаватора. Она продолжает загадочно улыбаться. Прямо Джоконда какая-то.

У зрелых женщин часто проглядывает непонятная улыбка. Интригует и настораживает. Меня, по крайней мере. Появляется несколько завистливое чувство — все равно эту женщину не разгадать, она знает о жизни гораздо больше, чем ты. У молодых девушек тоже встречается такая улыбка. Но гораздо менее загадочная. А у нас на третьем этаже Томка-массажистка так ржет, что портьеры в кабинете трясутся, с хромированных штанг сползают.

Так вот: составил я план лечения, договорились об обратной связи — как меня находить, если что не так, и распрощались. Вызываю следующего больного. Минут через пять пышка-блондинка заглядывает в кабинет:

— Можно я подожду, когда вы освободитесь?

Через пять минут заходит, держит в руке какой-то листочек. Доверительно наклоняется:

— Хочу посоветоваться, пока мужа нет. Пошел в аптечный киоск за лекарствами.

— Слушаю.

— Да я про него и хочу спросить.

— Что, тоже болит спина? (Это, кстати, в дружных семейных парах — нередкая история.)

Засмеялась, прямо серебряным колокольчиком. Симпатичная дамочка.

— Нет, что вы, у него отменное здоровье, можно даже сказать «здоров, как бык». Дело в другом: как выпьет, даже самую малость, прямо звереет, удержу нет. Скандалит и, главное, дерется.

Она погрузилась.

— Вот вы спросили про этот синяк на плече. Никакое это не метро. Это он огрел меня настольной лампой. Хотел по голове, но я увернулась — досталось по плечу. Лампа была дорогая. Нефритовая. Жалко. Расколошматил. Сначала об меня, потом об свою голову. Ну, она у него крепкая. Стыдно ему стало, вот он себя и бабахнул. У нас это частая история. Утром, когда проспится, вообще на коленях ползает, прощения просит. Становится шелковым. А как напьется — снова-здорово. Ну, я уж привыкла за тридцать-то с лишним лет. Но все-таки хотелось бы избавиться от такой нагрузки.

— Помочь трудно, — ответил я, — это не лечится. Болезнь пустила глубокие корни, а я в этих делах совсем не специалист.

А сам мысленно процитировал свою родственницу: «Значит, они так договорились». Всеобъемлющая в браке формула.

ДАВНИШНИЕ СЕКРЕТЫ

Шестидесятые годы. Частный визит к немолодой даме.

— Дела совсем неплохие. Сердце у вас крепче стало, все будет хорошо. А как наша общая знакомая Матильда Владимировна поживает?

— У меня с Матильдой одно время были непростые отношения. Я уж вам открою давнишние секреты. У другой моей подруги, Стеллы, — вы ее знаете, — с мужем Матильды был до войны страшный роман. Ужасный! Они были так увлечены друг другом!

— Я, кажется, видел его портрет над пианино у Матильды Владимировны. Полный такой мужчина.

— Да, толстоватый, с бородкой. Успевающий был. Инженер. Держался солидно, хотя в глубине души отчаянный был авантюрист. Этим и нравился Стелле. Такой, знаете, лихостью внутренней. Она так хороша в то время была! Потом Матильда мужа, конечно, простила и Стеллу тоже. Он-то мне не импонировал: ни внешне, ни внутренне. А то, что я ему нравилась, это ничего не значило. Важно, чтобы мне мужчина импонировал, это мой принцип. И всегда так было. Матильда сердилась на меня, и напрасно. В войну она приходила ко мне, хлеб от него приносила. Он обо мне заботился, и она все выполняла. И Стелле они, конечно, помогали. Еще больше, чем мне, естественно. А эти лекарства можно принимать вместе? После еды? Очень хочется окрепнуть, чтобы с осени можно было работать, ездить в Академию. Хотя бы два-три раза в неделю. Ведь я ведущая стенографистка. Они меня всегда ждут.

— Обязательно будете работать! Вы человек активный, вам работать необходимо.

— Да, а то меня пугает скука. Временами так начинаю бояться скуки, так бояться! Вот вы про Матильду спрашиваете. Муж ее давно в могиле, мы все болеем часто, но скука — еще страшнее. Рецепты вы мне выписали? Теперь новые порядки, без рецептов ничего не допросишься.

— Конечно, конечно, пожалуйста.

— А Матильда, кажется, вам изменила? Променила вас на больницу. Ей удобней в больнице. Она такая беспомощная дома и одинокая. Эта ее домработница что хочет, то и делает. В завещание вписалась. Стареем. Вы написали, сколько принимать лекарства? Спасибо. Разрешите, я вам позвоню, только к вам очень трудно дозваниваться!

— Всего доброго, я сам позвоню, поправляйтесь!

Мы с ней еще не раз встречались. И со Стеллой тоже. Стелла тоже была моей пациенткой.

Прошли годы. Постепенно терялась связь с этими милыми женщинами. Но в моей памяти они хранились. Детали забывались, но чувство уважения оставалось. Даже их романы были красивыми.

Стелла была женой математика, работала литературным секретарем у знаменитого писателя, владела стенографией, машинописью. Знала многих великих на литературном и театральном поприще. Могла отыскать любую справку, редкую цитату, ссылку на малоизвестного автора. Ценный человек.

Но помимо мужа-математика у Стеллы имелась мать. И здесь была проблема. Неразрешимая. У матери развился сенильный (старческий) психоз. Плюс болезнь Альцгеймера. Чудесное сочетание. Она курсировала по квартире в ночной рубашке и босиком. Сияющие глаза и растрепанные волосы наводили ужас на окружающих. Ни переодеваний, ни причесываний она не терпела. Считала, что это ее отвлекает от важных и неотложных задач. Деятельна была чрезвычайно.

Пока Стелла и ее муж были дома, они как-то справлялись с ее активностью — давали протирать книги на полках (мать в прошлом была библиотекарем), складывать толстые журналы по названиям — «Знамя» к «Знамени», «Октябрь» к «Октябрю». Она не любила эту работу, кряхтела, бормотала какие-то слова, считала, что способна на гораздо большее. Как только оставалась в квартире одна, тут же бросалась реализовывать свои возможности.

Последствия были кошмарными. Каждый день был отмечен каким-нибудь деянием. Стелла перечисляла эти действия с ужасом. Один день был посвящен зимней одежде. Мать вынимала из шкафов шубы, пальто, шапки, шарфы, даже теплые перчатки. Все укладывалось в ванну и заливалось горячей водой. Для верности еще и засыпалось стиральным порошком «Лотос».

На другой день развешанные Стеллой для просушки вещи снимались с плечиков и выбрасывались на улицу. Прямо с балкона пятого этажа старинного дома на Никитском бульваре. Рядом с Домом журналиста. Сами журналисты от падающих шуб и меховых ботинок уклонялись, но другая публика не брезговала. Лишь кое-что, какие-то крохи находили соседи и приносили обратно. Стелла плакала от бессилия и отчаяния. Мать озабоченно хмурилась и подкрадывалась к шкафам — нет ли еще чего-нибудь завалявшегося. «Квартиру надо держать в чистоте, не захламлять», — бормотала она скороговоркой. Ее чистые синие глаза сияли неподдельной радостью.

Через какое-то время она устроила форменное аутодафе. Прямо на паркете, подложив плетеный соломенный коврик, она разожгла полноценный туристический костер. Из старых журналов: «Знамя», «Октябрь», «Новый мир». На нем Зоя Станиславовна сожгла единственный экземпляр докторской диссертации своего зятя — Стеллиного мужа. Он был доцентом какого-то технического вуза. С диссертацией подзадержался, созрел только к шестидесяти пяти. И вот такой афронт.

Диссертация сгорела почти полностью. Он ответил на это обширным (трансмуральным) инфарктом. Выкарабкался с трудом. Мать на время притихла — зять все время сидел дома, пытался по крохам восстановить рукопись и мешал ее активным деяниям.

«Виктор Михайлович, вы бы прошлись по свежему воздуху, — вкрадчиво советовала теща, — вредно все время находиться взаперти». Ей не хватало простора, она искоса поглядывала на кузнецовский сервис аж на двадцать персон. Уж очень хотелось его выбросить. Зять глухо стонал, скрывал за стеклами очков душевную боль и слезы. Ослабел после инфаркта.

Я несколько раз говорил Стелле, что мать надо отправить в клинику, в психосматику. Там за ней будет какой-никакой пригляд, и они с мужем хотя бы немного отдохнут. Стелла плакала и отвечала, что не может отправить мать в психушку.

— Я помню, как она мне заплетала косички, когда провожала в школу. Заставляла выпить чашку какао, съесть бутерброд с сыром. Вы знаете, какой тогда был вкусный сыр! Сейчас такого нет. На выпускной вечер сама выбирала мне материал на платье. (Охотно верю.)

— Я понимаю ваши чувства, но учтите, что человек в таком состоянии может погубить и вас, и вашу семью.

Так все и получилось. Сначала от повторного инфаркта умер муж, а через год от инсульта отправилась в мир иной и сама Стелла.

Мать сдали в психосматику (с большим трудом — очередь была огромной), она ходила босиком, в ночной рубашке и совершенно не знала простуд. Обычно старики умирают от пневмонии, а ее не могла одолеть никакая хвороба. След ее потерялся, когда ей минуло уже чуть ли не девяносто лет. Стелла умерла в шестьдесят пять.

Но мать не сдала. Не могла. Вот так.

ОБЛОМ

Анька Гречишкина давно положила глаз на этого парня — Серегу Руденко. Ординатор первого года. Прибыл из Ростова и носом рыл землю от усердия. Нос был, правда, кривоватый. От бокса. Он в мединституте чемпионство держал в полутяжелом весе. Рослый, крепкий, ноги ставил широко, уверенно, как на ринге. Интересный шатен. Брови густые, в глазах — искры. Есть чем увлечься. Икал, правда, часто. Ну, это от институтской столовки. Какая там еда для ординатора-первогодка? С его-то копейками. Но зато ручищи у него были огромные. Как обнимет кого из девочек, аж кости хрустят. Приятно!

Анька не раз норовила попасть в его объятия и взвизгивала громче всех, да и формы у нее были вполне привлекательные, ну уж а походка — вообще заглядение. Она так вертела на ходу попкой, что пожилые сестры говорили: «Ну, поплыл наш вертолетик, глядишь, кого зацепит». Она уже сходила замуж, развелась вовремя и была свободна, как ветер. На мужчин заглядывалась с интересом, а на Серегу — так с повышенным.

Однако Сергей тоже был не лыком шит. Заканчивалась ординатура, он многому научился, но возвращаться в Ростов и окружающие его солончаки и степи не хотел ни в коем случае. Чего не хватало? Московской прописки. Это была проблема. «Прописочные» девочки замуж выходить не хотели. Так, потискаться, провести романтический вечер в простеньком кафе (откуда деньги, Зин?) и даже углубиться потом в желанный интим с псевдострастными криками и смешочками (и обязательным предохранением) — это всегда пожалуйста. Почему бы и нет? Пуркуа па? Как любила говорить старшая сестра в радиологии, которая была назначена обществом главной по е.ле. И которая строго спрашивала всех вновь прибывших девиц: «Ты блядь или овца? Ненавижу овец!».

Анька овцой отнюдь не была. Но жила с мамашей вдвоем в огромной запущенной коммуналке с буйными соседями и о прописке какого-то мужика (хоть и симпатичного) даже не помышляла. Зачем? Лишний штамп в паспорте?!

Но завлекать — завлекала. При виде Сереги крутила задом так, что декоративные пуговицы отскакивали от юбки. Она это подсмотрела у Мадонны в каком-то рекламном ролике. Как надо вертеть.

И он в конце концов сдался. Улыбнулась ей фортуна. Но только на короткое время. Казалось, все карты сошлись удачно: мать уехала в Тулу к сестре на целую неделю, соседи расползлись кто куда — кто на свои шесть соток, кто в тюрьму, кто в больницу. Благодать! Он наконец пришел, высокий, галантный. Тортик за три пятьдесят принес и букетик фиалок за рупь пятьдесят. Бутылочку «Столичной» кристалловской она приготовила загодя. На всякий пожарный. Вот и пригодилась.

Немного выпили, слегка закусили и наладились в койку. Вернее, в огромную деревянную кровать, в которой Анька спала с матерью. Кровать была старая, жутко скрипучая, но просторная. Хочешь — ложись в длину, хочешь — в ширину. Анька на это тоже рассчитывала — любила порезвиться в разных позициях. Замуж даром, что ли, ходила? Образовалась неплохо.

Анька зашторила окна, создала интимный уют, распустила волосы и голышом нырнула под одеяло. От нее несло любовным жаром и страстью. Серега удивился такой скорости и тоже оказался в постели, отмечая положительно Анькину разгоряченность. Но было в комнате еще одно существо, которое пробудилось, а потом и возбудилось от этой пышущей жаром печки.

Дальше — по рассказу Сергея вечером в общежитии.

Картина Анькиных зазывных плеч, исходящие от нее призывные токи, флюиды, феромоны и еще черт знает что до того распалили Серегу, что он разделся со скоростью образцового курсанта военного училища (он побывал там когда-то) — десять, максимум — двенадцать секунд. Он сбрасывал одежду целыми блоками: майка, свитер и пиджак — вместе через голову (хорошо, что пальто снял раньше), трусы, брюки и ботинки — ловко вниз. Только ботинки грохнули об пол. Носки оставил — они прилипли, снимать канителью, да и по полу явственно дуло.

Нырнул под одеяло так стремительно, что с размаху стукнул членом Аньку по колену. Она только взвизгнула от неожиданности и восхищения. Все складывалось замечательно. Если бы не одно «но».

Привлеченный жаром уже не только знакомого ему Анькиного тела, но и токами еще какого-то горячего субъекта, обманутый зашторенными окнами (ночь — не ночь, не разберешь), из-под подушки выполз крупный румяный клоп. Сделал быструю пробежку и встал, задумавшись — с кого начинать. Он был сыт, плотно пообедал накануне, но тут предлагали что-то новенькое и в больших количествах. И он устоял на Серегу. Взгляд его был так грозен, что Сергей тут же заметил его. Можно даже сказать, что их взгляды пересеклись. У клопа — гастрономический интерес, у молодого мужика — ненависть. Неравные позиции: Серега-то занят, связан по рукам, ногам и еще по кое-чему, а клоп свободен, как ветер.

Хорошо, что клоп побыл в задумчивости на несколько секунд дольше обычного. Этого хватило, чтобы Серега кое-как закончил свою деятельность, удивив и душевно огорчив Аньку, бодро спрыгнул на пол, ловко щелчком скинул соперника и, бормоча, что он забыл про заседание кафедры, оделся опять, как образцовый курсант, — за сорок пять секунд (включая пальто и шапку). Потом он смылся навсегда.

Анька искренне была огорчена, но догадалась о причине такого афронта и принялась жестоко мстить. Она пролила кипятком все кроватные щели, выколотила на балконе ватные матрацы, сбегала в керосинную лавку и вооружилась таким количеством дихлофоса, что его бы хватило на целую общагу молодых ординаторов. Или казарму солдат.

Но... поезд ушел. Больше она не смогла заманить Серегу. Тем более что его взяли в штат института и дали прописку. Он тут же женился на своей ростовчан-

ке — крупной дебелой казачке. С пятым номером лифчика. Друзья восхищенно цокали языками.

Анька тоже не прозябала. Вышла замуж за «средство передвижения» — выехала в Израиль, но не выдержала тамошней жары, развелась и очутилась в Австралии. Там прекрасно себя чувствует — вышла замуж за австралийского полицейского, клопов там не бывает, отпугивают эвкалипты, вокруг коалы, кенгуру и большая русская община. Так что все кончилось хорошо.

БОЛЬНИЦА

Я люблю иногда полежать в больнице в хирургическом отделении. Чего-нибудь вырезать или зашить. Неважно что. Это очень обостряет чувствительность, все-таки скальпель, иголки, зажимы. Конкретные предметы, деловые. После вмешательства, конечно, потошнит малость, но терпимо. Вот только путаются разные трубки — дренажная из раны, питательная — из носа (чтоб рот был свободен для ответов врачу и глотания таблеток), мочева, сами понимаете откуда. Только разберешься, какая откуда, — привыкнешь, приспособишься, — их уже вынимают, родимых. Только капельная остается. Для солидности.

«Меня полностью подняли на ноги капельницами», «под капельницей пролежал целый месяц», «ставили капельницы два раза в день — оклемался». Это любимые высказывания больных. На самом деле, за редким исключением, чистая психотерапия. Что налито в капельницу изначально? Физиологический раствор — чуть-чуть подсоленная водичка. Хороший томатный сок, а еще лучше качественное пиво — бельгийский «Хогарден» или чешский «Пильзнер» с солью по краю стакана или соленой рыбкой — будет то же самое, только гораздо эмоционально приятней, а значит, и полезней. А лекарства, которые добавляют в капельницы, легко заменяются таблетками или, в крайнем случае, инъекцией в большую ягодичную мышцу. В верхний квадрант. Расчерчиваешь жопу на четыре части и колешь в верхний наружный. Не промахнешься. Так что я к капельницам отношусь критически. Нет, конечно, бывает в них острая необходимость, но редко.

Загрел я как-то с острым холециститом. Проморгал начало. Боль в животе острая, цвет кожи желтый, с коричневым присадком, глаза несчастные. Холодный пот. Прелесть! Пришлось прервать прием больных и на карачках отправиться в коммерческий стационар — только по причине его близости к моему нейрохирургическому институту, где с желчными пузырями незнакомы. Даже понаслышке.

Положили в отдельную палату, осмотрели, сделали ультразвуковую диагностику и предложили операцию. Я уклонился, попросил сделать спазмолитики в тот самый верхний квадрант — здорово полегчало. Я заснул. Утром пришла женщина-администратор в роскошном вечернем темном платье с таким глубоким декольте почти до пупа, что желчный пузырь тут же дал о себе знать. Женщина-вамп с ярко-красным ожерельем и таким же маникюром предложила подписать договорчик на уже оказанные медицинские услуги, подчеркнувши красным фломастером внизу сумму за суточное проживание и лечение. Тут уж я изменил цвет с желтого на сероватый, как хамелеон. Сумма равнялась моей трехмесячной заработной плате, включая квартальную премию.

Я исключительно вежливо поблагодарил за проделанную работу, сказал, что мне стало гораздо лучше и я выписываюсь для планового лечения в городской больнице. Дама, очевидно, давно оценив мой финансовый имидж, не удивилась и сказала, что всем уходящим больным администрация делает подарки. Откуда-то из декольте она вынула маленькую траурно-черную книжечку «Сонеты Шек-

спира», развернутую (случайно, конечно) на сонете «Прощай! Тебя удерживать не смею...» или что-то в этом роде. Я горячо поблагодарил и стремительно отбыл восвояси. По дороге меня рвало, но я чувствовал абсолютное облегчение и надежду на светлое будущее.

На следующий день я поступил в хирургию Боткинской больницы, где были нормальные, вменяемые врачи. Мы сразу подружились. Я рассказал им пару медицинских анекдотов, они поржали и угостили такой скабрёзной историей, что я опять изменил цвет кожи и долго мотал головой: «Ну и ну!». Зато тошнить перестало.

Палата была на троих. Один был лежачий, тяжелый. Оперирован уже дважды, ожидал третьего захода, но бодрости не терял. Рабочий человек, наладчик ткацких станков. Звонко пукал, чуть даже подпрыгивая и придерживая изрезанный живот двумя руками. Улыбался застенчиво. За ним ухаживала молчаливая и сноровистая жена. Между собой они почти не разговаривали, только обменивались взглядами. У них была, безусловно, телепатическая связь. Он только взглянет — она подает стакан с морсом. Опять глянет — надевает ему на нос очки и подсовывает газету. Потом она уже на него вопросительно посмотрит — он опустит ресницы. Тогда жена садится в уголочке и доедает его кашу. Чтоб не пропадало добро. Не жизнь, а песня без слов. Даже завидно. И — главное — молча.

Второй сосед — здоровенный битюг, геодезист. Таскал грузы, нажил грыжу. В паху надулась шишка и затянула туда яйцо. И тот, и другой предмет он сравнивал по величине со своим кулаком — размером с дыню-«колхозницу» или средний капустный кочан. Хороший размер. Но ходить пришлось, только широко расставляя ноги. Мешал «кочан». Какая уж тут геодезия! Его прооперировали, яйцо вернули на место, а на грыжу положили прочную капроновую заплатку. Люкс! Вот он и прижимал постоянно одной рукой это местечко. Вспомнился ильфовский персонаж, который любовно оглаживал созревшую грыжу. Другой рукой геодезист решал кроссворды, выкрикивая: «Парнокопытное животное, оканчивается на «Л». «Осел» — сразу отвечал тяжелый больной. «Смотри ты, — удивлялся геодезист, — печенка ни к черту, а башка работает точно по азимуту». «А то!» — гордо отвечал пукающий страдалец.

В общем, они друг друга весьма развлекали, а мой желчный пузырь не давал мне предаться радостям общения. Уже на другое утро, уложив на узенькую каталку и придерживая, чтоб не скатился, постовые медсестры доставили меня в операционную.

Очнулся я через пару-тройку часов на той же своей кровати, обвешанный трубками, о которых уже красочно повествовал. Первое, что ко мне пробилось сквозь наркотический туман, был вопрос геодезиста: «Принадлежность дамского туалета, первая буква «Т». «Титьки», — уверенно ответил другой сосед и заржал. Верная жена вздохнула, поцеловала мужа в лоб и удалилась.

Хирург, который меня оперировал, славный и рукодельный парень, радостно улыбаясь, принес в марлечке целую пригоршню мелких камней и песка: «Все из вашего желчного пузыря. Прямо песчаный карьер, хоть грузы в самосвал». Соседи уважительно хмыкнули.

Дальше все пошло обычным путем — удалялись трубки, заживлялись раны, снимались швы. Я уже ходил по палате, потом, шаркая тапками, гулял по старинному сводчатому коридору. Красиво!

Но старинным был не только коридор. Старше него был туалет. По-моему, он возник в чистом поле, рядом с ипподромом. И купец Солдатенков, меценат и благодетель, вокруг него и обустроил больницу для простого народа. Вполне логично. Он часто посещал ипподром, считался спортсменом (в те годы игроков на конных бегах, посаживавших целые состояния, называли этим именем)

и, заглаживая вину, построил не церковь, а больницу. Церковь тоже, но уже позже. В советское время там, конечно, устроили морг. Начальство посчитало, что так ближе к небесам.

Но вернемся к туалету. Там все время было что-то сломано — то вода хлестала, не считаясь с ручками слива, то ручки слива намертво прилипали и вообще не пропускали воду. Еще и стульчаки-лиры были треснутыми. Если попа молодая и крутая, то как-то сесть можно, а если дряблая, лучше не садиться — прищемит, как тиски. Обратного не отдерешь. Да туалет вдобавок был общим — и мужским, и женским. И не запирался. Задвижки были содраны и понуро болтались на одном гвозде.

Когда я решил навестить это заведение и, кряхтя и стеноя, только приблизился к нему, энергичная санитарка, страстно шуруя огромной замотанной шваброй, оглушила: «Мужчина, вы куда? Там дамы засели! Теперь их не скоро выковырнешь». — «А как же?..» — «А так же — потерпите». Однако, легко сказать...

Шаркая по коридору в поисках выхода, вдруг наткнулся на вывеску: «Клизменная». Черным по светло-голубому фону. Красота. Рванулся к двери, но безуспешно. Заперто. Дежурная медсестра на мою просьбу меланхолично ответила: «Мы ее отпираем, когда есть нужда», — и стала наматывать на розовый пальчик локон, свисающий с виска. А la Татьяна Ларина. Я обрадовался: «Да, да, вот у меня нужда!» — «У вас не та нужда. Здесь прочищаем больных перед операцией. А вы уже... того...» — «Как же быть?» — «Идите в нормальный туалет». — «Там женщины засели». — «Свистните им посильней, чтоб испугались. Тут лежал один крутой, так его охранник для шефа старался: свистел, как соловей-разбойник, и палкой от швабры стучал по кабинкам... Они сразу, как блохи, выскакивали. Ругались, конечно, но он и в ус не дул, улыбался — ишь, раскудахтались, мочалочки. Потом уж босс его проходил важно, степенно, все пальцы в перстнях и татуировках». — «Нет, это не для меня». — «Ну, тогда потерпите, отвлекайте себя разными мыслями».

Побрел дальше, может, найдется какой-нибудь выход? Вдруг вижу на двери солидная табличка: «Здесь лежал и лечился В.И. Ленин в 1918 году». Я даже остановился. Привык к мраморным доскам в память его выступлений. Разбросаны по всей Москве — на Ленкоме, на Доме кино, да мало ли где. А здесь не выступал, а лечился, как обыкновенный человек. Это с ним сблизало. Да, но позвольте, куда же носила судно Надежда Константиновна или Мария Ильинична? В тот же туалет? А если там засели мужчины? Да еще и беспартийные?! Несознательные?! Тупиковая ситуация? Нет, нет, надо это выяснить.

Вернулся к задумчивой медсестре. Она серьезно спросила: «Чего ж вы не свистели?». Про комнату Ленина а la Татьяна ничего не знала или притворялась — не хотела раскрывать отделенческие тайны. «Иногда мы там отдыхаем... с друзьями, там всегда заперто на ключ, — туманно объяснила девица. — Идите быстрее, там дамы уже вылезли». Я зашаркал побыстрее.

А наутро мой хирург-благодетель дал мне ключ от врачебного туалета и объяснил ситуацию. Как важно знать историю вопроса!

В прошлые времена в отделении было аж три туалета. Один был «М», другой «Ж», а третий всеобщий, кто быстрее займет. Но прибавилось количество врачей, различного оборудования, и заведующий решил перепрофилировать второстепенные (как он считал) помещения. В одном туалете сделали ординаторскую для молодых докторов: кабинки и унитаза снесли, на их месте установили столы с компьютерами и удобные крутящиеся кресла. Под ними в глубине шумела вода. Одним докторам мнилась горная река с перекатами, их клонило в сон, другие считали это виртуальной клизмой и, наоборот, взбадривались. Разнополярное воздействие. Что-то вроде снотворного со слабительным. Удачное решение.

Второй туалет отдали сестре-хозяйке. Она его заполнила своим добром — матрасами, подушками, пачками мыла, стопками простыней и подкладных пеленок. Еще там хранились врачебные халаты и много, много других не менее полезных предметов. Хозяйка повесила на дверь своей каптерки солидный амбарный замок. Я его видел. По-моему, его нельзя было сбить даже кувалдой.

Но теперь я имел блатной ключ от туалета, проблемы почти разрешились. Бачок все равно протекал. Но я повеселел и стал быстро выздоравливать. Трубки убрали, осталось только снять швы. В палате тоже произошли заметные перемены. Тяжелого больного выписали домой, чтоб он набрался сил перед следующей операцией. Дома, как известно, стены помогают и пукается гораздо веселее — некого стесняться. Так он и сообщил нам.

Вместо него поступил энергичный мужчина откуда-то из области. Кажется, из Дмитрова. Здоровье из него прямо выпирало. Как он залетел к нам, оставалось загадкой. Кажется, во время диспансеризации обнаружили какую-то тень в печени. Он очень трепетно относился к своему здоровью и по знакомству просочился в наш стационар. Для углубленной проверки. Здесь ему было скучно, и потому он все время тренировал свой стальной организм. Приседал до ста раз, отжимался от пола — восемьдесят. Поднимал за ножку свою кровать по пятьдесят раз. Каждой рукой. А шейю он крутил так рьяно, что мы с геодезистом опасались отрыва головы. К чертовой матери. Но он только хохотал и говорил: «Хрустит, зараза! Но я ее разработаю».

Геодезист тоже был здоровяком, но каким-то рыхлым. А этот был как на пружинах. На привычный кроссвордный запрос: «Важная часть организма?» — он неизменно отвечал: «Член». Было ему всего лет сорок, и он захватил в своем районе множество физкультурных должностей — тренер детской футбольной команды, организатор утренней зарядки на ткацкой фабрике, командор ежегодного пробега Дмитров — Москва и обратно (это чуть больше ста пятидесяти километров), главный судья весенне-осенних кроссов и т.д. и т.п.

Узнав о моем спортивном прошлом (лет пятьдесят назад), пришел в неподдельный восторг. «Какой кадр! — вопил он, стоя в «березке» на лопатках и энергично болтая ногами, — врач-спортсмен!» Переворачивался на живот и делал «кольцо» — пятками пытался достать свой затылок. «Я с ходу вам предлагаю — немного подлечитесь, и вместе побегим кросс. Я вас запишу в среднюю возрастную группу — там дистанция двадцать километров. По осеннему лесу — желтые листья, свежий ветерок, ласковый дождик. А?» Увидев изумление в моих глазах, он поправлялся: «Ну если двадцать вам многовато, то давайте десятку, это уже совсем легкая прогулка. Пробежите и не заметите». Я туманно пообещал в недалеком будущем рассмотреть такое заманчивое предложение. Мы обменялись телефонами, и он потом не раз мне звонил, приглашая то на открытие футбольного сезона, то на закрытие городошного, а иногда просто на шашлычки, чтобы отдохнуть у реки и расслабиться. Хороший и гостеприимный парень, абсолютно бескорыстный. Что я ему?

Вот так я и побыл в больнице — и людей посмотрел, и себя показал (в виде камней желчного пузыря).

Однако теперь там в больнице все изменилось. Построили новый хирургический корпус. Врачи прежние — умные, рукодельные и веселые. А вот условия для больных роскошные: на каждого пациента — два туалета. Один основной, а другой резервный. Почти как парашют — главный и запасной. Надо будет как-нибудь на досуге полежать в этой больнице. Отрезать что-либо. Или пришить.

Александр Твардовский и его «Новый мир»

Свидетельства Фазиля Искандера, Юлия Крелина, Евгения Евтушенко, Фридриха Горенштейна, Георгия Владимова, подготовленные Мариной Лунд

Предлагаемая публикация представляет собой эксклюзивные свидетельства ряда крупных писателей, сотрудничавших с «Новым миром» и испытавших на себе благотворное влияние Твардовского — редактора, писателя, человека. На мои вопросы дали ответы Фазиль Искандер, Юлий Крелин, Евгений Евтушенко, Фридрих Горенштейн, Георгий Владимов.

Нельзя не согласиться с тем, что свидетельства этих писателей добавляют свежие, нередко доселе не известные штрихи к портрету Твардовского и его журнала. По моему убеждению, в этих исповедальных суждениях содержится благодатный материал для размышления и дальнейшего углубленного исследования такого уникального явления, как «Новый мир» Твардовского.

Все публикуемые отзывы предаются гласности впервые. Ответы писателей предварены моим обращением к каждому из них — либо в виде письма, в котором обозначен круг тем, затрагиваемых в моей работе, либо серией конкретных вопросов, либо, как в случае с Юлием Крелиным, это была просьба, переданная устно.

Оговорясь, что в ряду прочих свидетельств особняком стоит отзыв Фридриха Горенштейна, резко негативно оценивающего «Новый мир» эпохи Твардовского и самого редактора журнала. «Особость» позиции Ф. Горенштейна не лишена интереса и имеет абсолютное право на существование, ибо только «разброс» мнений в конечном счете может дать подлинно объективную картину такого сложного и многообразного феномена, каким был «Новый мир» Александра Твардовского.

Марина Лунд

От редакции | В 1998 году в Гетеборгском университете (Швеция) была защищена диссертация о Твардовском.

Автор диссертации — Марина Лунд-Аскольдова, русская по происхождению, окончившая МГУ им. М.В. Ломоносова (факультет журналистики) и живущая в Швеции. Название диссертации — «Александр Твардовский. Путь к “Новому миру” (Время. Литература. Судьба.) Первое редакторство (1950—1954)». Журнал «Свободная мысль — XXI» в двух номерах (1, 2 за 2002 год), по представлению Ч. Айтматова, опубликовал обширное исследование Марины Лунд, основанное на ключевых положениях диссертации. «Сюжет прорыва» — называлась эта публикация. «Как начинался “Новый мир” Твардовского» — ее подзаголовок. «Саморазрушение официозных взглядов на жизнь и искусство», раскрытое в работе М. Лунд на материале жизни и судьбы Твардовского, «анализ, учитывающий историческую психологию и экзистенциальную парадигму культуры — писала в своем отзыве на диссертацию профессор РГГУ Г. Белая, — единственно возможный путь к опровержению политической риторики в проекции на литературу». Это исследование «включает нас совершенно естественным образом в тематику глобальных проблем — личность и культура, личность и история, художник и власть, исходя из опыта и событий “железнодорожных” дней» (Ч. Айтматов). Интервью Марины Лунд с писателями, оказавшимися в орбите «Нового мира» (главным образом во второе редакторство Твардовского) — это реальные голоса участников событий того времени, живые и не единодушные.

Марина Лунд — Фазилу Искандеру

Уддевалла, 10 января 1995 года.

Многоуважаемый, дорогой Фазиль Абдулович!

Для меня было бы радостью и нравственным подспорьем, если бы Вы откликнулись и рассказали о деталях прохождения Вашего «Козлотура» через новомирские «фильтры». С кем в редакции Вам пришлось общаться, сотрудничать? Потребовалось ли что-либо менять, ломать, от чего-то отказываться? От Ваших вещей у меня ощущение какой-то нетронутой цельности, воздушности, легкости, неприкасаемости к ним ничьей посторонней, в том числе редакторской руки. А как было в «Новом мире»? Кто конкретно вел «Козлотура»? Берзер? Борисова? Сам Твардовский? Кондратович свидетельствует абсолютный восторг Твардовского от Вашей вещи: «Это — поразительно, это — замечательно!».

Скорректировало ли время Ваши прежние оценки «Нового мира» или же они не изменились? Нынче пишут, говорят, что-де Домбровский, Искандер, Некрасов были в «Новом мире» Твардовского, без сомнения, хороши, «художественны», но этого-де недостаточно, журнал нес всего лишь «поверхностный советский либерализм». Становится страшно грустно от этих глубоко несправедливых слов... А что Вы думаете по этому поводу?

Хочу спросить Вас о Ваших ощущениях от общения с Твардовским, любая деталь для меня важна. Все, все, что сохранила Ваша память, чрезвычайно интересно для меня. Не кажется ли Вам, что Твардовский в какой-то момент «заикился» на Солженицыне, и это затормозило приход в журнал другой литературы? Ведь против сталинщины можно было писать не только «по-солженицынски».

Ощущали ли Вы как автор «Нового мира» гармонию отношений внутри редакции, или там существовала «кастовость», скрытая от внешнего глаза? Мне кажется, что были там и «бояре» (члены редколлегии), и «дворовые» (рядовые редакторы), которые, по моим ощущениям, больше, квалифицированнее, искреннее заботились о собственно литературе, о судьбе автора.

Повторюсь. Сегодня «Новый мир» Твардовского нередко воспринимается как анахронизм, как «обрубок» свободомыслия. Здесь, на Западе, вообще нередко одно пренебрежение: Твардовский всего-навсего хотел, чтобы литература проклятого социалистического реализма была немного качественнее. Я остро ощущаю несправедливость таких нигилистических суждений. Что Вы думаете: неужели усилия «Нового мира» Твардовского были столь мизерными, напрасными?

С нетерпением и надеждой буду ждать Вашего ответа. Будьте здоровы и благополучны. К сожалению, к нам лишь иногда, несистематически добираются московские книги и журналы, а мне их так не хватает, недостает и Ваших книг.

С уважением и симпатией — Марина Лунд.

Фазиль Искандер — Марине Лунд

Москва, 22 апреля 1995 года.

Дорогая Марина!

Пишу Вам с большим опозданием, потому что только сегодня получил письмо. Случилась какая-то путаница, хотя адрес написан верно. Когда я написал «Козлотура», друзья мне говорили, что это, мол, хорошо, но никто никогда не напечатает. Я почему-то сильно надеялся на Твардовского, хотя лично с ним никогда не встречался. Я знал, что он, как и я, очень болеет за состояние нашего сельского хозяйства, и я надеялся, что он не откажется от вещи. Так оно и получилось. Я отнес повесть в «Н.М.» и отдал ее Анне Самойловне Берзер¹. Это была совершенно

¹ Берзер Анна Самойловна (1917—1994) — заведующая отделом прозы в «Новом мире» А. Твардовского (1958—1971).

замечательная женщина с тонким вкусом и огромным литературным энтузиазмом. Почти всем лучшим в «Н.М.» мы обязаны в первую очередь ей. Она быстро прочла повесть, одобрила ее и передала члену редколлегии Игорю Виноградову², который, в свою очередь одобрив ее, передал Твардовскому. Повесть необычайно быстро вышла в юбилейном номере «Н.М.»³. Больше такого литературного везения у меня не бывало. Цензура сделала только одно замечание. Там, где журналист говорит председателю колхоза: — А разве это неправда? — тот у меня отвечает: — А разве правду можно писать? — А разве всякую правду можно писать? — поправила цензура, как бы включив председателя колхоза в наши литературные споры. Сам я до сдачи в «Н.М.» этой вещи выкинул одно литературное отступление, которое мне показалось абсолютно непроходимым. При моей неряшливости я даже не знаю, осталось ли оно у меня где-нибудь.

После появления «Козлотура» Анна Самойловна мне несколько раз говорила, что меня хочет видеть Твардовский. И наконец, в один из моих приходов в журнал, она повела меня к нему. Так мы познакомились. — Лихо написано, — сказал он о «Козлотуре». Дальнейших разговоров я не помню, потому что был смущен общением с Твардовским. Мне только навсегда запомнились его умные, пронзительные, синие глаза. После этого у меня была еще одна встреча с Твардовским, очень важная для понимания его внимательной и самоотверженной работы редактора журнала.

Дело в том, что среди литературной интеллигенции ходили слухи, что Твардовский не так уж много занимается журналом, хотя он и держится на его авторитете. Это было не так. Он меня вызвал к себе в кабинет, и я уселся напротив него. В руках у него была верстка моих рассказов. В рассказе «Лов форели в верховьях Кодора»⁴ был такой эпизод. Рассказчик в горах встретил какого-то туриста, явно не из простых, из породы начальников. И он снабдил его икрой для ловли форели. Рассказчик собирался ловить форель. И вот через несколько страниц, во время успешной рыбалки, он про себя произносит иронический гимн этой крупной прекрасной икре. Для внимательного читателя это звучало как насмешка над номенклатурным бытом наших начальников. По-видимому, в редакции этого никто не заметил, кроме Твардовского. Он указал мне на это место, взглянул на меня своими пронзительными глазами и, покачив головой, сказал: «Не надо».

Я охотно с ним согласился. Слова его означали: не надо по пустякам дразнить гусей. И мне даже стало стыдно за мое легкомыслие. Я знал, сколько нервов и сил ему стоит выход каждого номера. Твардовский шел на большой риск, когда игра стоила свеч. Если он что-то хорошее откладывал или не печатал, то это всегда наверняка означало, что цензура все равно не пропустит и непременно напишет донос в ЦК.

«Козлотуру» повезло. Много лет спустя один из бывших работников «Правды» мне признался, что газета собиралась разгромить эту вещь, но возобладало мнение более умеренных людей, которые сказали, что автор еще молод, не стоит его отталкивать от нас. В Сухуми вышла разгромная рецензия в местной газете, но она не получила развития в центре. Вообще «Н.М.» Твардовского — это огромный этап нашей культурной жизни. То, что этот огонек правды долго продолжал гореть, хотя на него дули со всех сторон, невероятно воодушевляло все мыслящее в нашей стране.

Засим крепко жму руку и желаю Вам всяческих удач в Вашей жизни и работе.

Ф.А. Искандер

2 Виноградов Игорь Иванович (р. 1930) — в «Новом мире» А. Твардовского член редколлегии сначала по отделу прозы (1965—1967), затем по отделу критики (1967—1970).

3 Новый мир, 1966, № 8.

4 Этот и два других рассказа Ф. Искандера были опубликованы в «Новом мире», 1969, № 5.

Юлий Крелин — Марине Лунд

Москва, февраль 1995 года.

Дорогие мои рассеянные россияне!⁵

Нынче мы все, что были сгруппированы в компактную, ну, если не семью, так одно одинакомыслящее общество, разбросаны по свету, словно евреи двухтысячелетней давности. И какие только не дадим мы ветви своего генофонда в то будущее, что нам уж не дано познать. Где будут наши потомки? В каких странах нас будут забывать? А может, вспоминать? Забвение чаще, чем память. Да уж ладно. Живем — и это уже много.

Мариночка как раз и занимается тем, чтоб забвение не было полным.

Воспоминания о «Новом мире». Нынче многое воспринимается иначе. Тому свидетельство тех молодых, что упоенно ругают наши шестидесятые годы и нас, которых с легкой руки Рассадина называли когда-то шестидесятниками.

Ах, как им сейчас легко быть смелыми и раскованными, вплоть до проявления своего незаурядного интеллекта в форме мата, порнухи, то бишь сексуального романтизма.

Журнал Твардовского с сегодняшней колокольни, на которой сидят эти «назадсмотрящие», в отличие от моряков, торчащих где-то наверху в бочке и называемых «впередсмотрящими», конечно, выглядит умеренным, может, даже почвенническим, кулацким журналом. (Кулацким — не в худшем понимании этого слова). Но это была лучшая литература того времени. Это был канал, жабры, через которые дышало то общество, погруженное в мутные воды когда-то привлекательной утопии, превратившейся в обычную тюрьму для нас внутри и в жандарма для окружающих. Через «Новый мир» мы могли хоть что-нибудь сказать иногда, могли и услышать хоть то малое, без чего дышать уж совсем было невозможно.

Новомирцы были суровы и не всегда приветливы — наверное, потому, что старались отбирать литературу получше, а стало быть, — приходилось отказывать и близким людям.

Журнал был и местом, где можно было встретиться с теми, кого увидеть хотелось, но они появлялись в ЦДЛ, который тоже был не только рестораном, но и каналом общения в обществе, где неизвестно, чем могут кончиться твои общения и кто будет завтра назначен «чужим», а то и «врагом» или, как позже стали называть, — «диссидентом». В те времена появились новые важные слова, понятия, термины: конголезец, туняец, диссидент. (И Университет Лумумбы.)

Теперь: я и «Новый мир». Я его исправно читал и занимался своими больными. У меня в душе никогда не было писательских амбиций. Я писал лишь школьные сочинения да редко письма друзьям. Мои амбиции были в хирургии. Но Бог так сделал, что пришлось мне писать диссертацию. Для отдохновения от деревянных слов и формулировок, которые требовали от нас медицинские инстанции, и для тренировки — я начинал печатать на машинке — стал писать какие-то рассказы, где перемешаны были мои хирургические размышления, воспоминания, страдания и радости. Покойный Ханютин⁶ по своей бестактности влез в мои бумаги и прочел их без моего на то согласия. Отсюда все пошло. Он стал толкать меня в спину, заставляя пойти в журнал. Я отказывался, тогда он прибег к помощи Туровской⁷, которая однажды взяла меня за руку и повезла к покойной Асе Берзер (покойные, покойные, покойные). Ася была приветлива с Маей, а на меня глянула сурово и равнодушным, неприязненным голосом сказала, чтоб я сдал рукопись секретарю, а ей потом передадут. Больше я никогда не встречался с неприязненностью ни со стороны Аси, ни

5 Письмо адресовано Марине Лунд и ее родителям — С.М. и А.А. Аскольдовым.

6 Ханютин Юрий Миронович (1929—1978) — друг и одноклассник Ю. Крелина, кинокритик, кинодраматург, соавтор М. Ромма и М. Туровской по сценарию документального фильма «Обыкновенный фашизм».

7 Туровская Майя Иосифовна — доктор искусствоведения, профессор ряда европейских и американских университетов.

со стороны любого другого в журнале. Даже когда потом они отказывали. Я стал, наверное, своим. Да и вообще, там был снобизм, немного чванства, но никогда неприязненности и недоброжелательности.

У меня не было тогда телефона, и буквально через две недели я получил телеграмму с сообщением, что они меня будут печатать и чтоб я срочно явился в журнал.

Началась работа.

А еще через некоторое время я снова получил телеграмму с просьбой явиться в редакцию, где Ася встретила меня словами: «Из вас выпускают кровь: идите и боритесь!». Я не умею и не люблю бороться. В России все боролись и борются до сего дня, и вся история наша подобна собаке, ловающей собственный хвост. Все на одном месте, на одном месте. Зато... Или потому, что боремся. Как повесил Александр Невский занавес между Европой и Россией, сделал ее не Европой и не Азией, но к последней тяготеющей, так с тех пор и бегаем за собственным хвостом на одном месте. Как создал Иван Грозный партию нового типа, так и боремся за ее чистоту. Как построил Петр I административно-командную систему, придушил религию, оформив в душах народа большевизм, протянул руки на запад, а ноги повернул на восток, так и крутимся, крутимся, крутимся. Впрочем, я отвлекся.

Я пришел к Кондратовичу⁸, и он передал мне замечания Евгения Герасимова⁹ (все покойные, покойные, покойные), чтоб я оставил в иных местах героизм профессии, а смерти лучше убрать. А ведь когда хирургическое отделение работает без смертей, так к таким хирургам лучше не ложиться лечиться. Значит, не рискуют, значит, и в тяжелых случаях не помогут. В «Новом мире» было и такое. Там тоже шла борьба внутри, которая мне оказалась видной вот на этом случае.

Я еще не был испорчен известностью печатаемого и гонорарами. Я не стал бороться, а просто протянул руку забрать свои писульки. Нет так нет. Не больно-то и надо. У меня есть больные, хирургия, есть дело — вернусь к себе домой в полной мере. Но Кондратович тоже сказал: «Нет так нет. Это только предложение. Не хотите — будем печатать как у вас».¹⁰

Я не боролся, но какие-то бури проносились внутри редакции, о которых я тогда, молодой и новоиспеченный, ничего не знал.

А впоследствии, когда не было уже Твардовского, в журнале продолжали старые работники хоть как-то удерживать тот кусочек флага, что удалось оторвать от властей, что хотели сей флаг полностью сжечь. И сожгли позже. Но оставшиеся после Твардовского еще пытались хоть что-то сделать. Помню, как Инна Борисова¹¹ совместно с уже уволенной из штата, но продолжающей участвовать в жизни журнала Асей Берзер пыталась вернуть нечто в моем романе «Хирург»¹², который цензура поначалу не пропускала.

Сейчас оценивать тот журнал смысла не имеет. Логические построения будут холодны и расчетливы. Жить и чувствовать, что был журнал для нас, выглядывающих из-за решеток, совсем не то, что стараться понять его сейчас.

Да, он много делал, как велел покойный ЦК (наконец-то «ура!», что покойный), но мы, как говорится, имели «что-то на фоне ничего». Даже плюс — на фоне полнейших отрицательных величин. Без «Нового мира» было б труднее, а может, и невозможно появиться Солженицыну и Сахарову. То есть они бы когда-то появились и проявились, но во времени это протянулось бы еще на больший срок. А мы бы, как и многие из наших товарищей, так бы до этого и не дожили.

8 Кондратович Алексей Иванович (1920—1984) — работал в «Новом мире» А. Твардовского в оба его редакторских «захода» (1950—1954, 1958—1970), во второе редакторство А. Твардовского его заместитель (1961—1970).

9 Герасимов Евгений Николаевич (1903—1986) — член редколлегии «Нового мира» по отделу прозы (1958—1965).

10 Из письма А. Твардовского Б.В. Петровскому от 15 марта 1966 года: «"Записки хирурга" Ю. Крелина вызвали большой читательский интерес» (Твардовский А. Письма о литературе (1930—1970). М., 1985, с.302).

11 Борисова Инна Петровна — старший редактор отдела прозы «Нового мира» (1964—1994).

12 Опубликован в «Новом мире» в 1974 году (№№ 4—5).

Скажем, Сашин «Комиссар»¹³, может быть, и не родился бы без «Нового мира», а родившись, еще долго был бы спрятан в кладовых того режима, из которого мы мучительно выползаем, из-за которого многие из нас уже там, многие на выходе, а дети наши все больше и больше расползаются из мира, где все еще не развеялся смрад и смог, по тому миру, где надеются обрести чистый воздух.

Вообще-то экологического идеала, наверное, пока нет нигде, и достигим ли он?!

Дорогие мои, вот я и пообщался с вами. Как бы поговорил. Так сказать, болтал, и никто меня не перебивал, что всегда трудно в наших российских компаниях.

Я не знаю, сказал ли я что-либо нужное. Может, если б мы говорили, глядя в глаза друг другу, вспомнилось бы в беседе еще что-то. Да и в вопросах, непосредственно звучащих в беседе, наверное, вытащилось бы нечто непосредственно Марине нужное.

Но это оставим на будущее, если оно будет.

Я вас целую, обнимаю.

Надеюсь на встречу.

Не забывайте наш язык.

Привет от Лиды.

Всегда ваш

Юлик, Крендель, Крелин,

доктор, всяк меня кличет по-всякому — даже дядя Юля. Целую.

Марина Лунд — Евгению Евтушенко

Швеция, Уддевалла, 30 января 1995 года.

Дорогой Евгений Александрович,

для меня было бы радостью и нравственным подспорьем, если бы Вы откликнулись на мою просьбу, ответили на мои вопросы. Мне очень нужно знать Ваш взгляд на «Новый мир», взгляд легендарного поэта-шестидесятника, чтобы скорректировать некоторые свои ощущения и оценки.

Я — москвичка, мать трех девочек, муж — швед. Окончила МГУ. В Гетеборгском университете пишу диссертацию о «Новом мире» Твардовского, его первом редакторском заходе (1950—1954). Кстати, в эти дни четверть века назад был изгнан из «Нового мира» Твардовский и фактически разгромлен его журнал.

Здесь, в Швеции, среди славистов бытует «легенда», что «Новый мир» Твардовского — это всего лишь «поверхностный либерализм», а вся «та» наша литература все равно обслуживала тоталитарную систему, были-де небольшие либеральные «всхлипы», но не более того... Это и от незнания, и от нежелания, да и от неспособности глубоко нас понять. А Ваш «Бабий яр»? А «Баллада о браконьерстве»? А «Наследники Сталина»? Да что и говорить, обидно. И очень непросто в этом контексте написать здесь объективную, без «приседаний» работу о «той» нашей литературе.

Надеюсь, я ясно выразила свои настроения, простите, наболело. Для меня, пытающейся постичь феномен тогдашнего «Нового мира», суждения такого поэта, как Вы, без преувеличения — бесценны.

С искренним уважением, Марина Лунд.

1. В какой мере, на Ваш взгляд, «Новый мир» был адекватен своему времени, его драмам, надеждам и его культуре?

2. Вы — из лидеров шестидесятников. Кто они, шестидесятники? В чем «провинились» они перед сегодняшними молодыми, перед Россией, перед русской литературой?

13 Фильм Александра Аскольдова «Комиссар».

3. Штрих-другой из Ваших разговоров с Твардовским о Ваших и его стихах.
4. Что Вы любите у Твардовского? По моим ощущениям, Вы (удел немногих) умеете искренно радоваться чужим поэтическим удачам.
5. Не возникает у Вас желание дать краткие характеристики кому-либо из тогдашних сотрудников редакции? И вовсе не обязательно лестные.
6. Отчего, на Ваш взгляд, Твардовский не принял, отверг «новую» волну — Петрушевскую, Горенштейна, Маканина?
7. Существуют ли в сегодняшней России не столько политические, сколько нравственные, духовные возможности (условия) для появления журнала (к примеру, журнала Евг. Евтушенко), который, подобно «Новому миру» Твардовского, стал бы средоточием, центром интеллектуальной, художественной жизни страны? Или же «поезд ушел», ибо плюрализм такую возможность и даже необходимость (потребность) отменил, аннулировал? А может быть, есть тому какие-либо иные причины?
8. Очень хочу знать Ваше мнение о «Муравии».
9. Как Вы относитесь к Залыгину как редактору «Нового мира»?¹⁴
10. Мне ведомо (свидетельствуют мемуаристы), что Твардовский не всегда был к Вам справедлив. Знаю также, что Вы человек незлопамятный и толерантный. Ваше чувствование Твардовского, поэта и человека. Кто он, Александр Трифонович?

Евгений Евтушенко — Марине Лунд

Дорогая Марина, вот все, что смог!

1. Некрасиво забывать роль Симонова в становлении репутации «Нового мира»¹⁵. Все-таки именно он напечатал «Не хлебом единым» Дудинцева. Сейчас сладострастно вспоминают, что Симонов каялся в печатании этого романа, а то, что именно он его пробил, по «подловатой» застенчивости и вспоминать не хотят. У Симонова и у Твардовского общим было то, что внутри них была советская птолеевщина, но они одновременно были Галилеями, и развивавшими, но и разбивавшими теорию хрустальных сфер социализма. «Новый мир» Симонова был интеллектуально-либеральным, «Новый мир» Твардовского стал народническим журналом. Вопрос крестьянки «Что с нами сделали?» из рассказа Н. Жданова в альманахе «Литературная Москва», составленном другом Твардовского Э. Казакевичем, взывал к освобождению... от крепостничества — теперь уже государственного. «Владимирские проселки» Солоухина, очерки Овечкина, Дороша, «Живой» Можаева. Это было покаяние интеллигенции — в том числе и самого Твардовского — перед российским крестьянством, полууничтоженным «раскулачиванием». Твардовский каялся этим журналом за свою раскулаченную семью, ибо когда-то не осмелился за нее вступить. Но зато он вступился сразу за множество таких семей, и этим оправдан. За одно то, что он напечатал первое правдивое произведение о лагере, — ему вечная индульгенция.

2. Ответ о шестидесятниках — прилагаемое стихотворение (приложено стихотворение Е. Евтушенко «Шестидесятники». — *Прим. М. Лунд*).

3. Между прочим, Твардовский был первым человеком, заслывшим в набор мои стихи в «НМ» в ранних 50-х, хотя они так и не были напечатаны¹⁶. В нашем поколении я был одним из немногих поэтов, которого он время от времени все-таки печатал. Он патологически не любил в стихах «Я», а в отсутствии этого местоимения меня упрекнуть было трудно. Его раздражали почти любые стихи о любви — у него самого их просто не было.

14 Залыгин Сергей Павлович (1913—2000) — главный редактор «Нового мира» (1986—1997).

15 Симонов Константин Кириллович (1915—1979) — главный редактор «Нового мира» в 1946—1950 и 1954—1958 гг.

16 В «Новом мире», 1952, № 7, было сообщение о выходе из печати первой книги Евг. Евтушенко «Разведчики грядущего» («Советский писатель»).

4. Люблю и того, и другого «Василиев Теркиных» — они просто совершенно разные. «Я убит подо Ржевом». «Перевозчик-водогребщик». Да и «Перепляс» в «Стране Муравии» хорош. Сильна «смерть-старушка» в «За далью — даль». Но для меня главный шедевр Твардовского — «Из фронтальной потертой книжки». Это — на уровне лермонтовского «Наедине с тобою, брат». К сожалению, хороших коротких стихов у него мало.

5. Изумительный и редактор, и человек Ася Берзер. Тяжеловесная, но безукоризненно честная, прочная фигура — Лакшин¹⁷. Преданные и бесстрашные Буртин¹⁸ и Владимов.

6. Он никогда не был на стороне новаций. Вкусы у него были консервативные. Он ведь отверг «Мастера и Маргариту». А про моих «Наследников Сталина» сказал так: «Знаете, спрячьте-ка лучше вашу антисоветчину подальше и никому не показывайте». Это, конечно, была шутка, но довольно утрюмая. Он вообще веселием не отличался. Но, знаете, кого у нас сейчас нет? — Честных консерваторов.

7. Нужна крупная личность, которая возглавила бы журнал. И журнал снова окажется в центре.

8. Там есть замечательные куски, и «Перепляс» в том числе, но в поэме в целом было больше самозащиты, чем самовыражения.

9. Когда Твардовского снимали, Залыгин отказался подписать письмо в его защиту.

10. (приложено стихотворение Е. Евтушенко «Главное глубинка». — *Прим. М. Лунд*).

Искренне Ваш — Евг. Евтушенко
Oklahoma, Tulsa (1995)

Марина Лунд — Фридриху Горенштейну

Уддевалла, 4 января 1995 года.

Дорогой Фридрих,

мне известно, что Вы пришлось не «ко двору» в «Новом мире», что у Вас был негативный опыт общения с Твардовским. Буду благодарна, если Вы поделитесь со мной воспоминаниями о своих взаимоотношениях с журналом. Мнение такого независимого, предельно искреннего в своих художественных и нравственных пристрастиях писателя, как Вы, для меня необыкновенно важно, оно поможет скорректировать мои собственные знания и ощущение темы, которую я разрабатываю в диссертации. Буду признательна, если Вы с Вашей обычной откровенностью и недипломатичностью ответите на мои вопросы.

1. В какой мере, считаете Вы, «Новый мир» А. Твардовского (в два его редакторских захода — 1950—1954 и 1958—1970 гг.) был адекватен своему времени?

2. Знали ли Вы А. Твардовского, Ваша оценка его личности, прежняя, нынешняя. В какой мере «Новый мир» выражал личность его редактора?

3. Что думаете Вы о новомиромском (тогдашнем) «культе Солженицына»? Не «пересолил» ли А. Твардовский?..

4. Отношение А. Твардовского к «новой прозе». В чем причина его консерватизма?

5. Каким Вы видите себя в контексте тогдашней новомиромской прозы, в контексте всей российской словесности?

С неизменным уважением,
Марина Лунд

¹⁷ Лакшин Владимир Яковлевич (1933—1993) — член редколлегии «Нового мира» (1962—1970), заместитель Твардовского (1967—1970).

¹⁸ Буртин Юрий Григорьевич (1932—2000) — старший редактор отдела публицистики в редакции Твардовского (1967—1970).

Фридрих Горенштейн — Марине Лунд

Берлин, 19 января 1995 года.

Дорогая Марина,

мне кажется, Вы не совсем точно избрали человека, который должен дать характеристику А. Твардовскому. А. Твардовский и его окружение, его свита, ближняя, во всяком случае, были мне не только чужие и чуждые, но и враждебные. Поэтому я не могу быть беспристрастен. Особенно же в этой свите выделялся своей отвратительной гнусностью ответ. секретарь Закс. Мне говорили, что Твардовский по-барски кричал на Закса и этот трусливый лакей боялся «барина» как огня. Но при этом, как часто бывает, этот надменный лит. барин находился под влиянием своих лакеев. Сделав такое краткое вступление, все же постараюсь ответить на Ваши вопросы. Разумеется, уже ясно, в каком направлении пойдут мои ответы.

1. «Новый мир» Твардовского и в сталинское время (50—54 годы), и в хрущевско-брежневское время был абсолютно адекватен своему времени, что уже определенным образом дает ему характеристику. Думаю, если б тогда цензура была отменена, Твардовский пошел бы все в том же направлении, просто пошел бы дальше. Что это за направление, видно по сегодняшним его путям и идеям. Так же и Солженицын. Это приспособление либерализма для службы шовинизму, народопоклонство и крестьянский аристократизм. Вместо голубой кости — черная кость. В этом же плане переделывались и культура, и свершающиеся драмы. Главная культура «наша» и главные драмы «наши». Остальные презирались.

2. Я Твардовского не знал и об этом не жалею. «Новый мир» полностью выразил личность Твардовского за некоторым исключением, которое не играло никакой серьезной роли. В свое время «Континент» опубликовал отрывок стенограммы обсуждения «Зимы 53 года». Позже это было перепечатано ленинградской газетой «Смена». На примере этой стенограммы видно, как свита играла «короля».

3. Солженицын был для Твардовского большой находкой. Не буду говорить о литературной стороне дела. Если говорить об идеях, то, что у Твардовского было на уме, то у Солженицына — на языке.

4. Не знаю, что Вы понимаете под «новой прозой». Посмотрите предисловие Твардовского к однотомнику Бунина (издательство Худ. лит., 1973). Большого мастера, классика он рассматривает с позиций крестьянского соцреалиста. А Набокова вообще называет эпигоном и обзывается другими нехорошими словами. Твардовский — человек не тонкий и малограмотный, но этот «голый король» прогрессистов ими, прогрессистами, возвеличивался и превозносился.

5. Исходя из вышесказанного, я себя в контексте «новомирской прозы» вообще не вижу. Так же и в контексте битовско-окуджавско-шукшинско-солженицынско-стругацкой и пр. словесности. При всей видимой разнице они единое целое — советская культура, как и нынешняя постсоветская, антисоветская и т.д.

С приветом,
Ф. Горенштейн

Марина Лунд — Георгию Владимову

Швеция, Уддевалла, 30 января 1995 года.

Многоуважаемый Георгий Николаевич,

я работаю над диссертацией о «Новом мире» Твардовского. Вы были тесно связаны с журналом. Ваши знания новомирских проблем, «тайн» личности самого Твардовского вбирают в себя одновременно как бы два знания — опыт бывшего штатного сотрудника редакции и знаменитого новомирского романиста.

Я стараюсь следить за российской прессой, за Вашими выступлениями в ней, иногда слушаю Вас по «Свободе». И всегда — не преувеличиваю — бываю покорена фундаментальностью и ответственностью всех Ваших суждений, нынче это такая

редкость. Сошлюсь только на Вашу прошлогоднюю статью о Солженицыне в «Московских новостях». Так сказать о Солженицыне смогли только Вы. О своей любви к Вашей прозе не пишу — опасаясь «пересолить».

Вопросы Вам сочиняла мучительно. Прошу: если возникнет желание, скорректируйте их, выходите за их границы, отвечайте «попросторнее». В Ваших суждениях, свидетельствах, воспоминаниях для меня решительно все будет и в радость, и в пользу.

Будьте здоровы и благополучны.

С неизменным уважением,
Марина Лунд

1. В какой мере «Новый мир» был адекватен своему времени, его драмам, надеждам и его культуре?

2. Вы знали Твардовского. Ваше понимание Твардовского — тогда и теперь. В какой мере «Новый мир» того времени выражал личность Твардовского, был похож на него самого? Ведь случается, что дети бывают похожи на родителей?

3. Ваше мнение о новомирском отделе прозы, о его сотрудниках, об атмосфере? Кто из новомирских прозаиков наиболее Вам близок? И почему?

4. Как строились отношения «первого этажа» журнала с Твардовским, с членами редколлегии? Механизм этих контактов?

5. Вы начинали как театральный критик, начинали сильно, звонко. Как произошел Ваш поворот к прозе? Или никакого поворота не было, а всегда был Владимов-прозаик?

6. Приоткройте завесу над новомирским «контекстом» Ваших публикаций «Большой руды» и «Трех минут молчания». Отдаю себе отчет, что сам по себе ответ на этот вопрос — «романическое повествование». Тем не менее, — хотя бы кратко, пунктирно. Это для меня очень важно.

7. Что изменилось в атмосфере журнала с эпохи Вашей первой новомирской публикации «Трех минут молчания»? И изменилось ли что?

8. Новомирские воспоминания Кондратовича¹⁹ и Лакшина²⁰ неравноценны. Лакшин вызвал у меня меньше доверия. Слишком подробно и старательно он выписывает собственную роль. Кондратович, на мой взгляд, вспоминает «деликатнее». Тем не менее, странной показалась мне у Кондратовича запись в Вашем рассказе «Генерал и его армия», каким-то наивным несмышленишем представляет Кондратович Вас как автора этого отвергнутого Твардовским рассказа. Где истина?

9. Ваш личный редакторский опыт в стенах «Нового мира».

10. Что Вы думаете о новомирском тогдашнем культе Солженицына? Не перелюбил ли Твардовский? Не «перелюбил» ли? Хотя, очевидно, «переизбыточная» любовь всегда приходится кому-то в ущерб?

11. Не возникает желания дать краткие характеристики кому-либо из тогдашних сотрудников редакции? И вовсе не обязательно лестные.

12. Нашлось бы поэту (и редактору) Твардовскому подобающее место в современной литературной российской жизни? Мог бы он ощутить вкус к нынешней общественной деятельности в нынешней России? Среди кого Вы видите Твардовского — среди «демократов»? Среди «патриотов»? Или Твардовский — все-таки «крупность», которая смогла бы существовать «сама по себе», вне политконъюнктуры?

13. Каким Вы видите свое творчество в контексте тогдашней новомирской прозы? В контексте российской романистики?

14. Чем объясняется, что Твардовский не принял прозу Петрушевской, Горенштейна, Оганова?

¹⁹ Алексей Кондратович. Новомирский дневник (1967—1970). Составитель В.А. Кондратович. Вступительная статья и общая редакция И.А. Дедкова. М.: Советский писатель, 1991.

²⁰ Владимир Лакшин. «Новый мир» во времена Хрущева. Дневник и попутное (1953—1964). М., 1991.

15. Существуют ли в сегодняшней России не столько политические, сколько нравственные, духовные возможности (условия) для появления журнала (к примеру, журнала Г.Н. Владимова), который, подобно «Новому миру» Твардовского, стал бы средоточием, центром интеллектуальной, художественной жизни страны? Или же «поезд ушел», ибо плюрализм такую возможность и даже необходимость (потребность) отменил, аннулировал? А может быть, есть тому какие-либо иные причины?

16. Над чем Вы сейчас работаете?

Георгий Владимов — Марине Лунд

25 февраля 1995 г.

Уважаемая Марина Лунд,

не могу не сочувствовать Вашему интересу к трагической истории «Нового мира» времен Твардовского. К сожалению, дефицит времени вынуждает меня ограничиться беглыми заметками вместо ответов развернутых, каких Вам бы хотелось.

Все же, надеюсь, мои ответы помогут Вам в работе над диссертацией.

Отвечаю по порядку Ваших вопросов и так, как я их понял.

1. Этот вопрос часто возникает из-за того, что Солженицын в книге «Бодался теленок с дубом» противопоставил «Новому миру» Твардовского самиздат, вроде бы шагнувший дальше, копнувший глубже, поднявший знамя свободной мысли выше. Будучи автором самиздата, я нахожу такое противопоставление неправомерным. Самиздат мог себе позволить хоть низвержение советской власти (на словах) и выгладел, ясное дело, выигрышнее, задиристей, иногда и ярче, нежели стиснутый цензурой (и самоцензурой) официальный журнал. Но не думаю, что любой читатель отдал бы предпочтение самиздату. В 50-е, в 60-е годы массовый читатель еще исповедовал ленинизм, социализм, ждал наступления коммунизма, не отвык думать, что 60 миллионов жертв ГУЛАГа — это «нарушение ленинских норм соцзаконности»; этот читатель попросту отвернулся бы от слишком откровенных деклараций, их радикальность была бы для него преждевременной и неусвояемой, между тем «Новый мир» прodelывал работу над миропониманием сотен тысяч людей и безболезненней, и эффективней. Для многих имели значение сама официальность, дозволенность журнала, во главе которого стоял человек всенародно признанный, награжденный, обласканный властями, состоявший в депутатах Верховного Совета, в кандидатах ЦК КПСС, ну и заслуженный талантливый поэт, автор «Василия Теркина». Сам журнал был на порядок выше своих конкурентов, культурнее, интеллигентнее, смелее, и если был приемлем их уровень, то какие же могли быть сомнения в его соответствии задачам времени, жизни страны? Не нужно идти далеко, возьмем того же Солженицына — своим громовым успехом «Иван Денисович» не обязан ли также и официальному разрешению Хрущева, поддержке со стороны ЦК КПСС и зарубежных компартий?

Наконец о соответствии своему времени можно судить по той ненависти, какую питали к «Новому миру» все силы вчерашнего дня, все наследники Сталина. И даже не столько Чехословакия, сколько падение «Нового мира» обозначило наступление эры «застоя». Самиздат остался — и может быть, приобрел массу новых читателей, но рана, тогда нанесенная всем нам, народу России, кровоточит и до сего дня.

2. Мне довелось работать при Симонове и Твардовском — и это были разные люди и разные журналы, хотя и сохранялось некое сходство, некая преемственность и статус первого журнала, которому позволено несколько больше, чем другим. Роман Дудинцева «Не хлебом единым» был напечатан Симоновым, отличие же в том, что Твардовский не позволил бы себе от него отречься. Его приход в 1958 году означал и новый художественный, и, в особенности, другой нравственный уровень. Естественно, вместе с главным пришли в журнал и другие люди, хотя остались и неко-

торые прежние — Закс²¹, Марьямов²², остался весь состав редакции. Возникла новая атмосфера в отношениях между людьми, где задавал тон Твардовский, общий кумир, самый образованный человек в коллективе «Нового мира». Сам себя он называл с гордостью «квалифицированным читателем», и это так и было. Когда не знали, кто написал такую-то строчку, Фет или Тютчев, шли к нему — он знал и мог этот стих продолжить. Писалось много о его запоях, которые он сам называл болезнью, они — тут ни убавить, ни прибавить — имели место и осложняли работу в журнале (не столь катастрофически, как о том пишут), но вот любопытно: по возвращении его из очередного «штопора» выяснялось, что он за это время прочел несколько весьма серьезных книг и хорошо их запомнил.

Личность Твардовского выразилась буквально в каждой голубенькой книжке «Нового мира». В определенном смысле Александру Трифоновичу повезло — его биографами оказались такие одаренные люди, как Солженицын, Лакшин, Трифонов, Кондратович, а то, что Твардовский вышел у каждого свой, не должно удивлять. Я мог бы рассказать по меньшей мере о десяти Твардовских — в зависимости от времени дня или года, от того, понравилась ему ваша рукопись или нет, чувствует он приближение своей «болезни» или только что от нее оправился и т.п. В целом же — две особенности доминировали в его характере; первая — та, что он был сыном раскулаченного, много от этого претерпевшим, оттого с надломом в душе, с незаживающей травмой, отсюда его благоприятствование литературе «деревенщиков» — Федора Абрамова, Василия Белова, Бориса Можаева, всегда находивших прибежище в отделе прозы и зачитывавших в отделе критики. Другая особенность, подчас отталкивающая интеллигентов и вызывающая оторопь у чиновников, — та, что Твардовский, всем на удивление, был самый настоящий коммунист, правоверный, кристально чистый, почти идеальный, воспринявший в этом учении его христианское начало и веривший в конечное наступление царства справедливости и братства. К исходу второго редакторства эта его вера претерпела изменения и сильно поблекла, но в первые годы он был именно таков. Мог прийти в отдел прозы (я тому свидетель) и рассказать восторженно о своем впечатлении от Юрия Гагарина, мог заплакать, ознакомившись с документами о коррупции и гниении в партийных инстанциях (ему эти секретные документы доставлялись офицером-посыльным в засургученном пакете). Интеллигентам казалось, что он если не притворяется, то пребывает в оглуляющем заблуждении; чиновники, при всем своем цинизме отлично понимавшие, что это не притворство, не знали, как с ним быть, как говорить и что дает им право чувствовать себя выше его и потому давать ему руководящие указания. Во многом эта черта определила живучесть и долголетие Твардовского-редактора, с которым не знали, как справиться, и так и не решилось расправиться Политбюро, а предоставило это братьям-писателям, которые, разумеется, справились успешно.

3. По традиции, две трети журнальной площади в «Новом мире» отводилось прозе. Если в первое редакторство Твардовского наибольшую славу стяжали критики (Ф. Абрамов, М. Щеглов, М. Лифшиц, В. Померанцев), то во второе — почти все успехи были связаны с прозой. Естественно, отдел прозы был главный, в нем работали два человека, но и они не справлялись без помощи 15—16 внештатных рецензентов. Внутренние рецензии — род скорой гуманитарной помощи — были продолжением журнальной политики; так как платили за них, исходя из объема рукописи, то самыми толстыми подкармливали наиболее желанных авторов, оказавшихся почему-то на мели (называлось это — «на поддержание штанов»).

Мне пришлось работать два года с Борисом Германовичем Заксом (ныне 86-летним нью-йоркцем), который и пригласил меня в журнал, и год с Алексеем Ивановичем Кондратовичем. Не имея литературного образования, я с их помощью

21 Закс Борис Германович (1908—1998) — ответственный секретарь «Нового мира» в редколлегии Твардовского (1958—1966).

22 Марьямов Александр Моисеевич (1909—1972) — член редколлегии «Нового мира» по отделу публицистики (1961—1971).

прошел филологический факультет, приобретая и те сопутствующие знания, которые на филфаке не преподаются, — в области многих писательских биографий, существующих в этом мире законов, обычаев, интриг. С прославленной А.С. Берзер, пришедшей на мое место, я работал уже в качестве автора.

Солженицын в «Теленке» дает весьма нелестный портрет Закса — «серый, оглядчивый», «нудноватый джентльмен» и т.п., в то же время о Берзер отзывается очень тепло. Мне с этим трудно согласиться. Закс как редактор дал мне много больше, чем Берзер, кроме того, он был не столь, как она, подвержен воздействию групповщины, проникавшему, увы, и сквозь эти стены, к авторам относился справедливее, беспристрастнее. Сверхосторожности у него, пожалуй, не отнимешь, но, между прочим, «серый и оглядчивый» Акакий Акакиевич (как он себя сам называл) в молодости стрелялся из любви к женщине, а в мое время, когда начальство — Симонов и Кривицкий²³ — колебалось, печатать ли Дудинцева, тот же «нудноватый джентльмен» выложил им свое редакционное удостоверение и пригрозил уходом, если они роман не напечатают. А куда было уходить ему, не имевшему литературного заработка? Право, от знатока душ человеческих, Солженицына, можно было ждать большей проницательности.

Из «новомирских» прозаиков наиболее были мне близки В. Белов, Ю. Домбровский, Б. Можаяев, В. Некрасов, В. Семин, А. Солженицын, В. Тендряков, отчасти В. Войнович и Ю. Трифонов — по причинам, которые и сформулировать трудно, поскольку они составляют самое непостижимое — талант. Привлекали в них — внутренняя свобода, совестливое отношение к жизни и к себе, к своей работе, которую каждый из них понимал как служение своему народу.

4. Достаточно написано о соперничестве между «первым этажом» и редколлегией — за влияние на Твардовского и за свой имидж в глазах «автуры». В любом деле, привлекающем внимание, свойственно работнику даже низшего ранга подчеркивать свой вклад, свою роль, подчас и преувеличивать их — за счет умаления вышестоящих. Сотрудники «новомирских» отделов прозы, поэзии, критики и других не составляли исключения, особенно же преуспела А.С. Берзер, о чьих рабочих качествах не могу сказать ничего дурного, но и не могу поддержать те дифирамбы, что расточали ей и доселе расточают некоторые авторы. Мне приходилось слышать, что весь «Новый мир» — это, в сущности, Твардовский и Берзер. Надо сказать, редактору, непосредственно работающему с автором над рукописью, нетрудно создать у него впечатление своего могущества, своего воздействия на главного, умения обойти придирки цензуры и, разумеется, членов редколлегии. Благодарные авторы создали Анне Самойловне, защитнице их интересов, прямо-таки памятник нерукотворный, самый крупный камень вложил Солженицын в «Теленке». Мне, однако, смешно читать детективную историю (которую автор излагает — и не может иначе — со слов самой Берзер) о том, как ловко обошла Анна Самойловна всю редколлегию, чтобы опус безвестного рязанского учителя попал в руки Твардовского и не был задержан на этом эпохальном пути.

Тут можно вспомнить (и прочесть у того же Солженицына), что Твардовский на XXII съезде КПСС намекнул о своем желании напечатать что-нибудь о лагерях, да вот нет подходящей рукописи. Намек этот не один Солженицын услышал, почему же обвинять в глухоте редколлегию? Она тоже включилась в поиски такой рукописи. Я думаю, приложи А.С. записку, что это, может быть, и есть искомое, — путь «Ивана Денисовича» к Александру Трифоновичу был бы еще триумфальнее.

Чтобы подчеркнуть свою роль, А.С. даже принизила свое служебное положение: из ее рук, дескать, Твардовский бы рукописи к чтению не принял. Могу сослаться на личный опыт. Мой рассказ «Капитаны» Анне Самойловне не понравился — и никто из редколлегии не стал его читать. Напротив, рассказ «Генерал и его армия» она склонна была напечатать — и он был прочитан всеми и вручен Твардовскому, не-

23 Александр Кривицкий (Кривицкий Зиновий Юрьевич) (1910—1986) был членом редколлегии «симоновского» «Нового мира» (1946—1950 и 1954—1958).

смотря на возражения Лакшина и Кондратовича, — да ими же и вручен. Правда, я был уже признанный автор «Нового мира», но и рязанский учитель явился не из «самотека». Рукопись опекали Лев Копелев и его жена Раиса Орлова, люди пробойные; они вполне могли ее вручить Твардовскому, а не то передать через его дачных соседей — Бакланова, Тендрякова, Трифонова. Если они предпочли действовать через Берзер, то, наверное, не желая ее обидеть, ущемить — и, может быть, из опасения, что судьба рукописи сложится неблагоприятно именно из-за соперничества между «первым этажом» и редколлекгией.

Апокриф этот не столь уж безобиден. В книге Солженицына не иссякают его подозрительность и неприязнь к Заксу, Кондратовичу, даже к Лакшину, которые его уважали и любили, говорили о нем (при мне) восторженно, только не могли понять, почему он им не доверяет, будучи куда менее конспиративным с «первым этажом». В целом же люди «Нового мира» всегда представлялись мне слаженной футбольной командой, где были свои бомбардиры, «чистильщики», защитники и полузащитники, стражи ворот, игроки самых разных свойств, класса и темперамента, все вместе по мере сил старавшиеся выложить мяч на ногу центральному нападающему.

5. Театральным критиком я не был, т.е. о спектаклях не писал, я был критиком литературным, а начинал как поэт (в 16 лет), как драматург и прозаик — в студенчестве (годы 1948—1953). Посылал свои опусы во все редакции, приносил в театры — у меня ничего не брали. В 1954 году, мало надеясь на успех, написал статью о пьесе А. Салынского «Опасный спутник», напечатанной в журнале «Театр», и туда же послал. Статья эта не пошла, но мною заинтересовались, главный редактор Н. Погодин пригласил письмом в постоянные сотрудники и напечатал три последующие статьи. Естественно было решить, что моя стезя — критика. Но о прозе все же тосковал, тем более что статьи шли плохо, автор я был несговорчивый, и к 30 годам тоска стала невыносимой. На пари написал рассказик о лыжнике (т.е. о своем времяпрепровождении на даче «Литгазеты» в Шереметьевке) под названием «Все мы достойны большего», и его напечатали в журнале «Смена», в июльском номере 1960 года. Рассказик заметила и разругала вдрызг покойная критикесса Ленина Иванова, но важнее для меня было мнение Бориса Слуцкого, который удосужился его прочесть и сказал мне, что он «не совсем безнадежен».

Тем же летом 1960 года «Новый мир» командировал меня на Курскую аномалию за очерком о молодых специалистах, выпускниках московских вузов, как им живется-работается в «глубинке». Очерк не получился, и мне было неловко, что на меня потрачены деньги, поэтому я решил хоть какую-то прозу представить. Написал о шоферах, у которых жил в общежитии, изложил историю неприкаянного Пронякина, с которым нашел у себя нечто общее в судьбе. Повесть прочли быстро, уже через неделю Твардовский созвал редколлекгию, но до выхода ее — по причинам чисто советского свойства — прошло еще восемь месяцев. Когда она вышла, оказалось, что «новомирцы» зря опасались тяжких последствий для журнала и для автора. Журнал похвалили — за то, что стал, наконец, на «генеральную линию», автор — как говорится, проснулся знаменитым. Был фильм, был спектакль, теле- и радиопостановки, более 120 статей и рецензий, переводы на 17 языков и т.п. Пришлось себе признаться, что стезя — все-таки проза.

6. В западном понимании «Большая руда» и «Три минуты молчания» — романы. Однако это не было столь бесспорным в «Новом мире», где не только меняли названия, но и раздавали чины произведениям. «Большая руда», хоть и была историей человеческой судьбы, по размеру не соответствовала чину романа. Но габариты «Трех минут молчания» это как будто позволяли, к тому же здесь были и история траулера, и любовная интрига, и «воспитание чувств» молодого героя. Тем не менее Твардовский против жанрового определения «роман» возражал, считал — повестью. Когда говорили о размере, напоминал о «Климе Самгине», у Горького это называется повестью. На редколлекгии 22 апреля 69-го года выяснилась подоплека его возражений — роман от первого лица несвойствен русской прозе. Попросил назвать хотя бы один такой роман в русской литературе XIX века. Кондратович ему назвал — «Подросток» Достоевского. На том и поладили.

7. С первой моей публикации — в 1955 году, еще при Симонове, маленькой рецензии — и до «Трех минут», последнего романа, который был напечатан Твардовским, изменилось все радикально. И не только в смене редакторов дело, но и Твардовский менялся с каждым годом, превращаясь из вельможного лауреата, обеспеченного марксистско-ленинским учением, в человека сомневающегося, страдающего, в живую рану России. А с ним и «Новый мир» из журнала более или менее парадного, представительного, которому кое-что позволено, превратился в роскошь непозволительную, в центр вольнодумия под печальным флажным сигналом «Погибаю, но не сдаюсь». При одном и том же редакторе — два разных журнала: если первый полагалось иметь социалистической державе, второй — следовало немедленно закрыть и заколотить досками. Что и было проделано. Грубо сказать, если при Симонове считалось, что *можно* напечатать, скажем, «Не хлебом единым», то при Твардовском — *должно*, чего бы то ни стоило.

8. Сравнивая воспоминания Лакшина и Кондратовича, нужно учитывать, что Лакшин больше полагался на память, Кондратович — на свои дневниковые записи. Память удерживает наиболее крупное и яркое, податливо складывающееся в желаемую концепцию, а что не укладывается, она отсекает; при этом возможны искажения, смещения во времени и т.п.; дневниковая запись ровнее, суше, мелочней, обычно — правдивее (но тут приходится выбирать между истиной и правдой, что не всегда одно и то же). Мне кажется, она предпочтительнее для исследователя, желающего выстроить свою концепцию, у Лакшина — она уже выстроена.

Лакшин — литературнее, Кондратович — ближе к жизни, прошел школу фронтového газетчика, знал многое и многих. Работая с ним, я едва успевал записывать его бесконечные рассказы. С Твардовским он был смелее, самостоятельнее, да и знал его лучше, еще с первого редакторства. Лакшин же пришел лишь в 1961 году, т.е. на третьем году второго срока, когда Твардовский-редактор уже превратился в личность легендарную и особенно спорить с ним было уже не принято.

Что до моего рассказа «Генерал и его армия», я воспоминания Кондратовича читал в отрывках, и этот эпизод мне не попался. Могу лишь сказать, что претензий к Александру Трифоновичу у меня нет, здесь вышло то же, что и с «Русланом». Напечатать он первый вариант (1963 год), не было бы «Верного Руслана», который состоялся позже. Равным образом не появился бы роман «Генерал и его армия». В обоих случаях я от Твардовского услышал плодотворные идеи: с «Русланом» — что здесь лежит трагедия, с «Генералом» — что лежит роман.

9. Я был редактором отдела прозы, но надо мною был еще зав. отделом — Закс, затем Кондратович. Решений о публикации я не принимал, мог лишь рекомендовать. Мой редакторский опыт начался с редактирования «Не хлебом единым», что для человека 25 лет явилось даже некоторым потрясением. Разумеется, ни о каком политическом утеснении не могло быть и речи, я был автору восторженным единомышленником, но по стилю и по сути изображаемого предъявил ему около полусотни упреков, из коих он принял процентов 80. В дальнейшем я принимал участие в редактировании «Сентиментального романа» Веры Пановой, «Пяди земли» Григория Бакланова, мемуаров Довженко и Дабкиной, другие авторы были менее интересны. По большей же части я занимался «самотеком», т.е. либо сам читал рукописи, либо полагался на мнение внештатных рецензентов, которые у меня этим нетрудным заработком кормились. Как ни мечталось мне открыть нового Толстого, за все время выловил лишь рассказ Анатолия Клещенко, оказавшегося просто полузабытым профессионалом, вернувшимся из ГУЛАГа. Рассказ напечатали, и я мог быть доволен, что не упустил его. Думаю, не упустил бы и повесть «З/к Ш-854» некоего учителя из Рязани, но мне такого случая не выпало.

Когда пришел Твардовский, мне стало ясно, что я «засиделся», время оставить чужие рукописи и заняться своими. Поработав с Твардовским год, я из «Нового мира» ушел, а еще через год пришел в качестве автора — принес «Большую руду».

10. Честно сказать, я не наблюдал особенного культа Солженицына выше «первого этажа», где его считали своей находкой и как бы собственностью. Любил же Твардовский не только его, но и Белова, и Можая, и Шукшина. В последние годы

«потеплел» к Трифонову, намерен был его и Можаяева ввести в редколлегию, когда кого-нибудь из прежних выведут. Просто о любви Твардовского к Солженицыну больше и красочней рассказано, нежели о других любовях, но это следует считать в немалой степени заслугой Александра Исаевича, написавшего уникальный роман о себе, любимом («Бодался теленок с дубом»).

11. Сдается мне, сильные характеристики тогдашних сотрудников журнала прозвучали здесь, и не всегда лестные. К ним могу добавить Александра Марьямова, Ефима Дороша²⁴, Игоря Саца²⁵. Должен сказать, счастлив тот автор, чья рукопись попадала к ним, интеллигентам высокой пробы, незаменимым помощникам Твардовского, которых лишь он превосходил образованностью и пониманием литературы. Марьямов первым прочел мою повесть и тотчас, не дожидаясь других мнений, позвонил автору; ему же я обязан многими переводами на другие языки — иностранные гости «Нового мира» непременно шли к нему, знающему языки и зарубежные литературы, и он им рекомендовал авторов. Дорош, знаток села, русского Севера, высказал много тонких замечаний по «Трем минутам» и был ярым их защитником. Сац — ходячая энциклопедия, занимательнейший собеседник (и сабутыльник) — был другом авторов всех возрастов, только их всех моложе.

Пообщавшись с этими людьми, я ныне — с благодарностью к ним — сознаю себя питомцем чудесной, незаменимой *alma mater*.

12. Для Твардовского — поэта и общественного деятеля — не только нашлось бы место в нынешней России, его постарались бы приспособить для своих конъюнктурных нужд едва ли не все существующие группировки и партии. Но в этом они бы не преуспели больше, чем в случае с Солженицыным. Уверенно можно утверждать, что общественная деятельность свелась бы для Твардовского к деятельности литературной, т.е. опять же к редактированию журнала, никак не к депутатским прениям в Думе. Впрочем, его можно было бы увидеть в комиссиях по реабилитации жертв тоталитарного режима, по литературным наследиям, в редколлегиях чьих-либо собраний сочинений или антологий. Едва ли бы его предпочтение досталось исключительно «демократам» или «патриотам». По обычаям своего времени, ну и по склонности, он состоял в коммунистической партии; в условиях свободы для любых партий, я думаю, он выбрал бы свободу остаться внепартийным.

«Новый мир» Твардовского в 90-е годы я вижу почти тем же, что и в 60-е: образцом вкуса, интеллигентности, общественного звучания, реализма без эпитетов («социалистический», «критический», «фантастический» и прочих). Шарлатанству авангардистов, постмодернистов, андерграунда здесь не нашлось бы места. (И в конце концов, сгруппировавшись в коалицию, как всегда группируется всяческая серость и мразь, эти деятели поднапряглись бы и к исходу века... низвергли Александра Трифоновича, как в году 70-м. И поделом ему, не торчи бревном в глазу!).

13. О моем творчестве трудно судить самому. Мне кажется, мои вещи вносили в журнал, тяготеющий к литературе интеллигентской и деревенской, недостающий компонент — они были посвящены т.н. «рабочему классу». Казалось бы, они этой рубрикой защищены от погромной критики, однако их постигла общая судьба «новомирской» прозы: доброжелательный прием в начале редакторства Твардовского («Большая руда») и изничтожение в конце («Три минуты молчания»). Между тем это были вещи одного рода и достоинства, но в одном случае было выгодно их поддерживать, в другом — низвергнуть долу. Вся фальшь, конъюктурность, рептильность официальной критики в моем случае проявили себя наглядно.

14. Почему Твардовский не принимал прозу Петрушевской, Горенштейна, Оганова, мне трудно объяснить, поскольку я не читал их тогдашних вещей. Вообще же у Твардовского была эта трудная для его единомышленников черта — решительное и не всегда справедливое неприятие какого-либо явления, понятия, ну и творчества какого-либо писателя. Не принимал он Владимира Максимова, Андрея Битова, Юрия

24 Дорош Ефим Яковлевич (1908—1972) — член редколлегии «Нового мира» по отделу прозы (1967—1971).

25 Сац Игорь Александрович (1903—1980) — член редколлегии «Нового мира» (1960—1970).

Казакова, не печатал ни строчки их, поскольку считал их подверженными «чуждому влиянию», попросту «вторичными». Максимов ему казался «ухудшенным Горьким», Битов — «ухудшенным Набоковым», Казаков — «ухудшенным Буниным». Однажды при мне, в ресторане ЦДЛ, в глаза назвал Казакова «бунинистом», чем сильно его огорчил (м.б., сказалося «чуждое влияние» армянского коньяка, но ведь — «что у трезвого на уме...»). В отношении Казакова это особенно несправедливо, мы сейчас можем его оценить как писателя весьма оригинального, в некоторых случаях шагнувшего дальше Бунина.

Как же обстояло дело с моими вещами? Твардовский в них тоже находил следы чуждого влияния, но считал, что у меня свое все же пересиливает. В «Большой руде» видел приметы учения у американцев, в частности — у Хемингуэя («Старик и море»), что верно отчасти, даже протестовал против слов «парень» или «женулька», будто бы не свойственных русской прозе, самый характер Пронякина казался ему не совсем русским (что-то слишком трезвенник и трудолюбив). В «Трех минутах молчания» обнаружил поначалу заимствования у Сэлинджера — вероятно, шатания Сени Шалая по ночному Мурманску ему напомнили шатания Холдена по Нью-Йорку (тоже резонно), — но затем увлекся и свои претензии снял.

15. Не совсем ясно вижу возможности и условия для такого журнала, но вижу необходимость его, а такой журнал и вырастает скорее из необходимости, чем из возможностей. Как ни парадоксально звучит, а для журнала Твардовского не было никакой возможности его существования, в любой час оно могло быть прекращено волею какого-нибудь Юрия Мелентьева²⁶ (по понятной причине додумавшегося до этого лишь в году 69-м, а мог бы и раньше), но была настоящая в нем необходимость — и потому он существовал. Это было так же причудливо и непонятно, противно законам естества, как то, что барон Мюнхгаузен себя самого вытащил из болота за косичку, но это было именно так.

Нынешний плюрализм, думаю, не только не отменил, не аннулировал необходимости нравственного, духовного центра, каким был от века российский «толстый» журнал, но даже усиливает потребность в нем. Во время размыва авторитетов, когда сила личности измеряется весом партии, которой эта личность принадлежит, а все партии измеряются числом избирателей, — велика нужда в личности решительной внепартийной, в себе самой находящей опору для суждений, художественных, политических и иных воззрений и концепций. И журнал должен быть отражением этой личности — что еще недавно было, скажем, в «Знамени» при Бакланове.

Вероятно, это не может быть «журнал Г.Н. Владимова», поскольку сей господин, при своей похвальной неприязни ко всем партиям в мире, к самому слову «партия», не умеет добывать деньги для издания, а это сейчас едва ли не главная составляющая редакторского таланта. Если бы при Владимове да был ни во что не вмещающийся Савва Морозов — пожалуй, они бы спяпали недурной журнальчик. А года через три, может быть, он бы и на самоокупаемость перешел.

16. Сейчас готовлю книжное издание «Генерала и его армии» (некоторые промежуточные эпизоды и финал), одновременно пишу повесть «Долог путь до Типперэри» из времен юности мятежной: о том, как в августе 1946-го пошел выразить сочувствие Михаилу Зощенко и что из этого вышло.

В заключение пожелаю успеха Вашей диссертации и позволю себе надеяться, что привнес в нее посильный вклад.

Ваш Георгий Владимов
<Германия>

26 Мелентьев Юрий Серафимович (1932—2009) — с 1965 по 1971 год — заместитель заведующего отделом культуры ЦК КПСС; впоследствии — первый зам. председателя Комитета по печати Совмина СССР, министр культуры РСФСР.

Околоколомна

Анна Генина

ГОРОД ЗАБЫТЫХ ВКУСОВ

Если вы хотите представить, как выглядела в старину Москва, — поезжайте в Коломну. Там Москва-река течет вольно, не закованная в каменную броню набережных; там у небольших уютных домиков благоухают сирень и жасмин, а палисадники радуют веселым разнообразием цветочного ковра. Там Кремль и средоточие государственной и церковной власти, и место обитания — внутри частично сохранившихся стен до сих пор стоят жилые дома, построенные в XVIII—XIX веках, и в них до сих пор живут люди. Картину, правда, сильно портит одна сторона центральной улицы, застроенная в 90-е годы на редкость уродливыми громадными особняками, — ну да это другая история, не о них речь.

За стенами Кремля — прекрасно сохранивший дух прошлого Посад, с его прямыми улочками, сбегаящими по крутому обрыву вниз, к реке. Почти на каждом домике Посада — памятная доска; каждая — со своим «доски не общим выраженьем». С Коломной связаны имена многим известных людей, да и на литературной карте России Коломна занимает не последнее место. Это родной город одного из первых русских романистов И.И. Лажечникова; здесь издавал свои книги Н.И. Новиков, гостил у сестры А.И. Куприн; с Коломной связаны имена А.В. Чаянова (больше известного как ученый-экономист, хотя он является автором нескольких романов) и И.С. Соколова-Микитова. Коломенская районная библиотека им. И.И. Лажечникова основана на пожертвования А.П. Чехова, В.Г. Короленко, В.С. Соловьева, Д.И. Менделеева.

Но, пожалуй, самая интересная литературная история связана с именем Бориса Пильняка. Сюда он переехал в 1913 году, еще будучи подростком, с родителями, и прожил до 1924 года. Здесь женился, здесь начал писать, именно здесь создал один из самых своих известных романов — «Голый год»; сюда к нему в гости приезжали многие его друзья, в том числе Сергей Есенин и Всеволод Иванов. Сюда в 1936 году, уже после его переезда в Москву, приезжала Анна Ахматова, хотела отыскать его дом, что возле Никольской церкви (Пильняк всегда подписывал свои произведения тех лет «Коломна, Никола-на-посадах»), да так и не нашла. В память об этом визите в Коломне две мемориальные доски — в тех местах, где она присаживалась отдохнуть и где запечатлел ее фотограф.

Еще Коломна славилась на всю Россию своей пастилой — не той, что мы привыкли покупать в магазине, а подлинной, ручной работы, созданной по старинным рецептам. В России всего три города было, где творили пастилу, — Ржев, Белев и

Об авторе | Анна Генина родилась и живет в Москве. В детстве собиралась стать математиком, но потом передумала и стала филологом. Переводчик и культуролог, занимается проектами в области международного культурного сотрудничества. Любит читать, путешествовать и фотографировать — особенно отражения и необычные световые эффекты.

Коломна, и коломенская пастила ценилась особо, ее рецепт был самым сложным и изысканным. В конце XIX века фабрика по производству пастилы закрылась, рецепт изготовления вкусного лакомства был утрачен — казалось, навек, остался лишь литературный миф, проскальзывающий то у Лажечникова, то у Чехова, то у Соколова-Микитова, то у Пильняка.

В январе 2009 года миф этот чудесным образом снова стал реальностью: в Коломне открыли уникальный «Музей утраченного вкуса» — музей коломенской пастилы. Сначала была вполне практическая цель — придумать какой-то особый, чисто коломенский сувенир для международных соревнований по конькобежному спорту, которые проводились в Коломне в 2007 году. Создатели музея Наталия Никитина и Елена Дмитриева вдохновились ярким образом коломенской пастильницы из «Ледяного дома» Лажечникова: «Вот человеческий лик, намалеванный белилами и румянами, с насурьмленными дугою бровями, под огромным кокошником в виде лопаты, вышитым жемчугом, изумрудами и яхонтами. Этот лик носит сорокаведерная бочка в штофном, с золотыми выводами, сарафане; пышные рукава из тончайшего батиста окрыляют ее. Голубые шерстяные чулки выказывают ее пухлые ноги, а башмаки, без задников, на высоких каблуках, изменяют ее осторожной походке. Рекомендую в ней мою землячку, коломенскую пастильницу».

Наталия и Елена вспоминают, как искали кандидаток на роль пастильницы и как пришлось удовольствоваться размерами поменьше; как бессонными ночами методом проб и ошибок пытались по найденному в Ленинской библиотеке рецепту возродить коломенскую пастилу. И как потом ни одна кондитерская фабрика не хотела браться за этот необычный заказ — слишком маленькая партия, невыгодно. И как не хотелось после завершения соревнований расставаться с этой, как они сами ее называют, «историей со вкусом». Так родилась идея музея. Двух мечтательниц-энтузиасток поддержали Администрация г. Коломны и Фонд Потанина, и теперь можно приехать в Коломну и попробовать во время экскурсии семь разных сортов пастилы, за каждым из которых — своя история.

Нам особенно повезло, потому что мы начали день с прогулки по городу в сопровождении очаровательной коломчанки Александры Николаевны (экскурсовода музея) — она-то и поведала нам о Пильняке и Ахматовой, о Дмитрии Донском и Марине Мнишек, о том, как люди коломенские бежали от поляков вверх по реке и основали там село Коломенское, которое позже царь Алексей Михайлович сделал своей летней резиденцией, построив там деревянный чудо-дворец, где провел детство Петр Первый...

Вечером мы пили чай на веранде старинного домика, который вовсе не казался музеем, а жил своей — может быть, чуточку мифологизированной жизнью, и наши чудесные хозяйки с юмором рассказывали о том, как они во всех мыслимых и немыслимых источниках искали рецепты коломенской пастилы и как обрадовались, наткнувшись в архиве на малоизвестный рассказ Пильняка «Коломенская пастила», напечатанный в Берлине в 1921 году в альманахе «Веретено» и с тех пор не публиковавшийся; как с замиранием сердца стали читать — чтобы обнаружить, что пастила упоминается в рассказе только один раз — в названии, потому что для Пильняка пастила эта была сладким воплощением тех счастливых лет, что он провел в своей любимой Коломне.

А потом Игорь Сорокин — поэт, прозаик, директор музея Павла Кузнецова в Саратове — достал тоненькую пачку листов и прочел свой рассказ «Саратовский калач», посвященный Пильняку. Не стоит удивляться, что саратовский калач упоминается в рассказе только один раз — в названии. Заметим кстати, что в планах Наталии и Елены возродить пастильную фабрику в Коломне, выпекать саратовские калачи, воссоздать посадскую моду — да мало ли что еще можно сделать в этом удивительном городе.

И я думаю — создавали музей пастилы, а создали музей мифа, виртуальный литературный музей, музей счастья. Хочется, чтобы предлагаемая читателю публикация, включающая в себя «Коломенскую пастилу» Бориса Пильняка и «Саратовский калач» Игоря Сорокина, заняла достойное место в этом волшебном музее.

Борис Пильняк

КОЛОМЕНСКАЯ ПАСТИЛА

Память знает эти медовые пряники с горькой миндалиной посреди, — память хранит те медовые дни, — как мед мне, пришедшему, в сущности, с Иргиза. Там степь, Заволожье уперлось не в Волгу, а в Трех Братьев, которые в географии, кажется, являют собой кусочек Ергелей. Волга узка и пустынна, хоть и нижний ее здесь начинается плес. Река Карман опоясала Екатеринштадт, и немцы курят трубку — Трем Братьям и степи.

Без четверти семь утра бьют в кирке колокола, и вся колония сидит за столом за кофе. В семь утра бьют в кирке колокола, и вся колония за работой. Памятно — я смотрю в окно дома. Grossmutter одинокий верблюд утверждает Азию, «змеиную мудрость», «ночь Азии» и драконов — змеиной шеей, драконьей головой и степным спокойствием, недаром спокойствие и степь созвучны. За окном пустынная площадь, пятьдесят градусов жары по реомюру, и колокольня кирки, которая плавится зноем, — а там дальше, кажется в тридцати шагах, стоит Три Брата. Генрих Карле, друг моего детства, говорит у окна: «Wollen wir spazieren gehen?» — мне, переводящему на русский, очень смешно: «хотим мы идти гулять?».

В без четверти двенадцать бьют на кирке колокола (металлический, не русский звон), и вся колония сидит за обедом и затем, прикрыв ставни, и раздавшись, как на ночь, спать. Мне темно даже читать, и я лежу задрав ноги, грызу пальцы и думаю о том, почему воры не воруют здесь днем, — очень скучно вспоминать, что здесь вообще не воруют. Колокол бьет в три, тогда пьют кофе, в пять и в восемь. В девять вся колония снова спит, уже на ночь. Рабочий день — колоколом — ликвидируется в пять. В гости ходят от пяти до восьми, до ужина. Гостям дают медовых пряников с горькой миндалиной посреди, рюмочку вина и предлагают сыграть партию домино. Grossmutter имеет пять пар туфель, все он стоят у порогов, в одних она ходит по двору, в других по коровнику, в третьих по кухне, в четвертых по столовой, в пятых по гостиной — это чтобы соблюсти чистоту. Полы моют каждый день, а дом снаружи — по субботам. В коровнике полы моют тоже по субботам. Непонятно — люди для чистоты или чистота для людей? У Grossmutter на лешенке есть шкаф с вином, я понял, что самое разумное, когда спят днем после двенадцати, обследовать этот шкаф, чтобы на самом деле заснуть к трем. — Мой отец, Андрей Иванович (Андреас Иоганнович) Вогау, русский врач. Мы сидим у дяди Александра; тетка Леонтина делает такой вкусный пунш, — мне бы сходить с Ирмой в Катрин-Гартен, но дело не в этом, дело в том, что Grossmutter запирает калитку на замок ровно в восемь, когда бьет колокол на кирке, а сейчас десять и мой отец сокрушенно стоит у забора, я лезу на забор вперед, отец за мной; на дворе отец шепчет мне: «Сними, батюшка, сапоги. А то нашумим мы и наследим». И я, и отец, мы идем по двору и в коридоре на цыпочках в чулках, чтобы лечь бесшумно. Отец закуривает папиросу — и на крашеном полу, блестящем, зеркально четко отпечатаны следы наших чулок. Отец зажигает вторую спичку, папиросу вставляет в угол рта, покачивает головой и говорит уже на языке, которым встретил жизнь: «О, mein lieber Gott». — Я и он сидим на полу, заговорщицки гмыхаем и стираем следы с пола носовым платком. Утром мы все равно попадаемся с повинной — платками. А отец сидит с дядями, причем у каждого дяди по трубке с каучуковым мундштуком, шеи в шарфах, лбы под широкополейшими соломенными шляпами, рты бриты и носы сизы в расплавленном дне: — отец рассказывает дядям о беспорядке и непорядочности русских, о земском деле и безделье; немцы слушают, курят и степенно говорят:

«Ну, да, бабушка, милая, милая Grossmutter Анна, повезет меня на кабриолете на Караман, в «займи-ш-те» (сейчас Займище). Милая бабушка Анна сошьет мне штаны и курточку на рост и из добрейшего сукна (которое я потом попрошу маму перешить) и поведет меня на тир, где немцы состязаются во воскресеньях в стрельбе. Я приехал туда на лодке под рваным парусом с сизолицым немцем в шляпе как зонтик, по мутноводной Волге, — на лодке, которая блестела русской в Пасху горя-

щей и так сладостно — Стенькой Разиным для мальчишек — пахло варом. Я помню верблюда, утвердившего мне Азию, «ночи Азии» и «змеиную мудрость» драконов — песчаной своей шерстью, этапным спокойствием и криком своим, заключившим в себе всю культуру Турана. У меня от милой, милой моей бабушки Анны — еще до сих пор есть шерстяные чулки, красные с синими полосками, такие добротные и неизносимые, как вся немецкая культура. Бабушка тогда мне, ребенку, рассказывала, как, когда немцы пришли впервые сюда на Волгу, они вели войну с киргизами; один раз киргизы поймали в займищах на Карамане тридцать немцев и вырезали им языки; а немцы, излавливая конокрадов-киргизов, закапывали их в стога и сжигали заживо; моя детская фантазия рисовала тогда: зеленые степные ночи и обязательно верблюдов, много верблюдов; мне было очень тесно от рассказов бабушки.

Остальное я предлагаю читателю узнать у историков. Вот адреса: Село Екатериштадт (или Беронск Самарской губ., Николаевского уезда), затем в революцию 1917 года — город Маркштадт, станица коммуны немцев-колонистов Поволожья, почти федерация Российской республики (город Николаев стал городом Пугачевом), потом после первого года революции, в великий голод: Штербштадт — Умирай-город, ибо часть немцев была просто сплавлена в Волгу, а другие части покатались на своих фурках — на Кавказ, в Туркестан, даже в Германию. Подробности у историков, в примечаниях к томам «Истории Великой Русской Революции».

Затем у меня сохранилось еще такое воспоминание от детства. Это было уже в Можайске, где отец был врачом. С мальчишками я ходил на Козью Горку ловить птицу; надо было проходить мимо железнодорожной водокачки и насыпи, в которой лежали водопроводные трубы; и вот под эту насыпь был проделан ход, чтобы надсмотрщики могли лазить туда на четвереньках; мне, мальчишке, тоже надо было слазить туда на четвереньках, чтобы обследовать подземелье, как мальчишка обследует всю жизнь: я полез, и на меня из-за гнилья досок обвалилась земля, я не мог ползти ни назад ни вперед, — меня выручили мальчишки, которые меня вытащили оттуда за ноги, и вот, помню, тогда там в подземелье мне было так же тесно, как от рассказов бабушки о немцах, которым киргизы на Карамане вырезали языки.

Лето 1921 года, один, я жил в тридевятом государстве. Добрый человек, Анна Алексеевна мне приносила кипяченую воду, чтобы пить. Часы остановились, и я их не заводил. Я жил в очень хорошем содружестве — с самим собой, пылью и велосипедом. Из комнаты ребятишек я перевесил к себе ценные занавески. У меня в кармане прибавилась небывалая вещь — целая связка ключей. Я вставал, когда просыпался, шел на речку умываться и за водой. На базаре знакомая торговка оставляла мне бутылку молока; хлеб и масло я привозил от жены из Новоселок. У меня было единственное богатство — пуд керосина, и я мог бодрствовать, не считаясь с солнцем: я очень хорошо изучил эти зеленоватые, зыбкие, необыкновенные июльские рассветы. Бодрствуя, я писал повесть о «Рязани яблоч» и читал «Истории Гончих Собак» и «Рыбы России». У меня никто не бывал. У меня была связка ключей, и поэтому случалось так, что дом был заперт, чтобы покоить пыль, а окно в палисад мирно грелось на солнце, мирно раскрытым. Через два дня на третий ко мне приходила хожалка, она сначала сидела на крыльце, иногда ставила самовар и варила мне картошку, тогда мы пиришествовали и она шла спать на женину кровать. Обыкновенно я уезжал в Новоселки, когда приходила хожалка.

Я жил на погосте в домике о пяти окнах, из окна я видел деревенскую церковь, и сейчас же за домом протекала Москва-река. Справа от меня жил батюшка, слева за огородом — семья жуликов. Дом батюшки был с моим домом забор в забор. У батюшки умерла жена. Батюшка жил отшельником. По двору и по садику у себя батюшка ходил в белых штанах, в жениных кофточке и шляпе. Однажды утром я учуял у себя в доме, что, должно быть, куда-то рядом приехало сорок ассенизаторов. Все же я тщательно осмотрел мой дом, — и я открыл истину (ведь истин так много); батюшка откупорил ямку под своим задним крыльцом, в другом углу двора он вырыл другую ямку, и вот, ведром, у которого ко дну и к ручке были привязаны веревки, чтобы не марать рук, батюшка носил жидкость из одной ямки в другую; в шляпе, в кофточке и в белых штанах, он делал это методически, полтора дня. В этом,

конечно, отразилась революция, как и в том, что батюшка вел записи, как в школах, всех приходящих и не приходящих в церковь прихожан, и запирали церковь как художественный театр в час богослужения. У батюшки было расписание треб и стоимость их продуктами. Я не могу не отозваться о батюшке без уважения: он, отшельник, истинно веровал своему Богу, до горения, и те немногие, сгорбленные и в черных одеяниях, что из службы в службу приходили к нему, запирались в церкви на общую молитву с напряженностью, — там, в запертой церкви, хор заменяли все собравшиеся. — Слева от меня, за огородом жила семья жуликов, трудолюбивых, как муравьи. Я наблюдал, как отец тащил домой ему ненужные водопроводные трубы (впоследствии они заменяли жердины в заборе), два полена, нарядный чемоданчик. Сын и мать были заняты иным: сын, тощий мальчонка лет десяти, с утра до вечера, по мелочи, за пазухой таскал из садов яблоки, ночами он лазил за яблоками с корзиной, и мать была занята сушкой яблок впрок. Все же мои жулики жили очень нище. (Ведь это был год Великого голода), и когда на огородах поспела свекла, капуста и огурцы, они питались только ими. В их доме было так же интересно, как, должно быть, у Плюшкина, домик стоял в саду за огородом, с глухим двором вокруг, и дом, и двор были завалены совершенно неожиданной рухлядью, мне все время хотелось купить у него стариннейший клавесин. От этой рухляди у них было очень пыльно и пахло, как в слесарной. У них было одно богатство — корова, за которой ходила черная старуха. И вот эта сестра жены, сухая старушонка, Анфиса Марковна, заговаривала, у нее была слава и практика, уже не знаю, как сказать, не то знахарки, не то ведьмы, что, в сущности, должно быть одно и то же.

Через два дня на третий приходила ко мне жожалка, обыкновенно к тому времени съедался хлеб и я уже не прочь был съесть горячего супа. Мой спутник, старенький женский велосипед, начавший свое существование вообще с начала существования велосипедов, поэтому даже не мобилизованный. Я накачивал моего спутника и ехал на нем к жене в Новоселки. Когда-то были помещики Енишерловы, они исчезли вместе с революцией, но дом остался, в старом парке, засаженном лиственницами и кленом; на холме между оврагом и рекой Коломенкой, совсем один в лесу. В революцию дом отбыл постой и детской колонии и трудармии; потом его заколотили за неимением в России стекол. И тогда в мезонине на лето поместилась моя жена с дочерью и собачкой-мальшом. Каждый раз, когда я приезжал ночью (всю дорогу меня провожали коростели), дом с главной аллеи утврждал мне подлинность Тургенева, верилось в тургеневскую девушку, которая сейчас выйдет из виноградника с террасы. — На Коломенке кричали лягушки. Но я также приезжал и днем, и меня встречала жена — в лесу, с подойником в руке, в том очаровании, которое есть в каждой женщине незадолго до родов. У нее в руке подойник, и вид ее немного дик и сосредоточенно рассеян: это потому, что она с утра и до ночи сходила с ума о грибах, и ее глаза не могут не заглянуть под и за каждый куст. Мы все в Новоселках сходим с ума о грибах. В Новоселках, в мезонине, у нас нет ни одного стула и только один стол, мы живем на полу, где у нас постели, а у дочери Наташки, кроме игрушек, и зеркало. Утром дочь Наташка подсаживается ко мне на корточки и командует: «Раз, два, три, пали», — и я вскакиваю по команде, ем лепешку, пропахшую, как все, земляникой. Мне не важно, что Новоселковский дом знает длинную историю, с Императрицы Екатерины, — я обуваю чулки, беру корзинку и иду за грибами, я нашел свое место в овраге. В полдень мы состязаемся в количестве белых, — и все рамы, крыша, двери украшаются четками грибов. Шут его знает, — четки грибов тоже, должно быть, какая-то мистика; быть может, как роды жены моей Маши. В лесу не пахнет земляникой. Вечером иногда приходит — тоже жулик, простой русский крестьянин, огорожавившийся и этим погибший, Иван Андреевич. Он почему-то не стесняется говорить о том, как ворует дрова в роще, и предлагает их нам; надо будет, по знакомству, купить у него. И вот он рассказывает, что ржаной колос, которому надо цвести еще через месяц, — что если такой колос положить на четверть часа в волосы женщины, из него, из колоса, выйдут его золотые, несущие, цветы, и это бывает потому, что в женщинах бывает нечистая сила. Это мне показалось чрезвычайно необыкновенным, это как раз те мелочи, которые я собираю, как

мед для моих рассказов. Я спрашивал, мне это подтверждали, и крестьянские девушки подтверждали это смущенно. Вечерами с Коломенки подымался туман. Наташка спала. На единственном столе горел маргач. Жена, во всем белом, стояла у этого единственного стола и переплетала на ночь волосы. Мы говорили о грибах. Я лежал на полу и курил папиросы.

Мне выпал такой день. Утром (собственно, днем) меня разбудил почтальон. Во мне смешались четыре крови: немецкая, русская, татарская и еврейская, точнее, собственно, так: русско-татарская, немецкая и чуть-чуть еврейской. Утром мне почтальон принес письмо с родины русско-татарских моих кровей от сестры. Вся моя боль, в русско-татарской моей стране: боль, ненависть, любовь и жизнь все мои грезы. Та Маруся, которая упоминается в начале письма, умерла в 1920 году, и ее схоронили в Москве на Донском кладбище, — ее, Марусю Подачеву, мою.

Сестра писала:

«Сказать мне хочется, что я очень Тебя люблю, и что мне часто Тебя недостает, а теперь после смерти Маруси еще чаще. Когда я в прошлом году уезжала, я видела вас, Тебя и Марусю, последний раз у вагона: вы стояли на площади и махали мне, и я как-то вдруг почувствовала, что вы оба самые близкие мне люди, и почему-то, когда я начинаю Тебе писать, я вспоминаю ту минуту, свои тогдашние мысли и слезы и реву. Реву и сейчас. В сущности очень нехорошо, что мы живем разном».

О том, как мы живем, Тебе поди все писала мама. Папа служит; ходим на службу мы с ним вместе, очень трогательно, — под-ручку, с мешками за спиной и портфелями под мышкой. В отделе читает Твои письма и знакомит меня со всеми: «Моя дочь. Агроном», — что приводит меня каждый раз в смущение, рыщет по уезду в погоне за хлебом, всем грозит голодной смертью, сердится, когда люди живут не так, как ему кажется нужным, очень устает. Мама стряпает, ставит самовары, чинит белье, моет посуду, делает по необходимости, но это она более всего не любит. Изредка ходим мы с ней гулять, покупаем стакан семечек и ходим по задворкам на горах и в Глебычевом овраге, или идем по родственникам, чаще всего к тете Даше. Тетя Даша в лицах представляет, как торгуется из-за старого подсвечника на базаре дядя Толя, как ловко он обошел мужика, обменяв ему ломаный будильник на два пуда мятых помидор, как у Галиньки вытащили из кармана деньги, а тетя Катя уверяла публику на Немецкой улице в своем умении врачевать и в том, что Спасококодский основывает лечебницу ее имени, как тетя Женя торгует в обжорке «лимоначиком холодненьким» и как это выгодно. Живут Круговы отвратительно. Дядя Толя выжига, покупает себе потихоньку белый хлеб, сахарин и припрятывает от всех, выдает тете Даше один раз в день немного щепок на таган для готовки обеда, не позволяет сидеть с лампой. Грязь у них, теснота, вонь. Леонид нигде не работает, ничего не делает, лежит на диване и читает Историю французского искусства, жена его умерла и Люська спускает меха и платья, оставленные после смерти. Вся наша родня — буржуи — спекулируют на базаре по маленькой, размаху нет, да и денег тоже, а так «на сахаринчике».

Я прочел это письмо, и мне стало тесно. Сестру, мать и отца я люблю больше всех. Мне стало тесно, я вспомнил мое детство, милый Екатеринштадт. Это письмо было из Саратова. Все же в тот день я проделал как всегда свои утренние дела, ходил на реку мыться, оттуда, через реку, на базар за бутылкой молока. У моих соседей происходило событие, нарушившее их мирный быт: к батюшке приехала его дочь-коммунистка с трехмесячным ребенком. Мне было странно, как у такой женщины мог появиться ребенок. Она внешнеюстью походила на монашенку, ей обязательно надо было пойти на костер и сгореть за свою веру, она привезла в местный исполком свою идею социалистического-канцелярского-делопроизводства, она ходила всегда с опущенными, горящими глазами, ее горением было горение революции. Ее ребенок жался на руках отца, ребенок все время так жалобно плакал: и батюшка обратился к моим соседям слева, к знахарке Анфисе Марковне. — Анфиса Марковна три зори подряд грызла ребенка пупочек, заговаривала, чтобы он не плакал. Как это у них делалось, я не знаю. Дочь батюшки, должно быть, вообще ничего не знала. Но дочь батюшки только горела революцией, не могло быть компромиссов, — и она,

дочь, запретила отцу запирать церковь во время богослужения, она донесла на отца в политбюро, и с батюшки взяли подписку, чтобы он не вел книгу записей приходящих и неприходящих молиться. И агенты же политбюро повезли в один прекрасный день от моих жуликов всяческую рухлядь.

Вечером ко мне приходил милый большевик Николай Смоленский, потом подошел Топтыгин. (Мне, небольшеву, вообще легче вести компанию с большевиками, у них есть бодрость и радостность). Мы устроили пир: Топтыгин, засучивая рукава, говорил и пек вкуснейшие оладьи. Мы говорили о революции. Так Смоленский — коммунист. Топтыгин — шут его знает кто, бывал (изгнанный) большевик, и я, в сущности, анархист, определяющий себя полусутоливо, полусерьезно как «большевик, но не коммунист». Мы все трое любили революции, как надо любить все стихийное, буйное, ледоломное, когда ребром ставятся только две вещи, жизнь и смерть. Я доказывал одну из яснейших мне вещей: то, что великая русская революция шла, шла и прошла свой путь русской нашей сказкой об Иванушке-Дурачке. Но и эта мысль пустяки: любимое надо — любить. Той ночью я видел сон: без четверти семь бьют в кирке колокола, и вся колония сидит за столом, за кофе. Памятно — я смотрю в окно дома Grossmutter, одинокий верблюд утверждает мне Азию, «ночь Азии», «змеиную мудрость» драконов — песчаной своей шерстью, степным спокойствием и криком своим, заключающим в себе всю культуру Турана. Но сны у меня бывают всегда голубоватыми. Мне во сне надо было куда-то бежать, а во снах нельзя бегать, спутаны ноги, от этого делается неимоверно тесно. Я проснулся, и еще в яви — в полусне — видел Трех братьев, Дрей Брюдер, что стали там, на Волге, против Екатеринштадта. На дворе был шум, я отворил окно: за заборчиком батюшка проклинал свою дочь, так, как надо проклинать по всем обычаям православной церкви, как анафематствуют на первой неделе великого поста Емельяна Пугачева.

Здесь я кончаю свой рассказ. Дело в том, что, если искусство все, что я взял из жизни и слил в слова, как это есть для меня, то каждый рассказ всегда бесконечен, как беспредельна жизнь. Дрей Брюдер — по-русски: три брата. Это вот те три избы, что стоят рядом. Иван Андреевич мне рассказал, что рожь расцветает в волосах женщины. Будет новое лето, еще много лет, тогда я пойду в рожь и узнаю, так ли это. Память знает эти медовые пряники с горькой миндалиной посреди.

Коломна, Никола на Посадах

10—13 декабря 192...

Игорь Сорокин

САРАТОВСКИЙ КАЛАЧ

Знаете ли Вы, как на Кубани называют серединку арбуза? Если не знаете: Москва. Она ведь красная, сладкая и находится в самом центре.

Я давно подозревал, что Москва никакой не город.

В детстве из Москвы много раз привозили апельсины, всегда колбасу и один раз ананас. Конфеты «Мишка косолапый». «Кара-кум». «Белочка». Чем отличались

Об авторе | Игорь Сорокин, 1965, поэт, прозаик, эссеист, окончил филологический факультет СГУ (1988), аспирант РГГУ (Москва). С 1989 по 2007 — заведующий домом-музеем П.В. Кузнецова (Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева). Публиковался в журналах «Волга», «Знамя», «Дети Ра» и самиздате: «Костер» (Париж), «Сочельник» (Саратов), «Остров Борнгольм» (СПб. — Курск), «АБГ» (Тбилиси), «Черновик» (Нью-Йорк), «reflection» (Чикаго), «Дистрижабль» (Нижний Новгород), «Василиск» (Саратов), «Раненбургская крепость» (Чаплыгин), в 1986—1991 состоял членом литературного объединения «Контрапункт».

«Раковые шейки» от «Гусиных лапок», припомнить не удастся. Обертки — красным по белому — в памяти рядом.

«Москва колбасная — столица красная!».

В детстве во все города и веси из Москвы везли апельсины.

Арбуз — ягода.

Во все стороны от Москвы — города, городки. Крепкие такие семечки.

* * *

Вот Коломна. Сама по себе арбуз. И в центре у нее — Москва — Кремль.

Она стоит каменным кораблем у реки и не помещается в нее отражением. У нее не мачты — колокольни. Кораблик слишком велик для такой воды. Наверное поэтому — чтобы он сдвинулся с места — обыватели взорвали тут башню-туру прямо над самой рекой. Было это при царе Николае I. Взрывали с радостью — запускали в небо. Палили огнем. Дело было так: сперва вынули снизу часть белого камня — вставили деревянные пни-подпорки, потом другую часть — пни-подпорки, потом еще. Так до тех пор, пока краснокаменная ракета не осталась без фундамента. Потом навалили всякого горючего хлама и подожгли. Она горела, пускала дым и повалилась в конце концов в реку. Пошла волна. Такая, что унесла все лодочки с мостками. А корабль так и не тронулся с места. Как стоял каменный город с каменными мачтами — так и остался — незбылем.

Впервые я попал в Коломну тысячу лет назад... Мы ехали с другом Павлом из Москвы в Саратов. На «Волге». Кажется, на выезде из Коломны — хотя, может, и на въезде, не помню — у нас рвануло колесо. Переднее, справа. Так мы остались в ней на несколько часов. Это была совсем другая Коломна: с мазутом, металлическими звуками. Над АЗС был флаг с колонной и желтыми звездами.

Второй раз я проплывал мимо Коломны на поезде — откуда, не помню. Наверное, из верховьев Волги: может быть, из Нижнего, может быть, из Вятки. Проплывал и думал про коломенские версты. Они привели на станцию Голутвин. Я проплывал и писал стихотворение. Где оно — не могу найти. Там была строчка: и все окее и окее земля и небо за окном.

Значит, где-то там была Ока.

В третий раз произошла мистическая история. Едва сошел я на коломенскую землю, куда привез нас, хорошую компанию из детей и взрослых, трамвай от станции Голутвин, как кругом оказался рынок суеты с похоронными цветами, со множеством венков. Наверное, перед Родительскими. Почему-то открывался он — прямо на трамвайной остановке, перед отворенной дверью — с прилавка, на котором лежали в ряд огромных размеров бюстгальтеры черного цвета — очень траурно. Может быть, там покрикивали, пока мы пробирались, в самой суете: «А вот кому...», «А вот!..», «Кому...»? с чего бы иначе, выйдя из толпы, я сказал — ни с того, ни с сего — словами из романа «Голый год» писателя Пильняка: «вот так всегда: кому — таторы, а кому — ляторы».

С чего бы?

* * *

Потом мы были в доме Лажечникова, ели пастилу с ароматнейшим чаем, ходили через кремль на «блюдечко» над Москва-рекой — где босиком первый раз по весенней траве — потом шли по кромке берега — вдоль неровного борта корабля-крепости — над водой, — пришли — уже на Посаде — к церкви, где в подвале видели свежие гробы, хотя искали древних надписей — и, оттуда возвращаясь, набрали на белую церковь с сорока кокошниками, с древним погостом — и там был маленький домик, белый, за бледно-зеленым — нежного цвета морской волны — штакетником. Это был дом писателя Пильняка.

Набрали случайно, ничего друг о друге не зная — ни Пильняк обо мне, ни Коломна, ни я о них, вместе житых тут и в месте взятых.

А он и вправду жил здесь, в тридевятом государстве, и писал в 21-м голодном году про коломенскую пастилу, про миндальные пряники детства, где горчинка посреди, в самом сердце. И собирал он тут мед человеческих отношений — в домике окнами на погост и деревенскую церковь, с Москва-рекой на задах. Справа от него жил батюшка, слева за огородом — семья жуликов, трудолюбивых, как муравьи. Батюшка ходил по двору и по садику в белых штанах, в кофточке и шляпе покойницы-жены, жил отшельником, служил, запираясь в церкви с горсткой приходящих, истово и с напряженностью. Жулики тащили все в дом и он пах хламом, как слесарка. И двор, и дом были завалены самой неожиданной рухлядью, и Пильняк все хотел купить у них стариннейший клавесин. Сын жуликов, тощий мальчонка лет десяти, таскал из садов яблоки — днем, по мелочи, за пазухой, ночью корзинами, а мать сушила их впрок.

А писатель Пильняк между ними жег керосин своей жизни, вспоминал медовые дни своего детства на Иргизе, на Волге, на Кармане-Карамане. Там, где немцы курят глиняные трубки — Трем Братьям и упершейся в них степи. А за окном одинокий верблюд утверждает Азию, «змеиную мудрость» драконов — песчаной шерстью, степным спокойствием и криком, заключающим в себе всю культуру Турана.

Так он смотрел свои сны, в которых спутаны ноги и бегать нельзя — а только смотреть в голубоватом свете: кирка на веретии, Grossmutter, Дрей Брюдер, вино, домино, пять пар туфель, Маркс, Пугачев, шерстяные чулки, красные с синими полосками, медовые пряники с горькой миндальной посреди — коломенская пастила.

Так жил здесь писатель Пильняк, которому Иван Андреевич, тоже жулик, раскрестьянившийся и этим погибший, рассказал, что рожь расцветает в волосах женщин от нечистой силы, а крестьянские девушки смущенно подтверждали ему это.

* * *

Ровно за год до нашего путешествия в весеннюю Коломну я вчитывался в его роман «Голый год», где писатель скрестил два города: Саратов, его окраину — там велись раскопки древнего золотоордынского города Увека, и еще какой-то — смутный мне — город, где была древняя крепость и из ее башен тянуло ветхим прошлым и сыростью. Мне, разумеется, был интересен Саратов, и я вычитывал, вычитывал только Увек. Этот город 1919 года в его воображении назывался Ордынином и на его крепостной башне всегда до революции была надпись:

Спаси, Господи,
Град сей и люди твоя
И благослови
В ход воврата сии

* * *

Коломна и Увек никак не рифмуются. Но зачем-то надо было человеку и писателю Пильняку свести их в одном обрывистом «Голом году». Скрестить в монгольском окрике, слове «Ордынин». Так, чтобы побежали по лысой вершине, где горько и сухо пахнет полынью, — от балки к раскопкам, с той стороны, от Николы, гуськом, широкой, неспешной побегой, голые женщины, с распущенными косами, с черными впадинами лобков, с метелками ковыля в руках, и, безмолвно добежав до раскопок, обежали круглую развалину на веретии и повернули к обрыву, к балке, поднимая полынную пыль.

Чтобы сказал Баудек Наталье: — Где-то Европа, Маркс, научный социализм, а здесь сохранилось поверье, которому тысяча лет. Девушки обегают свою землю, заговаривают своим телом и чистотой. Это неделя Петра-Солнцеворота. Кто придумает — Петра-Солнцеворота?! Это прекраснее раскопок! Сейчас полночь. Быть может, это они заговаривают нас. Это тайна девушек.

Чтобы снова из поля повеяло сухью и в безмерном небе упала звезда, а кузнечики звенели сухо и душно. И пахло горько полынью.

Он скрестил их, Увек и Коломну, чтоб из земли выходили века. Чтобы гадать: кто неведомый приходил сюда из Азиатских степей поставить город и исчезнуть из истории — навсегда? Чтобы в одеждах, рассыпающихся от прикосновения, как пепел, лежали в курганах, в каменных склепах, в каменных гробницах, человеческие костяки, с кувшинами и блюдами, украшенными наездниками и охотниками, где некогда были пища и питье, с костями коня у ног, с седлом, отделанным золотом, костью и камнями, и кожа у которого стала, как мумия. Скрестил, чтобы при входе в эти каменные склепы, где ничем уже не пахнет, мысли становились четкими и покойными, и в душу приходила скорбь.

Он жил в пожилой, но не умершей скромной Коломне, в маленьком доме в четыре окна возле Николы-на-Посадах, белой церкви о сорока кокошниках, на древнем кладбище при ней.

Ахматова сюда приезжала к нему, искала по Посаду, но не отыскала — домик с палисадником у церкви. Сфотографировалась на камушке, написала стихотворение. Приезжала, значит, не одна — с фотографом. Рядом были, у Николы, а домик-то не нашли.

Пильняк и сам приезжал сюда, помнят, потом — в сверкающем автомобиле, с прекрасной японкой — зачем-то. И кто-нибудь обязательно пожалел, что все же не шлепнул его в 18-м злом году.

У него, в злом и счастливом году, был керосин и связка ключей, и он говорил про себя по ночам босьми словами кривого Егорки: «— А пришел я к вам, братцы, — не дело вы затеяли — рыть эти места. Потому место эта, Увек, тайная, и всегда она пахнет полынью. При Степане Тимофеевиче стояла здесь на самой веретии башня, и в ту башню заключена была персидская царевна, а персидская та царевна, красоты неописанной, оборочалась сорокою, — по степи летала, народ мутьянила, облютившись, как волк, черноту наводила... Дело это старобытная. Прознал про то атаман Степан Тимофеевич, пришел к башне, посмотрел в окошко, — лежит царевна, спит, — не домекнул, что это тело ее лежит, а души-то при ем нету-ти, летала она, душа-то, сорокою по земле в тот час. Призвал атаман попа, окрестил окна святою водою живою... Ну, и летает с тех пор по Увеку душа неприкаянная, плачет, с телой своей соединиться не может, о стены каменные бьется. Башня та развалилась. Степан Тимофеевич на Капказ-горе прикован, а она все томится — плачет... Место эта глухая, тайная. Девки иногда за красотой за персидской сигають нагишом, ночью, в солноворот, об эту пору, иначе это не знатье... А так растет здесь полынка, и расти ей».

Кряхтел в седую старикову бороду, да отвечал сам себе, не боясь керосина в лампе, бодрым голосом раненого бойца: «— Однако, отец, теперь Степан Тимофеевич атаман Разин с горы той сошел, а стало-ть, и копать можно. Теперь леворюция, народный бунт».

Его домик на Посаде с того самого угла крепости, вытянутой вдоль Москва-реки, где за сто лет до него жители Коломны «раскрепостили» башню на кирпич. Вот была для нищего работа! Вынимали из подножия кирпич и камень — подставляли бревна.

Они запустили ее, эту толстую, эту неприподъемную, итальянской работы, ракету в мелкий полет, вдрызг. Было царствие царя Николая. Огонь! Ключ на старт! Почти за сто лет до того, как пришли за ним, писателем Пильняком, в его день рождения. И увели навсегда, страшно веселого, в белой рубашке с расстегнутым воротом.

Он жил неподалеку от моста, который хитрые мужички могли быстро разобрать-собрать за особую плату для богатых московских барж. Он ходил на тот берег, там белел монастырь, гулял вокруг поля на Пьяной луке и видел, что город Коломна — корабль. Огромный, с мачтами колоколен. В отраженье ему не было, не хватало, неба. Думал, может, потому и разбирали, выламывали кирпич, рушили башню... Знал, выкладывали битым кирпичом себе погреба, капусту квасили. Слушал, знахарские сказки кривого Егорки, подслушивал, рушил:

— Сошел-то, сошел, тот Степан Тимофеевич, да не дошел еще до наших местов. Повремени, сынок, — повремени!.. Все будет!.. А леворюция — это ты верно — наша, бунт! Время не пришла. Народ рылу свою покажет, показал, — бунт! Мы молчим, а что молчим, знаем, что молчим! Огонь: он красный, кровь красная, — где огонь, там и кровь. Мы молчком, мы молчком!..

Писатель Борис Пильняк жил неподалеку от въездных ворот, на которых когда-то, до революции, было написано:

Спаси, Господи,
Град сей и люди твоя
И благослови
В ход вврата сии

Это были только ворота, без стен по обе стороны. Сколько погребов! Сколько кислой капусты! Дальше, за незримыми стенами домишки, дома — целый огород.

* * *

Там, в этом огороде, голом, без стен, барышни чтили местного барина Лажечникова, крестьянские девки день и ночь взбивали пуховые перины, а заезжие кавалеры читали на закате наизусть стихотворенья Надсона.

Войдя в те ворота, я нашел кованый гвоздь без шляпки — неиспользованный, ржавый. Без головы...

* * *

Так он и строил, писатель Борис Пильняк, страшно веселый, в чистой белой рубашке, строил свои романы из неотесанных глыб впечатлений и попавших под руку слов, выкладывал в керженских лесах над Волгой под собирательным Ордынином плавную линию Увека.

И раскопки над великой степью, где вымирали от голода села немцев-украинцев и русских-казахов, ему были рытьем окопов перед праздничной битвой за Свободу. Чтобы всколыхнуть первопричины человеческих побед и несчастий. И возвести сквозь бытовой воздух бунта вечный покой любви молодых созвездий.

Роман сходился и расходился то полынными, со стрекотом кузнечиков, тропками Увека над Волгой, то упирался в тротуары возле древних башен. Здесь он — здесь! — писатель в круглых очках-велосипедах, сидя у окошка в домике у погоста, как раз и писал свой роман. Свой «Голый год». Сидел и выводил немецким почерком, сочетая города:

«Глава IV

КОМУ — ТАТОРЫ, А КОМУ — ЛЯТОРЫ

(объяснение к подзаголовку: в Москве на Мясницкой улице стоит человек и читает вывеску магазина: Коммутаторы, аккумуляторы).

— Ком-му... таторы, а... кко-му... ляторы... — и говорит: — Вишь, и тут омманывают простой народ!..).

весна 2008—2009,
Саратов — Москва

Григорий Тульчинский

Обессиленное общество

Несколько лет назад мне довелось присутствовать на презентации уже не помню какой программы Правительства Санкт-Петербурга. Представлял ее тогдашний губернатор В.А. Яковлев. Отвечая на один из вопросов, он помолчал и изрек: «Взрослые и дети — это самое страшное, что может быть». Я подумал, что ослышался, переспрашивал у других участников мероприятия. Все было именно так. И это не было оговоркой — это была глубоко выстраданная идея отечественного руководителя, «крепкого хозяйственника»... Это первая история для начала.

А вот — вторая. Помнится, где-то в самом начале 1980-х, когда я работал в Институте культуры, к нам на только что образованную кафедру управления и экономики культуры пришел профессор В. Сыроежин — молодой, энергичный, один из ведущих тогда (сейчас бы сказали — «продвинутых») отечественных экономистов. Он предложил сделать доклад о роли культуры в экономике, поскольку несколько неожиданно для самого себя пришел к выводу, что культура — не отрасль экономики, а ее предпосылка, как он выражался — «пресуппозиция». Она не просто производит некие продукты и услуги, а формирует сами потребности, выступая в качестве фундаментального фактора развития самой экономики — хоть рыночной, хоть планово-распределительной. И ему было важно поднять эту тему в кругу специалистов из сферы культуры. Поскольку Сыроежин пришел с диктофоном, я попросил его дать распечатку записи — как доклада, так и его обсуждения. До сих пор храню эту распечатку как свидетельство небезнадежности отечественных экономистов.

Профессор Сыроежин, к сожалению, в полном расцвете творческих сил скоропостижно скончался. Потом начались «ускорение», «перестройка», «рыночные реформы», «семь лет тучных коров», теперь — «кризис»...

К чему я это все? Да прежде всего к тому, что практически все нобелевские лауреаты по экономике получили свои премии за разработки по социальной политике. А для нашей экономической «элиты», не только практиков, принимающих решения, но экспертов, теоретиков и прочих «консультантов», социальная политика — фактор все еще второстепенный.

ЛУКАВСТВО ИЛИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ?

Недавние разговоры наших ньюсмейкеров о том, что кризис — это сугубо зарубежных рук дело, что Россия — «островок безопасности», обеспеченный «подушкой» или даже «подушками» этой самой безопасности, довольно скоро стали производить впечатление даже не лукавства, а какой-то растерянной несостоятельности. Как пропагандистский прием в духе простого объяснения широким массам сложных проблем такая риторическая фигура еще может пройти, да и то со скрипом. Но не как

Об авторе | Григорий Львович Тульчинский родился в Ленинграде. Окончил философский факультет ЛГУ. Доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, автор 28 книг и более 400 публикаций. Живет в Санкт-Петербурге.

основание для практики. Тем более что почему-то именно в России кризис оказался наиболее тяжелым, и рубль почему-то упал ниже, чем другие валюты, а в экономике произошло не просто замедление роста, а резкое падение ВВП. Китай, например, уже в мае вышел на докризисные показатели...

Если кризис, который быстро перерос из финансового в экономический, а того и гляди перейдет в социальный, а там, не дай Бог, и в политический, — есть плод какого-то внешнего влияния, то получается, что Россия беззащитна от таких воздействий, она — игрушка внешних сил. Получается, что у российского общества серьезно ослаблен, если не вовсе отсутствует, иммунитет. Только прошу понять меня правильно: я решительно против изоляции, отгораживания от «могучих врагов». Фактически это тоже пропагандистский прием, с помощью которого мы уже наплодили и плодим врагов чуть ли не на пустом месте: Украина, Грузия, Прибалтика, Норвегия, Британия, на подходе Туркмения... Речь о другом.

Прежде всего важно понять причины происходящего. Знание и понимание — уже оружие, информирован — значит, защищен. Но до сих пор СМИ, специальные издания, сайты, конференции, в том числе весьма представительные, демонстрируют растерянность и попытки постановки диагноза без серьезного анализа состояния больного. Как прозвучало на одной весьма представительной конференции, любые экономические прогнозы всегда опаздывают на два—три месяца. И у экспертов есть только два пути их выработки: либо сопоставление с аналогичными случаями, либо выявление собственных закономерностей развития конкретного социума. Первый путь в современной ситуации малоприменим. Для второго у нас нет достоверных моделей развития отечественной экономики. Поэтому все прогнозы, которыми переполнены СМИ, — преимущественно идеологические споры с ложными дилеммами: рынок или государство, свобода или справедливость, банки или производители?..

Так или иначе, но можно констатировать общую несостоятельность российской политической элиты. «Общие понятия и большое самомнение в любой миг могут стать причиной большого несчастья», — писал И.-В. Гете. В самомнении нашей власти отказать никак невозможно. Так же, впрочем, как и в довольно «общем понятии». В результате уже растрачены основные средства суверенных фондов. Деньги, без всяких условий переданные на «спасение» банков и «правильного» крупного бизнеса, нахватавшего за рубежом долгов, сумма которых превышает долг государственной, сыграли против экономики. Банкиры так и не приступили к кредитованию производителей, а использовали доставшуюся им «подушку безопасности» для игры против рубля. Да и грех было не воспользоваться, когда государство дало им на это время, обеспечивая «плавную» девальвацию национальной валюты. Банки получили на этом баснословную прибыль и выплатили заpredельные бонусы своему «талантивому» топ-менеджменту. Если бы эти деньги просто раздать населению страны, то каждый, включая младенцев и пенсионеров, получил бы по \$1200 — средства, вполне достаточные для поддержания платежеспособного спроса.

Но есть, однако, факторы, выходящие за рамки «фактов личной биографии» нашего экономического руководства и политической персонологии. Это принципиальное непонимание природы и механизмов реальной экономики современного общества.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ И БЛАГА

Важно здесь то, что полноценные экономика и рынок не сводятся к удовлетворению индивидуального спроса на товары. Частные блага и услуги достаточно просто «расфасовываются» по объему и получателям. Одежда, продукты питания, услуги ЖКХ и т.п. имеют вполне конкретную характеристику — исключаемость. Потребление их одним человеком исключает потребление их другими людьми. Хлеб, съеденный одним человеком, уже недоступен другим.

Но существуют еще и общественные интересы — неделимые и неконкурентные. Некоторые из них выражают систему интересов индивидуальных: чистые вода

и воздух, безопасность, медицинские услуги и т.п.; а некоторые выражаются в ценностях всего общества: культурно-историческое наследие, определенный образ жизни, нравственность... Потребление общественных благ одним человеком не исключает, а предполагает доступность их для потребления другими людьми. Простой «расфасовке» они не поддаются. Воздух, которым мы дышим, — благо, данное природой всем сразу, исключаемость здесь невозможна. Городская архитектура — плод усилий многих людей, и при нормальных условиях не может быть объектом исключаемости. Шум, загрязнение воды или воздуха — зло, от которого невозможно избавиться отдельного человека. И наоборот — у отдельного человека нельзя отнять право наслаждаться тишиной и чистым воздухом в парке. Или можно, но до определенной степени, установив соответствующие границы и исключив посторонних лиц из пользования этим благом. В некоторых местностях пляжами и парками могут пользоваться только местные жители, на чьи налоги, как считается, содержатся эти зоны отдыха.

Чаще всего общественные блага убывают в процессе их потребления. Избыток потребителей или избыточная частота обращения к ним, как правило, наносят им ущерб. Шоссейные дороги — пример избытка потребителей, когда рост числа пользователей вызывает пробки и создает неудобства для других. Когда блага характеризуются неисключаемостью, мы имеем небольшие возможности их выбора и наше мнение о них не оказывает влияния на их качество. Более того, мы бываем вынуждены потреблять общественные блага, к которым относимся негативно: нерадивые ЖКХ, перенасыщенные транспортом магистрали, не вызывающие доверия и уважения правоохранительные органы и т.п. детали российского быта.

Поскольку никто не может быть лишен права пользования дарами природы, у людей возникает ощущение, что платить за это они не должны. Аналогично у владельцев предприятия, выпускающего дым в атмосферу, нет стимулов устанавливать дорогостоящее оборудование, фильтрующее дым. Кончается это все тем, что не удается обеспечить должный уровень общественных благ. Поэтому блага совместного пользования, когда исключаемость затруднена или невозможна, предполагают специальные усилия по поддержанию их уровня и особые структуры управления, которые могут эти усилия обеспечить. Рыночные институты тут не работают, поэтому оказывается необходимым вмешательство государства с его правом применять санкции к тем, кто уклоняется от участия в общих затратах и не бережет блага, принадлежащие всем.

Если в малых социальных группах контроль за справедливым распределением общих благ между всеми реализуем довольно легко, то в больших группах каждый человек анонимен, и безнаказанное нарушение справедливости — не редкость. В этом случае необходимо принуждение к участию в общих затратах (например, через сбор налогов) на поддержание должного уровня общественных благ.

То есть по самой своей природе общественная экономика нуждается в инстанциях, наделенных правом принуждения. Более того, само обеспечение законности и порядка — общественное благо, которое становится условием обеспечения всех прочих благ. Рыночная экономика, построенная на принципах исключаемости, обмена и добровольного взаимодействия, общественные блага обеспечивать не может.

Однако обращение к принудительным мерам — не гарант получения людьми благ. Наоборот, инструменты насилия могут использоваться для того, чтобы лишить каких-то людей права пользования общественными благами и тем самым сделать их более бедными, а не более богатыми. Например, государство позволяет большинству лишать различные меньшинства прав на какие-то блага.

Но есть общественные блага, которые в процессе потребления не убывают, а даже увеличивают свою ценность и значение. Спектакль, концерт, книга, фильм, политические и религиозные идеи — чем больше народу ознакомится с ними, тем они значимее. Как говорил Б. Шоу: «Если у тебя есть яблоко, и ты мне его отдал, у тебя яблока не стало, оно стало моим, а если я его съем, то его вообще не станет. Однако если у меня есть идея, и я поделюсь ею с тобой, у нас будет общая идея». Это

полностью соответствует роли в обществе морали, искусства, образования и многих других общественных благ...

Важно понять, что экономика социальных благ принципиально отличается от рыночной экономики. Управление ею в корне отлично от управления и контроля как в коммерческих структурах, так и в государственной сфере. Если частные блага (товары и услуги) в силу легкости их «расфасовки» могут быть подсчитаны, соотнесены с издержками и прочими количественными показателями, то общественные блага прямому измерению не поддаются. Увеличение доступа к качественному образованию, к услугам учреждений культуры даст результат в росте человеческого капитала, но насколько именно он возрастет — точный ответ дать невозможно, поэтому невозможно точно сопоставить затраты и прибыль. А поскольку трудно измерить «выход» общественных благ и услуг, трудно и оценить качество работы инстанций, ответственных за общественные блага.

Вот основные проблемы организации общественной экономики: отсутствие исключаемости, отсутствие количественных показателей и соответствующего способа измерения, малые возможности индивидуального выбора, а также неэффективность и опасность полного государственного контроля в этой сфере.

В зрелом гражданском обществе с производством общественных благ связана деятельность некоммерческих негосударственных организаций (НКО). Именно они занимаются деятельностью, которая в принципе не может быть осуществлена в коммерческом режиме. Поэтому в производстве и распределении общественных благ важную роль играет самоорганизация обществ. Такие общественные институты также обладают правом принуждения. Например, уставы жилищных кооперативов и кондоминиумов дают право взимать сборы за предоставление совместно используемых услуг и оборудования. Во многом аналогична роль религиозных организаций, профессиональных и творческих союзов, благотворительных обществ, спортивных и прочих клубов.

Таким образом, сектор общественных услуг представляет собой множество сфер производства и потребления: общественный порядок, образование, культура и искусство, водоснабжение, пожарная охрана, социальное обеспечение, здравоохранение, транспорт. Работа в них организуется на основе различных форм собственности: государственная, муниципальная, общественных организаций, частная — и в различной организационно-правовой форме.

Каждая из этих сфер имеет разные возможности сочетания общественных и частных интересов, централизации и координации. Так, в сферах охраны общественного порядка или водоснабжения — большие возможности централизации, чем в сфере культуры и искусства. Однако все участники процесса находятся в тесной взаимосвязи, суть которой — социальное партнерство. Например, оптимальный способ финансирования образования и культуры — объединение местных, федеральных, региональных и частных ресурсов. А если в обеспечении общих благ нет пропорционального участия как заинтересованных, так и ответственных сторон, как это было в советской экономике, — то получающий выгоду может счесть их бесплатными.

Очень важно также увеличение возможностей выбора общественных услуг и их конкуренция. Именно это открывает перспективы для совершенствования. Конкурентность — вообще ключевой фактор демократии. Коммерческие и государственные структуры всегда склонны к монополизму и заинтересованы в уменьшении конкурентных альтернатив. Если им это удастся, конкуренция становится неэффективной, а то и деградирует до сговора.

Поскольку рядовые члены общества могут не отдавать себе отчета в важности и необходимости таких ценностей, которые выступают именно общественными, — выразителями, носителями и защитниками общественных интересов в *нормальном обществе* выступают просвещенная часть граждан, государство и элита.

Важная оговорка. Под элитой я понимаю не правящий класс и не тех, кто «круто попал на TV», а людей, дающих обществу то, без чего оно деградирует, — образцы. Нравственные, интеллектуальные, духовные и художественные.

ОТКУДА БРАТЬ СИЛЫ

Когда речь заходит об обществе, социологи говорят о классах, этносах, стратах и прочих социальных группах. То есть рассматривают вопрос структурно-инвентаризационно. Но к концу XX столетия эта привычная парадигма постоянно дает сбои, что отчетливо видно на попытках объяснения российского общества.

Привычное различие рабочих, крестьян и служащих для экономического и политического анализа ничего не дает, поскольку реальные социальные силы, такие как бюрократия, молодежь, творческая интеллигенция, массмедиа, маргинальные группы и другие, — в традиционном различении не улавливаются и как бы не существуют.

Не помогает и ориентация на национально-этническую структуризацию. На время нация может стать реальной объединяющей силой — когда национальная идея (освобождения или завоевания) овладевает массами, когда появляются харизматичные лидеры (очень часто — иной национальной принадлежности), когда появляются средства для приобретения оружия и т.п. Но плодами национального движения все равно воспользуются силы, интересы которых и наполнили абстрактную идею реальными возможностями.

Классы и нации — понятия необходимые, но только на уровне предварительных классификаций и систематизаций. Не классы и нации ткнут общественное бытие, а социальные силы. Поэтому ход и результаты «революционных преобразований» для большинства аналитиков, пользующихся традиционными категориями, оказались неожиданными. Более того, традиционные классификации абсолютно ничего не смогли дать для прогнозов и выработки решений в таких, например, ситуациях, как выборы в Государственную думу или распад СССР, в котором традиционные социальные группы не были заинтересованы. Социологический анализ превратился в классификационную игру ума.

На повестку дня стала смена аппарата осмысления общественных процессов. Новая понятийная схема должна выявить реально действующие социальные силы, их личностное самоопределение и возможности самоорганизации с учетом нелинейности и катастрофичности (в терминологическом значении теории катастроф) социальных процессов.

Материалом для подобных исследований вполне может служить наша политическая жизнь. Ассоциации, партии, объединения, движения не создает теперь только ленивый. На выборах выдвигаются подчас совершенно случайные люди — лишь бы они по какому-то поводу были известны более чем троим другим. Государственная дума напоминает заповедник самозванцев — депутаты выражают непонятно чьи интересы, поэтому прежде всего удовлетворяют свои — как правило, имущественные. Парадокс, однако, в том, что эта картина очень близка состоянию политической жизни экономически развитых стран, где политические партии давно уже не выступают носителями идеологии традиционных классов. Политические партии США, ФРГ, Франции, Великобритании, Испании, скандинавских стран и др. являются, скорее, аппаратом по мобилизации на выборы — командами, успех которых зависит от привлекательности программы и обаяния лидера, финансовых и организационных возможностей, доступа к СМИ.

Поэтому центральным понятием обществоведения представляется именно **социальная сила** — общность людей, объединенных интересами и программой их реализации, а также обладающих ресурсами — материальными, финансовыми, организационными, информационными, человеческими — для осуществления этой программы.

Новый подход акцентирует интеграцию целей и средств. Он улавливает направленность развития общественной системы, определяющую ее функции, закрепляемые в определенных структурных образованиях.

С этой точки зрения и научная, и художественная, и политическая, и религиозная жизнь развиваются по одной схеме: новая идея создает объединение единомышленников, которое развивается в неформальную ассоциацию и далее — в социальный

институт. На каждом из этапов создаются условия перехода к следующему уровню самоорганизации социальной силы: систематическое общение, выдвижение лидера, вербовка учеников и сторонников, доступ к СМИ, финансовым и материальным ресурсам.

Современное российское общество характеризуется отсутствием динамичных социальных сил. Это общество обессиленное. Супергосударство, распоряжающееся всеми ресурсами, и обездоленные (в буквальном смысле слова лишённые долевого участия в собственности) граждане. Бизнес, у которого в любой момент могут отобрать все ресурсы, служащие, студенты, даже рабочие — не социальные силы, в отличие от чиновников, спецслужб, криминала, СМИ, армии.

Это буквально бессильное общество. Оно не способно выразить и реализовать общественные интересы. Поэтому фактическими социальными силами становятся сложившиеся социальные институты — коллективы предприятий и их управленческий персонал, отраслевые структуры, спецслужбы, СМИ... Их функции не относятся к политической жизни, но они реально объединяют материальные и финансовые ресурсы, а значит — людей при этих ресурсах. И люди в отсутствие общественных интересов оказываются заложниками этих структур. Путь выхода из этой абсурдной ситуации — естественная самоорганизация здоровых социальных сил.

Почему в нашем отечестве нет ясного и четкого сознания общественных интересов, хотя бы даже представлений об общественных благах — выраженных, артикулированных, оформленных и защищенных? Одна из причин лежит, наверное, в исторически сложившемся способе хозяйствования, основанном на использовании природной ренты. И государство с самого своего возникновения рассматривает все свои ресурсы, включая население, как ренту. Оно не заинтересовано в повышении конкурентоспособности экономики, росте качества жизни людей — у него просто другие функции. Фактически оно — способ обогащения носителей власти, в современных условиях — чиновничьей бюрократии.

Это даже не коррупция. Это сама природа российской государственности.

Российское государство, как известно, возникло не для защиты богатеющей городской слободы и остального населения. Наоборот... Первое письменное упоминание о Руси в византийских летописях времен Константина Багрянородного говорит буквально следующее: «Осенью князь со своей ратью выезжает на кормление». Ярким примером такого кормления служит история противостояния древлян с Игорем и Ольгой. «Отдай мне, но не хазарам».

И что изменилось с тех пор? Разве что не только князь и не только осень.

За рубежом еще до революции было найдено определение специфически российскому способу хозяйствования: «вотчинная экономика». Это когда целые регионы и отрасли отдавались в кормление «правильным ребятам». В нашем Отечестве на протяжении всей истории не собственность рождала власть, а наоборот — власть порождала и делила собственность. И, как писал В.В. Розанов, вся собственность на Руси — от того, что либо ограбил кого, либо в подарок выпросил.

Отсюда и общественное сознание, представления о том, что это не мы, граждане, кормим государство, а оно нас кормит и должно накормить. Меня потрясли результаты одного опроса, согласно которым 48% граждан РФ полагают, что благотворительностью в нашей стране должен заниматься бизнес (потому как у него, мол, деньги есть), а оставшиеся 52% уверены, что благотворительность — дело государства!!! Это уже полное отсутствие свободы воли и гражданского самоопределения. Попросту — рабская психология.

РОССИЙСКИЙ ПАРАДОКС

И тут мы сталкиваемся с чуть ли не главным нашим парадоксом. С одной стороны, общество обескровлено и обессилено повсеместным властным «кормлением». А с другой — если что-то может быть сделано, то только при активном участии государства. Получается, что с нашим государством — плохо, а без него — совсем невоз-

можно. Пройти этими Сциллой и Харибдой, определив роль государства в современной России, — задача очень конкретная, на уровне социальной инженерии.

Противостояние кризису требует не изоляции, а сознательной, вменяемой социально-культурной терапии и инженерии. Только имеется ли на это политическая воля?

Недавно была разработана и 12 мая этого года утверждена президентом «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». В ней впервые в истории новой России сформулирован принцип национальной безопасности через устойчивое развитие в первую очередь экономики и социальной сферы, обеспечение достойного уровня и качества жизни.

Неужели это не очередная декларация, а государство действительно поняло, что должно делать? Ведь то, чем оно до сих пор занималось, ведет Россию в экономический и политический тупик. Речь идет не просто о государственном регулировании. Хотя даже эта роль российским государством не выполняется. Вместо регулирования власть откровенно сама лезет в бизнес. А такая тонкая проблема (кстати, постоянно провозглашаемая приоритетной), как борьба с инфляцией, осуществляется сдерживанием и даже сокращением денежной массы. Почти по-сталински: нет денег — нет проблем.

Отвечая за все, государство фактически не отвечает ни за что, а вмешательство его в экономику может оказаться катастрофой, как это получилось, например, в конце 2008 года. В четком осознании зоны ответственности государства и состоит проблема.

Думается, эта зона ответственности должна быть очерчена производством социальных благ, которые, как уже было сказано, в принципе не могут быть реализованы на коммерческой основе. В конечном счете все сводится к развитию человеческого капитала, вложениям государства в социальное и гуманитарное развитие населения. Правовое и политическое самосознание людей предполагают их достаточно высокое нравственное, духовное и интеллектуальное развитие, не говоря уже об их физическом и психическом здоровье.

Именно за учет и развитие социальных и социально-культурных факторов и получают нобелевские премии ведущие зарубежные экономисты. В развитых экономиках государством перераспределяется до 1/3 ВВП. Речь идет не о благотворительной раздаче, а именно о производстве и поддержании общественных благ.

Если бы усиление государства после дела ЮКОСа было оправдано чем-то подобным, но... Оно занялось простым перераспределением собственности. Даже продекларированные т. н. «национальные проекты» собственно проектной части не имели: государство попросту бросило часть присвоенной ренты «на драку собаку»: что-то на медицину, что-то на село, что-то на образование — без внятного проектирования...

Отсутствие внятной и вменяемой социальной политики ведет к вырождению общества. Именно такой вектор довольно ясно обозначился за последние годы. Путь к экономике без денег и к обществу без людей.

Недоразвитость социальной инфраструктуры уже серьезно сказывается на экономике. Например, отсутствие нормального рынка жилья, делающего его доступным, определяет невозможность переезда специалистов к местам новой перспективной работы и делает диспропорцию развития регионов угрожающей.

Необходимость социальной политики очевидна не только в экономике. Несостоятельность политического дизайнера и его наполнения: федерализм и унитаризм, роль государства в экономике, освоение новой географии, отношения с соотечественниками за рубежом и т.д. — объясняется тем же. Дискуссии об империи, «постимперском синдроме», «кризисе идентичности» при анализе наших реальных проблем показывают свою пропагандистскую надуманность и реальную опасность, поскольку в этом контексте невозможно не то что решить, но даже поставить практические вопросы. Так вуалируется несоответствие российской реальности массовым ожиданиям населения. Опросы показывают, что за т.н. «имперским синдромом» реально стоит не ностальгия по империи, а желание качественно иного

уровня жизни. Надуман и вопрос о «кризисе идентичности» — фактически за ним стоит проблема личностной самореализации в новых цивилизационных условиях. Также и тезис о великодержавности сталкивается с проблемой: в современном обществе величие страны определяется не столько размерами, ресурсами и военной мощью, сколько ее «престижем», привлекательностью для «новых людей», человеческого капитала, являющегося трендом развития общества. Аналогично и проблема сохранения «русского мира» декларируется, но в план технологии решения, в частности, проблемы (им)миграции, не переходит.

Между тем деградация высшей школы заставляет уже даже правительство делать конвульсивные, плохо продуманные движения. О науке приходится говорить в полуностальгическом-полумифологическом плане. Вместо реальных вложений в серьезную науку правительство тешит себя и телезрителей разговорами об инновационных технологиях, реальная материальная и научная база которых отсутствует. Как известно, IBM, сосредотачиваясь на разработках программного обеспечения, искала материально-технологическую базу, куда можно было передать производство компьютерного «железа». Они надеялись найти такую базу в России, но не нашли. Нашли в Китае, который и заполнил теперь мир своими «Acer»'ами и «Asus»'ами, конкуренты которых все дальше уходят в научно-технологический отрыв.

Повторю: России остро необходима вменяемая социальная политика, направленная на развитие материальной инфраструктуры, реализацию общественных интересов и социальных благ. Задача государства — возглавить разработку и реализацию такой политики. Но именно — возглавить. Решить ее в одиночку ему не по силам, да и не надо. Надо — на основе социального партнерства, выстроить которое — задача для государства не только благородная, но и благодарная. Хотя бы потому, что часть забот и проблем по реализации социальных благ и интересов могут брать на себя социально ответственный бизнес и самоорганизовавшаяся общественность, способные решать свои проблемы вне зависимости от того, с какой ноги встал сегодня президент и на кого нахмурил брови глава правительства.

Только эффективные социальные инвестиции государства и развитое социальное партнерство позволяют обществу наработать иммунитет к экономическим и социальным потрясениям. И только это позволит нам заговорить наконец о его состоятельности.

Наталья Иванова

Трудно первые десять лет

конспект наблюдений

I. ОБ ОТЛОЖЕННОМ ВЛИЯНИИ

Двадцать первый век в русской словесности еще не начался, — литература договаривает век двадцатый. Договаривает, додумывает, рефлексивует. Причем во всех планах — содержательном и выразительном. Главный ее жанр — элегия.

Двадцатый век был испытанием не только для России, но и для русской литературы, разделенной на части. Части, может быть, и срослись, — но части были меньше чаемого, а «большого целого» не получилось. Вместо «большого целого» литература распалась на множество «литератур» и сублитератур; хотя сегодня следует сосредоточиться все-таки на той литературе, которая предназначена для осмысленного чтения, а не для времяпрепровождения в очереди к стоматологу.

Русской литературой были упущены возможности — те, что сулил ей наработанный золотой капитал девятнадцатого века и серебряный — двадцатого. Поэтому в конце века ей пришлось срочно догонять — и моделировать саму-себя-возможную. Но сделать свой путь последовательным она уже не смогла. Сделать так, чтобы вовремя и во всей силе, вживую, литература обрела влияние Андрея Платонова, Вл. Набокова, Пильняка, Ходасевича... Нет, это было уже недостижимо. Все равно что говорить о самой России: какой бы она стала, если бы не 1917 год.

Другой.

Богатой — как Америка, а может, еще богаче. В том числе людьми: демографами подсчитано, что население страны сегодня было бы вдвое больше.

Нереализованные возможности, неродившиеся дети, упущенная выгода — все это распространяется и на русскую литературу двадцатого века.

Поэтому она изо всех сил к концу века нагоняет сама себя, с конца 80-х и все 90-е годы получая и осваивая утаенное наследство. Но того *органического* влияния, которое было бы оказано на следующие поколения, не случилось. Не произошло.

Потому что отложенным влияние не бывает.

II. О НЕОСОВЕТСКОМ

Литература начала двадцать первого века с трудом сходила с дороги, проложенной советскими писателями. Повторяю: *советскими*, — а не *русскими* писателями советского времени. Я имею в виду прежде всего художественный язык.

«Буря в стакане литературной воды» разыгралась после публикации статьи Ольги Мартыновой «Загробная победа соцреализма», написанной для *Neue Züricher Zeitung* и переведенной «ИноСМИ», а затем — более точно — самим автором для *OpenSpace*. Несколько лет тому назад я выпустила книгу не только об этом явлении, проявляющемся все более четко, но и о его истоках («Ностальгическое», М., 2003). Советское, писала я тогда, оказалось «эстетически стойким, если не непобедимым. Постсоветская культура продолжает демонстрировать затаенную зависимость от языка и стиля, от действующих лиц и исполнителей ушедшей эпохи». О. Мартынова задает вопрос, сдвигая

ситуацию: «Речь идет <...> о терпимом, если не поощрительном отношении к этому явлению со стороны “литературной общественности” за пределами старого “красно-коричневого лагеря” (т.е. если бы Распутину или Белову нравился Захар Прилепин, то в этом не было бы ничего странного или интересного; интересно, когда он нравится Александру Кабакову, Евгению Попову или Александру Архангельскому)». Сейчас, когда я пишу эти строки, по Первому каналу ТВ начинается очередной выпуск новой программы «ДОстояние РЕспублики» — собравшиеся в телеаудитории вдохновенно перепевают популярные советские песни 40—50-х годов. А по каналу «Россия» идут «Лучшие годы нашей жизни», продолжаются триумфы Кобзона, Пахмутовой, идет праздничный концерт ко Дню милиции. Советское — методом погружения. Действительно — «речь идет о культурном реванше».

Дело не только в том, что *не успели* дойти до новых писателей уроки Платонова (они и дойти не могли), — но в том, что *их подменили* урокам условного Леонова. Именно об этих уроках прямо свидетельствует и биография Леонова, созданием которой увлекся новый писатель нового века Захар Прилепин. Мне возразят: но ведь Алексей Варламов пишет биографию Платонова. Отвечу: Платонов требует десятилетия жизни, как он потребовал у Льва Шубина, Булгаков — у М. Чудаковой, а писать о нем книгу после книг о Грине, Пришвине, Алексее Толстом, Михаиле Булгакове (автором всех этих жезээловских работ и является Варламов) — совсем иное дело: получается, что в наше конкретное время изготовление литературных биографий поставлено на поток. Главное — чтобы источники были опубликованы и, разумеется, обкатаны. Так писатели дорабатывают двадцатый век. И литературные биографии, о которых речь, — именно об этом и свидетельствуют.

Новый писатель, уже двадцать первого века, обращается *назад* — и не для того чтобы отличиться от него, а за поддержкой.

Итак, одна из самых разрабатываемых прозой двадцать первого века территорий — территория *адаптации (литературного века) предыдущего*.

III. О ДВУХ НАЧАЛАХ

Допускаю, что это не совсем некорректно, но для того чтобы увидеть уровень новых современных достижений, притязаний и возможностей, попробую сравнить первые десять лет века XXI и аналогичный временной отрезок XX века. Для наглядности. Списочным составом. Навскидку.

И вот что получается — если разбить имена на две колонки. Например:

1900-е

Лев Толстой (умер в 1910 г.)
 Антон Чехов (умер в 1904 г.)
 Максим Горький
 Иван Бунин
 Леонид Андреев
 Александр Блок
 Иннокентий Анненский (умер в 1909 г.)
 Андрей Белый
 Д. Мережковский
 Николай Гумилев
 Валерий Брюсов
 Константин Бальмонт
 Николай Бердяев
 Василий Розанов

К. Станиславский
 В. Немирович-Данченко
 В. Мейерхольд

2000-е

Александр Солженицын (умер в 2008 г.)
 Андрей Битов
 Владимир Маканин
 Вл. Сорокин
 Виктор Пелевин
 Михаил Шишкин
 Олег Чухонцев
 Александр Кушнер
 Елена Шварц
 Сергей Гандлевский
 Тимур Кибиров
 Мария Степанова

Дмитрий Галковский

О. Табаков
 П. Фоменко
 Л. Додин
 А. Васильев

Ф. Шехтель
М. Врубель
К. Сомов
А. Бенуа
В. Серов
Е. Лансере

И. Кабаков
Олег Кулик
Комар и Меламид

С. Дягилев

М. Гельман

Символизм, реализм (новый)

Постмодернизм, «новый реализм»

Слева — многообразие имен: поэтов, прозаиков, художников, философов, театральные деятели и т.п. (а это — еще только первая половина Серебряного века. А справа — наш. Не медный, не латунный, не хрустальный и совсем не титановый. Пока еще определение не найдено, но искать будем; может быть, к концу века и найдем. Что видно сразу и невооруженным глазом — перепад мощностей. Может быть, этот перепад и вынуждает коллег-критиков быть снисходительнее, чем следовало, к упомянутым и не упомянутым мною участникам литературных бегов и забегов, игр и игрищ. А в остальном — другом — и многом — совпадения и переклички. Иногда смешные, иногда поразительные.

Вызовем литературно-критический голос оттуда, из первого десятилетия века двадцатого (этот голос, голос двадцатипятилетнего Корнея Чуковского, ровесника Валерии Пустовой, явственно слышен благодаря собранию сочинений в пятнадцати томах, предпринятому издательством «Терра» как раз в двухтысячные годы):

«Вот пришло, наконец, “их” царствие, спасайся, кто может и хочет!

Но вдруг они (публика. — *Н.И.*) заготовали, и я, очнувшись, увидел, что слушают меня тоже они. ...царствие готтентотов пришло».

И тем не менее — в 1908 году К. Чуковский выпускает книгу «От Чехова до наших дней», в которую включены «литературные портреты и характеристики» многих из перечисленных мною поэтов и прозаиков, плюс Куприна, А. Каменского, Б. Зайцева; о Леониде Андрееве выпускает отдельную книгу. Пишет К. Чуковский обо всем и обо всех, часто несправедливо, но — какое обширное, какое богатое расстилается перед ним литературное поле! Вот заметка «О короткомыслии» (газета «Речь», 1907 г.): «На наших глазах вымирает один из существенных родов российской журнальной словесности — литературная критика. Правда, как раз в последнее время появилось особенно много подобного рода произведений, но они-то и свидетельствуют о своем полнейшем вырождении». Надо же! А нам-то отсюда кажется, что «у них» было все в порядке — не то что у нас (см.: дискуссию «Критика в “толстых” журналах — уход на глубину или — в никуда?» — «Знамя», 2009, № 11).

А примеры, которые приводит (и далее разбирает) К. Чуковский, — это «Силуэты» Айхенвальда и «Книга отражений» И.Ф. Анненского.

Несправедлив? О да!

Но, высказываясь сверхэмоционально, Чуковский свободен и независим: «Сначала просто: Брюсов наездничал, Белый озорничал, Гиппиус манерничала, и никто решительно не смотрел на себя всерьез» (тот же 1907-й).

Перед ним — богатство, к тому же растущее, как на дрожжах.

И он к этому разнообразному богатству исключительно строг.

Сегодня — другое дело.

Сегодня с богатством, как бы это поточнее сказать, проблемы — зато от восторгов просто некуда деваться.

И все же — ведь что-то у нас скопилось к концу десятилетия? Ведь сравнения — тем более эпохи, какой стал Серебряный век для истории русского искусства и литературы, — с нашим, еще не отстоявшимся «сегодня» — всегда слишком похожи на столкновения в лоб: можно и костей не собрать.

IV. О КАТЕГОРИЯХ И ПОКОЛЕНИЯХ

Литература потеряла былую привлекательность как для читателей (40% взрослого населения России вообще не читает книг — об этом говорят социологические опросы, с того же начал В. Путин встречу с писателями 7 октября 2009 года в музее А.С. Пушкина на Пречистенке¹), так и для писателей. Молодые люди выбирают сегодня другие пути для реализации себя в стране и мире.

Утратила свое положение в обществе.

Перешла в разряд занятий необязательных — и в то же время обременительных.

Литературная карьера только в исключительных случаях приносит социальный успех и богатство.

(В списке русских форбс-миллионеров писателей представляли трое: Александра Маринина, Дарья Донцова и Борис Акунин.)

Заработать деньги и обеспечить рост молодому энергичному человеку намного легче в других областях и сферах.

Зачем же тогда политики, телезвезды и телеведущие, модные газетные обозреватели, актеры выпускают в свет свои сочинения? Подтверждать свое реноме толстой книгой с картинками? (Как правило, все вышеперечисленные категории выпускают книги либо увесистые, либо очень увесистые.) Зачем Вл. Суркову сочинять роман? «Околоноля» — подтверждение интеллектуального статуса? Это вряд ли.

А если речь идет *просто* о писателе... Здесь и возникают трудности с собственной судьбой.

С другой стороны, в последнее — именно — десятилетие наблюдается приток в категорию, как бы помягче это обозначить, *и/о писателей*. Иногда — *врио*. Потому что устают: даже это самое и/о надо постоянно подтверждать.

Почему так туманно, где имена и фамилии, адреса и явки?

Во-первых, потому что их много, оглянитесь вокруг себя в книжном магазине, — а во-вторых, может быть, они небезнадежны.

Писателей двухтысячных лет можно разделить на категории: писатель-профессионал, живущий за счет успеха и продажи своих книг; писатель-профессионал, живущий нелитературным трудом; писатель-профессионал, живущий за счет родных и близких; писатель-непрофессионал, живущий своим нелитературным трудом. Спрашивается, и зачем ему в таком случае литература?

Молодые рецензенты, обозревающие толстые журналы, с особым чувством — удивления или раздражения — отмечают публикации старших (даже сильно старших) коллег. И в обзорах «НГ-Exlibris'a», и в «ЛГ», например, обязательно заметят и похвалят К. Ваншенкина. В первое десятилетие века он действительно печатал постоянно свои новые стихи и мемуары. Кумулятивный сюжет литературной жизни — приращение текстами, не меняющими репутации. Как сложилось, так и продолжается: репутация Л. Зорина, А. Битова, Б. Ахмадулиной, Ф. Искандера, А. Вознесенского как сложилась к началу нового века, так и существует, продлеваясь во времени несмотря ни на что.

Появилось — за это время — не одно, а целых два новых поколения писателей, — вот они и повлияли (очень плавно) на изменение картины. «Прежние» — дописывали и переписывали, «новые» — начинали.

Писателям среднего возраста пришлось труднее всего: к старшеньким благоволили как к «дедушкам»; а вот «родителей» — еле терпели. Или не терпели вовсе.

Они пошли на гумус. Не к ним было привлечено внимание: для публики они были слишком утонченными, а для критики недостаточно новыми и парадоксальными.

¹ Для чего, спросим, Путин до начала разговора предъявил приглашенным писателям эти цифры? Интерес-то к вам у общества падает, но власть вас ценит, готова проявить сочувствие и оказать помощь?

V. О ВЕРТИКАЛИ И ГОРИЗОНТАЛИ

На грани веков современная русская литература совершала переход, довольно опасный и подобный военному — переходу Суворова через Альпы. И потери были не только человеческие — если можно так выразиться, форматно-направленческие тоже. Так что (и кого) русская литература теряла?

Ушли из жизни те писатели, кто много сделал в XX веке — повернув его, как Александр Солженицын, настраивая на новую стилистику, как Василий Аксенов, перевернув поэтику, как Всеволод Некрасов, Дмитрий Александрович Пригов, Лев Лосев... Оставив двадцатому веку его надежды и разочарования — Юрий Давыдов, Анатолий Азольский, Владимир Корнилов... В тоске по уходящим сравнялись метрополия и эмиграция (которой, впрочем, фактически для русской литературы — с появлением Интернета — не стало: да-да, именно Интернет с начала XXI века стал объединяющей, кроме всего прочего, силой).

В предыдущее десятилетие, в 90-е годы, допечатывались архивы, обнародовались утаенные и запретные тексты — угасая, все еще шли волны публикаций, начатых во второй половине 80-х. Но это уже были вкрапления, инкрустация, не так менявшие *состав литературной крови*, как в предыдущее десятилетие. Яркости, новизны и резкости они литературной ситуации не прибавляли. Хотя надо отметить, что сами публикации были гораздо культурнее. Сочинения Варлама Шаламова, Юрия Домбровского стали выходить в формате многотомников. Почти всегда — на плохой, к сожалению, бумаге и с минимальными комментариями.

Новое десятилетие отличает наступившее наконец полное разнообразие книжного рынка, бурное развитие книгоиздательств и, как следствие, — начало вытеснения книгами толстожурнальной продукции.

Как тут не вспомнить рассказ-притчу Владимира Маканина «Ключарев и Алимушкин»: чем удачнее и успешнее шли книгоиздательские дела, тем грустнее становились дела журнальные.

Издательства, внимательно следившие за журналами и работавшие «след в след» с журнальными авторами (и в контакте с их редакторами), перешли на другую, агрессивную стратегию: стратегию перехвата (сначала — готовых рукописей и, разумеется, готовых авторов).

Публикация в журналах стала рассматриваться скорее как «предпреьера» книги, как ее реклама — впрочем, необязательная. Да и иные авторы, обжегшись (первоначально) на привередливом журнале, решили строить свои отношения с читателем сразу через издательства.

И уже достаточно авторов, постепенно сформировавших перевес: здесь и те, кто «ушел» из журнала — например, Виктор Пелевин, — и те, кто туда отродясь не ходил, — например, Вл. Сорокин, Б. Акунин.

В первое десятилетие XXI века число «книжных» писателей резко увеличивается. Уходят из журнальных авторов Людмила Улицкая, Дина Рубина. Напечатала сразу отдельной книгой «2017» Ольга Славникова. Стратегия масслита изначально была книгоиздательской, что понятно, — писатели не масслитовские, но резко увеличившие свой потенциал (и тираж), тоже избирают этот путь. А далее их подгоняют издатели, готовые на хороших, даже отличных условиях издать книгу — хорошим, даже отличным тиражом. Ловушка захлопнулась — вернее, даже не ловушка, а золотая клетка.

Но это все — частности общего изменения культурной парадигмы.

И главное изменение произошло в массовом отказе от «главного». От иерархии. Произошло *покушение на вертикаль*. Вертикаль, образно говоря, положили¹. Литературное пространство стало расширяться экстенсивно, как земледелие в России, прирастая новыми территориями. И понятие высоты стало другим. Условная Маринина могла теперь высокомерно поглядывать на условную Петрушевскую — с высоты своих тиражей. Произошло то, что Л. Данилкин к концу 2000-х годов определил следующим

¹ «Все равно» — название поэтического сборника Андрея Василевского весьма показательно.

образом: «Культура больше не является неким классическим набором главных произведений. Культура — это твой персональный набор книг («Илиада» и «Одиссея» в этом наборе, или, как в брежневские времена говорили, «продуктовом заказе», необязательны)».

Это было процессом объективным, но для литературы как искусства (явления в принципе иерархического, по моему твердому убеждению) опасным. И с очень опасными — и весьма предсказуемыми, увы, — последствиями.

VI. О ЛЕВИЗНЕ

Можно составить список появившихся, «засветившихся» и освоивших 2000-е годы — как время своего рождения, становления и успеха.

Если говорить о прозаиках, это новая волна, вытеснявшая предшественников.

Впрочем, предшественники уходили и сами по себе.

Выразительным — в этом отношении — стало не столько решение жюри, сколько вручение премии «Русский Букер» за 2005 год.

Победителем стал Денис Гуцко, а председателем жюри был Василий Аксенов, с решением не согласный и демонстративно отказавшийся от своего участия в ритуале вручения.

Кто такой Денис Гуцко и какова его проза, знают и читатели нашего журнала — «Знамя» первым напечатало этого автора, отдав должное не столько веществу текста, сколько весьма острой и болезненной теме.

Так же, как и прозу Андрея Волоса (главы из книги, покамест лучшей у этого автора, — «Хураммабад», — тоже были напечатаны в «Знамени» и в «Новом мире»).

Но тема и проблема неожиданно стали определять оценку.

Так работали и продолжают работать и другие новые прозаики новой социальности, рядом с вышеупомянутыми: Игорь Фролов, Роман Сенчин, Захар Прилепин, Герман Садулаев. К ним можно присоединить Сергея Шаргунова, Игоря Савельева из Уфы. (Вообще в мой список попали два прозаика из «уфимской литературной аномалии» — Игорь Фролов оттуда же).

Военно-социальная тема определяет востребованность прозы Аркадия Бабченко.

Что объединяет — и что характеризует этих (и других, в мой список не попавших) писателей? Их частенько называют «новыми реалистами», но эту прозу лучше определить как *реальную*, а не реалистическую.

От классического реализма их отличает главное: поэтика. Они, как правило, *не создают свою художественную реальность*, как Лермонтов и Пушкин, Толстой или Достоевский, с героями которых мы сосуществуем как с более чем реальными, — *они описывают существующую*. С минимумом художественного преображения. И воображения. (Вот откуда, я полагаю, столь яростная реакция того же А. Бабченко на маканинский «Асан»).

Их проза вызывает в критике противоречивую реакцию — от безусловного приятия до безудержного отторжения. Как правило, с их текстами надо серьезно работать редактору — они недотянуты, недоделаны, недоформованы. Им надо прописывать недостающие элементы. Менять композицию. Не хватает профессионализма?

Интересно, в какую «направленческую» сторону стало клониться это литературное явление, представленное, повторяю, писателями не одного поколения — от совсем молодых до вполне себе зрелых.

А клониться — и довольно сильно — оно стало в сторону левую. Гуцко с Прилепиным, Прилепин с Садулаевым, Садулаев с Сенчиным... И к этой цепи примыкают все новые звенья — Ирина Мамаева («Гай»), Наталья Ключарева («Россия: общий вагон»). Я, признаюсь, побаивалась встречи Германа Садулаева (с его чеченским происхождением и чеченской темой в прозе) и Захара Прилепина в подмосковных Липках, на Форуме молодых писателей несколько лет тому назад, — а они, напротив, сразу нашли общий язык и даже подружились.

Левизна сближает.

VII. О ГЕРОЕ

В статье «Проекты будущего» («Зарубежные записки», 2009, № 3/19) Евгений Ермолин выдвинул свои соображения о путях русской словесности начала века.

Главных соображений у него два.

Первое: наша родина и есть наша русская литература.

Не могу не согласиться — только не считаю, что, живя вне России, утрачиваешь эту связь. Скорее наоборот.

В подтверждение этого своего тезиса Ермолин противопоставляет два ряда. «Даровитые, но зашедшие в глухой творческий тупик» — «швейцарец Михаил Шишкин» или «голландка Марина Палей». «Трудно даются новые вещи Юрию Малецкому»... Значит, жизнь вне географической России — в минус (особенно пикантно это соображение Ермолина выглядит на страницах нового толстого литературного журнала, возникшего в Германии — «Зарубежных записок»). А в плюс — Максим Свириденков, Ирина Мамаева, Александр Карасев, Захар Прилепин («сильные, бьющие в душу наотмашь слова»). Роман Сенчин (ему — особый комплимент за «героя»): попытался отойти от «альтер-эго», «удивительный почти в каждом своем рассказе Дмитрий Новиков». Впрочем, как и все другие, — знаки отличия получает и «сделавший уже немало Олег Павлов».

...Второе: молодому писателю обязательно нужно ощущать «миссию», складывать «чаемое духовное пространство актуальной напряженности».

Я так думаю, что, как только новые «миссионеры» начнут складывать это «чаемое духовное пространство», тут народ от литературы вовсе убежит.

Критик, с одной стороны, ставит верный диагноз: «Общественная жизнь вырождается. <...> Социальные процессы и вовлеченные в них массы, увы, часто заурядны, банальны и ничтожны». Современный критик ждет спасения и «жизни», и «литературы» (одновременно, в одном флаконе) от нового «значительного героя». Что, так уж и значителен Евгений Онегин? Хлестаков? Печорин? Герой здесь — слово почти ироническое: Лермонтов описал в герое все пороки своего поколения...

«Значительный герой» — но не этой ли умозрительной фигуры требовали от Юрия Трифонова? Фазиля Искандера? Василия Аксенова? И даже — от стихов, от поэм, от поэзии в целом?

От советского прошлого в наследство остаются не только неизжитые иллюзии, но и вбитые уже в подкорку эстетические правила. Когда Трифонову предъявляли претензии — мол, герои его все какие-то маленькие люди, — он отвечал, что на знаменитейших фламандских натюрмортах изображены отнюдь не самые дорогие и лучшие фрукты, а так — свисающая с края стола кожура лимона, пара яблок... Меня даже трогает, что сегодня надо опять доказывать, что в искусстве важно не *что*, а *как*...

Вот это, кстати, и было, на мой взгляд, еще одним внутриэстетическим водоразделом этих лет: одни целиком и полностью сосредоточились на том, *что*, — а другие к содержанию не могли отнестись без *как*.

Небольшое отступление по аналогии — из современного кинематографа. Для вящей зримости. Тем более что речь пойдет о фильмах, в основе которых лежит литература. Проза.

И — о двух режиссерах, эту прозу кинематографически воплотивших, «прочитавших»: Николае Достале и Алексее Германе-старшем.

У Николая Достала в фильме «Петя по дороге в царствие небесное» (по повести М. Кураева, впервые опубликованной в «Знамени») — *что*. Судьба человека в условиях предоттепельной эпохи: цена жизни — копейка. Все ясно и четко, без нюансов, и очень наглядно.

У Алексея Германа в фильме «Мой друг Иван Лапшин» (в основе сценария проза Юрия Германа) — *как*. Как время — 30-е годы — проходит сквозь людей и как люди жертвуют себя — времени.

Германовский кадр сообщает трагизм и глубину — и человеку, и времени.

Решение Достая сообщает зрителю его идею, мысль, мессидж, но изымает своей «картинкой» из идеи — трагизм.

По своему воздействию, вызванному решением, фильмы не сравнимы. Хотя — сопоставимы по сюжету.

То же и с героем.

Нет «значительного героя» в той якобы *исторической* прозе о *современной* жизни — ни у Леонида Юзефовича («Журавли и карлики»), ни у Александра Терехова («Каменный мост»). Можно ли на этом основании ставить их ниже (по прозе) Дениса Гуща, Захара Прилепина, которые выбирают героя «сильнее»?

Опять — перекинем дугу через век: «Мать» Горького или «Жизнь Клима Самгина» того же автора — где герой «сильнее», «значительнее» и какая проза глубже («как») выражает время («что»)?

Пристрастие к тому, чтобы судить о качестве литературы через выбор героя («значительного»), поддержано рядом критиков (с которыми, увы, эстетически смыкается и различающий оттенки Ермолин), продолжено в той же статье и разговором о поэзии.

Подводя литературе начала века предварительные итоги и ставя перед нею новые задачи, Ермолин первым делом упрекает стихотворцев в «тематической измельченности».

Приехали: герой прозы *мелковат*, в поэзии — *мелкотемье*.

Что, поэзии нужен (для того чтобы попасть «в центр современных духовных борений») тематический сдвиг? в гражданственность? в сторону условной новой ГЭС (Саяно-Шушенской, да простят мой провокативный цинизм)?

VIII. ОБ ОЖИРЕНИИ

Что утрачено, и, боюсь, окончательно (за эти годы)?

Общие критерии. Каждый может объявить себя писателем, купив издателей, критиков, рецензентов. Издав книгу, можно купить рекламу на «Эхе Москвы», полосы в «Литгазете» и даже в «Новой», как показывает случай с А. Потемкиным, на обзуждении прозы которого сошлись А. Марченко и Н. Богомолов. Об Аннинском даже не говорю — он поучаствовал во всем проекте «критики».

Вот кого трудно, если не невозможно купить, — это читателя.

Но кому нужны эти общие критерии, возразят мне?

Как это ни парадоксально, в них заинтересованы прежде всего настоящие профессионалы — писатели. Для того чтобы окончательно не было утрачено и литературное мастерство. Угроза такого исчезновения существует.

Зайдем, например, с черного хода этого самого мастерства — с объема. В связи с тем, что прозаик перестал рассчитывать на журнальную публикацию, с того момента, как она сделалась необязательна, — проза заболела ожирением. Причем даже молодые, во всяком случае, не старые люди страдают: Александр Терехов («Каменный мост»), Дмитрий Быков, совсем молодой Сергей Самсонов («Аномалия Камлаева»). Объемы спровоцированы и учреждением премии «Большая книга»? Не будем преувеличивать влияния всяческих поощрений, но не будем и преуменьшать.

IX. О РОМАНЕ С ИСТОРИЕЙ

Определение «исторический роман» сегодня можно взять в кавычки.

Чем актуальнее смысл, ради которого затеяна книга, — тем историчнее фон, тем глубже старается проводить свои исторические параллели автор.

Василий Аксенов, букеровский лауреат уже нового, XXI века, определял литературу как ностальгию. Вряд ли у него самого была ностальгия по XVIII веку, куда отнесены «Вольтерьянки и вольтерьянцы». Вряд ли он ностальгировал по сталинскому времени («Москва-ква-ква»), но в результате — настоенная на ностальгии по соб-

ственной молодости книга этой самой ностальгией и отшибла даже запах непривлекательных особенностей эпохи.

Гораздо жестче по отношению к недавней (и давней) истории писатели более молодого, чем ностальгирующие шестидесятники, поколения — к ним относятся и уже упомянутый Л. Юзефович, и его земляк-пермяк (изначально) А. Королев с его «Быть Босхом».

Описательная история в литературе уже XXI века преобразуется в сюжетную историческую метафору. Речь идет не больше не меньше как о метафоре исторического развития России — этому посвящены романы Владимира Шарова («Мне ли не пожалеть», «Старая девочка»), Дм. Быкова («Орфография», «Оправдание», «ЖД», «Списанные»), Владимира Сорокина («День опричника», «Сахарный Кремль»), Виктора Пелевина («Т»), выстраивающиеся, как правило, в авторские историософские серии. Последний в этом ряду роман — «ГенАцид» Всеволода Беннигсена.

Дмитрий Быков вообще явление феноменальное: и по плодовитости, литературной и журналистской активности (тут вам не только романы, но и литературные биографии, стихи, эссе, колонки, стихотворные фельетоны... а сейчас еще и драму в стихах, по слухам, сочиняет), и по количеству выдвигаемых моделей развития Руси/России. Это провокативное письмо. И оно должно возбуждать умственную деятельность читателя.

Но ведь и здесь все разбухло настолько, что *о проглотить не может быть и речи*. Тем более — залпом: так, как читались (и немедленно перечитывались) книги Юрия Трифонова.

К разбухшим от слов книгам с историософией добавлю хотя бы Максима Кантора с его двумя томами (каждый по тысяче страниц) одной книги, «Учебник рисования».

Х. О ЛИТЕРАТУРНОЙ ЗАДАЧЕ

Поставлю вопрос иначе: обязательно ли писателю сегодня уметь писать, работать над «веществом прозы», обладать композиционным даром, проявленным стилем, словесным искусством? Ведь художники давно уже не рисуют, картина умерла, рисунок — исчез. Так зачем мучиться? Чтобы стать писателем? Для этого сегодня... и т.д.

Не отсюда ли возникло совсем странное явление в современной прозе — отнюдь не филологическая проза профессиональных филологов. Последнее явление в этом ряду — Андрей Аствацатуров — роман «Люди в голом» засветил в списках уходящего десятилетия.

Андрей Аствацатуров — мало того что филолог-профессионал, преподаватель филфака СПбГУ, он еще и сын преподавательницы того же факультета, и — внук академика В.М. Жирмунского. И что же? Ничего «филологического», никаких намеков на стиль и т.д. в сочинении просто нет. Короткие простые фразы (из трех-четырех слов), минимум эпитетов, деепричастных оборотов. Проза от первого, разумеется, лица, — которая легко пишется и легко поглощается, поскольку рассчитана на идентификацию читателя с повествователем (и я такой же, там же, с такой же, с такими же проблемами). Движение филологов в сторону масслита начато раньше, в 90-е — назову хотя бы Б. Акунина. Но он-то (и стоящий за ним Г. Чхартишвили) никогда не забывает о своем филологическом происхождении; в его романах (и пьесах) всегда поставлена литературная задача, так или иначе решаемая, по вкусу это нам или нет. У нового поколения (филологов) *литературная задача исключается вообще* (если не считать задачей просто написать книгу). Доступность и внятность, близость к аудитории, к публике (я такой же, как вы, я один из вас).

Возникает ощущение, что литература словно бы испугалась сложности — и на пороге XXI века резко сдала назад. Испугалась предоставленных возможностей — и испугалась развития. Отпрянула.

А куда ей было «отпрянуть»? Придумано: «новый реализм».

XI. ЕЩЕ О «РЕАЛИЗМЕ»

Но реализм не бывает старым. Или он есть, или его нет.

«Новый реализм» уже не один раз придумывали — и однажды назвали его «социалистическим».

Куда было идти? возвращаться? К какому *реализму*? На самом деле Р. Сенчин, Д. Гуцко, З. Прилепин воспитаны на книгах М. Горького, Л. Леонова, В. Распутина, В. Белова; а стоит за ними — Литинститут с семинаром советского писателя Рекемчука в лучшем случае. Это ведь здесь пересекаются воспоминания, в том числе о литературном питании и воспитании. Сколько бы ни написала Мариэтта Чудакова замечательных книг о М. Булгакове и М. Зощенко, — «ролевой моделью» своей собственной прозы (о Жене Осинкиной) она выбрала все-таки своего любимого Арк. Гайдара, а не М. Булгакова.

Все никак не проходит это прошлое — причем и в самых простых, и в фантастических, казалось бы, случаях его обнаруживаешь, это влияние.

Только поскреби.

Вот А. Проханов исступленно борется против «либералов» в литературе, изошренно придумывая все новые обвинительные заключения.

Либералы/демократы от литературы не столь успешно борются (как могут!!) с Прохановым, — правда, сдавая ему одну позицию за другой. (И премию имени И.А. Бунина, врученную ему жюри под председательством С. Бэлзы, — я имею в виду тоже.)

Но ведь — если чуток поскрести! — лит. происхождение-то близкое.

Все изумлялись: зачем издательству... жюри... и т.д. Так ведь все — родом оттуда. И А. Проханов, и председатель букеровского жюри, отдавший премию мамлеевско-сорокинскому эпигону, — из одного места родом. И все мы хорошо, просто отлично помним, как оно называлось.

И наконец, последнее.

XII. О НАДЕЖДЕ

Если вспомнить, откуда на самом деле взялась великая литература начала двадцатого века, — то нельзя не заметить ее парадоксального происхождения от жестких романсов, уголовной хроники, картинок в модных (гламурных, сказали бы мы сегодня) журналах; спортивной хроники, кабаре и певичек — Блок, М. Кузмин, Ахматова... Культура начала двадцатого века захватывала и перерабатывала модное — отсюда сюжеты и персонажи. Великая литература служит резервом для массовой (понижающей, адаптирующей), а низовая словесность — для восходящей. Я никак не считаю, что «борьбу с низким» следует признать главным сюжетом начала двадцать первого века (о чем неустанно пишут мои высококонрастные коллеги в «ЛГ», «Нашем современнике», «Москве» и др.) Напротив: это резерв, чтобы литература двадцать первого века не сдохла от скуки в своей элитарной герметичности. Из музыкальной ерунды, баек, анекдотов и путеводителей, необязательных и необременительных заметок в дешевых глянцевого изданиях, сообщений в «МК» и «Жизни» рождается изошренная проза и поэзия. Вспомним: из уголовной хроники рождались романы Достоевского, со страниц желтой прессы приходили к Набокову его сюжеты. Заметка о появлении удава в окрестностях города дала толчок мощному воображению Домбровского. Газетная «кукурузная» кампания породила сюжет искандеровского «Козлотура». Это — закон, дающий надежду на то, что литературный XXI век будет смотреть вперед, а не назад. И не для того, чтобы плестись в хвосте у массовой культуры, — а для того, чтобы, преодолев, «съев» ее, выразить свое послание.

XXI век: будущее или — ...?

XXI век вступает в свое второе десятилетие. Но окончен ли XX век — не календарный, разумеется, начавшийся в 1901-м, а тот, который наступил в 1914 году и прошел (прошел ли?) под знаком «восстания масс»? Век, подаривший человечеству Интернет и телевидение — и оружие массового поражения, породивший ужасы тоталитарных режимов — и идею мультикультурализма... Завершен ли XX век как особый социокультурный феномен — прошедшим десятилетием? Оформился ли уже в своих очертаниях век XXI? Какие тенденции определяют культурный и философско-идеологический ландшафт России, формируют облик ее повседневности — в новом столетии?

Мы обратились с этими вопросами к специалистам в разных сферах гуманитарного знания: социологам и философам, искусствоведам и киноведам, культурологам и лингвистам.

Семен Файбисович,
художник, писатель, постоянный автор «Знамени»

Если исходить из того, что XX век начался вместе с Первой мировой войной и прошел под знаком «восстания масс» — почему нет? — возникает сильное подозрение, что, оказавшись существенно короче календарного, закончился он в последней декаде самого себя — и стартовал этот конец крушением в начале 90-х мира, чреватого мировыми войнами и революциями. Одновременное фиаско коммунизма как политико-экономической системы и глобальной идеологической доктрины «всемирно-исторической победы» положило конец и «противостоянию двух систем», определявшему жизнь человечества во второй половине века — и всей вековой истории, в которой идеи, то там то сям овладевая жизнью, массами и т.д., становились материальной силой, с легкостью уничтожавшей эту жизнь и эти массы.

В 90-е ощущение «конца» вообще витало в воздухе, порождая повальные моды на социально-философские концепции этого самого конца: истории, культуры, искусства, идеи прогресса и т.п. Насчет корректности иных концепций были и остаются сомнения, но хотелось бы верить, что тогда окончательно дискредитировала и исчерпала себя долгая история всяких погонь за «светлым будущим», венцом которой стало пришествие коммунизма и фашизма — а с ними — эпохи липкой паранойи с ее тотально-тоталитарной неадекваткой, навязчивыми идеями и размашисто-кровавыми методами. И пусть ей на смену пришла другая — «постмодернистская» — неадекватка: рассыпчатая шизофрения, которая не то что не зациклена на исторических и пр. закономерностях и последовательностях, а вообще не склонна улавливать их — равно как разницу между началом и концом, верхом и низом, правдой и ложью и т.п.; пусть себе — сегодня и она уже позади, и ее можно рассматривать как «переходник» от одного века (а может, тысячелетия) к другому, когда из праха жестоковыйных несбыточных упований, бог даст, восстанут более адекватные, естественные и гуманные.

И тем более уместно говорить о 90-х как «конце» применительно к России — флагману всяких завиральных идей, где в начале века они победили жизнь в наиболее жестоких и устойчивых формах, превратив ее то в кровавый, то в абсурдный, то

в духе черного юмора спектакль — а тут все вдруг рухнуло. Практически самопроизвольно. Может, и в силу «объективных закономерностей», но куда скорей по воле рока, чем в результате чьих-либо целенаправленных усилий. В культурном сегменте этого финала стоит выделить проделанную постмодернизмом и жизнью — после крушения «системы» — работу по упразднению оппозиции духовности и пошлости, которая была чуть ли не главным нервом и пламенным мотором русской культуры еще с века XIX. Во всех пертурбациях века XX эта оппозиция не только выживала, но крепла — будто питалась их катастрофической энергетикой. А тут — бац — и можно уверенно констатировать, что в сегодняшней русской культуре духовность и пошлость не то что неотделимы друг от друга — зачастую просто неотличимы. Не хочется злорадствовать по поводу случившегося таким образом «конца русской культуры» — в ее прежних формах и самоощущениях — и интерпретировать его как окончательную победу пошлости. Хочется верить в иную победу: появившуюся возможность «легального» культурного бытования вне силового поля пресловутого противоборства. И еще хочется, чтобы затих или хотя бы чуток поприших «охранительный» шум-гром: охранять давно уже нечего.

И тогда же — в 90-е — свои позывные и своих представителей отправил нам будущий век. Именно в это десятилетие завоевали мир компьютеры, ближе к его концу Земля покрылась «мировой паутиной», а чуть позже вошла в повседневную жизнь, изменив ее, сотовая связь. Роль этих еще совсем недавно «технологий будущего» в нашей жизни огромна и будет возрастать — все только начинается. Но уже ясно, что, к примеру, превратив планету в тотальное информационное поле, они не дадут шанса повториться гипермасштабным «тихим» зверствам вроде сталинских или гитлеровских лагерей. Какие шансы они дадут — кроме ныне очевидных и уже данных — прояснится со временем, но пока не покидает оптимистическое ощущение, что шансы каждого человека достойно прожить собственную жизнь на протяжении нового века будут потихонечку увеличиваться. И — подытоживая — встану на защиту 90-х, которые в современном российском сознании непременно «мрачные», «зловещие», «катастрофические»... По мне хоть и нелегкое, но славное было время. Не говоря уже, что «ключевое» и «судьбоносное».

*Екатерина Сальникова,
телеобозреватель, культуролог, старший научный сотрудник
Государственного института искусствознания*

Завершен ли XX век? Думаю, это не столь существенно, поскольку ответ на подобный вопрос всегда будет относительным. Тем более, в такой большой стране как Россия. Где-то, возможно, еще и XIX век не вполне начался. Стоит отъехать от Москвы километров на сто—двести и попасть в провинциальный городок — и понимаешь, что СССР все еще жив, эпоха «застоя» в самом разгаре.

Функция телевидения в немегаполисной местности, в провинциальном мире любой страны, — показывать приметы нынешнего века, информировать о протекании XXI века, напоминать о том, что он кое-где уже вовсю идет. Большое телевидение делается людьми, живущими, как правило, в эпицентрах нового столетия и остро ощущающими эту новизну. Современные телефильмы и телесериалы о советском времени часто рассматривают как идеологический факт. А на самом деле они — свидетельство того, что общество в целом успело соскучиться по XX веку в его наиболее узнаваемых чертах.

Сам же XXI век точно начался, и даже чуть раньше календарного срока. В 1991 году мир оповестили об изобретении и запуске в действие некоей Всемирной паутины, чаще всего сегодня именуемой просто Интернетом. Человечество вышло на просторы виртуальной вечности и бесконечности.

Уникальность Интернета в том, что и к сослуживцу за соседним столом офиса, и к адресату, живущему за океаном, страницы с информацией приходят практиче-

ски одновременно. А если разница и есть, то она зависит не от географии, но от работы технических служб Интернета. Дистанционное взаимодействие людей эмансипируется от времени и пространства.

Интернет работает круглосуточно и везде, где его устанавливают или где он «ловится». Поэтому Интернет весьма преуспел в том, в чем никак не преуспеет не-виртуальный социум, — в предоставлении равных возможностей людям с разными стартовыми позициями в физической реальности.

Интернет являет специфическое сочетание публичности и неофициальности, свободы высказывания и свободы нереагирования на высказывание. Наряду с официальными сайтами государств, учреждений, персон возникает фантастически разветвленный мир частных сайтов, мир частного общения, которое, тем не менее, выносится на всеобщее обозрение. Каждый здесь имеет возможность высказаться, в том числе нелицеприятно и ненормативно. Интернет — невиданный ранее громом отвод, оттягивающий критическую энергию масс. На неофициальные сетевые высказывания официальные службы могут просто никак не реагировать. Это будет означать, что этих высказываний для некоторых структур как бы не существует. Условное и безусловное окончательно уравниваются в правах.

Интернет многофункционален, и его не может на кого-то не хватить. Там можно заниматься творчеством, бизнесом, вести виртуальную личную жизнь, плодить информацию. Это единственный неисчерпаемый мировой ресурс, который готов всегда лежать у ног (вернее, у «мышки») пользователя и компенсировать все то, чего недостает окружающей реальности.

Интернет показывает устаревание идеи авторского права и предоставляет возможность бесплатного потребления искусства и информации.

Новый век отличается редкостной толерантностью ко всем прочим векам и стадиям развития человечества. XXI век понимает, что тащить человека вперед и только вперед — это своего рода тоталитаризм. Гораздо выгоднее предоставить каждому возможность выбора, в каких временных пластах, в каких мировоззренческих координатах разворачивать свое существование. Реанимируются социальные и культурные практики разных эпох. Компьютерные игры и интернет-сайты предоставляют виртуальное пространство, несущее в себе атрибуты самых разных цивилизаций, культур, наций, времен. Бум астрологии переживают и телевидение и Интернет — и там и там можно погадать на любых «носителях», провести сеанс любой магии. По ТВ рядом с антисоветскими документальными фильмами идут художественные фильмы соцреализма, рядом с критическим осмыслением США — голливудские картины. Рядом с программами-долгожителями вроде «Что? Где? Когда?» идут программы в новейших форматах, как «Ты и я» или «Школа ремонта». И никто не видит в этом противоречия. Чем мозаичнее культурное пространство, тем оно успешнее функционирует по принципу супермаркета.

На телевидении массовая культура перестает быть внутренне монолитной, безбрежно разрастаясь и претендуя на то, что она не массовая, а просто культура. Массовая культура уже не столько конкурирует с классической, элитарной, сколько бесконечно сегментируется внутри себя и увлекается «внутренними» конфликтами. Аудитория поклонников «Моей прекрасной няни» может не признавать отечественные криминальные сериалы. А поклонники «Бандитского Петербурга» могут считать новые «Улицы разбитых фонарей» упадком и варварством, игнорируя типологические сходства. Одни считают юмор в духе «Comedy Club» позорным антиэстетизмом. Другие глубоко презирают юмор «Кривого зеркала» как низкопробное развлечение для самых невзыскательных. Когда-то А.Ф. Лосев описывал феномен «дифференцированной личности» раннего эллинизма. Я бы сказала, сейчас мы наблюдаем феномен «дифференцированной массовости».

Интерактивность заменяет и вытесняет традиционное общение. Нормой становятся диалоги и прочее взаимодействие индивидов, которые не знакомы друг с другом, знакомятся не собираются, неповторимым личностным началом друг друга не интересуются. Но они обсуждают глобальный мир или весьма узкие проблемы, что-то делают и самовыражаются с опорой друг на друга. Все это — выноса за скобки себя как таковых.

Телевидение в XXI веке оказывается тем набором виртуальных «страниц», то есть каналов, на которые «заходит» большинство, и заходит одновременно. В этом привилегированность телевидения, которое становится аналогично театру и всенародному празднику. Телепрограммы можно смотреть, как и спектакль, только тогда, когда их показывают (в записи — получается «кино» про телевидение). И если программа относительно популярна, она гарантирует участие атомарного зрителя в некоей массовой зрительской акции. Многих греет и вдохновляет одно сознание включенности в симультанный процесс восприятия, в котором пребывают тысячи человек.

А потому телевидение в России пока ценится как то надежное «дупло», через которое удобнее всего вручать информацию лично взору и слуху гигантской аудитории. В эпоху информационного бума, несовместимого с физическими возможностями человека, происходит фетишизация рекламы и промоушена. Прямые формы телерекламы — это классика, это XX век. Скрытый опосредованный промоушен, пронизывающий все форматы и жанры ТВ, — признак XXI века.

Бесконфликтное сосуществование свойств XX и XXI столетий, многообразие их скрещиваний и коллажей составляет сегодняшнюю реальность. Темпы изменения социокультурных реалий так высоки, что я не берусь прогнозировать, сколько еще продержится XXI век и не начнет ли на его свойства накладываться еще более новая новизна очередного столетия.

Максим Кронгауз,

*профессор, доктор филологических наук, зав. кафедрой русского языка,
директор Института лингвистики РГГУ*

Границы веков условны, по крайней мере для развития языка. Язык — весьма консервативная и устойчивая система, тем не менее поддающаяся влиянию внешних катаклизмов. Для русского языка в двадцатом веке такими источниками влияния стали социальные сломы: революция и перестройка. Несколько огрубляя, можно сказать, что двадцатый век русского языка расположился между двумя датами — 1917 и 1985 (на самом деле и начался он чуть пораньше, и закончился чуть попозже). Исходя из этой логики, начало новому веку следовало бы положить в году девяностом, но 90-е, скорее, переходный период, своего рода, межвременье. Следующее ключевое событие произошло примерно на календарном стыке веков — это появление Интернета. И опять-таки, очень условно, можно отсчитывать отсюда начало нового века русского языка.

Интернет и некоторые другие современные технологии — это совершенно новое коммуникативное пространство и новые условия коммуникации, которые оказывают определенное влияние на сам язык.

Общение в Интернете — по сути, по структуре, по композиции устное — ведется теперь средствами письма, и оказывается, что стандартные письменные средства выражения либо недостаточны, либо неудобны. Появляются смайлики, компенсирующие отсутствие в письменной речи интонации и даже мимики. В качестве громкости выступают прописные буквы. Активно используются зачеркивание и некоторые другие приемы для создания многомерности речи: в тексте в явном виде присутствует «скрытое» — мысли, подтекст. Интернет стал своего рода экспериментальным полигоном и для языка, и для коммуникации. И это примета детского возраста, в котором находится Интернет, или, точнее, интернет-сообщество. Но очевидно, что детская пора постепенно проходит, обыденность интернет-общения не способствует коммуникативным играм, скажем, мода на «Олбанский язык» фактически уже сошла на нет.

Языковой взрыв последних десятилетий интересен не только сам по себе, необычайно интересна и показательна рефлексия общества по поводу собственной речи. Часть общества видит в происходящем порчу языка (иногда произносятся и слова «гибель языка» с не очень понятным смыслом), другая часть наслаждается

открывшимися творческими возможностями. Одной из ярких примет нашего времени стало особое, порой нервическое отношение общества к родному языку. Недовольство вызывают вещи абсолютно противоположные: бездействие власти, от которой требуют защиты языка, и ее действия, которые рассматриваются как очередная реформа; скорость языковых изменений и попытки лингвистов эти процессы упорядочить. В связи с этим меняется и роль лингвиста, занимающегося современным языком. Его деятельность, в том числе издание словарей, находится под пристальным вниманием СМИ, по существу, она публична. Это означает, что принятие профессиональных решений (фиксация новой нормы и т.д.) должно происходить с учетом общественной реакции. Таким образом, повышается и социальный статус лингвиста, и мера его социальной ответственности.

Ирина Каспэ,

историк культуры, книжный обозреватель, старший научный сотрудник ИГИТИ Государственного Университета — Высшей школы экономики

Можно было бы, сделав вид, что я отвечаю на вопросы анкеты, просто перечислить изменения (или «тенденции», если кому-то это слово покажется более осторожным), наметившиеся за последнее время в той области, которая меня профессионально интересует, — в области литературы как социального института, в области чтения как культурной практики. Благо, такое перечисление не составит труда — в его основе оказались бы хорошо известные, не раз описанные сюжеты. Пожалуй, ключевой среди них касается статуса фигуры эксперта — критика, рецензента, обозревателя. Невооруженным глазом заметно, что сегодня нередко возникают ситуации, когда статус экспертного отзыва о литературе предельно снижен или, по меньшей мере, проблематичен: во многом благодаря интернет-средам (в первую очередь — блогам) появляются новые каналы коммуникации, соединяющие напрямую автора и читателя, читателя и читателя, автора и автора; а значит, необходимость посредничества критика ставится под сомнение. С этим сюжетом связаны другие. Литераторы начинают предпочитать амплу «частного лица» и в этом качестве предъявляют себя своей аудитории — блог предоставляет иллюзию, что автор встречает читателей запросто, в домашней обстановке, а литературное письмо адресовано тесному кругу «своих». Такое положение дел иногда характеризуется как возвращение к до-институциональному — «салонному» — распорядку литературной жизни, однако эта идея регресса, конечно, не учитывает устройства и особенностей современных массмедиа. Ведь в то время как образ автора «одомашнивается», читательский опыт, напротив, становится более публичным, — роль читателя все чаще разыгрывается при посторонних свидетелях, во всеуслышание, причем периодически за рамками узких сообществ «по интересам».

Однако такой вариант ответа не кажется мне удовлетворительным — и дело даже не в том, что подобного рода тенденции с неизбежностью слишком локальны, слишком провоцируют далеко идущие выводы и слишком плохо для них (выводов) подходят. Дело в том, что сам вопрос о границах XXI века для историка культуры приобретает смысл только тогда, когда он задан следующим образом: а, собственно, почему те или иные тенденции вдруг кажется уместным (или неуместным) соотносить с представлениями о смене столетий? по-прежнему ли сегодня понятие нового, причем «некалендарного» века остается одним из способов восприятия социального времени? продолжает ли литература осмыслять и измерять себя в «вековых» категориях?

Напомню, что мифология нового века, кардинально отличного от века минувшего, складывается фактически одновременно с институтом литературы (равно как и, впрочем, со многими другими современными социальными институтами) — первым веком, который наделяется в европейской культуре собственными неповторимыми чертами и определяется при помощи некалендарных рубежей, становясь XVIII (я, конечно, сейчас имею в виду концепцию социологов Б.В. Дубина и Л.Д. Гудкова, согласно которой формирование института литературы прямо связано с ценностями

нового, современного времени, а ценности новизны, современности, модерности — с идеями «рубежа» и «конца времен»).

Безусловно, сегодня можно наблюдать, как воспроизводятся устоявшиеся ритуалы смены веков, как сложившийся образ XX века задает лекала, по которым выкраивается век XXI. Уже предприняты попытки отметить события политической истории, могущие стать точками отсчета нового столетия (по одной из версий — 11 сентября 2001 года, начало «третьей мировой войны», по другой — революции в Восточной Европе 1989-1991 годов, конец тоталитарных режимов). Заявили о себе проекты описания новой антропологии и новой социальности — на смену теориям массового общества, не отделимым от представлений о XX веке, приходят теории социальных сетей (в общем-то, именно они подсказали тот набор тенденций, который я упомянула в самом начале). Наконец, в виде совсем стертых клише продолжает воспроизводиться прогрессистская связка новый век / научно-технические достижения (ср. оборот «технологии XXI века»).

Вместе с тем, попробовав задать в Яндексe или Google'e запрос «литература XXI века», легко убедиться, что это словосочетание если и встречается сегодня, то лишь в самых консервативных контекстах — территория XXI века либо пугает перспективой исчезновения читателя, чтения, книги (и безоговорочной победой аудиовизуальной культуры), либо воспринимается как безвидная и пустая («все уже сказано», «после XX века в литературе нельзя сделать ничего принципиально нового»). Но сложно представить, скажем, современного поэта, без тени иронии провозглашающего себя сыном нового столетия. Или литературного критика, готового всерьез концептуализировать проблему рубежа веков. Поколенческие декларации в литературе давно привязаны к более коротким временным отрезкам — к десятилетиям, в остальном же хронологические метафоры, похоже, не слишком популярны. Или, возможно, вытеснены в пространство глубоко интимных переживаний (ср. «Век скоро кончится, но раньше кончусь я»). Означает ли это, что литература утрачивает какие-то базовые свои особенности? Разумеется, нет. Но если угодно — означает. Как и в случае с рубежами веков, мы сами задаем рамки.

Ян Левченко,

историк культуры, кинообозреватель, профессор кафедры наук о культуре философского факультета Государственного университета — Высшей школы экономики

На вопрос, начался ли «настоящий» XXI век, ответить можно наверняка — да, начался. Произошло это 11 сентября 2001 года. Самолеты, таранившие башни WTC в Нью-Йорке, не сильно отстали от календаря. Глобализация войны и удостоверение события через массмедиа, кризис капитализма и перекройка мировой экономической карты, темнокожий президент США и шаги к отмене кубинского эмбарго — все это признаки новой реальности, расставшейся с призраками модернизма и уже не удовлетворенной одной лишь приставкой «пост-». Вместе с тем, новый век обещает быть еще более технологическим и политическим, чем прошлый. Искусство, некогда претендовавшее на пилотирующую функцию культуры, может как безнадежно отстать от перекроенного до неузнаваемости культурного ландшафта, так и превратиться в практику, которую даже самые радикальные художники современности откажутся называть искусством.

В том, что до сих пор принято условно считать изобразительными искусствами, это уже произошло: инсталляция и действие теснят плоскую статику, выставочные пространства превратились в среду обитания, где публика проводит время, а не «прикасается к прекрасному». Сочтены дни репертуарного театра — конечно, спектакли типа «Недоросля» в Малом Драматическом будут собирать залы, пока Фонвизина будут проходить в школах (что неочевидно), но ряды искренних любителей милой старины редеть физически. Репертуарный театр, основанный на пресловутой «русской школе» актерской игры, будет таким же идиллическим ретро с привкусом то-

талитарного гламура, как и автомашина «Победа М-20». Островом более или менее традиционных практик остается словесность — естественный язык потому так и называется, что его труднее видоизменять. Однако и формы существования литературы меняются на глазах под влиянием такого на первый взгляд незначительного фактора, как характер носителя. Недалек час, когда бумажные издания так называемой «классики» останутся только у коллекционеров и — на всякий случай — в библиотеках. Что касается специальной литературы, то она может и дольше продержаться в бумажном формате, но погоды на рынке делать не будет.

Редакция задала мне вопрос относительно нынешнего и даже отчасти будущего состояния кино. При этом оговаривалось, что речь идет именно об «отечественном» кино, «русском проекте» и прочих проявлениях национальной культуры в контексте, который не слишком убедительно привязан к понятию *национального* — хотя бы в силу своего технологического происхождения и бытования. Вопрос о национальном кино заведомо провокативен, хотя мы постоянно упоминаем в форме устойчивого эпитета именно страну производства фильма — «российский», «американский», «грузинский», «румынский»...

Что такое «русское кино»? Кино на русском языке? Возможно. Однако фильмы Киры Муратовой, снятые на Одесской киностудии, в равной степени являются фактом русской и украинской культуры, точно так же, как фильмы Вячеслава Туржанского и Федора Оцепа, снимавшиеся в Париже в 1920-е годы, принадлежат русской и французской культурам. Понятие «российское кино» более точное и менее нагруженное идеологически. Это кино, снятое в России. В том числе в советские времена на «Мосфильме», «Ленфильме», Свердловской киностудии. В то же время Лариса Шепитько снимала на «Киргизфильме», а Сергей Параджанов — сначала на студии им. Довженко, потом на «Арменфильме». Это, выходит, не российское кино? Нет, российское. В последнее время говорят пылкое слово «отечественное», но это уже чистый паллиатив — столь же оценочный, сколь уклончивый. Потребители культуры, имеющие отношение к постсоветскому пространству, без труда воспринимаяют это скопление пересекающихся понятий. Я тоже сделаю вид, что мне все ясно. Тем более что современное российское кино действительно существует по вполне отработанной схеме.

Подавляющее большинство кинокартин, получающих государственное финансирование и снимающихся на российских студиях, делается фактически без учета зрителя. Деньги делятся еще до того, как фильм запускается в производство. Никого, кроме, пожалуй, режиссера и еще кучки возможных энтузиастов, не волнует, понравится ли фильм кому-то, соберет ли он какие-то деньги в прокате. Отсюда — серое море никому не известных наименований, издающихся на дешевых DVD, которыми наводнены отделы мультимедиа в крупных супермаркетах России. Многие фильмы даже не доходят до проката: их шансы настолько малы, что производитель предпочитает не светить лишний раз свое имя, не инвестировать в рекламу и копии. Если же в картину вкладывается федеральный телеканал («Мы из будущего», «Обитаемый остров», «Стиляги», «Самый лучший фильм», «Тарас Бульба»), ее успех предопределен. Публика с готовностью делает рекорд первого прокатного уикенда, поскольку не умеет да и не желает противостоять агрессивному маркетингу.

Между тем, хорошо известно, что на 70-80 отечественных фильмов, различными путями достигающих зрителя в течение года, приходится 3-4 фильма, вышедших в ноль, и еще столько же, принесших прибыль. Картины типа «Обитаемого острова» стоят настолько дорого, что сама мысль о прибыли не может прийти в голову производителям. Федору Бондарчуку, не постеснявшемуся обозначить «Обитаемый остров» как оппозиционную картину, важно было заявить о себе как о масштабной фигуре, соразмерной своему отцу — некогда крупному функционеру советского кино. Масштаб пропорционален одним лишь инвестициям. Вопрос рентабельности не стоит. Коммерческий продукт оказывается неконкурентоспособным и выдается за большое искусство, не терпящее скупости. Другое дело — готовящиеся к выходу картины «История Арканарской резни» Алексея Германа и «Дау» Андрея Хржановского.

Это проекты также дорогие, но более серьезные, весомо претендующие на место в истории кино еще до своей полной реализации. Их окупаемость не обсуждается, поскольку качество искупает все. Это своеобразный тоталитаризм от культуры, но пока он один и выражает российский кинематограф.

Российские авторские фильмы регулярно участвуют в международных кинофестивалях. В 2009 году «Волчок» Василия Сигарева после Гран-при «Кинотавра» получил награды в Дуоро (Португалия) и Цюрихе, «Сказки про темноту» Николая Хомерики тепло приняли в Каннах, «Царя» Павла Лунгина — в Венеции, а «Бубен. Барабан» Алексея Мизгирева получил «Серебряного леопарда» в Локарно. Тем не менее говорить о моде на русское авторское кино нельзя. Это не тренд. Российское кино по степени внимания, которое ему оказывают, несопоставимо с иранским, китайским, бразильским, румынским. Россия — отдельный и малонаселенный континент на карте мировой кинематографии. По темпам и количеству производства в предкризисные годы Россия вышла на показатели советского времени, хотя сейчас они, как представляется, надолго снизились. Россия не может и не должна ориентироваться на масштабы кинопроизводства США, Индии, Японии и таких привычных кинематографических стран, как Франция, Германия и Великобритания. Кино России не отличается ни новизной формальных решений, как это было в революционном авангарде 1920-х годов, ни универсальностью послания, на которую претендовало в 1970-е годы искусство Андрея Тарковского.

События в нынешнем российском кино — это более или менее камерные вещи, своего рода ощупывание повседневности, поиск путей из тупика, образовавшегося вследствие несоответствия амбиций страны и ее возможностей. Если не брать в расчет классиков, сформировавшихся еще в советские годы (упомянутые Герман и Муратова, а также Александр Сокуров), заметными фигурами в киноискусстве стали Алексей Балабанов и Алексей Учитель. Показательно, что они замкнуты только на российских реалиях — первый в большей, второй в меньшей степени. Показательно, что их не волнует степень конвертируемости их продукта за пределами страны. Они — типичные представители последнего чисто советского поколения, достигшего зрелости уже в новое время и пережившего с ним все тяготы первоначальной адаптации. Их фильмы — ценный культурно-антропологический документ, чья нетривиальность нейтрализуется высокой герметичностью. Сочетание визуального эстетства с умеренными дозами глубокомыслия отличает такого фаворита европейских продюсеров, как Андрей Звягинцев, но он, в свою очередь, совсем не интересуется отечественного зрителя, не обеспечившего даже трети от зарубежных сборов «Изгнания» (тоже, впрочем, ничтожных).

Сейчас то и дело раздаются возгласы о необходимости «нового прорыва», «возвращения российским кино утраченных позиций» и тому подобные риторические призывы. Это делают разные люди — от директора «Мосфильма», некогда крепкого профессионала Карена Шахназарова, ныне более чем посредственно осваивающего бюджеты фильмов, вроде недавней «Палаты № 6», до вечного председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова, которому имущественные скандалы никак не оставляют времени для завершения второй части «Утомленных солнцем». Призывы кого-то догонять и кому-то что-то доказывать — уже повод для беспокойства. Вдобавок озвучивают их люди, давно не имеющие прямого отношения к актуальному кинематографу. В итоге сама идея быстрой модернизации отрасли и появления нового поколения Эйзенштейнов и Вертовых кажется столь же комичной, как и попытки снять «настоящий российский блокбастер» и, наконец, сделать «не хуже, чем в Америке». В обоих случаях источником сил становится злость на собственный провинциализм, которая способна, скорее, подточить веру в себя и усилить поиски внутренних и внешних врагов. Никто же из патриотов не сомневается, что наших спортсменов специально засуживают на международных соревнованиях!

Проблематичное состояние современного российского кинематографа усиливается еще и тем, что во всем мире постепенно стирается граница между кино и видеоартом, а также кино профессиональным и кино любительским. «Цифра» про-

извела более серьезную революцию, чем в свое время цвет и звук, поставив под сомнение целостность самого молодого искусства. Если заходить в кино со все еще черного хода, каковым является съемка пятиминутного интервью с последующим его участием в программе фестиваля «Кинотеатр.doc», можно остаться в нем на правах «нового гунна», вроде Валерии Гай Германики, и походя менять конъюнктуру, которая складывалась десятилетиями. Дети в Смольном колледже свободных наук и искусств при Петербургском университете за один семестр осваивают монтаж, который им преподает в своей мастерской Мария Годованная, после чего снимают сами, развешивают свои фильмы в сети и наслаждаются талантами друг друга. Кстати, слово «наслаждаться», всегда имевшее в русском языке интимную окраску, с недавнего времени прочно заняло место в социальном лексиконе молодежи. Наслаждаются поп-корном на мультфильме и наслаждаются легкой атмосферой в картине «Плюс один» Оксаны Бычковой — почему бы не насладиться «Историей Арканарской резни», пусть даже Алексей Георгиевич Герман и поперхнет от возмущения! Можно все — это основная установка, которая, как представляется, и выведет российское кино из кризиса. В обход всех лживых обязательств, принятых пыльными дядьками, пилящими остатки чужих активов. Они пилят, а искусство будет меняться. Цифровая реальность, не ограниченная условностью пленки, найдет другие формы сопротивления материала, без которого не бывает искусства. Да и финансовый кризис только на пользу — поры чистятся. Меньше денег — больше изобретательности. Будущее кино — не за большими и дорогими проектами. От них устали даже те, кто ничего больше не видел. Россия с ее умением варить суп из топора уже обращает на себя все больше внимания.

Стефано Гардзонио

Страницы из потерянной тетради в клетку

Я не родился на Canto alle Rondini, и мои глаза не голубые, как ранневесеннее флорентийское небо. Родился я чуть повосточнее, на улице Pietro Thouar, недалеко от Лунгарно, и глаза мои бесцветно-каштановые.

И сейчас, когда иду пешком с автобусной остановки в Национальную Библиотеку, люблю проходить мимо стены и калитки бывшего родильного дома, где теперь (увы! знак времени) доживают свой век одинокие больные старики. Прохожу и все думаю о том, что было, и о том, чего не было, о том, что ожидалось и не осуществилось. Дальше поворачиваю в сторону Лунгарно, прохожу мимо одинокой церкви св. Иосифа, возле часовни на улице Мальконтенти — название улица берет от несчастных осужденных, которых водили на эшафот, — и шум живого города меня окончательно отвлекает.

Живу всю жизнь во Флоренции, но это — как будто я там уже давно не живу. Или больше нет той Флоренции...

Мое стремление было всегда *altrove*... Это безобидное словечко-наречие, обозначающее «в другом месте», «к другому месту»... На него я обратил внимание еще в отрочестве, может быть, не без влияния названия известной песни Битлз *Nowhere man*. Правда, и теперь не смог бы жить без панорамы светлых фезуланских холмов, особенно на фоне прозрачного февральского небосвода, или без тайного дыхания майской ночи на берегу светлоковАРНОй реки. Не то чтобы я получил дар вездесущности, но как бы живу в разных местах (хотелось бы сказать — измерениях, но это уже чересчур...). Может быть, это произошло еще в детстве, когда я восторженно мечтал и любил перелистывать книги; может быть, это дань скрытым порывам, порожденным рассказами моего деда, бывшего военного врача, который описывал мне свою бурную жизнь на разных фронтах, в Триполитании и на Первой мировой, когда оказался в немецком плену с русскими офицерами (про одного из них, из Калуги, он пишет в мемуарах, которые хранятся у меня вместе с некоторыми бледными фотографиями); может быть, наконец, это детское очарование семейными рассказами о жизни в Константинополе, где родился мой отец и откуда регулярно приезжали родственники с подарками и душистой таинственностью сужука, узо и кальяна.

Одновременно я стал любить чтение и коллекционирование. Читал все книги, особенно о животных, и, кроме книг, собирал марки и всякие пестрые картинки. Помню разноцветные иллюстрации из дедушкиного медицинского журнала и, в частности, загадочное изображение додо с острова Маврикий — огромной исчезнувшей птицы с неуклюжим видом и башмакообразным клювом.

Количество прочитанных книг росло, и расширялся круг интересов. Вскоре доминировать в нем стала литература. Воплотилась она в серии сереньких книжек классиков миланского издательства Риццоли, знаменитой BUR. Это началось одновременно с коллекционированием пластинок. Энциклопедические издания

Об авторе | Стефано Гардзонио — исследователь русской литературы и культуры, профессор славистики в Пизанском университете, с 1999-го по 2009 год — президент Ассоциации итальянских славистов, член Международного комитета славистов и Международного комитета по изучению Центральной и Восточной Европы.

все больше и больше занимали мое время. Благодаря литературной энциклопедии Прамполини я скоро выучил имена писателей всех стран и народов (с такой же настойчивостью выучивал я наизусть составы футбольных команд), и непонятно, по какой причине, но скоро мое предпочтение было отдано русским фамилиям. Несколько лет спустя, когда стал регулярно покупать всю серию классиков издательства Sansoni, данное предпочтение привело меня к молниеносному прочтению толстовской «Войны и мира». Тогда мне было двенадцать лет. Но еще до этого глубокий интерес к русской культуре укрепился в связи с другим событием моей жизни.

В моем детстве побережье Versilia, от Виареджио до Форте деи Марми, его серебристые пляжи и нависающие, белеющие, скалистые апуанские Альпы сыграли немаловажную роль. У моих родителей домик недалеко от городка Пьетрасанта, где Микеланджело выбирал мрамор для флорентийской церкви св. Лаврентия. Туда ездили и ездим в течение всего года. Когда мне было девять лет, мы попали в страшную автомобильную аварию, после которой я на несколько дней оказался в коме. Спасавший меня человек был владельцем киоска и книжного магазина недалеко от места, где произошло ДТП. Когда я вышел из больницы, стал его посещать. Однажды он предложил мне выбрать из его книжных сокровищ для себя любую книгу. Я сразу же вытащил экземпляр антологии русской поэзии XX века под редакцией А.М. Рипеллино. И сейчас не могу сказать, почему. Быть может, потому, что на обложке книги была величественно изображена мифическая птица Сири́н, далекая родственница любимого додо. Книгу я стал тут же читать и перечитывать. Теперь, когда русская поэзия — объект моего пристального изучения и многие авторы, включенные в антологию, стали моими любимыми, затрудняюсь вспомнить, каковы были тогда мои первые впечатления. Но точно я полюбил стихи Александра Блока «Ветер принес издалека...». Это уже было явное выражение моего *altrove* ...«из другого места». Я мог бы похвастаться, что знаю поэта, которого мои школьные учителя вряд ли знают. Это бывало и позже. Например, когда я получил ужасную отметку за сочинение с анархическими настроениями. Там я выражал свое восхищение Михаилом Бакуниным (не надо удивляться... в Италии у Бакунина была противоречивая слава, его деяниям в селе Понтелунго посвятил роман известный писатель-реалист Риккардо Баккелли). В годы отрочества я страстно любил анархизм... Скоро пришло, как у всех отроков, стремление к сочинительству. Стихи, прозаические фрагменты. Даже длинный рассказ-исповедь человека перед только что им убитой матерью: это были годы, когда наше телевидение показывало целые серии авторского кино, и скорее всего, на меня подействовали показы картин Ингмара Бергмана. В начале шестидесятых показывали также много советских фильмов, от «Баллады о солдате» до «Неотправленного письма». Так стал у меня расти интерес к советской России. Это приведет меня через десять лет к сотрудничеству с Обществом дружбы Италия — СССР. Но тогда всего этого не было. Как все итальянские дети, я благоговейно ходил в церковь, хотя, разумеется, с известной мерой присутствующего любому флорентийцу отсутствия иллюзий, *disincanto*, не избегнул влияния иезуитов (несколько лет я ходил к ним в конгрегацию: играл в футбол и баскетбол, смотрел кино, слушал лекции).

В католическом календаре 2 августа — день так называемого *Perdono di Assisi*, Ассизское прощение, и при определенных молитвах предусмотрена индульгенция, которую верующий может предоставить усопшим. Под впечатлением «Войны и мира» такую индульгенцию я, по моей тогдашней наивности, предоставил Наполеону и Толстому. Это было на море, в новой церквушке без колокольни (колокола заменяла громкая запись, от которой можно было оглохнуть). Я вышел оттуда со странным чувством вызова и испуга. В тот же день я завершил свой подвиг и дочитал третий том толстовского шедевра.

Будучи уже в гимназии, я купил учебник русского языка. Какая-то книжечка зеленого цвета, автором ее был итальянец, родившийся в России или долгие там проживавший, быть может, по политическим убеждениям. Оттуда я выучил наизусть пушкинское «Я пережил свои желанья». Любопытный выбор для учебника... Из немецкой грамматики я помню лишь песенку о какой-то Nut-шляпе, из французской — стихи *Марсельезы*; в английском *Essential English* — ни одного стиха, если не считать

какой-то *limerick*... а здесь — и *бурц*, и *одинокий лист*. До сих пор это стихотворение живет в моем сознании совершенно отдельно даже от самого Пушкина, *плод усердной прямоты*... Скоро я начал какие-то русские слова ставить в ряд. Сразу же выдумал себе русский псевдоним-анаграмму: *Гораций Гастеноф*. Свои итальянские стихи однажды опубликовал в местном журнальчике «*Il diario di bordo*» (Бортовой журнал). Там же и моя первая статья о каком-то философе, который считал голод движущей силой Вселенной, его теория называлась *фамизм*. О нем мне говорил с восторгом любопытный старик, троцкист-позадист, который долго жил в Аргентине и дружил с другим стариком, бывшим префектом Флоренции, увлекавшимся живописью *paif*. Со стихами дело продолжалось долго. Последнее мое стихотворение изображало сдавшуюся поэзию, выходящую из окопов с руками вверх.

С русским языком было непросто. Я любил ставить слова наобум, в ряды скрежещущих созвучий. Несколько лет спустя, когда стал заниматься футуризмом (тогда это было модно, особенно после книги о Маяковском того же А.М. Рипеллино и благодаря новому итальянскому авангардному движению «Группа 63»), мои опыты стали еще смелее... грамматика казалась помехой для подлинного поэтического новаторства, образность переживала экстремальную фазу гиперболизма. Моя любовь к русскому футуризму выразилась в первый же день занятий на флорентийском филфаке. Тогда большинство университетских профессоров были «левыми». Такова была и наша профессорша мадам Л., русская по матери и жена известного философа-коммуниста, в молодости ученика Хайдеггера, тогда сенатора от ИКП. Я, уже читавший Ахматову, Пастернака и Маяковского в разноцветных сборниках миланского издательства *Academia*, мог сразу похвастаться своими знаниями, процитировать в неуверенном произношении любимую «карту будня» и потом выбрать темой первой курсовой работы творчество Н.Г. Чернышевского... Да, именно создателя снов Веры Павловны! Интерес к русским демократам-народникам в Италии не должен удивлять. Прекрасная монография Франко Вентури «Русское народничество», которую на русский язык перевели только в постсоветские годы, сделала довольно популярными многих представителей русского радикального и демократического мышления. В связи с этим я пережил некоторые кратковременные отклонения в своем литературном вкусе в пользу чисто утилитарной концепции писательского искусства. Меня от этого отговаривал старый флорентийский писатель Никола Лизи, автор книги «*Diario di un ragazzo di samragna*» (Дневник сельского священника), который образно мне объяснял, что чудесную и неправдоподобную красоту «Неистового Роланда» надо передать народу, а не заставить всех писать и читать окрашенные литературным стилем социологические штудии и агитки, и что у каждого человека, у каждого представителя пролетариата есть право на красоту. К Лизи я пришел через чудака-писателя швейцарского происхождения, деда моего товарища по школе, который увлекался Юнгом, искал *Animus et Anima* и написал сотериологический роман «Гармония красок»... У Никола Лизи дома на Борго дель Альбици я бывал часто, мы разговаривали с ним о литературе, в том числе и о русской, которую итальянские писатели его поколения очень любили. Я ему сообщал о своих открытиях, о новых изданиях и переводах (в эти годы, после сенсации «Доктора Живаго», итальянское книжное дело уделяло русской литературе особое внимание, уже не говоря о том, что среди флорентийских католиков очень популярна была идея мэра города, богослова и философа Дж. Ла Пира о Святой Руси, о скором возвращении советской России в лоно религии).

Что касается моего русского языка, то я очень многим обязан лектору из Ленинграда, филологу-романисту Евгению Дементьевичу Панфилову, прекрасному человеку. В то же время началось мое сотрудничество с Обществом дружбы Италия — СССР. Флорентийский филиал общества находился во Дворце Капитанов Гвельфов недалеко от знаменитого медного кабана. В этом суровом готическом здании, на третьем этаже, в нескольких залах размещались дирекция и библиотека общества. На двери висел неуклюжий рисунок, изображающий пожатие двух рук в цветах национального знамени, итальянского и советского, в зале директора висел портрет самого человеческого... В комнате сидел огромный туполицый старец в пиджачке и галстуке. Он постоянно таинственно молчал... Многие годы спустя я случайно увидел его в одном пансиончике недалеко от Старого Дворца, где он служил сторожем. На мой привет он не ответил.

Сначала я сопровождал группы колхозников или рабочих по так называемым «Домам народа». Ритуал был прост и рутинен. Группу принимали в большом зале народного дома, выступали с приветственными речами партийные или профсоюзные представители ИКП, отвечали советские гости, менялись сувенирчиками, запевали *Bella ciao* и *Катюша*, *Bandiera Rossa* и *Подмосковные вечера*, и уж после того как «речка двигалась и не двигалась» (все долго держали ноту и поднимали голос...), начиналась выпивка за мир и дружбу. Скоро я выучил все нужные шаблонные фразы и стал переводить речи и выступления. Дело пошло, и я стал преподавать русский язык на курсах Общества старым бывшим партизанам, детям и всем желающим. Именно в семидесятых—восьмидесятых годах русский язык стал у нас модным. Старый секретарь общества, который потом, после краха СССР, покончил с собой, всех уверял, что русский язык (правда, он его звал «советский язык»... *il sovietico*) — это язык будущего. В его представлении весь мир собирался говорить по-русски и распевать советские песни. Он, конечно, не принимал критические отклики о пролетарском рае, которые поднимались внутри ИКП после знаменитого поворота, объявленного Э. Берлингуэром, и остался верным «правильной» линии партии. В ходе бурного заседания, созванного в связи с документом, осуждавшим афганскую войну, подготовленном национальным советом общества, флорентийский секретарь предлагал антидокумент, где флорентийское отделение осуждало осуждение... и поддерживало интернационалистскую помощь афганскому народу советских товарищей. Я помню решительные высказывания старого партизана, который все время повторял, что 1953 год был для него последним годом светлой веры в будущее...

Благодаря Обществу дружбы я скоро стал встречать важные делегации и высокопоставленных лиц. Были и более интересные встречи — с писателями, музыкантами, режиссерами. Прибывший во Флоренцию вместе с оркестром Московской филармонии дирижер Кирилл Кондрашин вскоре остался на Западе. Старый секретарь такого себе представить не мог. Очень занимательной оказалась поездка по южной Италии с «черным пауком» Л.И. Яшиным. Помню, как мы долго не могли выйти с трибун неаполитанского стадиона после матча, окончившегося настоящим восстанием местных болельщиков против судьбы: туринский «Ювентус» обыграл неаполитанского «ослика» 6:2... Переводил речь режиссера Хуциева, ужасно искажая его фамилию, ходил по залам Старого Дворца с Сергеем Образцовым, которому очень понравились мифологические изображения четырех элементов... С митрополитом Питиримом и делегацией РПЦ мы провели встречу у тех иезуитов, к которым я в юности ходил. Помню сурового падре Делл'Ольо, который задавал очень сложные вопросы, мои сомнения при переводе...

Уже через несколько лет мне предложили помогать Мстиславу Ростроповичу во время постановки «Евгения Онегина» в флорентийском Teatro Comunale. Мне пришлось переводить первому кларнетисту (который был моим учителем, когда я несколько лет увлекался музыкой), что он неточно соблюдает музыкальный темп, и осторожно спросить в начале третьего акта у итальянского режиссера-новатора, что за «странный презерватив» висит над сценой: «Убирайте его немедленно!». После премьеры маэстро пригласил всех виолончелистов в ресторан и там весело со всеми беседовал. Рассказал и следующий анекдот: «Сегодня мне снилось, что я умер и прилетел в рай. Там в прекрасной божественной атмосфере я вдруг услышал прекрасную баховскую мелодию в исполнении виолончели. Виолончелист дьявольски играл, прекрасно, непостижимо, гораздо лучше меня! Я стал следить за мелодией и, наконец, на облачке заметил маленького человечка, вдохновенно играющего на огромной, прекрасной виолончели... Как я завидовал ему... Как он играл! Я стал приближаться и вдруг увидел: это Бруно, это наш Бруно!». Все захохотали и повернулись к первому виолончелисту оркестра Бруно Фикарра!

Главные роли исполняли великие певцы (Г. Вишневская, Н. Гедда, Л. Нуччи), а для второстепенных партий решили взять местных исполнителей... Особенно тяжело было с короткой партией рогного «Messieurs, mesdames, места заняты извольте!.. Сейчас начнется котильон! Пожалуйста!». Поменялись три певца... Я должен был им помогать разобраться в тексте. Ушел обиженный худой старик с ситцевым платком на шее... Ушел кругленький, краснощекий человек с прыгающими усиками. Ос-

тался молодой и мускулистый сицилиец, стремившийся к более страстным ролям оперы веризма. Остался и выучил... Но на премьере он испугался и после «Messieurs, mesdames, места занять извольте!..» вместо слов громко зашел: «Лалалалалалалала! Пожалуйте!». Ростропович в те же дни вместе с оперой сыграл концерт из произведений Баха и дирижировал симфониями Чайковского. После исполнения четвертой симфонии он объяснил журналистам, что в ней прозвучала мелодия известной русской песни о березе, и добавил, что и сейчас, несмотря ни на что, береза стоит и будет стоять... Это был 1980 год.

Одновременно продолжались университетские курсы, первые доклады и конференции. К мадам Л. приезжали гости и часто читали лекции в университете. Одновременно стал распространяться интерес к семиотике, и уже после того как я выбрал тему своей дипломной работы, посвященной Маяковскому и поэтам-сатирикам, я съездил в Милан на международный конгресс по семиотике. Там у меня были замечательные невстречи. Там был тогда молодой и энергичный Умберто Эко, там был Ролан Барт с своей сигарой, там был Роман Якобсон. Во время перерыва я вдруг заметил великого лингвиста, он стоял один и осматривался вокруг. Я долго сомневался, задавать или не задавать ему вопрос о Маяковском (только что прочел его «О поколении, растратившем своих поэтов»). Наши взгляды вдруг встретились, я остался нем, и он вскоре удалился.

В 1973 году я получил через Общество дружбы одномесячную стипендию в Москву на летние курсы русского языка на подготовительном факультете МГУ. Первые впечатления в летней Москве (жил на Шаболовке) во время Универсиады; посещение Донского монастыря вместе со вспыльчивым немцем из Берлина; первые прогулки пешком до Красной площади; курсы на улице Кржижановского. И еще поездка в Переделкино (с группой молодых ребят и девушек, среди которых одна носила фамилию Живаго...) и в Ясную Поляну. Впечатлили меня старушки с ведрами, переполненными яблоками, и магазинчик сувениров. Это было мое первое знакомство с русским автобусным вокзалом. Сразу почувствовал странническое измерение русского пространства.

Из новых знакомых Митя любил театр, скачки (жил на Беговой) и водку. Так любил, что в последний раз я прождал его часа два перед Большим театром и ушел. Больше я его не видел. Я все пытался понять странные механизмы русской жизни, быта и повседневности. Я очень благодарен Алле Петровне Е., сотруднице Литмузея, которую я часто посещал (жила она на Авиационной улице, когда еще туда ходил старый трамвайчик). Она мне подарила прижизненные книги Маяковского и номер «Правды» от 15 апреля 1930 года. Она же меня водила на концерты Окуджавы (однажды это было в доме Чехова), на Таганку и в 1975 году на вечер, посвященный памяти М.М. Бахтина в Литмузее на Петровке (тогда в первый раз я увидел Вяч.Вс. Иванова, С.С. Аверинцева и др.). Через А.П. я познакомился с режиссером Ириной Венжер и ее семьей. Проводил вечера на Полянке с ее дочерью Натальей Яковлевной (тоже режиссер) и зятем Додиком (геолог, племянник Ларисы Рейснер). Сколько тем и бесед! Многие русские выражения я выучил у них: когда я их повторяю, непременно вспоминаю этот дом. И какие вкусные раки прямо с геологических экспедиций! Через А.П. я познакомился также с архитектором В. Маркузоном, которому я обязан яркими рассказами про Крым и Коктебель. Он жил рядом с Зоопарком, так что нетрудно было договориться с Митей и прямо в баню на Баррикадной. Дальше с тем же Митей в гостиницу «Минск», где работал официантом его друг (продолжалось изучение русских выражений... словечка *фарцовщик*...).

Почти сразу я начал ходить по букинистам, собирать русские книги. Сам Митя мне подарил книгу Шевцова «Гля», чтобы мне объяснить всю духовную глубину развитого социализма... Но я уже с первой поездки (потом приехал в Россию на целый год) начал собирать поэтические сборники. Помню многие уже давно исчезнувшие магазины: «Книжная находка» напротив «Детского мира», «Лавка книголюба» на Тверской (тут была заботливая некрасивая продавщица в очках, со мной очень вежливая, а красотка-кассира все красила себе ногти и ужасно медленно выдавала чеки), букинисты на ул. Димитрова, на Ленинском проспекте рядом с магазином «Олень», еще магазинчики на Жданова, на Преображенской площади, уже не гово-

ря о самых известных, таких как «Пушкинская лавка» и магазины в Столешниковом, на Кузнецком Мосту, на Арбате, в высотке на Котельнической набережной. Теперь из старых остался лишь мой любимый у станции метро «Парк культуры» на Остоженке. Каждый раз, когда туда вхожу, будто прыгаю с трамплина в волны прошлого... Из этой первой поездки в Россию я вернулся через Польшу, Германию и Париж. В Париже я стал ходить к армянину, владельцу магазина русских книг «Le cinq continents» на rue de Lille и еще в «Дом книги» на rue de l'Éperon и в магазин «Ymca-press» на «Mutualité». Именно в Париже мне удалось услышать несколько лекций только что приехавшего Андрея Синявского (помню лекцию о Хлебникове). В следующем году в Женеве слушал несколько лекций Ш. Маркиша о Бабеле.

Благодаря знакомству с А.Г. Воронцовой-Вельяминовой, которая один год преподавала русский язык у нас в университете (правнучка А.С. Пушкина, парижанка, Аня окончила Сорбонну и писала о Ремизове... вскоре наша Мадам решила, что она слишком критически относилась к «светлому будущему» и не возобновила с ней контракт), я начал общаться и с представителями русской зарубежной колонии. Начал посещать и русскую церковь во Флоренции, куда по инициативе старосты М.В. Олсуфьевой часто приезжали и порой временно ютились русские эмигранты новой волны. Именно благодаря Марье Васильевне в апреле 1977 года я познакомился с А. Галичем. Стоит кратко рассказать об этой встрече. Галич, которого сопровождала жена, приехал во Флоренцию по приглашению итальянских христианских демократов на какой-то митинг, посвященный свободе слова. Помню, как долго и со всей витиеватостью традиционного красноречия выступал бывший премьер Италии, сенатор Аминторе Фанфани. После него выступали и другие политические деятели, которые решительно осуждали отсутствие свободы слова в СССР и в других соцстранах. Наконец, кто-то вспомнил, что в зале русский гость, выгнанный из России именно из-за отсутствия свободного выражения мысли и слова, известный поэт и бард Александр Галич. Тогда спросили у Галича, хочет ли он выступить. Поэт предложил спеть песню «Старательский вальсок». Организаторы митинга решительно отказали... здесь нет места для песенок, тут политический митинг... Галичу пришлось молчать. Свою песню о молчании-золоте он уже исполнил дома у Олсуфьевой на улице Беллини (на той же улице, где жил поэт-эмигрант Михаил Лопатто, но я тогда о нем не знал и до сих пор жалею об этой несостоявшейся встрече...).

Моя первая русская зима — в феврале 1974 года. Остановился на три недели в гостинице «Центральная» на ул. Горького. До сих пор помню ритмизованные марши в исполнении оркестра в ресторане... советский джаз, советские марши и песни. Именно за этот короткий период мне удалось установить очень интересные контакты. Был у В. Шкловского, который недавно приезжал в Италию на юбилей Боккаччо, через него я познакомился с Н.И. Харджиевым. Именно тогда я и принял окончательное решение: буду писать о Маяковском и поэтах-сатириконцах! Посещения квартиры Николая Ивановича на Кропоткинской (в том же доме жил Денис Давыдов!) дали новый сильный импульс моим исследованиям русской поэзии. Именно Николаю Ивановичу я обязан особым интересом к мелким явлениям литературного фона. Он мне открыл перспективу литературного быта своими рассказами о русском авангарде и одновременно о многочисленных нитях, которые связывали его с предыдущими литературными эпохами, в частности с литературой XVIII века. Как очередное проявление «коллекционирования» у меня вырос интерес к мелким поэтам... что-то между энциклопедичностью и пафосом количества... Сидя часами в «Ленинке» и в «Музее книги», я стал трудолюбиво переписывать всякую всячину... До сих пор люблю время от времени перелистывать эти заполненные стихами эгофутуристов, старших архаистов, эпигонов-сентименталистов тетради, скрепленные спиралеобразной проволокой. На обложках многих из них — советский герб и лозунги к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне... Накопленный материал все лежит, и я все думаю, когда приведу его в порядок... но пафос количества все сильнее и шире... особенно после торжества компьютера...

Со Шкловским был следующий случай. В Италии записали на магнитофон его лекцию о Боккаччо, перевели текст с пленки на итальянский язык. Когда попросили разрешения его напечатать, Виктор Борисович захотел увидеть русский оригинал, то есть надо было переводить обратно. С помощью моей будущей жены Наташи я

все перевел обратно и вскоре получил перевод со многими исправлениями и новую статью о Боккаччо! Старую В.Б. просил не печатать! По непонятным мне причинам долгие годы итальянцы не издавали ни первый, ни второй текст, и лишь двадцать лет спустя напечатали оба вместе. Рукопись исправленного текста, богатая разными наблюдениями, до сих пор хранится у меня.

В 1975 году я приехал на целый год на стажировку в МГУ, правда, почти месяц провел в Ленинграде на улице Шевченко и еще путешествовал по Прибалтике. Я приехал в Россию опять на поезде, уже с огромным чемоданом. Когда на следующий год моя жена Наталия переселилась в Италию, она тоже приехала с огромным чемоданом, который, уверял остроумный исследователь Сервантеса и Боккаччо Абрам Львович, в свое время Маццини дарил Герцену — теперь он возвращался обратно. Я поселился в высотке на Ленинских горах, в корпусе В, пятый этаж, недалеко от общей кухни и от красного уголка ленинской комнаты... Меня всегда поражало отсутствующее выражение лица у идеолога... Руководителем мне дали маяковеда А.И. Метченко, автора передовой книги «Кровное, завоеванное»... К огромному красноносому профессору я ходил почти еженедельно. Он подписывал без особого внимания разные направления и отвлеченно пересматривал мои библиографические отчеты. Только один раз он разгорячился и стал меня уверять, что «Шекспир — величайший писатель, что Сервантес тоже величайший писатель, как и Гете, и Пушкин... но вершина вершин — это Шолохов! Его литературный метод идеологики правильный!». Правда, я был немножко обижен неупоминанием Данте, но и так понял, в чем состоит соцреализм, хотя маститый профессор не смог мне объяснить, почему и Маяковский тоже соцреалист... С советской литературой я не был тогда знаком. Не очень стремился следить за новой официальной литературой, очень редко бывал в ЦДЛ (Николай Иванович про всех новых советских писателей едко говорил «знаменитый в прошлом году писатель»...). Однажды меня пригласили в ресторан, и в общем сумбуре кутежа (какая-то краснощекая поэтесса Татьяна ходила по столикам и бормотала свои стихи) ко мне подошел автор поэмы «Даль памяти», будущий куровод Егор Исаев, который ко мне так и обратился: «Громадный парень, откуда ты взялся?!».

В год стажировки я написал свою дипломную работу, интенсивно обрусел и наконец женился... Из литературы в жизнь... Что касается моих научных интересов, то решающую роль сыграло чтение книги М.Л. Гаспарова о русском стихе. Вскоре я выучил принципы так называемого стиховедческого русского метода и предложил в Италии известному семиотику Д.С. Авалле свою статью о ритмике 4-стопного хорей. Статья вышла в передовом журнале «Strumenti critici». С М.Л. лично я познакомился через итальянистку, переводчицу «Чиполлино» Злату М. Потапову, чья квартира была настоящим оазисом для московских итальянцев. У нее дома бывали все: писатели, журналисты, профессора и простые студенты и студентки. Образ З.М. всегда вспоминаю с ностальгией и благодарностью... помню большую гостиную, огромный рояль и старинные бьющие часы... С М.Л. я встречался у него в институте на Поварской... долгие разговоры обогащали меня, как и постоянные посещения квартиры Н.И. Харджиева. И сейчас вижу его длинную фигуру с огромным портфелем, исчезающую в переходе на проспекте Калинина перед Военторгом после долгого разговора о М. Штокмаре и его концепции русского народного стиха (М.Л. мне подарил «Библиографию работ по стихосложению» М. Штокмара 1933 года с посвящением: «С.Г. на память о Москве и о М. Гаспарове, получившем эту книгу от автора»).

Одновременно в том же 1975 году я познакомился с К.Ф. Мизиано, дочерью одного из основателей ИКП Франческо Мизиано. Каролина Франческовна была историком, членом АН СССР, в годы Великой Отечественной войны — сотрудницей Тольятти, возглавляла итальянскую редакцию «Радио Москва». У нее дома (потом я стал регулярно у нее останавливаться) для меня открылся целый мир знакомств и встреч. Через них я старался понять происходящее в СССР в период от совместного полета «Аполлон—Союз» до афганской войны и дальше, до перестройки. Помню ритуальное отключение телефона в гостиниой перед почетным гостем, сидящим в «кресле Берлингуэра»... долгие разговоры и споры, в которые все больше стал включаться сын К.Ф. Витя. Будущий искусствовед, он уже тогда со своими знакомыми и друзьями свободно выражал свои «несвоевременные мысли»... У него потом бывали Д.А. Пригов и Л. Рубинштейн, которым я

готовил итальянские спагетти в соусе из болгарских помидоров (из Италии я всегда привозил спагетти и кофе). У Вити бывали А. Парщиков и громкий оратор Иван Жданов... Помню стихотворение о клумбе и бомбе или что-то в этом роде. Помню рассказы писателя Булгакова (разумеется, не тот, а однофамилец...) «Можно выйти» и «Не высовываться»... Еще звучит в голове глубоко-низкое музыкальное лепетание какого-то Дудо... Диду... уж не помню... Такие встречи-тусовки (тогда этого слова не было) очень притягивали иностранцев, как и выставки неформального искусства в частных квартирах... На Дорогомиловской ходили к Рабину. Однажды я стоял несколько часов на ВДНХ в очереди на выставку неформальной живописи в павильоне «Пчеловодство». Будущий искусствовед Витя скоро стал организатором разных хеппенингов... Уже развивалась мода на инсталляции. Один хеппенинг организовали на улице Обуха... рядом с индийским посольством... Помню удивленные темные лица персонала посольства и какие-то светлые образы на развалинах старого особняка... Среди многих Витиных друзей помню будущего специалиста по рок-музыке (будущего издателя русского «Playboy») Артема, милого Алешу, впоследствии сотрудника «Радио Свобода», лунного чудака Вову, работавшего ночным сторожем по идеологическим соображениям, умного Олега, в будущем известного публициста. Живые, интенсивные ритмы встреч и вечеров наполняли все мои московские дни... как и постоянные споры о новых советских произведениях на страницах толстых журналов и о национальном (итальянском) пути к социализму... У К.Ф. бывали проездом разные представители ИКП (помню острого критика-искусствоведа Антонелло Тромбадори, холодного партийца Буфалини...), корреспонденты итальянских газет, историки... Всех поражал Витя своими нонконформистскими высказываниями... острые и горькие высказывания литературоведа Э. Паперного, важные и сложные умонастроения специалиста по итальянскому Ренессансу Л. Баткина, оживленные воспоминания о муже и отце вдовы А. Бека и его дочери Татьяны. Часто я с К.Ф. и Витей посещал их друзей и знакомых. Большое впечатление оставила встреча с вдовой Н.И. Бухарина А. Лариной и ее сыном у историка М. Гефтера. В Доме кинематографистов состоялась и встреча с Лилей Брик, очень напоминающая встречу с Якобсоном. Правда, в этот раз мне удалось кое-что высказать и даже поговорить с ней после просмотра фильма Сергея Юткевича.

В Италии я начал свои первые шаги на ниве славистики. Благодаря только что переехавшему во Флорентийский университет великому филологу и прекрасному человеку Анджоло Данти я вскоре вошел в круг итальянских славистов и не только. Сразу после знакомства с ним я провел целый день, сопровождая его с проф. А. Робинсоном по флорентийским местам, где жил Максим Грек. Через Данти я познакомился с Микеле Колуччи, милым другом и учителем, который меня очень поддержал и пригласил читать курс о стихе Баратынского в Римском университете. Через Данти я познакомился с Риккардо Пиккио, тогда профессором в Йеле. Это было во флорентийской больнице Кареджи, где Данти лечили от тогда неизлечимой болезни: от нее вскоре он и умер (тридцать лет назад). Это было невосполнимой утратой для итальянской новой славистики.

Итак, моя жизнь стала развиваться и там и здесь, в России и на «сапожке». До известной степени такого странного раздвоения, которым живу и сейчас. Правда, были моменты глубокого кризиса и переосмысления... Особенно в годы правления Андропова и Черненко, когда мне вдруг показалось, что лучше все бросить и пойти другим путем... (в СССР стало сложно попасть, я преподавал в школе английский язык, летом сопровождал школьников на курсы в Англию и Германию... так! Везде искал русские книжные магазины... в Дюссельдорфе мне удалось купить том Дениса Давыдова «Библиотеки поэта!» 1984 год). Именно тогда я и потерял свою тетрадь в клетку, или, лучше сказать, разорвал, но потом стало жалко... из ведра достал обратно клочки и кое-что спас... вот эти мои страницы, которые здесь постарался восстановить... После 1984 года появилась новая тетрадь — теперь в линейку; или, точнее, я начал заполнять «Полевой дневник» АН СССР (подарок прежних лет от геолога Додика). Дневник где-то еще лежит... Пусть лежит... Давно в нем я не пишу... Правда, там много и о Питере, и о Псковщине, о новых встречах и дружбах, которые стали незаменимыми... Но об этом в следующий раз.

Михаил Ардов (протоиерей)

Разные люди бывают согласны

Шесть книг Гавриила Попова из серии, названием которой стала строка Мандельштама «Мне на шею кидается век-волкодав» с подзаголовком «Переосмысление судеб России в XX веке» (М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2008), я читал с огромным вниманием, а по временам и с наслаждением — в большинстве случаев мнения автора и мои полностью совпадают. У меня появился соблазн их прокомментировать, дополнив собственными соображениями и воспоминаниями.

Мне казалось, что я хорошо знаком с русской историей, но в первой книге серии «Истоки российской беды (русский вариант выхода из феодализма в XIX — причина трех революций XX века)» автор приводит множество фактов, мне не известных, вполне убеждая: запоздалая отмена крепостничества, произошедшая лишь во второй половине позапрошлого столетия, — одна из главных причин трагедии, которая ждала Россию в XX веке.

В книге много говорится о тех, кто боролся с позорным для страны «рабовладением», начиная с царей: *«Первые попытки правительства как-то упорядочить отношения помещиков и крестьян предпринял Павел I. (...) Указом 1797 года Павел I установил трехдневную барщину»*. В 1994 году праправнучка этого государя княжна Вера Константиновна Романова сказала мне: «Если бы он жил дольше, он бы освободил крестьян. Он к этому шел»... Попов подробно повествует о деятельности графа Павла Дмитриевича Киселева, которому удалось изменить положение миллионов «государственных крестьян». Уделяется в книге внимание и тем, кто помогал Царю-Освободителю осуществлять реформу: великому князю Константину Николаевичу, великой княгине Елене Павловне, С.С. Ланскому, Я.И. Ростовцеву, Ю.Ф. Самарину, князю В.А. Черкасскому, Н.А. Милютину, Я.А. Соловьеву... О существе же преобразований 1861 года автор пишет: *«Русский вариант отмены крепостного права на первое место ставит задачу сохранения абсолютизма и его бюрократии. Это классовый вариант, но классовость тут специфическая: главное — сохранить не просто класс помещиков, но и государство этого класса в виде монархии»*. Увы! — как помним, в семнадцатом году недалекие и неблагодарные «бюрократы» и «помещики» своего государя предали...

Попов — социалист, он дает восторженную оценку экономическим теориям Н.Г. Чернышевского, который писал о реформе 1861 года почти то же, что и сам Гавриил Харитонович: *«Власть не замечала того, что берется за дело, не ею придуманное, и хотела остаться полною хозяйкой его ведения. А при таком способе ведения дела оно должно было совершаться под влиянием двух основных привычек власти. Первая привычка состояла в бюрократическом характере действий, вторая — в пристрастии к дворянству»*. Мне было любопытно читать страницы, на которых Попов восхваляет Чернышевского. Я отношусь к нему куда прохладнее и считаю лучшим из всего, что о нем написано, главу романа Владимира Набокова «Дар»...

Размышляя об истоках российской беды, Попов приходит к такому выводу: *«Реформа 1861 года создала условия для гигантского взрыва, который смел и самодержавие, и весь его аппарат, а заодно и отказывавшихся в течение десятилетий от борьбы за свою собственную власть помещиков, и привыкших быть прислужниками*

царизма и развращенных этой ролью буржуазию и церковь». Со своей сугубо экономической точки зрения Попов, возможно, и прав. Но он совершенно не обращает внимания на духовно-нравственный аспект национальной трагедии. А между тем разумные и просвещенные представители Церкви, роль которой наш автор намеренно принижает, не только предвидели, но и предрекали грядущие страшные события. Одним из таких деятелей был Преосвященный Амвросий (Ключарев), архиепископ Харьковский, еще в 1885 году говоривший в своей проповеди: «Если в древних христианских обычаях нашего народа были воплощаемы вера, благочестие, духовный подвиг, воздержание, целомудрие, честность, послушание властям, то в обычаях новых, вводимых так называемыми просвещенными людьми, очевидно воплощаются безверие, чувственность, бесстрашие по отношению к закону нравственному и совести и ничем не удерживаемое своеволие, соединяемое с порицанием и отрицанием властей. Можно не только уследить, но и определить, когда наступит час решительного нравственного разложения, а затем и падения нашего великого народа. Это будет, когда в народе число людей, отвлеченных ложным просвещением от христианских обычаев к новым языческим, перевесит и задавит число добрых христиан, остающихся им верными. Тогда, по слову Спасителя, *отыметься от нас царство Божие и дастся народу, творящему плоды его* (Матф. 21, 43)». (Слово в день восшествия на престол Благочестивейшего Государя Императора Александра Александровича, 1885 год).

В предисловии второй книги «**Ошибка в проекте (ленинский тупик)**» автор признается: *«Ленина я изучал всю свою жизнь. Я исписал пометками страницы и третьего, и четвертого, и пятого изданий его собрания сочинений. Особенно пятого. Меня, как и многих других, многое не устраивало в том реальном социализме, в котором я жил. Но долгие годы главным я считал то, что от части ленинских идей отклонились, другую часть исказили, третью проигнорировали. И я старался найти “подлинного Ленина”»*. И вот теперь можно с уверенностью утверждать: Гавриил Попов вполне постиг и судьбу, и характер своего героя, а также суть того страшного явления, которое именовалось «ленинизмом». Он пишет: *«Все чаще я обнаруживал, что теория и практика ленинизма связаны, и связаны очень логично и последовательно. После XX съезда КПСС и доклада Н.С. Хрущева о культе личности Сталина особенно часто и особенно рьяно пытались отделить Ленина и от практики сталинского социализма, и даже от того, что творилось еще в Гражданскую войну. А я видел явную ошибочность многих попыток разделить Ленина и реальный ленинизм. После какого-то моего выступления один из моих учителей, декан экономического факультета МГУ профессор Михаил Васильевич Солодков, участник и инвалид Отечественной войны, сказал мне: «Ты, Гавриил, на правильном пути. Я годами изучал и Ленина, и Сталина. И пришел к выводу: нет ничего существенного у Сталина, чего бы не было уже у Ленина»*.

«Ошибка в проекте» — фундаментальный труд, где исследуется и биография Ленина, и его психология, а ключевым в этой книге становится слово «тупик», вынесенное в названия шести из десяти глав книги: *Тупик на старте, Тупик: крестьянство, Последний тупик: завещание без программы, завещание без наследников...* В главе *Теория ленинизма: первая версия (прагматико-утопическая)* Попов не без юмора объясняет, почему в канун событий семнадцатого года Ленину было необходимо отойти от теории Маркса и Энгельса: *«Ленин подходил к разработке будущего социализма как автор пьесы или либретто, у которого уже есть любовница, актриса или певица, и ему надо обязательно сочинить такой сценарий пьесы или такое либретто оперы, в котором она будет солисткой, звездой. Вот и Ленина внутренне удовлетворила бы только такая концепция социалистического будущего, в которой далеко не передовая, страна среднего развития, Россия и ее социал-демократический вождь могут стать ключевыми действующими лицами»*. И констатирует: *«Ленинская утопия стала знаменем реальной борьбы реальных масс за свои реальные интересы»*. А в главе *Практика ленинизма* повествуется о Гражданской войне, разгоне Учредительного собрания и о том, как большевики разделились со своими союзниками — левыми эсерами. Попов пишет: *«Эпоха великого эксперимента имеет не*

только свою историю, но и свою мифологию. По мере того, как я знакомился с материалами, я освобождался от многих мифов, созданных иногда невольно, а чаще сознательно советской идеологией. <...> Я узнал, что 23 февраля 1918 года ничего даже отдаленно напоминающего рождение Красной армии не произошло. А дату эту выбрали те, кто не хотел считать началом создания Красной армии назначение Троцкого на пост народного комиссара по военным и морским делам и его знаменитый декрет о создании регулярной Красной армии». Далее он перечисляет причины, по которым Ленин и его соратники выиграли Гражданскую войну. Одна из них такая: «Важным фактором победы Красной армии и в целом советской власти стало привлечение «буржуазных специалистов», особенно офицеров. Дворянство, веками воспитанное на идее «служить царю», оказалось восприимчиво к варианту, когда начальство сменилось на Ленина. Важную роль сыграл фактор патриотизма».

Мне представляется, что эта тема раскрыта Поповым недостаточно, и я обратился за дополнительными сведениями к историку Белого движения Олегу Геннадиевичу Гончаренко. В ответ я получил нижеследующее письмо: «Глубокоуважаемый о. Михаил! Направляю Вам короткую справку о служивших в Красной армии офицерах и генералах Императорской армии и их мотивах:

1. При расформировании штабов и управлений старой армии в начале 1918 года бывшие офицеры Генштаба подлежали увольнению на общих основаниях и никуда не командировались. В результате значительное количество выпускников Академии оказалось не у дел и без средств к существованию. Не только политическая ситуация в стране, но даже и собственное будущее для них оставалось совершенно неясным. В такой обстановке началось австро-германское наступление на востоке.

2. Показания бывших офицеров Генерального штаба, проходивших в 1930—1931 гг. по масштабному следственному делу, сформированному стараниями ОГПУ «Весна», свидетельствуют о том, что при поступлении на службу к большевикам ими двигало прежде всего стремление защитить Россию от германского вторжения. В этой связи значительное количество высших офицеров Генштаба добровольно поступило на службу в войска завесы, созданные большевиками специально для защиты от германцев и впоследствии использованные в качестве кадров для развертывания массовой Красной армии. По этой причине, например, в РККА поступили генералы Д.П. Парский, Е.А. Искрицкий, А.А. Свечин, полковник С.С. Камнев и другие.

3. На руководящих должностях РККА в 1918—1920 гг. (командующие фронтами, армиями, дивизиями, начальники штабов фронтов и армий) служило 144 офицера из числа «лиц Генерального штаба», занимавших 50% всех должностей командующих фронтами, 100% — начальников фронтовых штабов, 37% — командующих армиями, 53% — начальников армейских штабов и 7% — начдивов. На 23 июля 1918 г. в РККА бывшие офицеры Генштаба замещали 489 должностей.

4. В то же время в войсках Деникина некоторые выпускники Академии долгое время пребывали в резерве чинов (Г.М. Некрашевич, С.Н. Ряснянский, В.И. Сенча, П.С. Стефанович-Стасенко и др.) или по разным причинам откомандировывались на восток и в центр России, в армии Колчака (М.И. Изергин, Б.И. Казанович, Д.А. Лебедев, А.П. Перхуров, Д.Н. Сальников, В.Е. Флуг).

5. Расширенную классификацию причин перехода генштабистов на сторону РККА привел еще в 1919 г. Генерального штаба полковник Я.М. Лисовой — офицер Добровольческой армии, служивший в 1918 г. в военно-политическом отделе при генерале М.В. Алексееве. По его мнению, опубликованному в парижском альманахе «Белый Архив» в 1926—1928 гг., основными причинами этого явления были:

- а) тяжелое, безвыходное материальное положение, многочисленная семья и в связи с этим невозможность своевременного выезда из Советской России;
- б) насильственное привлечение советскими властями к исполнению обязанностей офицеров Генерального штаба под угрозой расстрела;
- в) чрезвычайно строгое наблюдение, сковывающее каждый шаг и почти лишаящее какой бы то ни было возможности покинуть ряды советской армии;
- г) честолюбие и карьеризм некоторой части из них;

д) широкое материальное обеспечение;

е) в корпусе офицеров Генерального штаба прежнего состава были, конечно, и отрицательные стороны — преувеличение значения последних отчасти также послужило одной из побудительных причин вступления в советские войска;

е) соответствие во взглядах и убеждениях с представителями советской власти;

ж) наконец на этот путь многие из генштабистов пошли сознательно во имя идейной стороны работы — в самом лучшем, конечно, значении этого слова — о которой, по весьма понятным причинам, распространяться еще рано.

В главе *Тупик: мировая революция* Попов именует чудовищную идею экспорта революции «хрустальной мечтой большевиков». Мечта оказалась несбыточной, и Ленину приходилось подправлять теорию, сообразуясь с неприглядной реальностью. В восемнадцатом году, после позорного Брестского мира, он уповал на возможность революции в побеждаемой Антантой Германии. Поскольку «долг платежом красен», большевики не жалели денег на помощь «германской революции». Попов приводит выдержку из газеты «Правда»: *«Т. Ленин предлагает на всяком большом элеваторе (зернохранилище) создать особый фонд, запас, предназначенный для питания германских рабочих. Мы направим его в Германию на другой день после революции»*... Как мы знаем, восстание левых в Германии успехом не увенчалось, а большевикам пришлось захватывать и удерживать власть в откалывающихся частях Российской империи, и это всякий раз была интервенция, а не революция. Отныне и до столь памятного нам вторжения в Афганистан этот вид экспорта революции будет практически единственным способом распространения «социализма».

Интересные соображения высказывает Попов, когда пишет о том, как Сталин вопреки планам Ленина создать действительно «союзное государство» строил свою будущую империю. *«Обсуждался вопрос о том, включать ли казаков реки Урал, яицких, в Российскую Федерацию или Казахскую республику. Сталин заявил: если включить в Россию — получаем на ее границах вечную Вандею, очаг недовольства и восстаний. Если же казаки окажутся в Казахстане — тогда они будут смотреть на Советскую Россию как родину. Тогда — при нужде — можно толкнуть их на столкновение с Казахстаном и под этим предлогом ввести войска. Так что с выходом из СССР у Казахстана будет не просто. Решили — по Сталину. Заселенную русскими областью уральского казачества включили в Казахстан. Но сходный подход применяли повсеместно. В состав Украины включили преимущественно русские Донбасс и Харьков, сделали Харьков столицей Украины. И все для того, чтобы ослабить «украинский национализм», уравновесить его. Особенно развернулся Сталин на Кавказе, который хорошо знал. Границы провели так, что все, буквально все республики имели претензии друг к другу. М.С. Горбачев как-то сказал мне, что даже спустя шестьдесят лет он насчитал чуть ли не два десятка конфликтных ситуаций. Мы с замечательным писателем Фазилем Искандером как-то выступали по телевидению. И Фазиль Абдулович выразился по этому поводу очень точно: «Вождь заминировал страну»*.

Возникает невольный вопрос: мог ли построенный таким образом «союз» рано или поздно не развалиться?.. Уже после Второй мировой войны ученик «генералиссимуса» Сталина «маршал» Тито «заминировал» Югославию — и на Балканах эти «мины» взорвались...

Книга *«Материализация призрака коммунизма (сталинский тупик)»* — вполне беспристрастное исследование того периода советской истории, когда у власти был кровавый тиран. В начале повествования Попов дает психологический портрет героя: *«Сталин был человеком логики. Исключительной логики. Но логики сугубо формальной. Ему нужны были исходные идеи — а далее он уже строил свою жесткую цепочку следствий. С исходными идеями у него всегда было не просто. Религию он преодолел, но религиозный тип мышления — нет. И не мог — у него в молодости не было никакой культуры, кроме религиозной. И, отвергнув Бога, он тут же стал искать ему замену. Такой заменой стал для него Ленин. Сталин сам вспоминал, что он выбрал Ленина среди всех лидеров социал-демократии. А выбрал, так как искал. А потом была фанатичная преданность Ленину, в которой религиозные традиции уси-*

ливались кавказской, горской верностью. Но вот Ленин, потерявший и власть, и рас­судок, умирает. Попов пишет: «Сталин очень быстро осознал, что в ленинской груп­пе именно он и только он — самый сильный лидер. И стал отождествлять себя с партией, с советской властью, с диктатурой пролетариата. Он искренне был убеж­ден, что его враги — это враги советской власти, враги социализма. Мораль фран­цузского короля — «Государство — это я» — полностью подходила к Сталину».

Описав, как Сталин «обезвреживал» и «ликвидировал» своих потенциальных со­перников в руководстве партии, Попов не упоминает о том, что преемник превратил своего предшественника в чучело и выставил его на всеобщее обозрение. А я с юных лет задавался вопросом: что заставило «кремлевского горца» пойти на такой экстра­вагантный шаг? Не помню, кому принадлежит замечательная мысль: идея законсер­вировать Ленина и уложить его в Мавзолей была весьма разумной: Сталин знал исто­рию и не мог не учитывать, что в России во все времена появлялись самозванцы. Где гарантия, что через год-другой после смерти Ленина где-нибудь во Владивостоке, а то и вовсе за границей не появился бы некто лысый, картавый, с бородкой — «Ильич», который чудесным образом избежал смерти и теперь объявляет поход на Москву, дабы занять свое «законное место» в Кремле? И Ленин лежит, «как живой», являя собой экспонат «наглядной агитации»...

Исследуя теоретические идеи нового вождя в главе *Сталинская теория социа­лизма*, Попов делает вывод: «...складывалась сталинская концепция социализма — социализма государственного, социализма с партийным руководством, админи­стративно-командного, социализма с аппаратом, социализма бюрократического. <...> Закрепить этот свой социализм Сталин решил в новой Конституции, тоже по праву называемой сталинской. Решил дать ему и свою Библию — книгу, которая стала бы идейным обоснованием этого социализма — «Историю ВКП(б)». Бывший семинарист сознавал роль «Катехизиса» и хотел дать нечто его заменяющее (как впоследствии сделал и Мао, издав «Красную Книжку»).

Тут мне вспоминается давняя передача «Радио Свобода», где выступал некий старый марксист — уцелевший благодаря эмиграции меньшевик. Он, помнится, разобрал «Историю ВКП(б)» с точки зрения, так сказать, «классического маркси­зма» и сделал вывод: автор книги знаком с догматическим богословием. Я запомнил его вопрос из той передачи: — Мы читаем: «Идея, овладевшая умами масс, становится материальной силой». Какой реальный смысл несет подобное утверждение?..

Наибольшее впечатление производит глава *Сталинская коллективизация*. По­ражают приводимые автором цифры: «Кулаки в 1928 году составляли 6 млн. че­ловек, имели 15 млн. гектаров земли и на 1 миллиард имущества. В 1934 году кула­ков осталось 150 тыс. человек. <...> Расправа над зажиточной, авторитетной, трудолюбивой частью крестьянства сломала сопротивление всего класса, и уцелев­шие пошли в колхозы. Ликвидация кулачества как класса стала первым этапом лик­видации крестьянства как класса. Конечно, одного раскулачивания для уничтоже­ния крестьянства не хватило. Был необходим завершающий удар — организо­ванный советской властью голод».

То, что происходило в начале тридцатых годов в нашей многострадальной стране, иначе, как словом «геноцид», наименовать невозможно. Я убежден: все, кто так или иначе участвовал в «раскулачивании» и «коллективизации», должны быть посмертно осуждены международным трибуналом — подобные чудовищные преступления не имеют срока давности. Слава Тебе, Господи, на Украине уже об этом пишут и говорят... А результат коллективизации таков: «В колхозах уже были не крестьяне, а новый класс — колхозники. Это было второе издание крепостного права: с классом крепостных социалистического государства. В колхозах колхозник был ограничен в гражданских правах, лишен паспорта, не мог свободно менять место жительства, не мог покинуть деревню без особых обстоятельств». И вот что еще существенно: «В целом создание модели сталинского колхоза — это вклад лично Сталина в марксизм-ленинизм, в теорию социализма».

Особый интерес вызывает глава *Формирование правящего класса сталинского социализма*, поскольку тут речь идет о «большом терроре» и его фатальной неизбежности при реализации сталинских планов. Автор пишет о том, что уничтожение тысяч и тысяч людей было свойственно большевицкой власти во все ее времена. Но в конце тридцатых репрессии обрушились на самое номенклатуру: «*”Большой террор” шел волнами. Те, кто осуждал и репрессировал первую волну, сам становился жертвой на следующем этапе. А организаторов этого следующего этапа ждала в будущем та же участь. <...> По существу же судили и казнили палачей.*

Попов, в частности, пишет о том, что одним из этапов «большого террора» были «...*массовые репрессии против «иностранцев», этнические чистки представителей наций, имевших государственные образования за пределами СССР*». Мне вспоминается рассказ Валентины Абрамовны Иоффе, дочери знаменитого физика, о тридцатых годах: — Я прихожу с работы, а домработница мне сообщает: «Нашего соседа арестовали по подозрению, что он — поляк»... Попов весьма убедительно объясняет главную причину, которая побудила Сталина истребить миллионы людей: «*”Большой террор” вытекал из решения Сталина объявить о материализации, наконец, в СССР призрака коммунизма. Из его решения заявить, что «социализм в отдельно взятой стране» не только может быть построен, не только строится, но уже построен. Из его потребности создать для сталинского социализма новый правящий класс*». И далее: «*Главную задачу — очиститься от существующих кадров номенклатуры и выдвинуть на их место новый слой номенклатуры — Сталин успешно решил. Его социализм получил свой, новый правящий класс*».

Очень нужной мне представляется книга «**Сорок первый — сорок пятый. Одна война или три?**» Вот самая первая фраза: «*Мне трудно было переосмыслить войну 1941—1945 годов по сугубо личным причинам*». И далее автор перечисляет своих воевавших на фронте родственников — братьев отца и матери, погибших и тех, кто остался жив. Мой отец и два моих дяди тоже были участниками той войны, и я хорошо понимаю чувства Гавриила Харитоновича. И более того, я готов подписаться почти под каждым словом этой книги.

Первая глава называется *Правду, только правду и всю правду*. Но для того чтобы подлинная история войны была предана широкой гласности, необходимо отвергнуть ложь: «...*есть самая главная, самая генеральная, все определяющая задача — преодолеть сталинизм в оценке Отечественной войны в целом. Суть сталинской концепции Отечественной войны остается. Она довлеет над нами. Ее все еще принимают — судя по празднованию юбилея победы — лидеры в Кремле. <...> Суть этой концепции*».

Первое. Это попытки скрыть или хотя бы преуменьшить сам факт поражения Сталина, его государства, его армии, его органов безопасности в первые десять дней после начала войны, поражение того социализма, который после окончания Гражданской войны бросил все силы страны на подготовку к новой войне.

Второе. Это попытки скрыть тот факт, что Сталин обманул русский народ, превратив Отечественную войну русского народа в войну за утверждение сталинского социализма в странах Восточной Европы. Скрыть, что полтора миллиона бойцов и командиров стали платой за этот сталинский обман.

Третье. Это попытки скрыть, что заключительный этап Отечественной войны Сталин сделал первым этапом уже новой, «холодной войны», началом подготовки к третьей мировой войне».

В главе *Правда о московском ополчении* Попов, в частности, подвергает некоторому сомнению «подвиг героев-панфиловцев»: «...*все панфиловцы погибли — а вот слова политрука Клочкова: Велика Россия, а отступить некуда, позади Москва — как-то дошли до пропагандистов из ЦК партии*». Я давным-давно убедился в том, что вся большевицкая пропаганда лжива от начала и до конца, до самых мельчайших подробностей. Мой отец рассказывал мне о фотокорреспонденте газеты «Правда» Василии Темине, «жестоким профессионале», который обратил внимание на то, что в некоторых живописных и вполне пригодных для фотографирования местах для полноты картины не хватает вражеских трупов, а в иных местах мертвых тел много, но там эффек-

тных кадров снять невозможно. Так как в его распоряжении был небольшой грузовик, Темин поместил туда десятка два убитых немцев и возил их с собою; находя подходящий пейзаж: разрушенные дома, подбитые танки и пр., — он с помощью солдат раскладывал вражеские трупы, создавая эффектные «фотокомпозиции». А потом эти по существу лживые снимки публиковались в газете с выразительным названием — «Правда»...

В главе *Правда о союзниках* Попов пишет о проблеме второго фронта: «Сталин считал необходимым немедленное открытие второго фронта. Черчилль оттягивал это событие год за годом: обещал в 1942-м, затем в 1943-м, фактически высадка войск союзников произошла только 6 июня 1944 года во Франции». И тут мне тоже вспоминается рассказ моего отца. В сорок третьем году он в качестве корреспондента фронтовой газеты присутствовал на слете бойцов-отличников 18-й армии, которая сражалась на Кавказе. Самым главным из присутствовавших там начальников был Лазарь Каганович. Почти все бойцы задавали один и тот же вопрос: «Когда союзники откроют второй фронт?». Каганович отвечал: «Открытие второго фронта зависит от одного человека — от Черчилля. Если бы он был членом нашей партии, мы бы с товарищем Сталиным вызвали бы его в Кремль и сказали: “Или открывая второй фронт, или клади партбилет на стол!” А так — что мы можем сделать?..»

В главе *Правда о союзниках* речь идет о помощи, которую западные страны оказывали Советскому Союзу. Вот цифры: «Продовольственная помощь в целом была поставлена СССР на сумму 1,3 миллиарда долларов (тогдашних). <...> Из-за границы прибыло 22 тысячи самолетов, 13 тысяч танков, почти 9 тысяч тракторов, 5 тысяч транспортеров, 35 тысяч мотоциклов, 2 тысячи локомотивов и 11 тысяч вагонов. <...> За годы войны мы произвели 205 тысяч автомобилей, а получили от союзников — 427 тысяч. К тому же и по проходимости, и по грузоподъемности, и по надежности «Студебекеры» были равноценны 203 нашим авто». В пятидесятых и шестидесятых годах, общаясь с очень интересным человеком, отставным генералом КГБ Дмитрием Аркадьевичем Ефимовым, я слышал от него историю, связанную с поставляемыми Советскому союзу из Америки грузовиками. К каждому «Студебеккеру» полагалось некое приданое: набор инструментов и коричневое кожаное пальто для водителя. Разумеется, ни один советский шофер такого пальто не получил — все они достались начальникам, в том числе и высшим... Когда Черчилль прилетал в Москву, его встречали дипломаты, партийные функционеры — и все эти люди были одеты в одинаковые кожаные пальто. И Черчилль сказал своей свите: «Меня встречает профсоюз шоферов...».

В главе *Правда о репарациях* впечатляет раздел *О культуре*. Автор сообщает: «В документе, подписанном лично Сталиным, предписывалось пополнить наши музеи и библиотеки немецкими ценностями. <...> Б.Н. Кнышевский приводит рассказ кандидата филологических наук А. Блюма, который в 1962 году окончил Ленинградский библиотечный институт и прибыл работать в Челябинскую публичную библиотеку. Там он и увидел “трофейные фонды”: “Две комнаты до самого потолка были забиты какими-то коробками, ящиками... Открыв первый ящик, мы были потрясены: тисненые переплеты, золотые обрезы..., великолепные гравюры». А вот рассказ моей приятельницы Ирины М. о немецких книгах, которые до шестьдесят второго года не просуществовали. В 1955 году она окончила институт иностранных языков и пришла работать в Библиотеку иностранной литературы, которая тогда располагалась в помещении церкви Космы и Дамиана в Столешниковом переулке:

— Я и мои подруги, которые были приняты туда на работу, — мы еще ничего не умели. И нас вот каким образом использовали. В самом куполе храма была оборудована небольшая комната, там были стеллажи, заполненные немецкими книгами... И их надо было уничтожать... Мы должны были оторвать и скомкать переплет и титульный лист, а дальше книгу отправляли в макулатуру... А переплеты были кожаные, с инкрустациями... Бумага превосходная... И вот так мы трудились несколько месяцев... Как только стеллажи освобождались, нам откуда-то привозили новую партию...

В главе *Правда о «добыче» советской номенклатуры* называются имена некоторых высокопоставленных мародеров: «Но рекорд поставил сам маршал Г.К. Жуков.

Трофейный эшелон мебели маршала состоял из семи вагонов с 85 ящиками мебели, в том числе 194 предмета из карельской березы, красного и орехового дерева с обивкой золотистым и малиновым плюшем. Полные комплекты мебели для городской квартиры и дачи. Все изготовлено на немецкой мебельной фабрике по личному заказу Жукова. Когда агенты госбезопасности в январе 1948 года производили обыски на квартире и даче Жукова, они обнаружили 323 шкурки соболей, обезьян, котиков и 160 шкурок норок. И еще 4 тыс. метров шелковых, шерстяных и других тканей; 44 дорогостоящих ковра, гобелены; 55 «ценных картин классической живописи больших размеров в художественных рамках»; 7 больших ящиков с фарфоровой и хрустальной посудой и т.д., и т.д.». Впечатляет количество обнаруженного меха — оно неслучайно: когда-то маршал имел профессию скорняка. Как известно, в нашей стране стоит множество памятников Жукову. Я воображаю еще и такой: фигура полководца стоит на большом постаменте, а там изображено трофейное барахло: мебель, ковры, картины, посуда...

Попов сообщает: «Но больше всех в грабеже и присвоениях отличились работники органов безопасности — самой элитной структуры партии и государства». По свидетельству генерала МГБ Д.А. Ефимова, его коллеги по «лубянскому ведомству» зачастую не брали даже золота — их интересовали только драгоценные камни. Один упомянутый им эпизод стоит занесения в анналы. Доблестные чекисты завладели в Дрездене короной Саксонских королей. Они извлекли оттуда все самоцветы, а корону расплющили. Самый крупный алмаз начальник СМЕРШа Абакумов послал в Москву своему начальнику по фамилии Мешик.

Много внимания Попов уделяет штурму Берлина — операции, во время которой погибли десятки тысяч советских солдат. Его вывод таков: «Сталинские идеологии и их нынешние ученики всячески ухаживали и ухаживают до сих пор от главного: Берлин и вся война на территории Германии, и вообще вся война за границами СССР были первой битвой Сталина с бывшими союзниками, а вовсе не завершением войны. И Знамя Победы — атрибут этой самой новой битвы, а не итог победы во Второй мировой». Мой отец рассказывал, как упомянутый выше «жестокий профессионал», фотокорреспондент «Правды» Василий Темин, одним из первых сфотографировавший красный флаг над Рейхстагом, чтобы скорее доставить снимок в редакцию, угнал самолет Жукова, посажив других самолетов на аэродроме в тот момент не было. Темин объявил: «Товарищ маршал приказал мне на этом самолете немедленно лететь в Москву». Ему поверили, он улетел, а через несколько часов, как на грех, самолет понадобился Жукову. Ему докладывают: «Самолет по вашему приказанию улетел в Москву». «Как? — удивился маршал. — По какому приказанию?» «На аэродром прибыл майор Темин и объявил, что вы ему приказали на вашем самолете лететь в Москву». Жуков, славившийся жестокостью, распорядился: «Этого майора найти, расстрелять и оформить через трибунал».

К утру вышел номер «Правды» со снимком, и фотограф, нагрузив маршалский самолет газетами, прилетел обратно в Германию и тут же был арестован. Друзья его принялись хлопотать, дошли до самого Жукова и, когда маршалу был показан номер газеты с «историческим снимком», командующий сменил гнев на милость...

В главе *Первая война Сталина: поражение* Попов приводит страшные цифры: «Даже по данным нашего Генштаба, за июнь-июль мы потеряли 650 тысяч, за август — еще 700 тысяч, за сентябрь — 500 тысяч. Всего за 1941 год — 4,5 миллиона человек, 1/3 того, что потерял СССР за всю войну. И в подавляющем большинстве эти потери — взятые немцами в плен наши бойцы, командиры, генералы».

Попов пишет: «Я хочу надеяться, что наши лидеры рассекретят, наконец, все, касающееся наших планов начала войны в 1941 году. И скажут народу правду: коммунистический режим Сталина собирался начать войну». В своей оценке начала войны он солидарен с бывшим советским шпионом Виктором Суворовым (Владимиром Резуном) — в 1999 году, когда я уже прочел «Ледокол» В. Суворова и вполне разделял его мысли и выводы, меня познакомил с ним в Англии писатель и журналист Леонид Владимиров. Один из самых существенных аргументов в пользу мнения, что Сталин готовился напасть на Гитлера, является, как считает Суворов, то

обстоятельство, что весной 1941 года «Воениздат» выпустил огромными тиражами (и в Москве, и в Ленинграде) русско-немецкий разговорник для солдат и офицеров. Значит, в Кремле полагали, что Красной армии вот-вот предстоит воевать на германской территории... Копию другого замечательного издания — «Краткий русско-английский военный разговорник» (М.: Государственное военное издательство Наркомата обороны Союза ССР, 1940) — мне подарил в свое время приятель, замечательный человек, ныне — увы! — уже покойный Виктор Эмильевич Блицау. Он был прекрасным иконописцем, его работы являются украшением храма, в котором я служу; а до того как стать художником, он, как и Суворов-Резун, был сотрудником ГРУ армии. Издательское предисловие: «Этот “Разговорник” предназначен главным образом для командиров отделения, взвода, роты и им соответствующего начальствующего состава. Содержание “Разговорника”, однако, несколько расширено — до пределов, обеспечивающих возможность его неспециального (не в штабах) использования командирами всех других степеней, так как очень трудно ограничить тематические потребности опроса пленного, перебежчика и местного жителя тем или иным нашим командирам». Об этих самых «тематических потребностях» — реплики со страницы 82: «— Не бойтесь красноармейцев! — Никто не должен выходить из селения! — Нет ли в селении спрятавшихся солдат?..» Вот с каких пор «товарищ Сталин» реально готовился к высадке своих войск на Британские острова! Когда я переправил ксерокопию «Разговорника» Виктору Суворову, он позвонил мне по телефону и сказал: «Сообщение об этой находке станет научной сенсацией. Про русско-немецкие разговорники знают все, а о том, что был и английский вариант, никому не известно...».

В главе *Третья война Сталина: экспансия социализма* Попов приходит к неизбежному и неутешительному выводу: *«Но самым главным итогом сталинского завершения войны стало сохранение на полвека не соответствующего современному этапу развития производительных сил и цивилизации в целом строя государственного бюрократического социализма. Послевоенный голод в СССР, борьба с космополитизмом, с генетикой и кибернетикой, с врачами-вредителями, расстрел рабочих Новочеркасска, строительство коммунизма «при жизни нынешнего поколения советских людей», десятилетия позорных закупок продовольствия у «умирающего» капитализма для спасения от голода «прогрессивного» социализма, научно-техническое воровство, отравленные ядерными и химическими отходами миллионы гектаров земель, афганская война, Чернобыль — и еще многое, многое другое было посеяно именно тем, что вместо реформ социализма в СССР Сталин в 1944 году получил возможность продолжать мировую революцию по утверждению этого социализма во всем мире»...*

В семидесятых годах я подолгу жил в Ленинграде, мы с моим старшим единокровным братом Алексеем Баталовым писали сценарий для его фильма по роману Достоевского «Игрок». В том же доме, что и мой брат, жил отставной полковник, герой войны... Имя и отчество его я забыл, а вот фамилию помню — Тертычный. Этот наш сосед, разумеется, был идейным коммунистом и убежденным советским патриотом. Квартира у полковника была небольшая — двухкомнатная, жил он там с женой и двумя взрослыми детьми. И вот кому-то из его отпрысков потребовалось пригласить домой немцев из ГДР. Встал вопрос о приличном угощении, а в магазинах, как помним, кроме несъедобной вареной колбасы ничего купить было невозможно. Начались хлопоты, и вот с помощью райкома партии удалось достать какую-то приемлемую еду. Сам полковник Тертычный в добывании еды непосредственного участия не принимал, но, когда все благополучно завершилось, я помню, он произнес: «Да... Если бы я был полковником той армии, которую я победил, я бы жил не так...».

Еще одна важная глава — *Правда о предателях* — начинается так: *«Знакомясь с материалами Отечественной войны, я все чаще сталкивался с проблемой, которую определяли словом “предатели”». И далее перечисляются те, кто объявлен таковыми: и военнопленные, и угнанные на работу в Германию, и те, кто сотрудничал с немцами и служил в их администрации, и эмигранты, и казаки, и противники сталинского режима.*

Пятая книга серии «**Вызываю дух генерала Власова**» являет читателю еще одну грань таланта автора: прочие издания серии относятся к документальному жанру, а эту книгу можно назвать художественной — она по большей части состоит из прямой речи генерала Власова, которая «звучит» вполне убедительно.

С юных лет я испытывал уважение и сочувствие ко всем, кто противостоял большевикам и их приспешникам с оружием в руках: и к воинам Белой армии, и к тамбовским крестьянам, и к кронштадтским морякам, и к соратникам Степана Бандеры, и к литовским «лесным братьям», и к венграм, восставшим в 1956 году... Но к Русской Освободительной Армии у меня особое отношение. Осенью 2002 года в Америке я записал на диктофон воспоминания своего близкого друга, священника Зарубежной Церкви, о. Владимира Шишкова, служившего в РОА: «...Мне было уже семнадцать, и вот я объявил родителям, что хочу поступить в Русскую Освободительную Армию. Там были такие курсы унтер-офицерские, они располагались на самом западе Германии, почти на границе с Францией. В Вене было представительство РОА, и я там записался <...> Нас выстроили и сказали: “Кто хочет охранять архив РОА и вещи штабные?” Я вызвался. Нас таких было восемь человек. Недалеко от нашего лагеря — железнодорожная станция. Нам было сказано: придет состав, мы должны все погрузить и везти, сопровождать... Если не придет поезд и не будет транспорта, нужно уничтожить весь архив. Но мы слышим: канонада приближается все ближе и ближе... И вот нам сообщили: на следующий день здесь будут американцы и французские войска. И, главное, черные эти, из Африки. Они безжалостные совершенно были, мы об этом уже знали... И вот разожгли мы большой костер и сожгли весь архив... Ну, а сами пошли отступать пехом...». Можно вообразить, насколько увеличилось бы число загубленных сталинскими палачами людей, кабы архив РОА попал к чекистам.

Книга «**Пять выборов Никиты Хрущева**» написана Поповым в соавторстве с его покойным учеником — внуком Хрущева Никитой Алексеевичем Аджубеем. Причина и цель написания книги объяснены в предисловии: «*Работая с главным документом самого Хрущева — его воспоминаниями, — мы обратили внимание на то, что эта очень интересная книга в основном оставляет в тени личность самого Хрущева. Почему он пришел в революцию? Почему он выбрал большевиков? Почему примкнул к Сталину? Почему одобрил репрессии? Почему пришел к идее разрыва со сталинизмом? Почему избрал именно эту форму разрыва? На все эти десятки “почему” книга Никиты Сергеевича ответа не дает. Между тем, именно эти ответы чрезвычайно важны*».

Книга достигает своей цели — ответы на многие «почему» вполне вразумительны и достоверны. Один из ключевых моментов в истории страны и в биографии героя — смерть тирана. Авторы констатируют: «*В марте 1953 года Сталин умер. Общество — и та часть, что радовалась, и та, что была убита горем утраты, — замерло: что дальше?*» Интереснейшее свидетельство — рассказ великого скрипача Давида Федоровича Ойстраха: пока гроб Сталина стоял в Колонном зале, они, лучшие исполнители, играли там по очереди. У них была возможность передохнуть и подкрепиться — в соседнем помещении для них стояли стулья и стол с бутербродами и чаем. В какой-то момент туда заглянул Хрущев — лицо небритое, усталое, но довольное. Оглядев сидевших там знаменитых музыкантов, он сказал вполголоса: «*Повеселей, ребятки!..*».

Не может быть сомнений в том, что главное из деяний Хрущева — реабилитация жертв сталинского режима. Помнится, в те времена Анна Ахматова часто повторяла: «Я — в партии Хрущева. Он избавил мою страну от позора сталинских лагерей»... Попов пишет: «*И арест Берии, и отставка Г.М. Маленкова — это важные звенья процесса десталинизации. И после XX съезда — все годы своего руководства — Н.С. Хрущев постоянно занимался десталинизацией (вынос тела Сталина из Мавзолея, переименование городов и заводов, новые тексты учебников и многое другое)*».

Вынос Сталина из Мавзолея широко обсуждался в тогдашней Москве. А я в те дни вспоминал его речь 11 декабря 1937 года в Большом театре, которую он произнес, будучи «кандидатом в депутаты Верховного совета СССР от Сталинского района г. Москвы», начатую так: «Товарищи, признаться, я не хотел выступать, но наш

Никита Сергеевич чуть не силком притащил меня на собрание — скажи, говорит, речь...» Имитируя грузинский акцент, я говорил тогда друзьям: «— Товарищи, признаться, я не хотел покидать Мавзолей, но наш Никита Сергеевич чуть не силком вытащил меня оттуда: иди, говорит, прочь...».

Симпатизируя Хрущеву, Попов тем не менее не умалчивает: «...*Приближенные Хрущева убедили его в целесообразности начать гонения на Православную Церковь*». А я напомним: среди хрущевских мер удушения Церкви не последнее место занимало введение грабительских налогов — до пятидесяти и более процентов — с дохода священнослужителей. Известный своею прямою, «наш Никита Сергеевич» сформулировал свою новую политику по отношению к религии, заявив с предельной откровенностью: «Попов надо брать не за глотку, а за брюхо». Введение новых налогов сопровождалось скандальными, а то и курьезными случаями. Одному сельскому батюшке предложили уплатить весьма значительную сумму. Шли недели, месяцы, а он ничего не вносил и в финотдел не являлся, несмотря на многочисленные вызовы. Наконец он прибыл туда с большим мешком и с порога осведомился, где сидит заведующий. Зайдя к начальнику в кабинет, батюшка, не говоря ни слова, высыпал на письменный стол содержимое своего мешка: яйца, мясо, картошку, лук и прочую снедь. «Это что же такое?» — сказал изумленный заведующий. «Как — что? Налог». «Позвольте... Но налог уплачивают деньгами...». «А мне в церковь денег не носят, — сказал батюшка. — Весь мой доход — продукты... Так что, получайте...».

Когда хрущевское гонение стало разворачиваться во всю силу, московские клирики придумали себе игру, в которой находили своеобразное утешение. Если в поминальной записке встречалось имя «новопреставленный Никита», тот из священнослужителей, который читал эту записку, возвышал голос и громко, отдельно, на весь храм произносил: «Но-во-пре-став-лен-но-го Ни-ки-ты!..»

На это другой клирик столь же громко откликнулся: «Что? Уже?».

Но хрущевская борьба с религией не ограничивалась удушением Церкви, это была часть так называемой «идеологической борьбы». В те годы в Исторический музей, тот самый, что стоит на Красной площади, был назначен новый директор. Обозревая вверенное ему заведение, он зашел в отдел древнерусского искусства. Выставленные там иконы на него особенного впечатления не произвели, но он сделал даме, которая заведовала этим отделом, такое замечание: «Что у вас здесь написано? Какой-то “Спас”, какой-то “Никола”, “Владимирская икона Божьей Матери”... Значит, так: не “Спас”, а “Портрет человека средних лет”... Не “Никола”, а “Портрет пожилого человека”... Не “Владимирская икона”, а “Женщина с ребенком”...».

В главе *Пятый выбор: отставка* Попов пишет о «мятеже номенклатуры», которая свергла Хрущева: «*Хрущев, — шутил один из острословов того времени, — великий организатор. В ненависти к себе он сумел сплотить весь аппарат партии*». Нельзя не согласиться с выводом автора: «*В главном он выиграл этот свой последний Пленум. Размазывая по лицу слезы — и по законам жанра, и в силу выработанных в ходе учебы у великого лицедея Сталина привычек, — в душе Никита Сергеевич мог ликовать. Ведь его осудили не за то, что он поднял руку на Сталина. Его осудили за то, что он не смог до конца преодолеть в себе сталинский стиль. Фактически критикующие его подписывались под обязательствами идти его путем, путем продолжения борьбы со сталинизмом. И решение отправить его в отставку, на пенсию, а не арестовать или расстрелять, — тоже в антисталинском духе*»...

В заключение этих заметок я хочу вот что подчеркнуть. Мы с Гавриилом Харитоновичем — совершенно разные люди: он — агностик и социалист, я — православный священнослужитель и монархист. Он верит в возможность осуществления разумного, справедливого «постиндустриального строя», а я предвижу дальнейшее падение нравов, грядущее пришествие Антихриста и относительно близкий конец света.

Но я почти всегда согласен с его рассуждениями и выводами, поскольку у Попова — ясный ум и безусловная приверженность истине.

Д В А Ж Д Ы**Смерть в конце тоннеля**

Александр Терехов. *Каменный мост.* — М.: АСТ-Астрель, 2009.

После выхода в свет повести «Зема» (1989) и романа «Крысобой» (1995) Александр Терехов занял в современном российском мейнстриме место, которое можно было в одной фразе описать как «еще-один-роман-и-будет-считаться-мэтром». Огромный «Каменный мост» позволил ему преодолеть остававшуюся дистанцию. «Талантливый молодой прозаик», — вот как называли Терехова в рецензиях и аннотациях середины 90-х. Теперь, очевидно, станут называть «мастером».

Литература основного потока в наши дни с удовольствием вторгается на территорию фантастики, присваивая ее художественные средства, но стараясь притом сохранить репутацию: «К фантастам не имею отношения...». С этой точки зрения книге Александра Терехова трудно отыскать адекватное определение. Что это такое? Мистическая проза, она же сакральная фантастика? Экзистенциальный роман? Ультрафикшн? Текст сделан в густой, насыщенной стилистике современного мейнстрима, однако в качестве сюжетного двигателя имеет фантастическое допущение мистической природы. Странная организация занимается расследованием одного убийства, произошедшего шестьдесят лет назад в Москве на Каменном мосту. Следователи при определенных обстоятельствах могут допросить мертвецов, да и сами-то не вполне живые люди... Впрочем, мистика у Терехова отнюдь не самоценна. Это инструмент, который используется автором очень осторожно, и на протяжении доброй трети романа у читателя должно бы создаваться впечатление традиционной реалистической конструкции, за которой прячется какая-то недоговоренность: нет понимания, почему машина действия включилась. Собственно мистика подступит к читателю вплотную лишь во второй половине книги. Тогда-то через нее и приходит объяснение или, если угодно, мотив для разворачивания фабулы.

Лучшее в романе — рассказ о том, что представляла собой жизнь политической элиты 30—50-х годов. Как она ради силы, власти, «служения бессмертию» отказалась от всего человеческого в себе, как слово было отторгнуто от ее уст, и она онемела, причем оставалась немой, даже когда писала пустые, из одних штампов составленные мемуары. И как это самое человеческое, сопротивляющееся железному «бессмертию», все-таки прорастало, брало свое — в «лишних» фразах, «лишних» поступках, в опасной свободе детей, не понимающих, что именно и какой ценой досталось отцам. Терехов, мешая будни следовательской группы и экскурсии в прошлое, дает читателю материал для размышлений на тему: любовь стоит дорого, а вянет быстро; отказ от любви стоит дорого — чем без любви заполнить время, оставшееся до смерти? Выбирать все равно придется.

Роман пронизан мотивами экзистенциальной прозы. Время от времени наливаются зримой плотностью ассоциации с «Тошнотой» Сартра и — гораздо ощутимее — с «Посторонним» Камю. Главный герой без конца фонтанирует монологами о страхе смерти, главенствующем над его собственной глубинной сутью и, шире, над сутью огромного количества людей, так или иначе отдающих себе отчет в собственной «болезни к смерти». Перед лицом этого страха все бесполезно и все бессмысленно. Сделать «движение веры», как предлагал еще в позапрошлом столетии пред-экзистенциалист Кьеркегор, центральный персонаж неспособен (как, впрочем, не мог сделать его и сам Кьеркегор).

Он бы и ушел в веру, но говорит себе: ведь если есть хотя бы один ничтожный шансик, что Бога нет, и все усилия напрасны, то, значит, вера не дает ни надежного выхода, ни даже надежного утешения... Любовь земная ничуть не лучше. Терехов беспощаден и даже циничен, разбирая романтизированные приметы любви на мелкие детальки, на шестереночки, на микроскопические болтики; в итоге получается россыпь, состоящая из самообманов, терпения, скверного секса, редких полетов духа, которые заканчиваются ярмом взаимного долга. Упертый натурализм автора сродни замыслу одного кинорежиссера, вставившего в свой фильм длинную сцену изнасилования, очень длинную, невероятно длинную, столь длинную, что на исходе ее даже самым ненасытным подросткам стало ясно: да ведь это противно и некрасиво, ничего более. Так вот, занимаясь подобного рода «деконструкцией», Терехов оказал себе медвежью услугу. Создалось впечатление, будто он взялся за анализ «Моны Лизы», рассматривая под микроскопом частички краски. Что он видит? Безобразные частички краски, больше ничего. Видит ли он Мону Лизу? Да никоим образом. Так у Терехова получилось с верой и любовью. Он вбил весь свой недюжинный талант в доказательство сомнительной теоремы: вера и любовь в этом мире не греют; строил доказательства виртуозно; разрушал самые утонченные этюды любовных чувств; и к чему пришел? В сущности, вся конструкция может быть торпедирована банальным: «Тебя не греют, а меня греют».

Что остается интеллектуалу, вбитому в депрессию экзистенциальным страхом смерти? Занять время земной жизни вещами, которые помогут забыть об этом страхе. Собственно, поиски правды факта в отношении убийства двух молодых людей ценны прежде всего тем, что они наполняют жизнь чужим экзистенциальным опытом и, следовательно, могут служить современному интеллектуалу средством отдохновения от постоянного ужаса — в пропасти пропасть... Альбер Камю в качестве лекарства от ужаса перед грядущей кончиной рекомендовал творчество и наслаждение «каждым мигом жизни» в широком диапазоне: от того, что советовали киренаики, до того, чем занимались эпикурейцы. Терехов предлагает любителям экзистенциальной философии новинку. Он, в сущности, говорит: «В нашей бессмысленной жизни есть еще один способ как следует отвлечься — всмотреться в чужие бессмысленные жизни и отыскать в них какой-то смысл. Но только в истину, в самую истину отношений надо глядеть, не тратя умственную энергию на упрощения».

Вместе с тем, когда правда факта добыта, т.е. когда картина убийства становится ясной, все то, что было определено совершенно точно... вновь рассыпается перед пытливым взглядом в бессмылицу. Главный герой, предельно авторизированный, по воле Терехова представлен читателям как большой знаток советских игрушечных солдатиков. Это очень важная, можно сказать, говорящая деталь. На протяжении нескольких лет центральный персонаж возится с расследованием убийства, произошедшего при глубоком Сталине. Переворачивает океан старых документов. Пользуется материалами полудопросов-полуинтервью, проведенных с теми прикосновенными к делу персонами, кто еще жив. Влезает в мистическую процедуру допроса мертвых душ. Решает вроде бы серьезнейшую проблему. А в итоге смысла у его работы оказывается не больше, чем у игры в солдатик. Да, главный герой с интересом относился к сталинскому периоду советской государственности. Да, он насытил свое любопытство. Да, он прикоснулся к тайнам Империи. И что? Опять к сердцу подступает непобедимая тоска, но смерть стала на несколько лет ближе. И вот уже в финальной сцене появляется образ корабля, странно похожего на ладью Харона, «...на корме появилась человеческая фигура с петлей, канатом в руке...». Процесс близится к завершению.

Роман Терехова дарит читателю безнадежность в кафианском смысле: выхода нет. Нет, и точка. Можно в лучшем случае немного отвлечь себя, развлечь себя, дать кому-то завлечь себя... Ненадолго. А потом — смерть. Такая же бессмысленная жизнь и такая же бессмысленная смерть, как и у тех, чью жизнь и чью смерть ты исследовал/расследовал.

Думается, роману предстоит печальная судьба. Автор слишком тщательно готовил «большое литературное событие», поэтому оно может состояться слишком формально. Да, — признают, — мастер. Очень солидный получился кирпич... Некоторые осият до конца. Большинство же умных, «квалифицированных» читателей все-таки недочитают.

По началу книги, как уже говорилось, сделают вывод: «Серьезная вещь». Но, если правде смотреть в глаза, ни первые, ни вторые перечитывать не станут. «Каменный мост», принес автору признание, но не славу, надо полагать, очень быстро превратится в «факт истории литературы».

Книга неоправданно велика. Высокий объем авторизированных отступлений при ослабленной логике развития сюжета — особенно на последних двух сотнях страниц — превращают роман, начавшийся почти-детективом, в страшную тягомотину. Автор, по его собственному заявлению, вял текст целых одиннадцать лет. Что ж, быть может, последние два-три года он мог бы с большим успехом заниматься иным литературным трудом. Пусть даже вся книга сделана без отступлений от уровня, взятого на первой сотне страниц, и, по гамбургскому счету, высокого. Допущена ошибка, которая немало поработает на мумификацию романа: автор снабдил свои экзистенциальные тезисы слишком обильным иллюстративным материалом. Мясо уже разжевано до фарша. Зачем прокручивать его в мясорубке еще разок, еще, потом еще, еще, еще и еще, а затем еще раз и еще? А потом еще раз.

И все-таки еще разочек...

Дмитрий Володихин

Уличные голоса

Для читателя этой книги есть несколько предварительных препятствий, вовсе не связанных с качеством текста — это, например, слова Дмитрия Львовича Быкова: «Скажем, я почти уверен, что “Большую книгу”—2009 получит Александр Терехов за роман “Недолго осталось”: так он назывался в рукописи, но это отличное название, скорее всего, будет изменено. Я резко отрицательно относился к “Крысолову”, часть публицистики Терехова казалась мне невыносимо претенциозной, но таланта этого автора не будет отрицать никто. Он написал блестящий роман-расследование об убийстве Нины Уманской: кто знает, тот поймет. Это книга с явными отсылками к уже упоминавшемуся Трифонову, проникнутая отвращением к текущей реальности и страстной, несколько некрофильской любовью к советскому ампиру, которым Терехов давно заворожен, — но художественный результат для меня бесспорен».

И конечно, тебе хочется из чувства противоречия сказать что-то поперек. Но только прежде чем спорить, хорошо бы вчитаться и обдумать ощущения.

Второе препятствие уже совершенно серьезно. Дело в том, что сюжет романа (расследование, что ведет герой по заказу непонятных людей, то есть расследование обстоятельств того, как из-за несчастной любви семиклассник, сын наркома авиапромышленности Шахурина, застрелил дочь дипломата Уманского на Большом Каменном мосту, а потом застрелился сам), напоминает разросшуюся передачу «Кремлевские дети», «докудраму» — документальную драму с телевидения, что дополнена рефлексиями небогатого сорокалетнего героя-сыщика.

Есть такая история, которую рассказывают про разных людей — мне рассказывали про историка Моммзена. Этот немец, когда писал свою фундаментальную «Историю Рима», был отвлечен шумом, доносившимся с улицы. Моммзен послал слугу узнать, в чем дело, — тот вернулся и доложил, что там столкнулись два экипажа. Шум, впрочем, продолжался, и историк послал туда служанку. Та вернулась с сообщением, что там подрались мастеровые. Моммзен вскричал: «Как можно писать историю античности, когда непонятно, что произошло полчаса назад под окнами!»...

Примерно то же самое чувство вызывает «жареная» история давнего и недавнего времени. Сюжет со стрельбой на Большом Каменном мосту в 1943 году — довольно известный, есть несколько документальных фильмов, снятых на эту тему, и бесчисленное количество публикаций в бульварной прессе. В этой истории есть все для настоящей бульварщины — смерть (вернее, много смертей), красивая девочка, сильные мира сего и, главное, интонация «а от нас скрывали».

И когда автор заставляет своего героя заниматься такого рода расследованием, то ставит его перед классическим выбором: оставить тайну подвешенной, напустить в конце туману, «то ли он шубу украл, дорогой читатель, то ли у его шубу украли», то есть дать прорасти мифологической тайне, — или вернуть героя к официальной версии, ее подтвердить. И то, что Терехов не укрепляет это бормотание: «А от нас скрывали, скрывали, а на самом-то деле...», — делает ему честь.

Впрочем, тумана в этой книге хватает. «Люди правды» — довольно странное сочетание, которое он придумал, сочетание аморфное, — это работники спецслужб, люди дознания вообще, оказываются правы в своей официальной версии. «Родина своих не подводи, повешенные — люди правды — не ошибались: их дело действительно победило, дотошно и полностью, не упустив мелочей, и если в суховатое повествование Гольцмана, перегруженное цифрами грузоподъемности пущенных под откос поездов, вплетался человек, предавший наших, то обязательно пару абзацев спустя, без всякой связи с излагаемым материалом, появлялось: «Кстати сказать, и этот провокатор был пойман и приговорен трибуналом к расстрелу», — ничто не прерывало хлопотливое и вечное движение холодных рук, десятилетиями подбивающих итоги, и в четверг утром в провинциальную дверь звонил водопроводчик, и открывший седой и ветхий хозяин слышал именно тот веселый ненавидящий говорок, который слышал каждую ночь все эти бессильные годы: «Ну что, сука, думал, забился в щель и мы тебя не найдем?». Эти «люди правды» — и те, кто арестовывал, и те, кого арестовывают: «Дела людей правды достается описывать особенным людям правды, тем, кому повезло уцелеть до старческого слабоумия, избежать профессиональных заболеваний рудокопов, описываемых неловкой скороговоркой на предпоследней странице: переведен в начальники шахты на Чукотке, уволен за дискредитацию органов, лишен воинского звания и уволен из органов, осужден на десять лет лишения свободы, исключен из партии, покончил с собой, приговорен к высшей мере наказания, умер на допросе, был арестован и после непродолжительного следствия расстрелян»...

Но, как и подсказывает нам бритва Оккама, все тайны и трагические истории прошлого объясняются наиболее простыми причинами. Так и в случае со стрельбой на Каменном мосту.

Однако по законам детективного жанра судить эту книгу не следует — она проиграет всем: от толщины до развязки. А вот как запись уличного шума, пленка диктофона, шуршащая и хрипящая, она прекрасно работает. Тут есть еще определенное писательское мужество — потому что эти голоса вполне себе имеют имена, фамилии и отчества. Это не отговорка «названия вымышлены, всякие совпадения случайны», это довольно рискованное описание эпохи. Не предположишь же, в самом деле, что на всякую фразу героя с реальной фамилией есть реальная магнитофонная пленка.

Собственно, очень хорошо, что это не нормальный криминальный роман с ностальгической составляющей. Получить такое было бы несложно: герой, что сидит себе и продает иностранцам оловянных солдатиков в перестройку, бывший чекист, *получастный* детектив, получает вдруг заказ от незнакомца на расследование этого дела. Ельцин, Газпром, шальные девяностые — всего этого много, как половником плеснули в читательскую тарелку. Мимоходом автор просвещает читателя, рассказывая историю строительства Большого Каменного моста и Дома на набережной. В тексте действительно много от Трифонова, но не подражания, конечно, а именно оглядывания. Что-то вроде «мы с тобой, читатель, конечно, читали тот знаменитый роман, а теперь посмотрим на этот дом из того времени, когда мимо него несутся по Большому Каменному мосту джипы, а сам его венчает гигантская эмблема «Мерседес» (совсем немного советского ампира, скорее много девяностых — но действие то и дело переваливается и в нулевые, в реалии нынешнего нулевого времени, с цитатами из журнала «Континент» за 2003 год и тому подобным).

Детективная составляющая истории лишь позволяет персонажам выговориться — сюжет как та знаменитая луковка Достоевского, на которой гроздьями висят люди. Каждый из них надеется сохраниться, не сгинуть в безвестности, а остаться — хотя бы словом, своей историей.

Главная ценность этого текста, мне кажется, в том, что он густ, как каша, неразличимо-плотно населен десятками героев. Мне рассказывают (сохраняя от забвения) истории множества людей. Какая в каждом случае содержится доля вымысла — я не знаю, но сама идея собрания этой толпы в хор, проговаривающий свои судьбы, дорогого стоит. То есть книга полна совершенно реальных личностей, причем некоторых я сам знал и видел. Вот появляется всамделишный некрополист Кипнис и под своей фамилией говорит с героем о Новодевичьем кладбище — да позвольте! Это ведь был совершенно реальный человек, как и сотни (их, кажется, именно сотни, а не десятки) таких же. Это сотни голосов, каждый из которых бормочет свою историю, который вслед знаменитой японской истории с убийством в чаще рассказывает свою версию событий.

Нет, когда автор пересказывает реалии той эпохи или, к примеру, рассказывает, кто такой Эренбург, я начинаю скучать.

Я знаю, кто такой Эренбург.

Но при этом я понимаю ценность этого группового снимка, этой записи чужих разговоров.

Это то, что мог бы сделать историк, если бы принадлежал к исторической школе, которая занимается описью частной жизни. Он записал бы все то, что говорит слуга, и то, о чем рассказывает служанка, что кричат мастеровые и как устроены конные экипажи. Тут, конечно, важно понимать целевую аудиторию — тем, кому за сорок, без толку подробно рассказывать историю строительства Дома на набережной — они знают и так. Тех же, кому нет двадцати, вообще непонятно что интересует.

Впрочем, забота о целевой аудитории в литературе — всегда гадание. Да и попадание в нее не так важно — записанные голоса остаются жить, они пригодятся потом, и весь этот хор будет ждать своего часа, как негативы в чемодане на антресолях. Оттого я бы снял претензии к величине этого текста — старых фотографий или запечатленных голосов много не бывает.

Владимир Березин

к н и ж н ы е с е р и и

Ускользание ответа

Поколение: проза. — М.: Книжное обозрение, 2009. — **Александр Зайцев.** Старое общежитие: Рассказы; **Кирилл Рябов.** Стрельба из настоящего оружия: Рассказы; **Моше Шанин.** Я знаю, почему ты пишешь рассказы: Рассказы.

Просто и изящно оформлена новая серия, представляющая рассказы молодых авторов, — самому старшему из них тридцать. Это, надо полагать, лучшее, что выловлено из потока произведений, претендовавших в свое время на премию «Дебют». Удачный и оправданный, на мой взгляд, издательский проект Леонида Костюкова и Виталия Пуханова.

Начинаешь читать слегка настороженно: не разочароваться бы с первой страницы. Не разочаровываешься.

Потом с надеждой, что тебя не обманет начало, уже смелее, пробуешь на эстетический вкус незнакомую прозаическую ткань: интересно? Интересно.

Через некоторое время, доверившись тексту, понимаешь: перед тобой — подлинное.

Авторы очень непохожие, у каждого собственный способ говорения и переживания, у каждого свой мир. Основных принципов серии, пожалуй, можно выявить два: индивидуальный взгляд-голос и экзистенциальный поколенческий подход.

Сначала о втором. Безусловно, три авторских взгляда отражают поисковый вектор нового поколения, направленный, если обобщить, на поиск основания бытия. Убедителен при этом отказ от готовых ответов.

С интонацией чуткого разочарования задает тревожащие вопросы в своей психологически тонкой, философичной прозе **Александр Зайцев.** Ностальгия по недостижимо-

му душевному уюту — вот лейтмотив цикла рассказов, вместе образующих повесть «Старое общежитие». Через неустроенный быт общаги передана вселенская бесприютность человека вообще, обреченность его на тотальный неуют одиночества, непонимания, неприкаянности. «Вопросы — вот предел мудрости, отведенной мне. Правильное нахождение слов для формулировки вопроса. (...) Жить с удачно заданным вопросом лучше, чем с псевдоответом на него. (...) Ты задаешь их, задаешь, задаешь... И, годы спустя, ощущаешь, что материализованный, облеченный в слова ответ не нужен».

Короткие рассказы-осколки, ранившие чужой болью. Но — никакого надрыва и сентиментальности, скорее спокойная усталость. Тонкое и точное чувство времени, всегда разного в зависимости от наполнения, и рецепт счастья, зависящего от умения выстроить субъективные взаимоотношения со временем: «Сгущение дней, недель, месяцев в минуту, которое приводит к экстазу рождения блестящих мыслей, красивых образов и поразительных идей, доступно не всем. Разбавление дня до вечности — скажем, на морском пляже — тоже удел немногих. А ведь именно такие умения дарят человеку необходимую удовлетворенность, оправдывающую и анестезирующую его существование».

Свой метод «оправдания существования» и у **Кирилла Рябова**. И своя попытка ответа на вопрос: возможно ли существование сделать безболезненным? Никакой анестезии нет и быть не может. Это звучит в одном из самых сильных рассказов «Погост», где герой экзистенциально одинок, но, в отличие от героев Сартра и Камю, способен любить: от жены, оставившей его, до котят, умирающих на его глазах в зоомагазине, где он работает охранником. Защищаясь, он пытается быть циничным, что выражается лексически (матерится), но в чувствительности своей он еще более незащищен, чем котенок, умирающий на его руках.

Проза Рябова, сдержанна, иронична. Стилистически проста и непритязательна, но эмоционально и интеллектуально насыщена.

«— Выбросите их на помойку.

— Что?

— Просто отнесите и выбросите их на помойку, — сказала она (*хозяйка*. — А. Е.).

Я завернул трупики в полотенце, которое нашел в туалете, и вышел на улицу. Парк находился в полукилометре. Я пролез через кусты, прошел вглубь на сотню метров и выбрал место под молодой березой. Земля была твердая, я скоблил ее небольшой туалетной лопаткой, разгребал руками. Полотенце с котятками отчетливо белело в темноте, а я пытался отделаться от навязчивой мысли, что они там шевелятся».

Стиль некоторых рассказов, например «Плевков», «Проблемы с головой», «Сексуальная жизнь писателя», можно определить как ироничный сюрреализм, там отчетливы элементы гротеска и юродства. Мир их художественно убедителен, хотя и столь же неуютен, как реалистично изображенный у Зайцева. Однако слишком часто автор пытается сгустить (или, наоборот, разрядить) абсурдность происходящего ненормативной лексикой, а это, на мой взгляд, прием из разряда запрещенных, несмотря на то что бои у нас давно уже без правил... Это род словесного шулерства, без которого талантливый писатель, владеющий иными образными средствами, вполне может обойтись.

Третий автор, **Моше Шанин**, пожалуй, более стилистически причудлив, метафоричен и иносказателен. Этакая бытовая притчевость с привкусом абсурда. Обычные житейские истории, вывернутые наизнанку фантазмагоричностью взгляда. Мир-перевертыш, балансирующий на грани устоявшихся понятий. И — тоже ирония, только в отличие от иронии-отчаяния Кирилла Рябова здесь, скорее, ирония-карнавал, ирония-гримаса, эмоционально не отсылающая к печали, а оставляющая где-то на стыке улыбки и грусти.

Интонационный рисунок Моше Шанина — более запутанный, никогда не доходящий до крайних степеней переживания. Возможно, именно поэтому создается ощущение отчуждения от текста, и он не завладевает читателем полностью, дескать, ты сам по себе, а я сам по себе. Ну что ж, условия принимаются. И уже читаешь внимательно и спокойно, как будто слушаешь давнюю историю любви престарелой дальней родственницы. Правда, о любви здесь почти ничего. Не то что у Зайцева и Рябова. Они вроде бы и пишут совсем не об этом, а, скажем, о котятках (Рябов) или какой-нибудь тете Ане (Зайцев), а выходит — все равно о любви. Тексты Шанина же интригующие (стилистически), но прохладные (психологически). Откуда взять это внутреннее наполнение? Автор мо-

лод, и это еще, наверное, придет. Хотя напряжение экзистенциального поиска, тоска по ускользающему смыслу звучит у Моше Шанина отчетливо:

«Но нет сил. Во мне — усталость всего мира.

Я откидываюсь на подушку.

Жду. Я готов. Мне не страшно. Я спокоен.

Никого нет рядом. Но так даже лучше.

Мне не страшно. Я. Спокоен.

Потому что.

Спустя одну секунду.

Спустя одно биение сердца.

Спустя один выдох.

Все.

Потеряет.

Смысл».

Так или иначе все три автора демонстрируют владение жанром рассказа с уплотнением текста, с использованием новых реалий и неожиданных стилистических и композиционных ходов. Не знаю, можно ли здесь говорить о новом направлении в современной прозе, но об индивидуальном подходе каждого автора к решению этико-эстетических задач в прозе — безусловно. Так же безусловно и то, что у всех троих — однонаправленные смысловые векторы: поиск обоснования собственного существования. И ответ кроется, по сути, в самом вопросе. Ответ, который для каждого поколения свой, но отчасти и одинаковый...

И Александр Зайцев, и Кирилл Рябов, и Моше Шанин — авторы с серьезным, будем надеяться, писательским будущим. А инициаторы проекта Леонид Костюков и Виталий Пуханов делают полезное дело, поддерживая, пусть первой и тонкой, но уже весомой книгой молодых перспективных писателей.

Анастасия Ермакова

Поэты Ра

Библиотека журнала «Дети Ра». Поэтическая серия. — М.: Вест-Консалтинг, 2009. — **Михаил Вяткин.** После абсурда; **Евгений Степанов.** Две традиции; **Татьяна Щекина.** Кончился свет.

Инициированная только в 2008 году, серия насчитывает уже более десятка изданных книг. Отдельных авторов можно увидеть на поэтических вечерах в «Литературно-художественном салоне на Большой Никитской» — «Библиотека журнала «Дети Ра» живет не только на бумаге, но и в форме презентаций и встреч, в активном поиске новых читателей.

Каких авторов собрала новая серия?

В книге Антона Нечаева «ПомоГимн» за ернической манерой скрывается серьезность. Лирическая героиня книги Риты Бальминой «Недоуменье жить» — женщина, роднящаяся с «чужаком» Нью-Йорком. В книге Юрия Перфильева «Другие дни» человек бытует в пространстве города, словно внутри метафоры. Прожилки юмора в стихах Перфильева — серьезнее нейтрального контекста. Сборник стихотворений и песен поэта и барда Татьяны Романовой-Насиной «Восход» сопровождает интонация молитвы. У Максима Замшева в книге «Безоружный солдат» в русском пространстве — на Гоголевском бульваре, в «ранних сумерках Фета» — «жизнь продолжается от последней до первой беды». Книги трех авторов серии — Михаила Вяткина, Евгения Степанова и Татьяны Щекиной — рассмотрим подробнее.

На одной из литературных встреч в салоне Евгения Степанова ко мне в руки попал днепропетровский альманах-газета «Стых» (осень 2007), в котором поэты размышляли о силе и слабости поэзии, ее будущем. **Михаил Вяткин** в «Стыхе» таким образом опреде-

лил понятие явления поэта: «Поэт — это тот, кто говорит на своем особенном языке и имеет свою уникальную философию, которой он не изменяет на протяжении всей жизни». Для Вяткина это не просто слова, а поэтические действия.

Его творческий почерк (именно почерк — в буквальном смысле) узнаваем. Поэт на пространстве страницы свободно размещает слова и буквы. Работает с разными шрифтами и кеглями. Внутри слов выделяет отдельные знаки полужирным шрифтом и курсивом. Его слова разлетаются, как «тени испуганных птиц». К подобной манере письма М. Вяткин пришел, по его собственному признанию, в 1998 году, навсегда распрощавшись с традиционной стихотворной графикой (и влекомым за ней содержанием). В книгу «После абсурда» как раз и вошли произведения, написанные автором с 1998 по 2008 год.

«Чтобы как-то назвать такие поиски, использовал термин «постабсурд», — поясняет М. Вяткин в предисловии к книге. Какая семантика скрывается здесь за приставкой «пост»: абсурд переходит в новую фазу по закону отрицания отрицания или перехода количества в качество? К примеру, таким явлениям, как постструктурализм и постмодернизм, удалось объединиться в комплекс именно благодаря разным путям их формирования: постструктурализм отрицает точность и логичность структурализма, а постмодернизм углубляет зыбкость и алогичность модернизма. «Постабсурд» М. Вяткина опирается на диалектику видимой бессмыслицы и сконцентрированного в ней смысла. Сергей Бирюков, автор «Несколько слов у входа в книгу», находит у Вяткина обращение к русским народным истокам, «дух небывальщины».

Художник словно заново знакомит нас с буквами и словами. Чтение стихов Вяткина, в силу их графической специфики, замедлено, а значит, более качественно. Медленный темп не затрудняет, а облегчает чтение. Изменяя привычный графический рисунок стиха (или как-то иначе провоцируя читателя), автор нередко заставляет реципиента вернуться и перечитать тот или иной контекст. Сколько раз читатель вернется к строкам: «Разницу Между / Самим Собой и Самим Собой» — ведь этой разницы на уровне графики нет, а на самом деле она есть.

Это проверенный прием, который можно сравнить по действию, к примеру, с «обманом рифменного ожидания» (Г. Шенгели). Возьмем утрированный пример. Вы читаете чье-то стихотворение, написанное парной рифмовкой, и оно вдруг обрывается в финале на холостом стихе — высока вероятность, что вы вернетесь к предыдущим строкам в поисках «потерянной» рифмы. Возвращение за утраченной привычностью восприятия для читателя поэзии М. Вяткина — один из важных шагов рецепции.

Обретая новый контекст, буква становится уникальной. Вяткин изменяет (повышает) статус слова, признаваясь в этом читателю: *«зато теперь я буду давать имена разным словам / и писать их с заглавной буквы»*.

Текст М. Вяткина рождается не по принципу компенсации одних признаков другими, а по принципу усиления, сгущения признаков в одном контексте. Работая с самыми формальными уровнями текста (графика и ритм), поэт сгущает содержание. Вяткин не только графический эквилибрист. Он создатель, к примеру, стихотворения «Как я выздоровел», лирический герой которого вернулся к жизни, обрел себя, освободившись от чаштиц темноты, грусти и страха. Он автор поэтических строк «тогда может быть я пойму что такое боль / боль которую нельзя отдать другому», «женщина-лодка, у которой развеваются волосы», «человек-жилище будет стоять тихо и дожидаться / когда на крыше прибьют специальную жердь / и приделают на ней женщину-скворечник», «если лестница проходит сквозь зеркало»...

В названии книги **Евгения Степанова** «Две традиции» заявлено право на сосуществование двух поэтических тенденций современной русской поэзии — подчиняющегося метру и рифме (скорее подчиняющегося себе метр и рифму) и свободного стиха. В книге два раздела, наименованных «Традиция первая» и «Традиция вторая». Во втором автор уточняет в подзаголовке стиховую форму — «Верлибры».

Метризованные и рифмованные «разговоры» (один из подразделов первой части книги назван «Рифмованные разговоры») объединены с верлибрами дневниковостью. Евгений Степанов — автор, пожалуй, одного из наиболее известных в русском литературном про-

странстве интернет-дневников (<http://www.stepanov-plus.ru/literator/dnevnik/dnevnik17.html>). Здесь — жизненные наблюдения в жанре миниатюр с парадоксами, нередко с анекдотической «солью» в финале. Многие из них полны живого юмора, порой грустного. Дневниковость присуща практически всем жанрам Евгения Степанова — от лирического стихотворения до романа. Дневник живет в романе или роман в дневнике, перед нами лирический дневник или дневниковая лирика?.. В этой диффузии — закон равенства.

Стихи Степанова — остановленные мгновения. Об этом свидетельствуют и неизменные датировки в стихотворениях, зачастую точные, конкретные. «16.05.1999. Ст. Партизанская»... Сколько времени состав стоит на станции? Совсем недолго, но, как видим, достаточно для зарождения текста. Стихи высекаются, как искры, от трения на жизненном точиле.

В его стихах живут имена друзей и других окружающих его людей. Ушедшие Геннадий Айги и Татьяна Бек... Татьяна Грауз, Юрий Миролава... В своих авангардных стихах Степанов пишет их имена со строчной буквы, превращая в органичные поэтические образы.

Внимательный к звуку («нежная как ножны»), Степанов чуток и к аналогиям, которые пробует на ощупь, как струны:

вино превращается в кровь
семя — в плоть
простолюдин точно Иисус
творит волшебство

Евгений Степанов в своей поэзии терпеливо отмеряет свою жизнь: «москва — мне 10 лет...», «32 года», «еще чуть-чуть — и сороковник...». Теперь ему сорок пять. Он признается в стихах, что «исчерпаем, как газ и нефть», «как река». Но он знает, как сберечь энергию.

Лирический герой Степанова устал от житейской суеты и в то же время удовлетворен своей успешностью. Он обладатель редких качеств, и в первую очередь — умения радоваться тому, что у него есть:

Все, что хотел — увидел.
Все, что хотел — сказал.
Все, что хотел — купил.
Все, что хотел — раздал.

Он многократно просит прощения за несодеянные грехи. Наблюдая мир, лирический герой «поддерживает сердце руками», «иначе оно может упасть». Способный «заснуть, как трехлетний мальчонка», он живет отнюдь не в идиллии («эмиграция из государства под названием я сам»). Современных людей, которые порой не замечают перед собой произведений искусства, Е. Степанов учит любоваться «стилистикой падающего листика».

Приятие мира («Ни на кого не обижаюсь, / хотя люблю еще не всех») доходит до иронии и самоиронии («понимаю любого жлоба»). «Широк человек, я бы сузил», — говорит герой Достоевского. Степанова сужать не нужно. Его широта — это щедрость, великодушные, открытость, а не тяга к крайностям.

Татьяна Щекина, ушедшая из жизни в 2006 году в возрасте сорока девяти лет, — литературное явление, которое, по жестокой традиции, оценивается нами после смерти. Живописец по основной профессии, в поэзии она предстает мастером «тяжелой метафоры». Как в жизни Т. Щекиной стихи были спрятаны, укрыты, так и в книге они обрамлены описанием ее жизни-смерти. Издательская рамка книги — предисловие Анны Кузнецовой «Письмо Татьяны» и послесловие соратника Татьяны по группе «Синтез» Николая Вострикова «Одиночество в жанре депрессии».

Из архива группы «Синтез» знаковых 1980-х и извлечены произведения Щекиной. Участники группы самиздатским способом, в количестве одного экземпляра, выпустили в свет более десятка альманахов, представлявших синтез поэзии, графики и художественной фотографии. Рубрики в книге «Кончился свет» совпадают с названиями сбор-

ников «Синтеза»: «Процарапывание», «Амилазы слюны», «Иглокожие куски», «Щели», «Мир, который мы увидим второй раз», «Капсула» и т.д.

«Смерть — тоже художник, — пишет Николай Востриков. Перечисляя названия последних картин Т. Щекиной — «Умри красиво, ведь ты этого достойна!», «Да здравствуют похороны!», он продолжает: «Вряд ли Татьяна понимает, что умерла. Для нее этот переход был плавным». Но сама Щекина считает иначе: «Самая чистая смерть в тысячу раз хуже пропускает свет, чем воздух».

То, что составитель книги называет в предисловии к ней «поэтикой художника», зримо во многих текстах Татьяны Щекиной.

мятый воздух как творог
 плывет сырой день
 день как в детстве
 мама
 клюква в колодце

Поэт-художник накладывает мазок за мазком, добавляя смыслы.

Образы у Щекиной зачастую визуальны («по окаменелостям дождевой воды»). Отдельные даже наделены даром художника («сон-сезанн»). Воспоминания, ощущения (к примеру, детства) нередко осязаемы, вещественны.

Т. Щекина тяготеет к метафоре овещствления — эфирное, эфемерное явление обретает контурность, материальность («пыль прибитая шляпками слез»). Эту тенденцию можно проследить на мотивном поле даже в пределах одного текста, к примеру, стихотворения «В этом городе красок еще не разгаданы чувства...»: «каменные идеи», «сняв петлю с шеи океана», «переворачивая время словно землю лопатой», «раздвинул воду».

Для обозначения эмоции поэту-художнику порой достаточно одного штриха: «ты краток средневековой складкой рта».

Щекина знает, как важно для художника видеть, для скульптора осязать, но она самодостаточна и как поэт. Ее способ создания поэтического образа не очертания и краски, а слова: «я существую потому что я сказал». Эта основа самобытия, проговоренная самим автором, убедительна и не полемична. В угоду слову Т. Щекина обнажает прием изображения контурного, живописного мира: «...и сохлась тушь неба» («Графика»).

Если «картины — это слова, которые нельзя собрать из букв», значит ли, что слова — это картины, которые нельзя создать красками и очертаниями? Душевная беззащитность и обнаженность у Щекиной не всегда показаны графически: «больно на сломе ветки», «вот я перед тобой без сокращений», «глаз оголял во сне свой нерв». Сродни тому, как Эдвард Мунк написал свой «Крик», слыша крик природы и боль внутри себя, Татьяна Щекина создавала стихи.

Ее цикл «Каноны» — центр тяжести книги. Картина становится мерой всех вещей. Человек произошел от картины; картины концентрируют в себе энергию; картины — нервы-жгуты, соединяющие человека; картины — клетки, в которые заточены звери внутри художника («звери, для которых я еще не сделал клетки, гуляют на свободе»); галактика — это система картин.

Татьяна Щекина живет только на глубине, «как рыба с поврежденным сознанием». Но жить на глубине — не значит спастись от мира.

никто из посторонних не вложит столько
 таланта и изощренности
 в уничтожении друг друга,
 как близкие люди

Щекина — мастер угла зрения, ее пространство и время относительны. Лирическая героиня одновременно плывет от острова, находится на острове, стремится к острову:

ты — остров
 от которого я плыву

просыпаюсь на острове
и снова плыву
чтобы остаться на острове

Непредсказуемость поэтического хода, релятивность хронотопа, абсолютное первенство верлибра и отсутствие знаков препинания и заглавных букв как доминирующий знаковый минус-прием — те признаки, ориентируясь на которые, как на сигнальные огни, свободно живет и перетекает в новые состояния поэтическая стихия Т. Щекиной.

Елена Зейферт

Шаг навстречу?

Политология России. — М.: Российская политическая энциклопедия, 2009. — **Демократия в современном мире: сборник статей; Сообщества как политический феномен: сборник статей.**

Исследование положения дел с демократией и гражданским обществом в России — более чем насущная вещь, и серия адресована не только политологам и социологам, но и, как указано в аннотации издательства, активистам общественных организаций. Однако, хотя абсолютная объективность не в силах человеческих, желательна, чтобы исследователь был все-таки не слишком близок к действующей политической структуре, тем более — наделенной властью. В книгах серии это не совсем так. Сборник о демократии создан Финансовой академией при Правительстве РФ (хотя и при поддержке германского Фонда имени Фридриха Эберта), сборник о сообществах выходит при поддержке Министерства промышленности и администрации губернатора Пермского края (и Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартур). Может быть, также и поэтому работы, включенные в сборники серии, очень различны и по уровню, и по точке зрения. Ряд работ старательно обходит острые углы. Н.В. Борисова и А.С. Горшков перечисляют женские сообщества, посвященные чему угодно — моде, карьере, здоровью, — но не касаются неудобного для чиновников «Комитета солдатских матерей». Работа М.В. Назукиной, П.В. Попова и К.А. Сулимова о политическом сообществе на локальном уровне посвящена в основном выбору уральскими городами своих гербов. Авторы вскользь приводят цитату о том, что «Кизел стал одним из самых страшных городов: безработица, ничтожные темпы развития», но дальше опять сворачивают на декорации.

Много благих пожеланий: «Отбор не просто профессионалов-управленцев, но специалистов, имеющих политический кругозор, патриотов, радеющих за будущее страны» (Н.А. Карамышева). «Переход от политики стабилизации к политике развития», «переход от политики экономии на человеческом капитале к политике стимулирования развития человеческого капитала» (Л.В. Сморгун). Как это возможно, если на соседней странице этот же автор говорит о замедлении процесса создания независимого суда, конкурентных условий, антикоррупционных мер? Порой поражает наивность авторов. «Невозможно отнести к политическим акторам милиционера, пожарника, налогового инспектора» (А.Г. Чернышев) — в современной России даже пожарник, закрывая Европейский университет в Петербурге, является политическим актором. «Для организации эффективной работы по реализации национальных проектов все-таки необходимы: 1) замена части бюрократии, 2) переподготовка оставшейся ее части...» (В.В. Виктор) — это, кажется, уже не наивность, а вполне бюрократическая риторика. Или откровенная пропаганда: «В РФ в последние годы реально на практике утверждаются важнейшие демократические институты, реализуются классические универсальные принципы демократизма» (Т.В. Семькина). Очень сомнительны частые утверждения о том, что мораль должна быть выше закона. Надзаконный блюститель морали, фундаменталист — это Средневековье еще более глубоко, чем торжество бюрократии.

Но рядом — совершенно иные высказывания. Многие авторы описывают меры бюрократии по отстранению общества от какого-либо участия в управлении и контроле.

Деятельность общественных организаций максимально затрудняется, избирательное законодательство ориентируется на подконтрольность выборов. Т.Н. Митрохина констатирует, что закон «О политических партиях», запрещая создание партий по национальному, профессиональному, социальному, расовому и религиозному принципу, блокирует структуры, которые «сигнализируют о наиболее серьезных проблемах поликультурного российского общества». Очень многие авторы отмечают, что законы о противодействии экстремизму позволяют подвести под них что угодно. Гей-организации в Тюмени несколько раз отказали в регистрации, обвиняя в подрыве безопасности и экстремизме. Видимо, власть совершенно не в состоянии понять, что восстанавливает против себя всех поголовно. И ведь это уже было. Л.А. Фадеева напоминает, что английские профессионалы не стремились к переустройству государства, ограничиваясь благотворительностью, также и потому, что имели определенную степень независимости — в образовании, выдаче лицензий, организации профессиональных сообществ. В царской России государство стремилось контролировать все — и получило всеобщую оппозицию. Причем, если все каналы цивилизованного выражения протеста перекрыты, неизбежный протест принимает недемократические и далеко не цивилизованные формы.

Я.А. Пляйс показывает, что понятие «суверенной демократии» — лишь концепт «партии власти». Выводы вполне разумны: «нет никакого смысла говорить о подлинной власти народа, не задумываясь об условиях, которые могут эту власть обеспечить». И суверенитет страны — это ее свобода в действиях, а более свободен «тот, кто сильнее, опытнее, успешнее». Можно было бы продолжить, что для страны с разваливающейся экономикой, стабфондом в Америке и особняками правителей во Франции суверенитет — точно такая же пустая риторическая фигура, как и демократия. Публичный отказ от демократии повредит международным контактам и имиджу страны, поэтому концепт демократии остается лишь прикрытием реального типа идущих в стране преобразований (А.И. Соловьев). С.В. Пономарев приводит любопытное обращение Пермской гражданской палаты и Пермского правозащитного центра, которые напомнили, что все российские реформы разрабатывались на средства иностранных и международных финансовых организаций, что основным получателем иностранной помощи в России является именно государство и борьба государства с неправительственными организациями, пусть даже финансируемыми в какой-то мере из-за рубежа, — только проявление страха и неуверенности в себе.

А.И. Соловьев отмечает, что современная российская верхушка — и бюрократии, и бизнеса — понимает, что неспособна выдержать открытую конкуренцию, свойственную демократическому обществу, и сохраняет свою монополию посредством принуждения. Население, во многом равнодушное к праву и ориентированное на государство-попечителя, не препятствует. «Понятно, что такая система не может производить полноценных граждан, инициативных и конкурентоспособных. Но такие последствия могут проявиться только на следующих поколениях, когда позиции общества и страны будут уже совсем иными, и, скорее всего, невысокими». О том же говорит и А.В. Кулинченко: альянс бюрократии с авторитарной властью — «опасный общественный недуг, который может длиться годами и десятилетиями, разрушая основы самодеятельности граждан, подавляя источники развития общества, но затем привести к внезапному и стремительному краху».

То есть продается даже не нефть — многие страны и без нее неплохо живут — продается будущее. Причем всех — чиновников и учителей, служащих ФСБ и фермеров — кроме тех немногих, кто имеет достаточно большой счет в зарубежном банке. А может быть, и этих тоже: коллапс страны с ядерными ракетами — это не лодки сомалийских пиратов. Ни один из авторов сборника не рискует упоминать о возможности провала в хаос полевых командиров, кланов, фундаментализма.

Единственная статья зарубежного автора (Д. Шперлинг) показывает современное общество как самообучающуюся систему балансов. Рынок требует регулирования, а чрезмерное регулирование корректируется рынком. И вопрос о нужной доле того и другого решается каждый раз заново, и, разумеется, демократически. Демократические страны не свободны от проблем, но там есть механизмы их решения. Например, принципиально различно нарушение прав человека в демократических странах (где оно тоже есть, но преследуется, причем не щадя конкретных представителей правящих кругов) и в России

(где оно — система, а правящий класс неподсуден). «76 процентов опрошенных считают «народных представителей» нечестными. Лидер оппозиции может снова и снова утверждать, что не будет лгать и решит проблемы, которые не способно решить правительство — три четверти избирателей ему не верят». Эту цитату В.И. Коваленко приводит из германского источника, о выборах в Германии 2005 года. Но население Германии помнит слова Л. фон Мизеса: «Демократия не является благом, которым люди могут пользоваться без всяких хлопот. Напротив, это сокровище, которое нужно ежедневно защищать и заново отвоевывать ценой напряженных усилий». И в большой степени готово к этим ежедневным усилиям.

О ряде проблем современной демократии говорит А.Б. Шатилов. Сама концепция демократии меняется, сейчас стали понимать, что демократия — не осуществление общей воли (которой нет и быть не может при различии людей и интересов, и которая декларируется не демократическим, а тоталитарным государством), а способ согласования интересов, решения конфликтов. Демократия порой противоречит свободе, когда большинство фактически указывает меньшинству, как тому жить. Популистские меры в экономике часто ведут к огромной инфляции. Попытки установления социальной справедливости могут обернуться принуждением и насильственным уравниванием. Противодействие фундаментализму и национализму слишком часто возможно только силовыми методами, а при этом демократия рискует стать подобной своим противникам. На Западе эти проблемы осознают и стремятся решать. Многих в Европе сейчас беспокоит рост бюрократии, когда слишком много решений принимается чиновниками Европейского союза.

Б.А. Исаев напоминает, что и для США открытый подкуп избирателей и мошенничество с голосами еще в начале XX века были обычным делом, в котором прямо-таки обязаны были участвовать государственные служащие. И для Запада характерны ситуации сговора партийных верхушек основных парламентских партий, стремящихся исключить антисистемные партии, сговора партий и государственной бюрократии, ведущего к коррупции (ЛДП в Японии, ХДП в Италии, ИНК в Индии). Любая партия консервативна и меняется только под давлением снизу. Отсюда и те необходимые меры, о которых пишет Б.А. Исаев: открытость для СМИ, децентрализация, снижение роли аппарата партии и повышение роли рядовых членов. Полезно для очищения пребывание в оппозиции. Несменяемая у власти партия — верный путь к коррупции, бюрократизации и кризису общества в целом. «В реальности у российских «партий власти» власти нет. Цель их создания и существования — завоевание власти, но не партией, а ее владельцами, в силу того, что она — собственность заказчика, которым контролируются подбор и расстановка партийных кадров» (Т.Н. Митрохина).

Система формирования бюрократии закрыта от общества и не предполагает конкурса (В.М. Долгов). Результат — рост некомпетентности. Манипулировать с выборами еще удастся, а бороться с инфляцией — уже нет. Так является ли бюрократией непрофессиональное чиновничество современной России? Скорее, наследственная каста, осколок Средневековья.

Во что это выливается на местах, показывает на примере районов Перми работа П.В. Кравченко и К.А. Пуниной. Одним из районов фактически управляет Клуб директоров, объединяющий «всех сколько-нибудь значимых должностных лиц и предпринимателей района». Проблемы района — преступность, социальные заболевания, неустроенность молодежи. Создали координационный совет по организации спортивно-массовой работы, молодежный парламент, провели — о смелость! — первомайскую демонстрацию отдельно от городской. Проблемы, похоже, остались в прежнем виде. А активист М. Касимов, видимо, действительно пытающийся что-то сделать для пожилых и малообеспеченных, «несмотря на высокий уровень поддержки в центральном микрорайоне Мотовилихинского района, является маргиналом политического истеблишмента Перми, и сотрудничество с ним выглядит неприемлемым». Газета «Среда в Перми» затрагивает значимые проблемы района, критикует администрацию — и, разумеется, не пользуется ее поддержкой (статья 2006 года; едва ли сейчас эта газета вообще есть), а издаваемая администрацией газета «Наш район. Орджоникидзевский» имеет 20-тысячный тираж, но «не получила широкого распространения среди населения района» (кому нужна «ручная» газета?). Контроль со стороны власти есть — результатов никаких.

Многие авторы цитируют М. Вебера и других социологов, давно выяснивших, что без бюрократии невозможно никакое государство, в том числе и демократическое. Чиновник должен быть подконтролен суду, сменяем по выборам, открыт для СМИ, но сама по себе безличность бюрократических процедур — определенная гарантия против недостатков и злоупотреблений отдельных личностей. С другой стороны, А.В. Кулинченко подчеркивает, что бюрократия со всеми проблемами не может справиться, ей тоже нужно содействие общества. С этим согласен и Л.В. Сморгун: «Способности государства управлять неотделимы от способностей гражданского общества включаться в публичное управление».

Увы, об ответственности общества за сложившееся положение дел приходится говорить не только А.И. Соловьеву. «Призыв защитить общество от власти... означает на самом деле призыв защитить общество от самого себя, от его неспособности создать эффективную власть» (А.В. Кулинченко). Гражданское общество частично само виновато в чрезмерном расширении государства — обращаясь к нему за помощью в решении проблем, с которыми могло бы справиться само (С.В. Пономарев). А вина ряда интеллектуалов — уже не в пассивности, а в действиях. Работа О.Б. Подвинцева посвящена политтехнологам в современной России. В определенной степени эти интеллектуалы несут ответственность за появившееся у власти представление, что можно не развивать государство, а создать видимость развития при помощи политтехнологий. «Оранжевая революция» показала, что политтехнологи далеко не всемогущи, что вызвало у российской бюрократии очередной приступ страха и закручивания гаек. Жертвой чего пали и политтехнологи — отмена выборов губернаторов очень сократила объем рынка, нуждающегося в их услугах. Следует все-таки помнить, что сотрудничать с чертом не только аморально, но и невыгодно, в конечном счете.

Н.Н. Седых напоминает, что правовой базы недостаточно, пока бюрократия принимает законы сама для себя и не имеет над собой независимого суда. А.В. Кулинченко видит один из выходов в постепенном превращении — усилиями общества — современных декоративных партий в реальные инструменты развития как политической системы, так и общества. Н.Н. Седых — в создании системы правовой помощи гражданам, «профсоюза тех, кто столкнулся с бюрократией». Ряд авторов пытаются найти живое в сообществах, которые борются за области в пределах их личных интересов (автомобилисты, обманутые дольщики и т.п., вплоть до секс-меньшинств). Протест против закрытости от общественности принятия важных решений или против пыток в милиции — это уже не частности. С другой стороны, бюрократия с ее стремлением к всеобщему контролю неизбежно сама выталкивает эти группы в политическую оппозицию. Распыленность таких сообществ делает их менее уязвимыми для власти — и одновременно менее подверженными риску превратиться при успехе в подобие того, с чем они борются. Н.И. Шестов предупреждает об опасности прорастания партократии внутри демократии — когда люди начинают думать, что «демократия — это мы», игнорировать других.

Переход к демократии от авторитарного режима, вообще говоря, возможен — жаль, что в сборниках не рассматривается опыт Испании или Португалии. Но в целом картина, вырастающая в сборниках, весьма угнетает. Концентрации капитала и власти поддерживают друг друга. По монополизации Россия далеко опередила США, Германию и Японию (Г.Н. Долгова). Но монополистическая экономика не более эффективна, чем неконтролируемая бюрократия.

«Порочный круг: общество без помощи власти неспособно преодолеть деградацию и хаос, но и власть самостоятельно, без поддержки со стороны общества, не может излечиться от присущих ей пороков, выйти из тупика авторитаризма, бюрократизма» (А.В. Кулинченко).

Необходимо сотрудничество внутри общества — но «в современной России до сих пор не преодолен не только дефицит сотрудничества — но, по-видимому, даже дефицит понимания необходимости такого сотрудничества» (А.В. Кулинченко). Поймет ли бюрократия, что только неподконтрольные ей общественные организации эффективны? Или будет продолжать рыть могилу всем, в том числе и себе?

Я.А. Пляйс отмечает, что огромные ресурсы России с избытком компенсируют сложности, проистекающие от климата, полиэтничного состава, размеров территории

и т.д. «Лишь неадекватные экономические и общественные устройства мешают нам быстро прогрессировать». Современная экономика требует инициативного индивида. Это означает, что демократизация — неизбежность. «Укрепление государства» — путь в лучшем случае в такой же тупик, в котором оказались в XVIII веке Китай или Турция, в худшем — к катастрофе. Даже и выборов недостаточно. «Если народ не будет принимать участия в управлении государством, но будет иметь право лишь бросать бюллетени в урну, он никогда не станет субъектом политического процесса» (В.И. Коваленко).

Сверху могут говорить что угодно о борьбе с коррупцией — без демократизации общества, реальной независимости суда и СМИ такая борьба невозможна. Причем, судя по опросам, данные которых приводятся Е.Д. Богатыревым, чиновники понимают это даже лучше остальных граждан (34% и 20—29% соответственно). Может быть, публикация сборников серии — результат усилий той доли аппарата управления, которая чувствует, что так дальше нельзя, что без сотрудничества с обществом невозможно. Но здесь необходимы гораздо большие шаги навстречу обществу, чем две противоречивые книги.

Пока что вектор развития политики в России таков, что вопросы, которым посвящена серия, могут отойти в область теоретических умствований и изучения зарубежного опыта, которым Россия в очередной раз не смогла воспользоваться.

Александр Уланов

СПЕКТАКЛЬ

Зыбка с ветошью

Л.Н. Толстой. *Власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке пропасть.* — Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова. Режиссер, художественный руководитель Т.Н. Чхеидзе. — Гастроли в Москве, 2009.

Лев Толстой, как известно, не любил трагедий Шекспира за, как он объяснял, искусственность и фальшь. Во «Власти тьмы» и закон «трех единств» соблюден, и хор в виде «народа на свадьбе» присутствует, но трагическое здесь живет по-своему. Неотрывно от материи обыденного, природного хаоса и инстинкта «роя», в котором от героя мало что зависит. Распознавать залегания толстовского гения равно трудно и психологическому театру характеров, и театру «метафизическому» — слишком крепко все замешено на авторской чрезмерности, косноязычии тайны.

В Московском Художественном театре верили писателю, как собственной совести, совершили паломничество в тульскую деревню, готовясь ставить «Власть тьмы» (спектакль должен был состояться в один сезон с горьковской пьесой «На дне», где погружение в чужой быт также входило в программу). С Толстым, по словам писателя и историка театра И.Н. Соловьевой, «не вышло»... «Дрянь люди» — эта обмолвка великого старца в адрес чеховских героев после просмотра «Дяди Вани» обещала иной взгляд на смысл человеческого бытия. С Горьким, его развороченным сознанием и вопрошающим словоприемом деклассированных, как ни странно, «художественникам» было легче.

Точная мера нужна, чтобы ставить «Власть тьмы» сейчас. Премьера спектакля в БДТ состоялась в 2006 году — самый разгар и доньяне тянущихся дискуссий о нравственном идеале и национальном характере. Если и была у режиссера Т.Н. Чхеидзе оглядка на традицию и опыт того же МХТ, то, конечно, не фотографическая. В «двойной экспозиции» нынешнего спектакля столько же доверия к классике, сколько и надежды на собственные силы. Что там, в этой экспозиции, — увидим...

Менее всего портретируется как раз «быт». Ни тебе знаменитой печки, ни естественного перехода от просторной горницы, с одной стороны, во двор, а с другой — к сенцам, «холодной избе» с погребом. Располагающим природной силой такой основной материи, как дерево, сценографом Э.С. Кочергиным быт взят на лету и на весу, в проломах и разведениях деревянной конструкции. Мощное движение «пирамидальной» плоскости избы — вверх-вниз. Зыбкая куколка в оконном проеме — детская игрушка или оберег.

Не то что режиссер решил не замечать бытовых подробностей — просто важней подробности драматургические: хомут, веревка, с самого начала присутствующая где-то рядом. Зыбка с ветошью, без младенца. То, что, взяв у автора, можно развернуть не в собственные метафоры, а сделать подробным ритмом подробностей, мотивами поведения.

Толстой указательно настойчив в своих мотивах-ремарках. «Сверчок» в варианте четвертого действия — как отмашка Чехову: песнь сверчка раздается в момент убийства младенца, когда Митрич рассказывает сказочку о «детосеке» с мешком. Свой крест готов отдать новорожденному, а на страшные ночные шорохи откликается: «Завернись с головой да спи»... Обыденное у Толстого — тот же «мешок». Во «Власти тьмы» говорят вроде ни о чем, подсчитывают, выгадывают, «чай пьют» — только чаек-то с горчайшим, невозможным привкусом.

Каким образом набираются обороты трагедии и сцена оказывается местом преступления-наказания, сразу не определишь. Истоиво и жестко чинит хомут Петр (А.В. Петров). На ходу переговариваются женщины. Прислушаться — говорят-то о жутком. Все без утайки, прямым текстом. Постылый муж заедает жизнь, дело обычное. Матрена актрисы И.В. Венгалите, с легкими смешочками да игривыми подначками, но живет намертво, как петельку на другого накидывает. Сына мертвым узлом вяжет: «Выкопай ямку, земляца мягкая... Земля-матушка никому не скажет, как корова языком слижет».

Этому женско-материнскому кругу в спектакле трещать и рушиться по линиям больших разломов. Жизнь распирают силы недюжинные, центростремительные, и дощатое (или обшито деревом) Солнце в финале будет точкой схода. На другой чаше весов та самая земля-матушка, где в подвале, среди капусты, грибов, картошки, — новорожденный с расплюснутыми косточками, кажется, еще живой...

Тема «детского» в русской культуре — особая. Один из братской пары первых на Руси святых описывается словом «детек» — беззащитен. Убийство малого создания приравнивается к убийству души, едва успевшей удивиться жизни и ей не противостоящей. Тут кроется ужас античный. Другое дело, что в пьесе Толстого ребенка, перед тем как убить, крестят: чтоб душа не мучилась.

Ощущение двух концов одной веревочки, натянутых до крайности, так житейски схвачено актерами, что не стоит рассуждать об «антиномиях» трагического. Меж концами жизни-смерти, по отклоняющемуся и жестко выпрямляющемуся пунктиру ходят герои. Анисья (Т.А. Аптикеева) двигается как заведенная чьей-то чужой волей — стынет скорбным изваянием — повертывается пепельным лицом, глядит «пустыми» глазами. С внутренним самовозгоранием Медеи бросает в подпол чужого ребенка как своего собственного. Сквозная партитура жизни-неволи с выплеском огня, древним, темным: рухнуть на землю, обвив ноги обидчика, броситься на помост, чтобы всем объявить о своей гибели... У Никиты (Д.А. Быковский) перманентное ощущение смертной скуки от бабьей «канители» подкреплено антуражем «народной драмы». Связки баранок, узелков-подарков, граммофон. Когда вдруг станет совсем немого, и повеситься-то толком не сумеет. На другом конце веревки — тот же Митрич (С.В. Лосев), пьян-то пьян, а веревку не отдаст. При полном понимании зрительного зала, тот объясняет хитрый банковский механизм несведущему Акиму: как брать деньги из этой самой «банки», чтоб не убывало. Аким откликается соответственно: «Да это что ж? Это, тае, значит скверность... Это, тае, не по закону...».

Объединяющее крайности слово найдено: «скверность». «Грех» у Толстого употребительней, но тут — именно скверность.

Скверна — в самой физиологии участников. Психофизиология, как назвал метод Толстого Мережковский. Понятно, что и у зрителя сцена убиения младенца не может не вызвать ужаса физиологического. Но памятен масштаб оценки, предложенной русской литературой, — ответ на злодеяние. Лесков увидел леди Макбет в уездной мешаночке и в конце заставил ей посочувствовать. У Толстого контуры зла во «Власти тьмы» соотносимы разве что с ранней, «черной» трагедией Шекспира «Тит Андроник» (когда, считается, он «настоящим Шекспиром» еще не был). Соотношение — не по количеству трупов, а по цепной реакции злой плоти. Власти тьмы.

Можно испытать очищение «состраданием и страхом» через сам ужас показываемого, утверждает аристотилеевская теория. Другая версия катарсиса — удовольствие, получаемое от Поэзиса древнегреческой трагедии, от прекрасных «фигур речи».

Ужас и красота в спектакле друг друга не оспаривают. Проходят двойной, скрепляющей нитью.

В народном толстовском сюжете угадывают что-то незапамятно-древнее, что отзывается и бормотанием старинной речи, и ее поэтикой, и воем ветра, переходящим в вой живой, человеческий. Там, где у Толстого выговаривается сама жизнь, ее хтонические голоса, в «бессловесном» языке пьесы театр находит склад и лад. Язык сценический. Выход из ужасного для Толстого заключен в христианском покаянии перед православным миром, что и происходит в финале пьесы при участии урядника. У спектакля другой посыл и другая, найденная спрессованность текста, произносящегося в обществе безрелигиозном. Мера соответствия оригиналу тут только в отсутствии фальши.

Режиссерский почерк Чхеидзе — твердый чекан, крепкий оттиск, тонкий резец. Удар художественного острья и милосердие к поверженному. Сцена с залом связаны зеркальными ходами человеческого страха и человеческого сострадания. «Духом гуманизма». В этом зеркале хорошо бы увидеть и себя тоже.

Спектакль не упрекнешь в «эстетизации», но почти красивы его одежды: платки, сарафаны, кафтаны... все с оттенком голубого, сиреневого; и вдруг — вспышки густозеленого, багрянца (художник по костюмам С.В. Быстрова). Посмотришь на этих «венециановских» жниц и работников — защемит красотой, так рельефно расположились они в знакомой бесцветице. И позы у «натуры» почти античные, хоть идеализацией и не пахнут. Другая, ушедшая культура или цивилизация, с которой нельзя не ощущать родства. На зашито Солнце с промельком света сквозь доски можно смотреть пристально и прямо, не ослепнув. Видеть то, что есть. Иначе просто ничего не получится у зрителя с этим спектаклем, вовсе не демонстрирующим нам свою событийность, а действующим словно исподволь, но с полным захватом согласно поговорке, вынесенной в заглавие: «Кого-ток увяз, всей птичке пропасть».

Ценность подобной художественной стратегии стоит назвать: *трезвение*. В христианской этике это означает борьбу с духовным самоопьянением и саморазрушением. Применительно к историческому прошлому — вдвойне опасно. Трезво писал молодой Ключевский о поэтическом и гуманном преимуществе «Эдды», литературного памятника германских племен, перед сюжетами русской мифологии. Что не помешало ученому создать стройный курс лекций, где речь идет о смысле отечественной истории, открытом для «разумно ищущего глаза». — «Только и знают песни свои дурачки: го-го, го-го. А что го-го, сами не знают...» — жалуется старик Митрич. В МХТ исполнителем этой роли был сам Станиславский, и слова эти в спектакле звучали.

«Народные характеры» — сиречь, люди — живут у Чхеидзе на собственных оборотах. Взвизги, рычание Акима или же Митрича (и при упоминании имени Господа), респираторные ремарки Толстого в спектакле не слышны. Здесь просто говорят. Не как пишут старославянской вязью, а завораживая вязкостью речи с окающим говором. Сюда точно вписана и заплетающаяся, спотыкающаяся риторика Акима: тае — не тае. Богобоязненный мужик у Толстого, в коем находили черты «каратаевщины», никакой особой мудрости не несет. Он и не горьковский Лука, чтобы рассказывать о Праведной земле. Чующий духовную гибель домочадцев, у автора Аким чистит выгребные ямы в городе.

Легко и естественно отстранение В.М. Ивченко в этой роли — человек с удивленными, непонимающими глазами. Он не смешон, он инороден и как-то узнаваемо интеллигентен в своих лаптях и онучах. Не проповедует — просто не может соучаствовать в «скверности». Знает, что обижать сироту нельзя. Нельзя лгать, искать личной выгоды, брать нечистые деньги... может, и можно взять, да сами они к рукам не пристанут. И не из святости пожалеет убийцу-сына, когда никому не жалко, когда и жалеть-то нельзя. Тут сплошная «психофизика». От зябкости — бабий опоясывающий платок, от последнего ужаса — тоже бабье, почти материнское объятие. И незлобивая обида на сына, в ком «образа нет»: «Ах, Микишка, душа надобна!».

В спектакле увидено непоправимое в самом сцеплении жизни, сдвигающем внутренние пласты души, мозжащей ей косточки. Не античный рок — люди сами все творят и сами отлично свою вину знают. Знает играющая свадьбу Акулина (Н.В. Александрова), что ее ребеночка убьют. Знает Марина (И.А. Патракова), что схоронено в основании удач-

ного брака. Знает ее муж (запоминающийся эпизод у Е.К. Чудакова), что стерпится да не слюбится. Даже малолетняя Анютка (Е.М. Шварева) знает, какое злодеяние учинили с младенцем — то же, что и с ней могли бы: «А кабы жив был, я б его нянчила!..». А что за трагическая вина такая, бог весть. ВЛАСТЬ ТЬМЫ. Не только в христианском значении, но и как у поэта: «Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы»...

Тем важнее, что вписано человеку в «белый лист» от рожденья. Тем нужней это защищать.

Так что пусть ее величество Трагедия остается «частным случаем» режиссера Чхеидзе, случаем редким на нашей сцене. «Власть тьмы» в БДТ — прежде всего пароль, и знающему отзыв откроется. Спектакль наконец-то дошел до нас, он должен быть услышанным и понятым. Не возьмем греха на душу и не поверим критике, увязнувшей в измышлениях по поводу театральной «скуки» и «старомодности» петербургских постановок. Гастроли театра в Москве осенью 2009 года обнаружили костяк и внутренние рифмы репертуара. Кроме актерски выигрышного «Квартета» Р. Харвуда (пост. Н.Н. Панигиной) и историко-политического трио во главе с Олегом Басилашвили «Копенгаген» М. Фрейна, пришедшегося на 75-летний юбилей знаменитого актера, театр показал «Дядюшкин сон» Достоевского и романтические трагедии «Мария Стюарт» и «Дон Карлос» Шиллера, (Ивченко — король Филипп; отец-деспот) — спектакли больших, ясных линий защиты и скрытых пружин, действующих в человеческих судьбах.

Заметим кстати, что и Толстой и Достоевский любили Шиллера, он вообще входил в отечественные предания неким облагораживающим демократию призывом. Пусть запоздало звучат слова маркиза де Поза о духовном совершенствовании и просвещенных монархах, такая старомодность вряд ли надоеет: «для мальчиков не умирают Позы...». Сказанное Блоком, участвовавшим в формировании репертуара БДТ после революции, для театра не пустой звук.

Я бы напомнила еще одно слово: мужество. Большое личное мужество надо иметь, чтобы так спокойно работать в вязкой, искажающей среде. Сохранять свой Большой Драматический театр.

Светлана Васильева

н е з н а к о м ы й ж у р н а л

Слушать и слышать

Казань. Журнал. — 2009. № 8.

Свежий номер журнала «Казань» в столице Татарстана мне удалось купить далеко не сразу. «Разобрали», — сочувственно говорили продавщицы в многочисленных киосках городского центра на пути от Кремля к университету.

Общественно-политический и литературный ежемесячник — объемистый, крупноформатный и иллюстрированный — издается с 1994 года. Первые три года он выходил и на татарском языке, теперь — только на русском. Тираж — 3146 экземпляров.

Открывается раздобытый наконец-то номер репортажем о традиционном Державинском празднике поэзии. Начинаясь в Казани у памятника Гавриилу Романовичу, торжество перемещается на правый берег Камы — в городок Лаишево, где центральная площадь носит имя родившегося там Поэта... Лауреатом Державинской премии 2009 года за книгу «Профиль ветра» стал известный в республике поэт Рустем Кутуй, пишущий на русском языке сын татарского классика Аделя Кутуя.

Р. Кутуй ведет в журнале раздел «Поэзия», представленный в 8-м номере стихами Александры Кашиной, победительницы множества литературных турниров, в том числе — проходивших в Москве Пушкинского фестиваля искусств и конкурса поэтов «Новые времена». «Саша сообщила языку раскованность, сбивчивость, прерывистость, дыхание и свободу вздоха, вскрика», — говорит он о новых стихах молодой поэтессы.

Судите сами:

Черной кошкой бродить по крышам,
Черной тенью бродить по душам,
В мире, где мы так мало слышим
И совсем не умеем слушать.
Звезды тают навеки в лужах,
Окна тают, как образ свьше,
Я тебя не хотела слушать,
Ты молчал и меня не слышал.
Опускались на землю руки,
Омрачались, бледнели лица,
Ты в разлуке, и я в разлуке,
И у каждого по синице.

Великому умению слушать и слышать (именно оно, быть может, способно удержать человечество от пропасти непонимания и экстремизма), как мне показалось, посвящены и первая часть повести Айдары Сахибзадинова «Понятие крови», и арабски Рафаэля Мустафина «Моя Казань», и очерк Юрия Филимонова «Опыт любовного треугольника» — о велосипедном путешествии вдоль Камы по Татарстану, Удмуртии и Пермской области...

Наиболее отчетливо этот мотив звучит в биографическом очерке Рауля Мир-Хайдарова о Чингизе Ахмарове — народном художнике Узбекистана и Татарстана, монументалисте, портретисте, миниатюристе, столетний юбилей которого грядет в мае 2012 года. Ахмаров был оформителем интерьеров Узбекского академического театра имени Алишера Навои, построенного по проекту А. Щусева. И в 1947 году получил за это Сталинскую премию. В первой половине 1950-х он выполнял подобную работу в Казани — оформил возводившееся здание Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Родился Чингиз Габдурахманович в 1912 году на Южном Урале — в городе Троицке, в ту пору больше чем наполовину населенном мусульманами: татарами, башкирами, казахами, узбеками. Родители будущего художника, как сообщает автор на основе сохранившихся документов, принадлежали к «...первой дореволюционной татарской интеллигенции». Отец, не единожды совершавший хадж в Мекку, организовал общество по изданию религиозных и светских книг «Хызмат» и открыл первую в Троицке школу для девочек из мусульманских семей. В формировании толерантного мировоззрения Габдурахмана-ходжи немалую роль сыграл однокашник по казанской школе военных фельдшерев еврейский юноша Мейер Швейер. По его совету Ахмаров-старший принялся читать «Вестник Европы», «Русскую мысль», «Русское богатство», романы Льва Толстого и другие книги и журналы.

Мусульманская общественность России в начале XX века резко делилась на «старометодных» и «джадитов». Первые переросли в фундаменталистов. Вторые, не забывая о своей принадлежности Востоку, стали сторонниками изучения культуры народов Европы, т. е. западниками и интернационалистами. Чингиз Ахмаров, чьи фрески не без основания сравнивали с фресками Феофана Грека, Давида Сикейроса, Диего Риверы, Ороско, всю жизнь хранил интерес к эстетическим принципам восточной художественной культуры. В расстрельные сталинские годы некоторые из завидовавших ему коллег пытались на этом основании обратить внимание «органов» на «антипартийные и буржуазные» взгляды молодого, но уже знаменитого художника. Ахмаров, успешно работавший на Ташкентской киностудии (он создавал эскизы костюмов для фильмов Камиля Ярмадова), покинул полюбившийся ему Узбекистан. В Москве он в 1953 году возглавил творческий коллектив, создававший мозаичные панно и фрески для интерьеров станций метро, гостиниц, санаториев, театров. И по-спартански ютился в крошечной комнатке общежития на Масловке. Помочь любимому ученику не мог даже академик Игорь Грабарь. Вскоре неожиданно для себя самого Ахмаров получил заказ на оформление здания нового театра в Казани и с радостью принял его. Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, открывшийся осенью 1956 года, заслуженно считается одной из главных достопримечательностей Казани.

В 1961 году Ахмарова пригласили в Ташкент, где он совсем скоро стал народным художником Узбекистана, получил Государственную премию имени Хамзы. Умер художник на восемьдесят третьем году жизни в марте 1995 года в Ташкенте. За год до кончины ему присвоили звание народного художника Татарстана, а еще двумя годами раньше он побывал на первом Всемирном конгрессе татар в Казани...

Все, что я еще увидел под глянцевой обложкой «Казани», внушает уверенность в стремлении ее редакции и авторов слушать и слышать, а вовсе не навязывать свое «единственно возможное» мнение.

Виктор Кузнецов

НИ ДНЯ БЕЗ КНИГИ

Владимир Маканин. *Пойте им тихо.* — М.: Эксмо (Лауреаты литературных премий), 2009.

Владимир Маканин обладает завидным творческим долголетием, он известен с середины 60-х, и его творчество можно делить на эпохи: классика, романтика, модернизм, авангард... В сборнике — повесть «Предтеча» (М., 1983) и десять рассказов «романтического периода» маканинского творчества: «Дашенька», «Колышев Анатолий Анатольевич», «Пойте им тихо», «В дождливые дни», «Не наш человек», «На зимней дороге», «Рассказ о рассказе», «Простая истина», «Пустынное место» и «Страж».

Владимир Маканин. *Кавказский пленный.* — М.: Эксмо (Лауреаты литературных премий), 2009.

Авангард у Маканина впереди, сейчас он в периоде модернизма, и «лунный» цикл рассказов нравится мне в его творчестве меньше всего. Издавая второй том, «Эксмо» остановилось на классическом Маканине — это и мой любимый его период. В данном сборнике — пять повестей: «За чертой милосердия», «Сюр в пролетарском районе», «Утрата», «Отставший» и собственно «Кавказский пленный», впервые опубликованный в «Новом мире» в 1995 году.

Михаил Болочан. *Шахта.* — М.: Время (Самое время), 2009.

Возможно, сейчас действительно самое время издавать объемный производственный роман, причем классического типа. Романтика тяжелого труда, особые взаимоотношения людей, занятых чем-то большим и значимым, но без советской пропаганды, портившей все это на корню в эпоху расцвета жанра, — сегодня, когда жизнь стала мелкой, частной и одномерной, а «механизатора реализатор сменил», все это выглядит очень свежо.

Павел Лемберский. *Уникальный случай.* — М.: Наука (Русский Гулливер), 2009.

Серию книг «поэзии, прозы и эссеистики с явным фантазийным, мифотворческим началом» продолжает сборник малой прозы русскоязычного американца, которого я отнесла бы скорее к демифологизаторам, чем к мифографам. Пародировать Бунина («Сенькина любовь», «Ну Бунин») или Толстого («После тусовки») сегодня очень легко, поэтому я бы не сравнивала автора с Хармсом, как это делает в предисловии Эндрю Вахтель. От великого до смешного — шаг, и высмеять великую литературу после того, как обесценились ее базовые ценности, ничего не стоит.

Анатолий Барзах. *Причастие прошедшего зрения.* — М.: Наука (Русский Гулливер), 2009.

Книга эссе автора известных критических работ о поэзии XX века, главного редактора издательства «Академический проект», начинается с повести в миниатюрах о путеше-

ствии в Италию. Каждая миниатюра — о каком-то необычном событии из тех, что наше сознание чаще всего не фиксирует, поскольку они не значимы для практической жизни. Вторая часть книги — «Феноменология обыденной жизни» — о неброских чудесах и странностях мира, о его поэтическом измерении, не видимом без специального внимания. А третья — об этом самом внимании, или особом зрении, позволяющем видеть невидимое. «Научившись слышать, понимать речь, научившись говорить, а главное, научившись читать и писать, мы разучиваемся видеть. И надо начинать все сначала, как учатся ходить парализованные после инсульта. Этот инсульт, этот удар — дар речи, чтения; он парализует глаз: глаза отныне читают, а не видят».

Данил Гурьянов. *Запах легкого загара. Сборник произведений.* — М. ОЛМА Медиа Групп (Актуальная проза), 2009.

Данил Гурьянов умеет писать о любви. Любовь в его рассказах — иррациональная сила, не имеющая к жизни никакого отношения; она проходит к жизни по касательной, благодаря чему все остаются живы; чиркает где-то по краю, оставляя там разрывы и разломы, делая людей на мгновение остро счастливыми и надолго несчастными, поскольку жизнь надо заново сшивать, а это не всегда возможно: близкие переживают произошедшее как предательство.

Ганна Шевченко. *Подъемные краны: Рассказы.* — М.: Книжное обозрение (Поколение. Проза), 2009.

Ганна Шевченко из Подольска — поэт, прозаик и сценарист, член ДООСа (Добровольного общества охраны стрекоз), по образованию — финансист. Ее рассказы, как правило, — о людях, которые недостаточно скромны, чтобы спокойно жить обычной жизнью, но недостаточно глубоки и развиты для иной реализации. Самый симпатичный герой охарактеризован так: «Головин не был обывателем. Да, после работы он смотрел выпуск новостей, а по выходным помогал жене на даче. Но он много читал, старался избегать шумных компаний. По вечерам, выгуливая собаку, смотрел в небо и думал о Вечности. А по ночам заваривал крепкий чай и, сидя на кухне, записывал стихи в старый блокнот. Иногда с ним случались запои» («Белая лилия» — рассказ, премированный специальным дипломом председателя жюри V Волошинского конкурса).

Карина Аручан. *Полководец Соня, или В поисках Земли Обетованной. Предисловие: Лев Аннинский.* — М.: Издательское содружество А. Богатых и Э. Ракитской (Э.РА), Летний сад. (Русский роман. XXI век), 2009.

Карина Мусаэлян (Аручан — литературное имя, фамилия матери) — правозащитница, одна из инициаторов создания общества «Мемориал», написала «исповедь дочери века» (Л. Аннинский), героиня которой скорее дочь вечности: родителей зовут Адам и Ева, Создатель участвует в лепке образа лично, Его оппонент прибавляет к большим достоинствам будущей личности, избранной для определения дальнейшей судьбы человечества — «достойно ли оно второго пришествия Мессии, второй попытки Выбора Пути, или того, чтобы его навечно стерли с лица Вселенной как неудавшийся эксперимент» — незначительные недостатки... Конечно, миссию героиня выполнила достойно, ангела-хранителя не подвела. Честно говоря, мне вся эта притчевая часть кажется недоброкачественной. Романная часть куда интереснее, в ней много автобиографических моментов — но формообразующей становится трансцендентальная фантастика, не дающая о себе забывать.

Сергей Шелепов. *Подкова для чудака.* — М. — СПб.: Издательское содружество А. Богатых и Э. Ракитской (Э.РА), Летний сад. (Русский роман. XXI век), 2009.

Сергей Шелепов — геолог и геофизик, судя по прозе, очень любит рыбалку. Сюжет этого премированного кондовой премией романа разворачивается в двух временных измере-

ниях, попеременно: глава из 2007-го — глава из 1857-го, и скоро становится ясно, что бежавший от барина крепостной Кузьма — предок Сергея, удящего рыбку в тех же местах сто пятьдесят лет спустя, то ли видя ночами диковинные сны, то ли правда общаясь с привидением. Поражает невинность автора в некоторых вопросах: «Зоя Евсеевна рассказала, как она совсем еще девчонкой со своими подругами работала во время войны на лесоповале. Я больше слушал и дивился тому, какими надо было быть, чтобы пахать, как проклятые, и не думать даже о зарплате». Что ж тут «дивиться»: либо запуганными, либо обманутыми... По всем жанровым приметам это роман 60—70-х годов XX века, типичная «деревенская проза» — при чем тут XXI век?

Мариам Юзефовская. *Господи, подари нам завтра.* — М.: Издательское содружество А. Богатых и Э. Ракитской (Э.РА), Летний сад. (Новая классика), 2009.

Серия с таким амбициозным названием, издаваемая «в рамках проекта «Э.РА—Летний сад», то есть объединения двух издательств, где практически любой желающий может издать книгу за свой счет, — отчаянная попытка отделить что-то стоящее, по мнению издателей, внимания от основного потока продукции.

Повести и рассказы Мариам Юзефовской и на мой взгляд могут стоять рядом с произведениями Дины Рубиной и Григория Кановича, как утверждает доктор славистики Эрфуртского университета Кристина Парнель. В обеих повестях в основу сюжета положена история еврейской семьи со всеми семейными, родовыми и национальными проблемами, взятая в большом контексте общечеловеческого кризиса, произошедшего в XX веке; во всем богатстве связей с окружающим миром, где страдают не только евреи. В повести «Ришельевская, 12», например, семья русских реэмигрантов страдает куда более жестоко: люди той же крови, но другого социального происхождения льют ей под окна помой, и нет на земле места, исход в которое решит ее проблемы.

Галина Подольская. *Диптих судеб. Корабль эмигрантов.* — Иерусалим — Москва: Издательское содружество А. Богатых и Э. Ракитской (Э.РА), Летний сад. (Новая классика), 2009.

В книге — два романа: короткий роман-хроника «Диптих судеб», в основу которого легли биографии бабушки и дедушки писательницы, проживших нелегкую жизнь, и длинный роман-фантазмагория «Корабль эмигрантов». Любовь к своим старикам и вина перед ними позволили автору написать вещь действительно интересную. Сочинять у нее получается гораздо хуже.

Александр Шойхет. *Агасфер.* — М.: Издательское содружество А. Богатых и Э. Ракитской (Э.РА), Летний сад. (Новая классика), 2009.

Третья книга серии, увы, делает название серии пародийным. Это типичное полуфантастическое-полумифологическое чтение, начиненное эзотерикой и эротикой, славянским изводом которого наводнены сегодня прилавки наших книжных магазинов. Здесь же вечный еврей из будущего смотрит в прошлое, разбираясь, когда и как евреи превратились из «народа воинов и пророков в стадо пугливых овец», вспоминая эпизоды своих прошлых жизней — а душа его переселялась из тела в тело, и чаще всего это было тело воина. Оказалось, что пришествие Христа было грубым вмешательством инопланетян в жизнь Земли, приведшим к всеобщей вражде, окончившейся ядерным взрывом, а миссия Агасфера — помочь выжить семерым детям из разных стран, которые построят новый мир.

Юрий Тубольцев. *Поэтическая абсурдология.* — М.: Издательское содружество А. Богатых и Э. Ракитской (Э.РА), 2009.

Книга, вышедшая в старой серии издательства, — одна из первых книг, сделанных новым способом — без тиража. Сколько покупателей у нее найдется, столько экземпляров выдаст специальная техника. Автор живет в Германии и занимается тем, что Сигачев А.А., статья

которого дана приложением, определяет так: «Современная абсурдософия представляет собой синтез авангардной литературы, психологии и философии, граничащих с запредельным абсурдом, с экстраполяцией на абсурдную действительность современного мироустройства». Первая часть книги — «Арифмософия» — стихи, вторая — «Аритмософия» — прозаические миниатюры. Вторая мне нравится куда больше, там попадаются остроумные сентенции, в том числе и определения абсурда поинтереснее сичаевского: «— Прихлоп одной мухобойкой без стены — это абсурд, — говорила мудрая муха».

Александр Айзенберг. *Страсти (Голографические импровизации).* — СПб.: Алетейя (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы), 2008.

Автора так увлекает мировая история, что дела давно минувших дней предстают перед ним в виде объемных видений — как киноэпизодов. Его фрагментарная проза — экспрессивные фантазии на исторические темы, излюбленный прием — коллаж из внутренних монологов персонажей.

Елена Елагина. *В поле зрения. Книга стихов.* — СПб.: Журнал «Звезда» (Новый Орфей), 2008.

Новый сборник Елены Елагиной продолжает мотивы предыдущих: мир приходит в упадок, портится язык, жизнь подходит к концу, поэзия никому не нужна, и все же в ней, в поэзии, — последний смысл, последняя радость, неразгадываемая загадка.

Ян Бруштейн. *Красные деревья. Стихи.* — М.: Библиотека «Единая книга» (Новая поэзия), 2009.

Смысловый центр книги — раздел «Мифы и легенды моего мира», а в нем — баллада «Миф о красных деревьях», автор предисловия Иван Шепета много рассуждает о значении мифа и вспоминает Юрия Кузнецова, построившего на мифе свою поэтику; но мне в книге поэта-мифографа больше всего запомнилось стихотворение «Сухари»:

А бабушка сушила сухари
И понимала, что сушить не надо.
Но за ее спиной была блокада,
И бабушка сушила сухари

И над собой посмеивалась часто:
Ведь нет войны, какое это счастье,
И хлебный рядом — прямо за углом...
(...)

Лариса Миллер. *Накануне не знаю чего.* — Стихи. — М.: Время (Поэтическая библиотека), 2008.

У Ларисы Миллер легкое дыхание и одна поэтическая задача: уловить волну, на которой «не доступная уму» жизнь передает свой смысл — мимо слов, одной музыкой и «дивным сором» своих мелочей. Стихи ее похожи одновременно на скороговорки и заговоры: надо успеть сказать о том, что сейчас ускользнет, и попытаться заковать ускользящее, задержать насколько получится. Новый сборник — «стихи, ранее публиковавшиеся только в периодических изданиях» (анн.). Он состоит из трех книг: «Птица легкого пера» (2002—2005), «А мир творится и творится» (2006) и «Поющий кустарник» (2007—2008).

Владимир Иванов. *Мальчик для бытия. Стихотворения.* — М.: Журнал поэзии «Арион» (Голоса), 2009.

Владимир Иванов точно передает тонкие психологические состояния, непросто дающиеся перу, сплавливая две части розановского приема — что подумалось и где это пришло в

голову — в органическом синтезе: почему, в связи с чем написалось такое или такое стихотворение. Первый снег в саду — ассоциация с взятием «Зимнего» («История»); бессонная ночь и параноидальные изыски измученного сознания («Измена»), влюбленные в оттепель, наскребшие только мелочь на молоко и хлеб, но чувствующие себя античными богами по дороге из магазина в общагу («Студенты»).

Дмитрий Строчев. *Бутылки света. Книга стихотворений.* — М.: Центр современной литературы (Русский Гулливер), 2009.

Пятая книга белорусского поэта включает стихи за двадцать четыре года — с 1985-го. Она похожа на эмбрион: сначала это просто скопление стиховых клеток: ритм есть, рифма есть, образы есть, а жизни нет. Со стихотворения «Люблю часов ночных нескучную ходьбу» стихи становятся живыми и самостоятельными.

Лина Иванова. *В море одна волна. Книга стихотворений.* — М.: Центр современной литературы (Русский Гулливер), 2009.

Лина Иванова — это Полина Андрукович. Она художник, окончила ВГИК. Это ее вторая книга, в ней — стихи 2008 года, большинство из них похожи на головоломки. Например, что это значит: «Вот декнет девка, / развороченная уколом»? Обходясь без семантических связей, автор достигает какой-то выразительности — как может быть выразительна опечатка или оговорка — но ведь ее сразу забываешь...

Феликс Чечик. *Алтын. Книга стихотворений.* — М.: Центр современной литературы (Русский Гулливер), 2009.

Феликс Чечик — выпускник Литинститута, живет в Израиле. Это его четвертая книга стихов, самая толстая в серии. Интереснее всего поэт работает с образом часов. Иногда ему удается минимальными средствами добиться многого:

я речной песок
заклучил в сосуд
и проснулся в срок
но уже не тут
а проснулся там
а очнулся где
и с отцом считал
ряби на воде
(«Эскизы»)

Юрий Орлицкий. *Верлибры и иное. Книга стихотворений.* — М.: Центр современной литературы (Русский Гулливер), 2009.

Пятая книга Юрия Орлицкого, работающего в пограничье поэзии и прозы. Выразительнее всего у него парадоксы:

(...)
шелестит листьями старость,
общая для всех,
скучная, как стихи
восемнадцатилетних...

Константин Рубахин. *Самовывоз. Книга стихотворений.* — М.: Центр современной литературы (Русский Гулливер), 2009.

У Константина Рубахина лучшее — экспрессивные картинки: «Муха мрет на столе, / лапы к богу задрал / и, его исцарапать / или выхватить сверху пытаясь, / мельтешит шестер-

ней» — дальше идут метафоры другого ряда, куда слабее: «как агонии вечной солдат, / как привыкший работать всем вверенным телом китаец». Китаец даже и неплох, но рядом с такой мухой пропадает.

Валерий Земских. *Кажется не равно. Книга стихотворений.* — М.: Центр современной литературы (Русский Гулливер), 2009.

Восьмая книга стихов питерского поэта. Валерий Земских точно улавливает и передает тихий ужас того, что стоит за размеренной обыденной жизнью и зияет в ее щелях и зазорах, причем наиболее сильно — когда не прибегает к абсурду:

А ведь надо пойти и пожить
Доесть горбушку
Выпить чаю
Оставить на завтра пару дел
Заглянуть в себя
Вымыть руки
Разобрать постель
Погасить свет

Да уже ночь

Герман Власов. *Музыка по проводам. Книга стихотворений.* — М.: Центр современной литературы (Русский Гулливер), 2009.

Герман Власов самые яркие стихи пишет о счастье обыденной жизни, набор мелочей у него всегда гармоничен и эмоционально окрашен чем-то вроде ностальгии, будто все это — вне доступа:

(...)
Весна, и в ресницах кошачьих ветла,
затертая книжка, округлость стола,
страница, отмечено красным.
А в форточке — влажно и ясно.
Гуляют ручьи, растворяется страх,
прозрачные руки берут за рукав,
за хлястик и в спину толкают.
Наверно, погода такая (...)

Рене Герра. — *Младшее поколение писателей русского зарубежья.* — СПб.: Изд-во СПбГУП (Избранные лекции Университета, вып. 98), 2009.

Учебное заведение со странным названием — Университет профсоюзов — представляет коллекционера Рене Герра, близко знавшего многих писателей второго поколения первой волны эмиграции, — о чем он подробно и живо рассказывает на протяжении семи лекций — и сохранившего то, что без него неизбежно пропало бы, поскольку ценностью стало считаться совсем недавно.

Осип Мандельштам и Урал: Стихи, воспоминания, документы. Составление и предисловие: П. Нерлер. Послесловие: Ю. Фрейдин. Научный редактор С. Василенко. — М.: Петровский парк (Мандельштамовские места), 2009.

Книга, приуроченная к 75-летию высылки поэта в Чердынь, открывает новую серию, учрежденную Мандельштамовским обществом и Кабинетом мандельштамоведения при научной библиотеке РГГУ. Чердынь (и шире — Урал) стала первым «мандельштамовским местом». Сборник открывает знаменитое стихотворение, из-за

которого Мандельштам был арестован, он составлен из произведений поэта на уральскую тему, произведений, опубликованных на Урале, «чердынских» глав из «Воспоминаний» Н.Я. Мандельштам и документов НКВД.

Лидия Головкова. *Сухановская тюрьма. Спецобъект 110.* — М.: Возвращение (Серия «58», вып. 3), 2009.

Тайная тюрьма особого режима НКВД—МГБ «для особо опасных государственных преступников» была учреждена на территории монастыря XVII века — Свято-Екатерининской пустыни, куда ссылали «на исправление» провинившихся монахов других монастырей. В 20-х годах XX века здесь была «колония для трудновоспитуемых несовершеннолетних нарушителей». Перевоспитать их не удалось, и скоро колония превратилась в тюрьму — туда стали привозить и взрослых зэков, а потом только их. В 30-х тюрьма стала политической, а в 1938 году превратилась в место расправы с теми, кого «вычистили» из НКВД, для начала — с ежовским аппаратом...

Автор узнала о тюрьме случайно, нашла ее и расследовала ее историю, а заодно и историю Бутовского полигона и спецобъекта «Коммунарка», соединенных с Сухановской тюрьмой железными дорогами в «Бермудский треугольник, где стали исчезать люди».

Ирина Кнорринг. *Повесть из собственной жизни. Дневник. В двух томах. Том первый.* Подготовка текста Н.Н. Кнорринга, Н.М. Черновой, вступительная статья, комментарии И.М. Невзоровой. — М.: Аграф («Символы времени»), 2009.

Ирина Николаевна Кнорринг (Бек-Софиева) (1906—1943) — поэтесса, одна из самых талантливых в «незамеченном поколении», как называли в эмиграции тех, кто Россию покинул подростками, поэтому ни культурными корнями обзавестись не успел, ни в странах проживания ассимилироваться не смог (исключение — В.В. Набоков). Кнорринг рано умерла от сахарного диабета, обнаруженного у нее в эмиграции за год до замужества, но успела родить и вырастить сына. Стихи у нее «шепотные», трагические, ее называют самой интимной и камерной поэтессой русского зарубежья. Дневник, который она вела с 1917 по 1940 год, — интереснейшее свидетельство о русской эмиграции, успевшей обрасти огромным количеством мифов. Он публикуется впервые, первый том охватывает период с 26 августа 1917 по 14 сентября 1926 года и свидетельствует о крушении привычной счастливой жизни дворянской девочки, любимицы семьи, об эмиграции (1920), пяти годах жизни в Тунисе, где Ирина получила аттестат зрелости, и долгожданном переезде во Францию (1925). Книга снабжена предисловием, подробно откомментирована.

Родословие, биография и творчество В.Л. Гальского. Под научной редакцией Михеичевой Е.А. Автор научного проекта (том, серия), ответственный редактор и составитель: Тюрин Г.А. Орловский Госуниверситет, Орловский объединенный гос. литературный музей И.С. Тургенева, Гос. архив Орловской обл., Орловский филиал ИСМО РАО. — Орел: Издательство Орловского гос. университета: издательство «Вешние воды» (Литература русского зарубежья (1917—1939): новые материалы. Том 5), 2009.

Пятый том хорошей филологической серии посвящен Владимиру Львовичу Гальскому (1908—1961), к столетию которого он выпущен. Поэт-эмигрант с Орловщины, в 1919 году вместе с родителями покинувший Россию, гимназию и университет окончил в Белграде, затем, после вынужденного скитания по Европе, осел в Касабланке (Марокко). В Центральной России Гальской жил недолго, но в том возрасте, когда особенно важны впечатления об окружающем мире: в его стихах много орловских пейзажей.

Как всегда в этой серии, книга не требует исправлений, дополнений и переиздания.

Александр Мелихов. Биробиджан — земля обетованная. — М.: Текст, Книжники (Чейсовская коллекция), 2009.

Исследование о создании в СССР Еврейской автономной области — попытки «одновременно и растворить, и обособить евреев». Что получилось из идеи создать для евреев то ли «красный Сион» на Дальнем Востоке, «чтобы рассеянное еврейство могло обернуться обычной национальной единицей вроде Чувашии или Карачаево-Черкесии»; то ли новую черту оседлости? Александр Мелихов, не раз поднимавший эту тему в своих художественных произведениях, приводит много интересных сведений, подкрепленных цифрами. В 1934 году ЕАО была образована, и через три года там было уже двадцать два еврейских колхоза с диковинными именами («Ройтер Октябрь», «Ленинфельд») и ряд промышленных предприятий, Биробиджан из рабочего поселка стал городом, но затем — пик сталинских репрессий, война, государственный антисемитизм... «Со второй половины 1949 по 1955 год в ЕАО не было построено ни одного промышленного предприятия, ни одного клуба, библиотеки, школы, детского сада»... В 1967 году область награждена орденом Ленина.

Послесловием книги стала публикация «Певцы Амура и Биджана», впервые вышедшая в журнале «Зарубежные записки» (2008, № 13), — обзор биробиджанской патриотической литературы.

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном институте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25; 694-01-98; vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2; 915-11-45; 915-27-97; inikitina@ropnet.ru)

Сергей ЧУПРИНИН

главный редактор
699 52 38, chuprinin@znamlit.ru

Наталья ИВАНОВА

первый заместитель главного редактора
699 39 60, ivanova@znamlit.ru

Елена ХОЛМОГОРОВА

ответственный секретарь
699 46 24, holmogorova@znamlit.ru

Евгения ВЕЖЛЯН

отдел прозы
699 47 84, vejlyan@znamlit.ru

Ольга ЕРМОЛАЕВА

отдел поэзии
699 42 64, ermolaeva@znamlit.ru

Карен СТЕПАНЯН

отдел критики
699 48 71, stepanyan@znamlit.ru

Анна КУЗНЕЦОВА

отдел библиографии
отдел публицистики
699 52 18, kuznecova@znamlit.ru

Ольга ТРУНОВА

отдел прозы
699 47 84, trunova@znamlit.ru

Елизавета ПОЛУКЕЕВА

корректор

Евгения БИРЮКОВА

допечатная подготовка, производство,
распространение
699 80 67 т/факс, bir@znamlit.ru

Валерий КАЛНЫНЬШ

художник

Людмила БАЛОВА

исполнительный директор
699-48-98

Марина ГАСЬ

бухгалтер
699-48-98

Наталья РОГОЖИНА

компьютерный набор
699-48-71

Марина СОТНИКОВА

заведующая редакцией
info@znamlit.ru
699-52-83

Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по делам печати и массовых коммуникаций

Электронная версия журнала:

<http://magazines.russ.ru/znamia/>

адрес редакции:

123001, Москва,
ул. Большая Садовая, 2/46
(вход с улицы Малая Бронная).
Для справок: (495) 699 52 83 т/факс,
info@znamlit.ru

Свидетельство о регистрации средства массовой информации №20 от 28.08.1990.
Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя»
Издатель — ООО «Знамя»

Сдано в набор 10.11.2009.
Подписано к печати 17.12.2009.
Формат 70x108 1/16.
Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 23,17.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз.
Заказ № 3104

Отпечатано в типографии ОАО «Издательский дом «Красная звезда».
123007, Москва, Хорошевское ш, 38.
<http://www.redstarph.ru>

СВЕЖИЕ НОМЕРА «ЗНАМЕНИ» И НОМЕРА ПРОШЛЫХ ЛЕТ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ У НАС В РЕДАКЦИИ

Также представлены журналы «Арион», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Если», «Звезда», «Иностранная литература», «Интеллектуальная Россия», «Континент», «Мир Паустовского», «Нева», «Новый мир», «Октябрь», альманах «Достоевский и мировая культура», «Шо».

метро «Маяковская», ул. Большая Садовая, 2/46, вход с Малой Бронной ул., тел. (495) 699 80 67

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не имеет возможности вступать в переговоры и переписку по их поводу, а только извещает авторов о своем решении.

Материалы, поступившие по e-mail, а также рукописи объемом более 10 авторских листов (400 000 знаков) не рассматриваются.

**Литературная премия
Ивана Петровича Белкина,**

*«автора» пушкинских повестей
(лучшая повесть года)*

Жюри

Александр Архангельский
телеведущий, публицист — председатель жюри

Максим Амелин
поэт, издатель

Мария Брусникина
театральный режиссер

Андрей Дмитриев
писатель

Анна Кузнецова
критик, заведующая отделом библиографии журнала «Знамя»

Координатор премии
Наталья Иванова
президент фонда «Русская Литературная Инициатива»

При генеральной поддержке
Фонда первого Президента России
Б.Н. Ельцина

*В конце января жюри сообщит имена финалистов.
Лауреат будет объявлен на Масленицу*

Исполнительный секретарь
Марина Сотникова
т/факс 699-52-83
e-mail: info@znamlit.ru

адрес редакции:

123001, Москва

ул. Большая Садовая, 2/46

телефон/факс: 699 52 83

e-mail: info@znamlit.ru